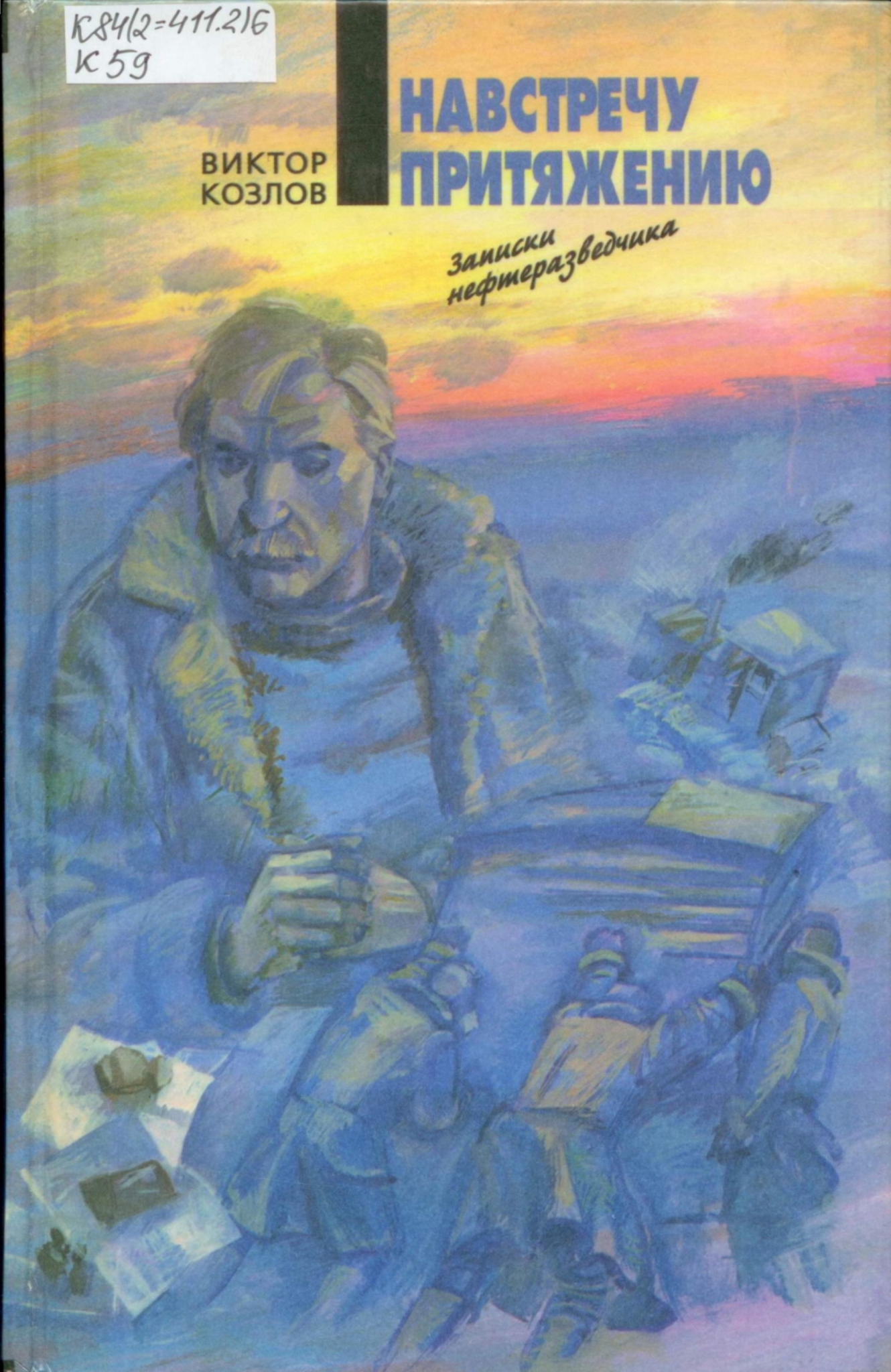
К84(2=411.2)6
К 59

ВИКТОР
КОЗЛОВ

НАВСТРЕЧУ ПРИТЯЖЕНИЮ

Записки нефтеразведчика



К 84(2Рос=Рус)6-4
К59

читателям – с уважением

07-03-08 г.
г. Метлон

Виктор Козлов

НАВСТРЕЧУ ПРИТЯЖЕНИЮ

Записки нефтеразведчика

53666/1-(1)

Екатеринбург
Средне-Уральское
книжное издательство
2000

МБ "Централизованная библиотечная система"
Инв. №

ББК 84.Р7
К 59

Автор выражает искреннюю благодарность
администрации Нижневартовского района
Ханты-Мансийского автономного округа
за финансовую помощь в издании книги.

© Козлов В.Н., 2000
© Паус С.И., оформл., 2000
© Средне-Уральское
книжное издательство,2000

ISBN 5-7529-0015-8

70-летию
Нижневартовского района
посвящается

ОТ АВТОРА

Предлагаемые читателю «Записки нефтеразведчика» были сделаны в разные годы, по следам событий, порой незначительных, касающихся только судьбы автора, но, как ему кажется, характеризующих то непростое время снизу, из глубинки. Иначе говоря, об «открытии века» – своими словами.

С позиций сегодняшнего дня то время – время послесталинской, хрущевской оттепели, начала и расцвета брежневского застоя, первых парадоксов «перестройки» – можно было бы увидеть другими глазами; в этом случае, при всей беспристрастности, неумышленно, невольно картина внешнего мира, каким он представлялся автору тогда, и внутреннего тем более, была бы искажена: под влиянием современного информационного поля смещение каких-то акцентов оказалось бы неизбежным. Свидетельством тому – мемуарные издания некоторых «известных покорителей Севера», написанные, как правило, с их слов профессиональными литераторами. Именно поэтому автор не стал править ранее написанные материалы и вклинивать между старыми главами новые, недавно им созданные, казалось бы восполняющие пробелы: между последними рассказами много важных событий произошло и в жизни автора, и в жизни его второй родины – Тюменщины, и в жизни нашей общей великой родины – России...

Многих коллег, товарищей и земляков, которые упоминаются в «Записках», уже нет в живых. Но притяжение их душ, их сердец автор ощущает до сих пор, как ощущает притяжение земли, притяжение Севера... Им, одноземельцам, он и посвящает свою книгу!.. Если читатель тоже почувствует их «притяжение», то автор будет считать, что его труд не пропал втуне.

20 февраля 1993 г.
Мегион

НОВАЯ ПЛАНЕТА

Летим! –
не в космос –
на работу
в Сибирь – она без нас там стынет.
Там ржаво-бурые болота
как марсианские пустыни.
Наш край для мужества
не узок,
познаешь здесь свою весомость!
Ну а пределы перегрузок
тебе твоя
укажет совесть.
Туши скорее
сигарету
и – в небо,
ярко-голубое.
Сибирь, как новую планету,
должны освоить
мы с тобою,
не занеся сюда микроба
наживы,
рвачества
и злобы!

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО

– Молодой человек! Вы не ошиблись, взяв направление в Тюменское геологическое управление: перед вами блестящие перспективы!

Низкорослый мужчина расхаживал по толстому ковру, взглядывая на меня на поворотах, и низким голосом значительного человека неторопливо рисовал перспективу. Я был польщен вниманием главного инженера к своей особе.

– Главная опасность, которая ожидает молодого человека на Севере, – это не падкие на буровиков местные невесты, хотя – да, да, не улыбайтесь – существует и такая опасность. Все же главная – скука. Свободное время! Безделье!.. И, как следствие, употребление алкоголя. Бойтесь алкоголя, молодой человек! Только он способен сломить буровика, лишить перспективы...

Я не мог удержать улыбки.

– Не усмехайтесь: «Все это мне не грозит!» – понял мои мысли главный инженер. – Каждый так думает. Но я бы не стал отнимать времени ни у вас, ни у себя, если бы не имел для этого достаточных оснований. Поэтому мой настоятельный совет: не позволяйте себе скучать. Работайте! Занимайтесь охотой, рыбалкой, ремеслом, чтением... Стихи пишите, в конце концов, только не скучайте! И тогда вас ждет счастливое будущее. А теперь позвольте узнать, куда бы вы хотели поехать? Вы, так сказать, первый слеток в этом году, и у вас право выбора...

Шел июль 1961 года, и выбор был небогат: Березово, Шаим, Сургут. «Зер-гут»?.. И я решился: в Сургутскую экспедицию!

Какими жалкими показались мне строения Сургута, притулившегося в излучине свинцово-серой Оби. Смурно и тревожно стало на сердце, когда поплавки гидросамолета коснулись зыбкой воды и затрясло, как на телеге, едущей по

вспаханному полю. Попутчики мои прильнули к затуманившимся иллюминаторам. Не река – море! Что тот берег, что другой – далеко-далеко!

Причалились к «бочке» и долго ждали, пока нас отправят на берег.

В экспедиции еще раз пришлось заполнять личное дело, отвечать на десятки вопросов.

– Привыкай! Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек! – утешает меня очередной кадровик и выдает новое направление: помощником бурильщика в Усть-Балыкскую партию глубокого бурения. – База у них в Пиму. Туда летит гидроплан с начальником Бочаровым. Караульте его и летите...

Мои попутчики – два хлопца «з Донбассу»: по-взрослому серьезный Грицько Синенко и шаловливый Павло Беседа. Дружат они со школы, закончили техучилище и – вместо Крыма – сорвались в самоволку в Тюмень. «А так – долю пошукать! – объясняет Павло. – Мир побачить, пока свободен, як птица!» От высокопарности сравнения ему смешно, улыбка его белозуба, весела, заразительна...

Знал я, что Россия необъятна,
знал, что есть Сибирь в ней и тайга –
белые неведомые пятна,
белая упругая пурга...
Напрягал свое воображенье,
только видел всю ее такой:
белых яблонь майское круженье
и метель черемух за рекой,
города в узорном обрамленье
спутников, поселков, деревень.
И поля – вблизи и в отдаленье –
золотом заполненные всклень.
Да дороги в шумных перелесках,
где ночуют встречные ветра...
И конечно, что-нибудь довеском
виделось из нашего двора...
Но в душе с неясною тревогой
вспыхнуло желанье посмотреть
ту Сибирь и самому потрогать
и своим дыханием согреть...

– О! Точно: пощупать самому и – хы! хы! – согреть дыханием. Хто ж таки вирши написал? Словно мысли мои разгадал!

Я пожал плечами.

В дороге мы уже целую неделю, и не предвидится, когда будем на месте.

В Пиму нас встретили неласково: выдали спецодежду и послали на заготовку сена. Тут лошади есть: действует так называемая «веревочка» – что-то вроде ямской почты.

– Ямщик, не гони лошаде-ей!.. – дурачится Павло. – Зимой, гляди, прокатимся по тракту на тройке... С бубенчиками! Дзинь-дзинь!..

Поселок Пим – несколько приземистых строений барачного типа и пяток вросших в землю маленьких, словно из спичек, брусчатых домиков со странным названием «балок»...

Берега у Оби низкие, торфянистые. Вокруг лес – темный, сырой: ель, кедрач, осина... Черная тайга. Заросли багульника. Горелый валежник. Комаров – не продохнуть... Неуютно.

К нашей радости, пришла новая команда: ехать дальше, через Усть-Балык в Ярсомово.

В Усть-Балык идет катер с вахтой, крохотное суденышко. Буровики лежат на палубе, в трюме около движка. Они уговорили моториста проскочить по Сингапайской протоке: ближе, да и волна на Оби. Ребрами высвечивают в протоке отмели. Спасают водометные рули: покрутившись на одном месте, взбаламутив воду, катер снова устремляется вперед по извилистому руслу, распластав до самых берегов коричневые, с белым пенным подпушком крылья...

Но вот сели основательно: водяную помпу забило песком, двигатель перегрелся.

– Станция Березай, кому надо – вылезай!

– Приехали...

Один парень, в охотничьих сапогах и ружьем на шее, спрыгнул в воду.

– Э-э... да здесь по... пройдешь и не замочишь...

Буровики начали прикидывать:

– Пехом-то – не быстрей ли?..

Вернулся «десантник»:

– Мужики! Юганская Обь рядом – прорываться надо, мельто – пяток метров. А по берегу – телепать да телепать!

– Ладно сказать – прорываться. А как?

– Развернем и – как монитором!

– Удержишь его...

– Пробовать надо!

Раздеваются буровики аккуратно, как в бане. Кожа у всех ослепительно белая. Видимо, никто не был в отпуске.

Вода чертовски холодна. А тут еще отраженной струей песок из-под ног вымоет – бульк с головкой в пульпу и в сторону, как мальки.

Все же шаг за шагом, под дружное «ура!» мы вытолкнули катер из «Сингапайканала»...

– Как, Пашка, Сибирь-то?.. Поди, каешься, что в Крым не продался?

– Тю... хиба мы холодной воды не бачили?..

– Вода водой, – не отстает пожилой помбур, – а вот как наживешь здесь ревматизм?.. Радикулит – эт-т само собой, а вот писторхоз ишшо есть... не слыхал? Эт-т когда в печенке червяки заводятся, навроде мормышки. Только вот рыба кака на нее берет – ученые пока не определились...

– Тю-ю, дядько, це – мелочи...

– Да и нос отморозишь.

– Нос? .. – Павло косит глаза на кончик посиневшего носа, прыскает: – Что е то е! Мороза мой нос не любит!

– Ну шо ты пристал к хлопцу, – заступаются за него, – да он из меховушки футлярчик приспособит – мороз и не проймет!

Между тем уже за полдень. Буровики развязывают «торбазки». У одного, хозяйственного, даже ведро с молоком. Окликают и нас:

– Эй, хохлы! Сала хотите?..

Павло оборачивается, вроде бы непонимающе спрашивает:

– Шо вы казалы?..

Все смеются. Добродушно уговаривают:

– Давайте, заправляйтесь. Не тушуйтесь: ешьте! С сытым брюхом и холод не страшен. А Сибири не бойтесь: люди в Сибири испокон живут – не тужат...

Согревалось озябшее тело, да и не душе потеплело.

Собственно, Усть-Балыка как поселка нефтеразведчиков еще не было: между остатками древней деревушки и буровой Р-62, там, где бор выходил к самому берегу Юганской Оби, стояло несколько палаток и балков; груженная пиломатериалом баржа напоминала о будущем поселке. На гриве, с краю, бор уже неровно вырублен – словно неумелая рука выхватила из густой шевелюры клок волос тупыми ножницами.

В палатках живут плотники и подсобники. Они выгружают баржу и валят лес, корчуют вырубку, дерут мох. Работами руководит пожилой слесарь, временно назначенный прорабом. Нас он встретил приветливо, свозил в старый поселок на рыбацком неводнике с одноцилиндровым движком – «крикуном». Посмеиваясь в толстые усы, густым баритоном он улещал нас:

– Счас, хлопцы, решим продовольственную программу, потом жилищной займемся. До коммунизьму у нас далековато, но с голоду не подохнете, под открытым небом ночевать не будете.

В полуразвалившейся избушке размещался магазин с чудной вывеской: «мыр-лавка». У хлопцев «грошей» было «нема». На мою «заначку» купили тушенки, сгущенки и несколько буханок черного – военного образца – тяжелого хлеба.

Поселил нас прораб в дощатую... баню-времянку. Казалось, весь гнус слетался к нам: звон стоял натуральный! Пологов не было. Мы с головой забирались в спальники. Стоило, забывшись, высунуть наружу распаренное лицо – сотни кровопийц тут же впивались в него. И только вечерами, перед заходом солнца, когда от реки несло прохладой, комары затихали. «К ночному штурму готовятся!» – чертыхается Павло. Мы сидим у костра со строителями. Они недавно из Ярсомово – разбирали там дома, здесь их будут собирать.

– Дураки вы, робя! – говорит нам красивый увалень. – Все оттель бегут, а вы – туды. Пра, дураки... Магазина тама нету – чо лопать будяте? Мы с голодухи чуть не подохли... Ей-бо, пра... Муки хучь берите – лепехи печь...

Говорит он горячо, сбивчиво, но искренне, смотрит сочувственно. Другие слушают молча, изредка смачно сплевывают в огонь. Докурив самокрутки, швыряют окурки в огонь и уходят в палатки, где у каждого свой ситцевый полог. Расходимся и мы. Укладываемся с затаенной надеждой: может, сегодня у гнуса выходной?

Август уже – то-то ночи и темны. Электростанции у строителей нет. Палатки и баня сливаются с берегом. И только вдали светится буровая. Слышится характерный свист воздуха, рев дизелей и громыхание стальных труб.

Наконец, в одно из «завтра» пришла самоходка «Кеть», мы закатили двадцать бочек машинного масла и дизтоплива и «вышли» из Усть-Балыка... Долго еще виднелся ажурный силуэт вышки на фоне высокого вечернего неба и еще долго

сопровождал нас, то приближаясь, то удаляясь, приглушенный рокот буровой, похожий на гул тетеревиного тока...

Ярсомовский участок ликвидировался. Для освоения скважины оставлены две вахты, остальной народ на Большой земле, в отпусках, витаминами запасается, смутное время переживает; с места не тронулись три-четыре семейства.

Неуютно в поселке: костры из бревен, теса, кучи закопченного кирпича: темнеют воронки обрушившихся подполий. Брошенные вещи, битая посуда, незамысловатые детские игрушки. Вразброс стоят несколько домов, окна их поблескивают неприветливо, растерянно.

Мужское население поселка в свободное время собирается в нашей просторной избе, где стоят три койки со спальниками, чисто выскобленный стол, пара скамеек.

Мы, как школьники в середине сентября, уже свыклись с новой обстановкой, новыми соседями и жадно впитываем в себя новые знания, обучаемся с интересом, каждая мелочь западает в память...

Спуск бурильных труб в скважину... Сто пятьдесят свечей! Вроде бы монотоннее работы и не придумаешь – ан нет! Движения-то какие разнообразные: тут тебе и фехтование, и бокс, и тяжелая атлетика! Рок-н-ролл!.. Танцплощадка!.. Упор на левую... Выпад вправо... приседание... пируэт... прыжок... А музыкальное сопровождение?! Все духовые. Электроорган! Скрипки!! И вдруг – вахта кончилась. Так быстро? Как у счастливчиков?..

Возбуждение, словно от глотка шампанского, проходит. Тело наливается заметной усталостью. Сами собой появляются строчки про труд буровика:

В урмане дизели урчат.
Лебедок цепи лязгают.
А он – всем телом на рычаг!..
Увидеть можно разное
в его фигуре налитой:
одни увидят грацию,
а я – что нужно нам с тобой
внедрять механизацию.

На практике, в Альметьевске, в Туймазах, приходилось работать электроключами, на одной буровой даже автомат для установки свечей действовал. А здесь... стыдно сказать,

тросиком наворачиваем резьбы, упираясь при этом, как козлы. Когда он, технический прогресс, в Сибирь придет?..

В культбудке приглушенный говор. Кто-то анекдот рассказывает. Вахту мы передали. Ждем, когда бурильщик Гордеич буровой журнал заполнит. У нас есть свежая – «хлебная» – «Аврора» фабрики Урицкого. Курим со смаком. Смотрим в глаза друг другу – никто взгляда не отведет. Молчание связывает нас, тишина эта не тягостна, наоборот, полна глубокого смысла, в это время, мне кажется, мы общаемся где-то на уровне подсознания...

Обед готовим по очереди. Грицько занимается этим делом обстоятельно и с удовольствием. Павло стряпает что-нибудь на скорую руку или вообще норовит увильнуть: «Гриць, будь ласка, сготовь. Шо-то руци болят...» Зато на охоту или рыбалку готов он идти в любое время. Едим мы здесь царские блюда: рябчиков!.. Разнообразим окуневой ушкой, утиной похлебкой, грибным супом...

Охота и рыбалка здесь... неинтересные. За дичью ходишь как в курятник, окуней тоже таскаешь, как из садка. Мы с Павлом добываем дичь и рыбу, Грицько потрошит, «скублит» – по-здешнему. Иногда он бунтует, приходится соседку просить – расчет добычей.

Охотимся мы каждый день, даже после утренней вахты – хоть вдоль Югана или в сосняке у хантыйских зимников – да пробежимся, кирзачи через месяц каши запросили. Привязался к нам старый рыжий пес, брошенный хозяевами. Он глух и слеповат, «работает» только по нюху, часто подводит нас, но облаивает дичь умно.

Но одной охотой мы не прожили бы. В первый день, как приехали, выдала нам Наталья, жена инженера Егорова, со своего подотчета полмешка муки, масла, сахару, сгущенки, сигарет, индийского чаю... И все – бесплатно! Под запись. Чудно показалось! Больше всего мы были поражены долговой книгой, куда все это записывалось.

Наталья, крупная смуглая женщина, громкоголосая, с копной жестких волос оказалась сердобольной. Она посоветовала нам «подкатиться» к старшему дизелисту Маслюкову. «У него корова. Доит самолично. Может, раздобрится?.. Остается ж... Творог делает. А насчет хлеба... – она вздохнула, – я бы с удовольствием... да не стряпуха я – есть не будете. У ме-

ня Петр Егорыч – и тот нос воротит. Вы вот что: попытайте бабку Гротиху. Дам я вам сухих дрожжей – с дрожжами-то, может, возьмется...»

Пашке досталось уламывать Маслюкова, мне – идти к Гротихе. Миссии наши увенчались успехом. С тех пор Павло ходил за молоком, я – за хлебом.

Хлебы пекла теща слесаря Пети Гротэне – бабка Гротиха – в печи, стоящей на улице. Сказочным веяло от дымящейся печи и колдовавшей вокруг него согбенной старухи с молодыми зелеными глазами. Еще шагов за двадцать Гротиха начинает причитать: «Проголодались мои хлопчики... Хлебца им надоти... Счас... счас... Сымем горяченького... С пылу-жару... С поду... Богу в угоду... животу в поправку».

Мне весело, вспоминается детство: вот так встречали хозяйки возвращавшихся с лугов телят – добродушным речитативом и горбушкой хлеба посоленного...

Принимаю из рук Гротихи фанеру с хлебом, прикрытым шитым полотенцем, несу осторожно, боком чувствуя хлебное тепло, и наслаждаюсь бесподобным хлебным духом.

Что это был за хлеб! Режешь буханку Гротихиного хлеба – ломти сами отскакивают в сторону. В чем секрет был: в муке ли, в мастерстве ли – только не черствел этот хлеб, и через три дня был как сегодняшний... Эх, во всем бы да и всем – такое умение!

Ярсомово совсем свое, будто век тут и жили: всех знаем, нас тоже ни с кем не путают.

Работаем в вахте Анищенко, попросту Гордеича. Высокий, широкоспинный. Лицо продолговатое, в оспинках. В маленьких, коричневых, что кедровые орешки, глазках золотые рыбки высверкивают чешуйкой. Ни разу голоса не повысил, хотя у нас не все сразу получается. Больше того. Другой раз устанешь, сил нет, готов язык на плечо закинуть. А тут слышишь – кто-то напевает про себя: «Люблю повеселиться – мешочки потаскать». И бегом мимо тебя с мешочками под мышками – а мешочки с цементом, по пятьдесят кэгэ! А дождь, глина под ногами чавкает, вода за шиворот течет – поневоле нос виснет. «Хлебом не корми – дай под дожжичком поробить!..» – Гордеич обгоняет. Тут и встряхнешься, как бы другими глазами оглянешься: «А и в самом деле – славно-то как!..» – и дыханье второе появится...

Да и все остальные рабочие – благожелательны, открыты:

объяснят, покажут. Друг к другу уважительны, нас тоже величают по отчеству.

Обязанности шефа исполняет у нас инженер Егоров. Волжанин, из Куйбышева. «Самарец» – с гордостью зовет мужа Наталья. Нам «самарец» не по душе: педант, в бумажках копается, дрожит: как бы чего не вышло. Заметил как-то: бурильщик Павла на талях поднимал на верхний балкон вышки, – что тут было! Сразу инструктаж: здесь распишись, здесь... Со мной казус произошел: зацепился я подвернутым рукавом брезентухи за элеватор, не успел моргнуть – уже под полатями... До сих пор пуговицы пришиваю основательно: расстегнись тогда роба – костей бы не собрал. Егорова пощадили, промолчали. Его и понять можно: чем еще заняться? Вот и бдит. Ходит он слегка переваливаясь, штаны – от местной портнихи, с провисающей мотней, как у старого гуся гузка, да он и есть старый гусак: постоянно шипит, гогочет! Вечно в клубах дыма: «беломорину» не выпускает из рта, от никотина крупные зубы пожелтели.

Незабываемое, необыкновенное время катилось!.. Долгое, счастливое времечко!.. Чем-то животно-бездумное, восторженное. Иной раз такое было желание взбрыкнуть молодым жеребенком, зазвенеть колокольчиком и помчаться, не разбирая дороги!..

Вместе с тем приходило и спокойное чувство уверенности, своей значимости. Работа наша становилась слаженней, движения четче, целесообразнее. Берясь за какую-нибудь незнакомую работу, мы не отчаивались, если она не получалась,– знали, что вот-вот наступит тот чудесный миг, когда ты поймешь тайну мастерства, перешагнешь невидимый порог, который отделяет мастера от неумехи, умельца от робота; мы уяснили: чтобы найти «изюминку» в любом деле – надо хорошо потрудиться. К тайге тоже привыкали, постигали ее законы: будь приметливым, сторожким, предусмотрительным, чувствуй себя хозяином в хорошем смысле.

В конце сентября после вахты, как обычно, побежал на охоту. Было пасмурно, тихо – «морочно». Даже ронжи нет – словно вымерло все. За зимовьем, где в ненастную погоду в кронах прячутся косачи, тетерки, с волнующим шумом выпархивающие сзади тебя, пугая, – и там пусто. Покрутившись, я повернул было к дому... и фыр-р! – копалуха!.. Их я обычно не

бил, а тут азарт взял: попер за ней! Подкрадусь, ложусь на прицел взять – снимается... Опять выслеживаю... Опомнился, когда уж не разглядишь: копалуха или только блазнится? лапа густая?.. Вокруг чапыжник мелкий, болото огромное впереди. Куда идти? Вроде внутреннее чувство говорит, что надо идти через болото, но как пересек его, преследуя хитрую птицу, не припомню. «Не до этого было, – успокаиваю себя, – вот и не заметил. Пересеку болото и к зимнику выйду». По мшанику тяжело идти, ноги высоко закидывать надо. Вскоре выдохся, остановился передохнуть. Вдруг над самым горизонтом серый полог туч приподнялся и проглянула под ним узенькая золотистая полоска заката... Я был ошарашен: куда ж я иду – на запад! Мне в обратную сторону надобно. Выходит, леший меня закружил?.. Но интуиция говорит, что шел я правильно. А как быть с фактом: вот она, вечерняя заря. Против фактов не попрешь! И – ноги в руки, бегом от зари... Места становятся все незнакомее: мягче мшаник, мельче сосенки, реже гривки. Выбрал деревце покрупнее, вскарабкался с грехом пополам, чтоб оглядеться: не мелькнут ли огоньки нашей вышки, все же пятьдесят три метра! Ни проблеска! Скучно стало. А как вспомнил карту: вокруг Ярсомово сплошь сине-зеленые цвета с черточками – болота! – растерянность охватила, страх окатил липким потом. Выстрелил вверх – звук слаб и беспомощен, эхо даже не откликнулось... Только пламя багрово осветило ближайшие сосенки. В ушах шумит: то ли кровь, то ли ветерок верховой шелохнулся? Тихо. Темно.

«Все! – сказал себе твердо. – Надо устраиваться на ночлег: набрать сучьев для костра. Отдохнуть. Остальное – завтра. Может, солнышко появится».

Выбрал место посуше. На ощупь насобирал хвороста. Незаметно успокоился. Хорошо, бросив курить, ношу спички – разжег костер. Прижался спиной к деревцу. «Эх, перекусить бы чего да закурить!..» Так и задремал. Однако холодно: просыпаюсь каждые полчаса, дров подброшу в огонь и снова забудусь... Сны не сны, виденья не виденья. Встрепенешься: «Где это я?.. Тайга какая-то... костер... Что за чертовщина снится... мама, почему не будишь меня? Опять на экзамен просплю... а знаешь как сдавать у доцента на квартире?.. плохо!.. если он к тому же занимается стиркой... и вообще... Милая! Уже семьдесят дней, как мы расстались... не вижу тебя и не слышу...

ни строчки от тебя... и зачем я здесь?.. Проклятый гонор!.. Почему не остался дома?.. Говорят, здесь змеи водятся? Сам же видел: через Юган плыла... Александр Иваныч прав: у меня аналитический склад ума... Амбар! Ха-ха!.. Склад... Статью в «Вестнике» опубликуют, нет? Бр-р... Одеяло короткое какое... детское?.. Как там хлопцы...

Где я?.. а-а... Сбросил остатки сна: светает уже... Осмотрелся: ровно светает, со всех сторон ровнехонько. Пошарил в карманах – крошки хлеба в табачной пыли, те, что покрупнее, обдул и съел. На завтрак. А на обед что? Патроны пересчитал: двенадцать штук и еще жакан. Это кое-что значит, жить можно!

Как-то получалось так, что я раньше никогда не бывал один. Иной раз хотелось, да не получалось. Меня всегда окружали люди, и я не замечал: как же это хорошо! Даже в послевоенной школе можно было любому пацану сказать: «Эй, чо ешь? Ухмырни!» – и редкий жадюга пробурчит в ответ: «Сорок один – ем один...» А уж про закурить и говорить нечего: никто не откажет, чинариком поделится. А вот сейчас – ухмырни, попробуй...

Ладно, эмоции в сторону! Что говорит внутренний голос? Сравни со вчерашней меткой. Совпадает? Это хо-ро-шо-о! Раздвоения личности нет. Все остальное – дело техники: ищем ложбинку, ручеек – они и выведут к Югану. Хорошо бы сосну настоящую найти: по коре или кроне можно определиться.

Для начала решил сделать рекогносцировку. А чтоб не потерять место ночлега, развел дымный костер – и вокруг него по спирали пошел. «По Архимедовой спирали!» Никаких примет. Вернулся, затоптал огонь и – вперед: птицы вон из каких краев находят путь домой, а я чем хуже? По интуиции!

Говорят, в густом лесу забирают вправо. Учтем. Внесем поправку. На болоте – по ориентиру. Произведем штурманский расчет. Вчера я шел не более четырех часов. Это десять – двенадцать кэмэ. Сейчас у меня скорость будет больше. Значит, часа через три, по идее, я должен выйти к зимнику...

Ох уж эта самонадеянность!.. Вроде знакомые места поблазнятся, приблизишься – не то! Снова продираешься через чапыжник, сквозь заросли багульника...

Только к вечеру подобие ложбинки попалось. Пошел вдоль нее: может, к ручью выведет?.. Много раз терял ее и снова находил, – явственнее становилась она, уже бочажки появились, маленькие, с ладошку. Дальше больше: в цепочку они

свиваются, а вот уж и ручеек... Радость и у меня стала родничком вспучиваться: живем, Витя! Ручеек он к Югану выведет!

Вот уж и бережок прорисовывается. Тряхнул чахленькую березку – остатние листочки пали изнанкой на черную воду, ветку-хворостинку кинул, понаблюдал – плывут! Теченье есть! Сейчас включу «петушка» и к Югану! Одна беда – сумерки. А вот и темь сплошь: глаз выколи – не видно. Спичку зажжешь – тайга причудливая, страшная... Вверх пальнешь – звук глохнет. Шаг сделаешь – на дерево наткнешься, а то и в яму угодишь. Вдруг впереди проблеснуло что-то. Свет? Рысьи глаза? Или вода? Может, Юган?.. Он! Он, родимый. Попил я водицы. Стал соображать, куда теперь – вверх или вниз? Вспомнил физику: эхолот! Выстрелил над водой – на мгновенье осветилась сонная вода, а гул покатился в обе стороны, быстро удаляясь. Секунд через десять справа, с верховий, звук стал усиливаться, вот уж совсем рядом словно поезд прогрохотал, следом за ним приблизился гул слева, но более приглушенный, сглаженный. И пошло гулять отдаленными перекатами эхо выстрела, вырисовывая каждый изгиб реки. Я мысленно сопоставил «эхологию» с контурами реки на карте, пытаясь определиться: где я, выше или ниже буровой? Выходило, что я нахожусь в районе летней стоянки Миши-ханта. Пока вычислял местонахождение, внизу, за излучиной, прозвучал ответный выстрел.

Забыв осторожность, очертя голову, ломанулся я вдоль Югана. Порой только зубы лязгали: срывался не только в колдобины, но и под берег! Через некоторое время в сыром воздухе почуял запах дыма. Пошел на него напрямик...

На большой песчаной косе, среди продуваемых тальников, берестяные домики с пляжную кабинку. Догорающий костер. К воткнутым в песок шестам привязаны собаки, истошно залаявшие при моем приближении. Из одной «кабинки» появился человек, цыкнул на собак, поставил на угли чайник. Уж не сам ли Миша-хант? Не могу запомнить: очень уж похожими друг на друга все они мне кажутся, как китайцы, на одно лицо, но это, я знаю, до поры до времени, пока не присмотришься...

– Тепя, никак, ищут? – спросил он. – Екоров, начальника, приезжал, коворил, коротской парень тайка пропал. Екоров шипко рукался...

Он принялся угощать меня чаем, я, едва коснувшись шкуры, уснул.

Чуть свет я был уже у Кривого озера. Услышав выстрелы, начал палить в ответ, а услыхав голоса, едва сдержался, чтобы не побежать навстречу: Пашка, Грицько, Кеша... Вот в таком же составе мы искали геолога Кима неделю назад. Тогда нас подняла его жена, мы нашли его на мысу у костра и под утро «вручили» обеспокоенной супруге. А я все же две ночи «где-тось шлындал», как сказал Кеша.

Ох, каким сладким показался мне сахар! А хлеб!.. Что это был за хлеб!..

Не за добычу нравится охота,
не за смолистый голубой озон
в сквозном бору,
не за дурман болота
и не за встречи с позднею
грозой...

Нет, не за стон,
томительный и колкий,
за лебедями кинувшийся вслед –
за позабытый вкус
хрустящей корки...
Вкусней ее лишь хлеб
военных лет.

53666/1-(1)

Я уминаю Гротихин хлеб, хрумкаю рафинад, а Кеша подтрунивает:

– Женки нет, а то б спросила: «Где шлындал две ночки?» А так – Пашка шебутился токо маненько: не к Тайке ли ты, отнако, кулять ушел?.. Ревнивый друг у тебя оказываетца...

Миша-хант приезжал к нам за бензином с дочерью Тайкой. Мне запомнилась маленькая смуглянка в ярко-желтом, с кистями, платке и шитом бисером платье. Она сидела в сторонке, молчала и нет-нет стреляла черными глазками в Пашку; ее отец рассказал историю о том, как его друга медведь помял и «мала-мала просал – метроп пятнасать летел...». Пашка мотал чубатой головой, сверкал белозубой улыбкой: «Ой, не можу!: «...метров пятна...мала-мала...» – стонал он, вытирая слезы. Пунцовые губки незнакомки трогала улыбка, в глазах взблескивали золотинки. Ее заинтересованность заметили все и при каждом удобном случае Пашку подначивали: Тайка да Тайка.

Я вкратце рассказал, как было дело. «А вот Тайку, правда,

не видел, – включаюсь в розыгрыш. – Точно! Миша еще ворчал: опять девка убежала...»

Разобрался я потом, с зарей: подвела она меня... Вернее, сам себя обманул: забыл, я, что северные зори до поздней осени – во все небо. Просвет меж тучами в тот вечер оказался на востоке, вот и пролилась на землю вечерняя зарница не с привычной стороны... Все стало на свое место, укрепилась вера в свою интуицию. На себя можно надеяться – понял я.

В один из солнечных дней прилетел вертолет, каротажникам заряды привез. Вместе со всеми я дивовался на зеленую, похожую на головастика машину. Чудеса!..

Незадолго до этого была радиограмма, предписывавшая мне быть пропагандистом: вести занятия по новой программе КПСС. Я недоумевал, ничего не мог мне прояснить и Егоров, – ни газет, ни радио: как вести занятия? Попытался я разделить общественную нагрузку с «шефом», но Егоров, похохатывая, твердо отмежевался: «Я сейчас «бэпэ»! Не имею-с права! А вы – комсомолец, вам и газеты в руки...»

Занимались мы дважды в неделю. Хоть и пытался я по студенческой привычке отделаться экспромтом, готовиться все же приходилось. «Так и про тайгу забудешь...» – сокрушался я. Однако занятия вести, признаться, мне понравилось: появилась возможность использовать кое-какие познания в историческом материализме и диалектике – не зря конспектировал первоисточники. С внутренней гордостью почувствовал: я хоть пока и помбур четвертого разряда, но и инженер...

На мои, так сказать, семинары приходили не только буровики, но и Егоров, Ким. Даже домохозяйки заглядывали. Всеобщее внимание льстило. Горизонты коммунизма разворачивались совсем близко, даже мурашки бегали. В наших возможностях мы не сомневались: непочатый край резервов! Конечно, темпы развития по программе требовались колоссальные. Первым делом, Америку догнать и перегнать. Тут, правда, у пропагандиста червячок сомнения еще на семинарах в институте пошевеливался: так ли все благополучно с догоном и обгоном?.. Но ведь сдвиги есть? Конечно! Вон и Китай рванул вперед: домну в каждой деревне!.. С домнами, пожалуй, они загнули: качества не будет. Вот земля – другое дело, хлеб! В пятьдесят восьмом в рабочей столовке, где я питался, хлеб был бесплатный. Возьмешь винегрет, компот, биточки – на трояк

старыми. Чеки на стол – самообслуживания еще не было. Ждешь официантку. Скатерть крахмальная. В вазе, под хрустящей салфеткой, горка хлеба. Подставка со специями. Намажешь горчицей кус и наяриваешь за милую душу.

– Чем не коммунизм? – спрашивал я своих слушателей. – Материальную базу подтянем, сознание – до уровня: от каждого по способностям... иначе проедим все – никакая целина не спасет...

– Целина-то целина... – вздыхает Сашка Кусков, – пахал я ее...Большая она, а кончается. И так, и так: два-три года родит, а посля выдыхается. Пыльные бури – слыхали?.. Как по писанию: тьма...

– Да-а... Вот ведь какая планида: по потребностям да по способностям... – Гордеич недоверчиво хмыкает, – чудно!.. Скажем, у меня этих способностев с гулькин нос, а потребности – во каки! – он широко разводит могучие руки. – А у другого наоборот – тогда как? Трудно, чай, с этим свыкнуться – потяжельше, чем коня в колхоз свести ране.

А другие вообще при разговоре о светлом будущем глаза в пол уставят и замолкают. Но я верю в программу партии: для меня двадцать лет – огромнейший срок, все можно успеть! Маслюков, Ким поддерживают меня, но, чувствую, неискренне. Егоров молчит, но я знаю, что к программе он относится со скепсисом: я слышал, как он, явно пародируя меня, рапортовал Наталье: «Бу сделано... к... восьмидесятому году!» – и ехидно скалил лошадиные зубы.

Сомнения Гордеича – это и мои сомнения. Взять последние десять лет – какие изменения?.. Большие. Но равны ли они оставшемуся полшагу до коммунизма по значимости?.. Ой ли...

Испытываем пласт за пластом: голимая вода! Пробуем на язык:

– Минералка!

– Прекратите! – Егоров тут как тут. – Отравитесь!..

Где же нефть? Столько денег народных ухлопали, а где она – отдача? Пусто! Вот она – передовая советская геология! Да тот же пресловутый метод «дикой кошки», приписываемый Западу. Так мы не скоро к светлому будущему приблизимся. Неужели открытие, как горизонт, манит своей близостью и уходит?.. Неужели у нас такая «планида», как говорит Гордеич, – только тянуться к нему, «кожилиться», и – безуспешно?..

А лето – необыкновенно длинное лето! – на крыльях паутины вплывало в золотую осень. Посветлели окрестные леса. По утрам Юган курился. Начали вылетать глухари на дымок, вальяжно садились на вышку, коньки домов и смотрели на людей, занятых разорением своего гнезда. Кто-нибудь не выдерживал и бежал за ружьем. Звук выстрела звучал негромко, словно хрустнул сосновый сучок. Глухарь дергался и замирал перед тем, как упасть, или поводил седой, с красной серьгой, головой и улетал, планируя, за Юган – кормиться или тихо умирать.

В осинниках облетел лист, стало в них сквозисто и грустно. Пахло молодым вином, запахи проявились определеннее, резче. Захотелось в город, к родным и дорогим.

Началась затяжная непогода.

Мы продолжали испытание скважины...

Июль 1964 г.
Сургут

ТРУДНАЯ ОСЕНЬ

– Да сядим ить, ся-дим!.. – кричит шкипер, бегая вокруг Бочарова, начальника партии. – Зазимуем ить на перекате!.. У Рысскиных! Сядим, епонский бог! Куда – и так под завязку!

Бочаров, грузный, невозмутимый, в мятой шляпе, в синей спецовке, в новых, с пряжками, геологических сапогах, небрежно закидывает за спину клетчатый шарф и машет белой рукой Кеше Муратову:

– Ехай, ехай...

– Не дам!.. Швартовы порублю! – мечется шкипер.

Кеша мало-помалу трогает бульдозер. Канаты оснастки струнно запели. Бегемотоподобная туша насоса, загребая песок, тяжело навалилась на палубу – лихтер накренился, осел, по Югану пошла волна.

Бочаров как бы только сейчас заметил шкипера:

– Не шуми: сколько грузить, знаем не хуже тебя. Не в бирюльки играем! Идите, своим делом занимайтесь... – медленно, чуть в нос, выговорил он.

Шкипер, продолжая ругаться, спустился на лихтер.

Вот и уезжаем из Ярсомово...

На берегу, в штабелях, лежат дома, в которых мы жили. Сиротками выглядят домик Егорова и культбудка. Вышка тоже, как осеннее дерево, кажется грустной: ее «раздели», а разобрать не успели. На демонтаж приехали вышкари, из наших остаются несколько человек, среди них – Кеша Муратов, он мастер на все руки: крановщик, кузнец, плотник, бульдозерист – потому и остается. Мастеровой! За что и страдает: семейных отправили недели три назад. Кешу Егоров тогда попросил («если нетрудно, конечно...») остаться.

Довольный своей незаменимостью, подкатился Кеша к жене:

– Как, мать?.. Выдюжишь одна-то? Начальство, вишь, просит.

– Выдюжить-то выдюжу: где наша не пропадала?.. Да с тремя-то... хлебну горя: счас не лето, голову под кустик не притулишь!.. Начальству – чо? Чужое горе руками разведу: они в отпуске побыли, и на новом месте гнездышки свили, поди... А тут... – Мария всхлипнула, наклонив непокрытую голову с тугим узлом желтоватых волос, вытерла воротом ситцевого платья слезы. – Дак тебе-то чо? – нас спровадить! А сам – как вольный казак! У-у, ирод! – она вроде шутя стукнула мужа по гулкой спине.

– Ну-ну, мать! Ведь надо, сама знашь, – Кеша бережно приобнял жену. – Как приедешь, иди сразу к Бочарову. Нюни не распускай, но не отступай, пока не даст квартиру!

Самоходка «Кеть» аккуратно загружена домашним скарбом, ящиками с керном, пробами пластовой воды. Оставалось «посадить» еще одного жителя нашего поселка – темно-рыжую корову. Хозяин ее, Мослюков, долго вздыхал: вдруг в пути молоко пропадет – «сгорит». Оставить с собой? А вдруг вертолетом будут вывозить? Совсем пропадет! И он решился: отправлять. Корова, вздрагивая, покорно поднялась по узкому трапу.

В трюме у каждой семьи свой закуток. Затопили «буржуйку», и над палубой по-домашнему стелется дымок. Дети освоились: играют в прятки, крутятся около коровы, кормят хлебом.

Но вот подняли трап. Самоходку стало сносить течением. Но вода за кормой вспучилась, закипела буруном – баржа пошла, разворачиваясь, вниз по хмурому Югану.

– Смотри, смотри! Вона – папка! Папка наш! – показывали дети на берег – на стоящих стенкой мужиков.

– Папка-а... – заревел один, и к нему присоединились все.

«Кеть» между тем быстро удалялась. Вдруг приглушенный рокот двигателя перекрылся низким, как гудок парохода, мычанием коровы... Все невесело засмеялись:

– Ишь ты, прощается...

Шура Тимофеева, единственная оставшаяся женщина, вздохнула:

– А как же! Три года, чай, прожила здеся... Привыкла, вот и прощается...

Кеша вздыхает: обещал с лихтером приплыть, а вот опять задержка, сам Бочаров просит остаться, не приказывает – просит!

– А за своих – не волнуйся! – успокаивает его начальник. – Жилье, работу – предоставили. С продуктами помогу. Ты меня знаешь, оставайся спокойно. Вот так вот.

Кеша быстро, словно оселком по косе, вжик-вжик, грязным пальцем по задорному носу, поморгал белесыми ресницами, матюкнулся хорохористо:

– Эх, епонский городовой! Где наша не пропадала! Только чтоб квартеру до ума... дровишек там... картохи... капусты... ежели что... и всего протчего...

– Конечно, конечно... – Бочаров кивает головой.

Низкое небо. Мокрые хлопья снега. Серые, под цвет юганского песка. Солнца нет вторую неделю.

Не вечным оказалось необыкновенное бабье лето. И пласты в скважине не бесконечны: испытали последний. Пока он был – еще теплилась надежда! Мы стояли у рубленной в чашку культбудки и ждали: а вдруг? Не ради праздного любопытства собрались все – судьба решается! Надоело мыкаться по свету, будет нефть – осядут надолго здесь, в приглянувшихся местах.

Открыли пластоиспытатель... Что там: нефть?.. газ?.. вода?..

Подняли трубы – опять вода... «Как сс... тьфу, прости Господи!»

Пусто...

Хоть геолог и успокаивает, что в «геологии и «пусто» – результат», – от этого не легче. Ведь это – два года труда, жизни... нелегкой жизни... пусто в душе, пусто в кармане... как обманул кто.

– Ты у моих останавливайся! – кричит мне Кеша на прощанье. – Там шапка у меня должна быть. Скажешь Марии, она подгонит

ее на твой калган. В беретке не форси, а то продует, совсем оглохнешь!.. Привет всем! А Ваське, моему «музику», особый!..

Юган тускло черный, рябой, как кирза. Никаких отражений. Местами на берегах снег. От воды зябко.

Знакомые излучины, пески... Вот перетаск, ханты им пользуются – очень путь сокращает. Перешеек узенький, сквозь лес излучина просвечивает. Знобко на палубе, зябко...

В рубке разместился Валентин Тимофеев с семьей, каюта шкипера под ними; в зависимости от того, топится или нет печка, в каюте и в рубке то жарко, как в бане, то холодрыга. Теснота – ног не разогнуть. Тимофеевский парнишка, тонкий, как олешек, совсем застоялся, перебирает ножонками в самодельных унтянах.

Проплываем мимо летника Каюковых, берестяные хижины угрюмы. Скоро перекат. Только подумал, под днищем, прямо под ними, заскрежетало, нас прижало к стенке. «Мала-мала скорость, а закон инерции ощущается!» – удивляюсь я. И тут же ахаю: «Да ведь на мель сели!..» Неприятно стало. Последовал еще слабый толчок. Лихтер, разворачиваясь, еще больше, основательнее заползал на мель...

После многочисленных попыток освободить лихтер катер тоже зарылся в песок. Стемнело. При свете прожектора спус-каем шлюпку, заводим буксирный трос за толстенный кедр; крутим шпиленок, раскачиваем катер: задний ход – трос выбрали, передний – стравили... Натянули – ослабили... по кругу: туда-сюда, по часовой стрелке – против часовой... До тошноты! И наконец: пошел-пошел-пошел... Пошел! Снялись! Катер свободен!

– Теперь – ништяк! – говорит кто-то. – Теперь, если что, на катере драпанем!

– Открывай рот шире, он, чо, резиновый катер-то? Всех не возьмет, – осаживает оптимиста Тимофеев. – Счас мы закимарим, они и сымутся втихаря: куда им таку обузу?..

– Скажешь! – возражают ему. – Совесть, однако, и у начальства есть. Уж тебя-то с дитем, чай, не оставят.

Прогорел ярко-малиновый закат. В густой синеве проявившегося неба растут и пушистятся звезды на мороз. Воспаленными глазами краснеют иллюминаторы приткнувшегося к берегу катера. Тревожно на душе. Валентин угощает заготовленным в дорогу глухарем.

Просыпаемся от холода. Первые мгновения радостны:

свежо, чисто – снег! По берегу с веселым лаем носится Пират. «Как он туда попал? Да ведь лед же, братцы... Вмерзаем!»

С надеждой засыпали мы – не в страхе,
что льды нас неожиданно скуют...
Но черный вечер, в бурке и папахе,
отары туч пастись угнал на юг, –
и вызвездило в ночь, пока мы спали
коротким, но, как в детстве, сладким сном,
а утром – словно бы попали в Палех,
где черный лак в контрасте с серебром,
где отраженный мир означен резче –
сквозь черноту проглядывает суть...
И весь пейзаж пока очеловечен
лишь одиноким следом на мысу...

Вода осела – кромка берега украшена кружевным подзором. Тут уж не до красоты...

Собрались на совет.

Капитан катера, пожилой, неразговорчивый мужчина, показал на берег:

– Мелеет... Не здесь, так там... – кивок в сторону Угута, – все одно – сядем. Бросать его надо! – кивок в сторону шкипера.

Бочаров молчит. Зато шкипер ругается на чем свет стоит:

– Ить говорил! Как человеку говорил: ся-дим! Не-ет! Имя – лишь бы загрузиться! (Это – Бочарову.) Трус!..Чуть чо – свою шкуру спасать! Друг! Дру-уг... От друг... От – друг! (Это – капитану.)

Шкипера никто не перебивает: всем понятно его беспокойство, их и на вертолете вывезут, а ему придется тут всю зиму куковать – посудину свою вымораживать. А человеку тоже к семье, к детишкам хочется попасть, всю навигацию были без присмотра.

Бочаров молчит. Люди ждут, что он скажет: начальник же! Как умиротворить обе стороны буксира? Но Бочаров не подкачал:

– Вот что... – пробурчал он в нос, – до двенадцати будем лихтер сымать, а там... посмотрим...

Дело закипело!

Мы с Тимофеевым промерили дно, чтобы катер действовал уверенно. Увлекшись, я испытал несколько неприятных минут, когда чуть не опрокинул лодку, не пригнувшись вовремя под тросом, перекинутым с лихтера на берег: трос зацепил за

подбородок, и – растеряйся напарник – пришлось бы мне принять холодную купель...

Теперь, зная фарватер, капитан показал, на что способен: катером он управлял, как хороший наездник конем! Катер то упирался битюгом, то вставал на дыбы! По Югану плыли хлопья пены. Рвался буксир. А лихтер чуть пошевеливался. «Идет! – орал шкипер. Он крутил лебедку, заводил буксир, выбирал из потайных отсеков новый трос: – Ниче-е! Вот она, заначка! Пришел ее час!..»

После обеда и короткой перепалки продолжили работу. Мое предложение: натянуть между лихтером и берегом трос, чтобы катер, упершись в него, поработал длительное время, проигнорировали. Видимо, неубедительно объяснил я про разложение сил, вектора, синусы-косинусы... Однако после нескольких порывов буксира Бочаров дал команду «поупираться» и одновременно ручной лебедкой выбирать другой трос.

«Вектор» сил проявил себя: выдрало из палубы кнехт. Но и судно сдвинулось! Операцию повторили. Как бритвой, срезало тросом кедр. Подложили под трос пластину и – пошло дело: снялись!..

– Ишь ты, язви тя в душу! – шкипер хлопнул меня по плечу. – Разложение сил! Вехтор!.. Хе... Пошли, Виктор, погреемся...

Перекат был позади. Повалил мокрый снег. По Югану шла шуга. Азарт проходил, тело наливалось усталостью. Громыхнув стыло телогрейкой, я протиснулся в люк. В тесной каютке принял граненый стаканчик («наркомовский! из НЗ!» – пояснил шкипер) и выпил теплую, обжигающую жидкость, забыв про наставления главного инженера, – впрочем, это ведь не от скуки, а «для сугреву» или, точнее, «на посошок»: «Прощай, Ярсомово! Вернусь ли? Но ты – в памяти».

В Усть-Балык мы прибыли 12 октября. За наше отсутствие здесь поставили полтора десятка новеньких двухквартирных коттеджей и все старые, рубленные в чашку, ярсомовские просторные избы. Едва срубы мало-мальски покрывались, вставлялись окна, навешивались двери – люди тут же заселялись в них. Все остальное – кто во что горазд – делали новоселы. Некоторые даже отваживались печи класть, хоть это дело тонкое, таланта требующее. Печник оказался один на всю базу. Да и кирпича было в обрез – на русскую печь с лежанкой не

размахнешься. По этой причине обходились большей частью самодельными «буржуйками» из бочек и обсадных труб.

Тайга начиналась в пяти метрах от крыльца, но дрова были проблемой – сырых хватало, а вот растопки... Поблизости сушняк весь собрали, остались одни корневища – не расколешь. Но что это были за дрова! Чистый янтарь, хоть ожерелья вырезай. Горели они жарким и веселым огнем. А дым-м-м – такой запашистый!

Обещанье свое Кеша Бочаров сдержал. Когда я приехал, Мария с тремя ребятишками и Наталья, жена Егорова, устроились вместе в половине недостроенного коттеджа: ни печи, ни перегородок, одна большая комната, заставленная по стенам ящиками, тюками.

Мария, впрочем, не унывала, хотя и честила своего мужа порой на чем свет стоит: «Не жилось ему, черту сивому, в Кузбассе! Как вспомню, душа слезится! Ведь рай... истинный рай поменяли бог знат на что! Какие у нас места привольные... Все лето – цвет! Не одно, так другое – цветет! Да так цветет – дух медвяный стоит... Нет, решусь, заберу ребят и к маме уеду, под Кемерово... – и тут же вдруг по-девчоночьи голосила: – Да ра-зи-и отседа выбересс-и-и...»

После войны моя мать, пораспродав по дешевке добро, уехала с нами из Сибири в Расею. Была она чуть постарше Марии, да и мы тоже повзрослее Марииных ребятишек, но было нас на один рот поболе. Ох и хватили мы лиха в сорок седьмом-восьмом голодных годах! А ведь мать тоже соблазняла нас тем, «как черемуха цветет в Малышовке на опушках, а как квакают лягушки... А как свищут на рассвете за деревней соловьи?..»

Я сказал об этом Марии. «Так оно, там хорошо, где нас нет», – согласилась она со вздохом облегчения и тут же занялась хлопотливым хозяйством, весело покрикивая на детей: голос у нее был рассыпчатый, сочный, чуть скрипучий, но скрипучесть была приятной, ядреной, как у крепкой капусты.

В конце октября, после десятиградусных морозов, пошел дождь, и все потемнело, пожухло: куда девались кружевные кокошники берез, серебристое узорочье, хрустальные подвески тальников – всю иневую красоту смыл дождь... Лед, до этого прозрачный и гладкий, как зеркальное стекло, покрылся язвами прогалин. Дороги раскисли, прибрежные березы печально тянули к земле длинные узловатые, словно усталые

руки, мокрые ветви. Оттепель настолько затянулась, что вставшие было на прикол или застигнутые в пути отдельные суда и целые караваны продолжили навигацию.

Уже полмесяца я живу у Муратовых на «квартере».

Ребятишки – Таня, Катя и Васька-музик – скучают по отцу. А Кеша все не летит... Мария работает на базе. Уходя на работу, она запирает сенную дверь на палочку, чтобы дети не выбегали на улицу. Одиночество им надоедает. Иногда я прихожу раньше всех, они в три голоса кричат: «Дядя Витя пришел!» – и тут же начинают рассказывать о важнейших событиях, случившихся в их царстве...

Таня докладывает с иронией о проделках младших, снисходительно морщит веснушчатый носик. Ее хрипловатый голосок перекрывается скорострельной, на все дыхание, звонкой речью сестренки: «Васкаменяделгалза волосытаньказоветменя катькойалкатькой...» Пока Катя «перезаряжается», Васька, поблескивая серыми глазенками, хвастается: «Витя-дядя, я со стула плыгнул! Думал, папка идет...»

В эти минуты, пока не притупилось чувство новизны, они не дети – золото! Не отходя ни на шаг, помогают раздеваться, прибираются и говорят, говорят... приходят Мария с Натальей – все повторяется, но в сокращенном варианте. И незаметно-незаметно начинается содом: беготня, визг, смех, плач, жалобы... Только после ужина на детей находит умиротворение. Кто-нибудь, чаще Васька, подает потрепанную книжонку, следом тянет ручки: «Витя-дядя, на – меня...» Как тут откажешь? Мне даже нравилось – я подхватывал «музика», сажал на колени. Катька-алкатька устраивалась рядом. Начинались вечерние «чтения». Сначала «читали» картинку. Громко сопя, ткнув пальцем в картинку, в которой раз уже Васька спрашивал:

– Тута – чо?.. А вота – чо?.. – И сам же отвечал: – Лошадь. Она – плыг! И вота – упала...

Сестренка смеется:

– Упала... Это она в воде, как в зеркале...

Шестилетняя Танька держится возле матери. В углу комнаты, называемом кухней, Мария с Натальей ведут свои разговоры. Девочка с интересом слушает их, не выпуская из виду и нас: бросает реплики, подсказывает – все книжки она знает наизусть; я иногда импровизирую, читаю отсебятину, она снисходительно меня упрекает: «Дядя Витя, ты сам как малень-

кий...» Да... рано она смотрит на мир по-взрослому. Когда возраст брал свое, я старался ей подыграть, особенно нравились ей «считалки» вроде:

Инте-инте-интерес!
Убежим мы в темный лес!
Поиграем в том лесу,
испугаем там лису,
Таньку дернем за ко-су!..
Ну, а Ваську-мужика
крепко схватим за бока!..

Отсутствие Кеши очень сдерживало обустройство квартиры.

– Он бы и камин давно сложил, и переборки сделал, и дров сухих привез, – не раз сетовала Мария. – Тетку Марью, что ль, попросить?

Плиту или, по-Мариному, камин за несколько вечеров сложила ее «сродственница», штукатур, сухонькая проворная тетка Марья. Мы были у нее в подсобниках. Работала она споро, на нас покрикивала, осыпая веселыми матерками. И вот она торжественно, на пробу, разожгла огонь в камине. На этот случай я набрал сухих, как звон, дров. Камин стал быстро нагреваться. Мария, сияющая, довольная, обняла прижавшихся к ней детишек и проговорила:

– Вот теперь, детки, у нас дом! А то какой же дом без камина, правда?..

...Когда мы приехали в Малышовку и мать купила не избу, а почти голый сруб, мы год обходились жестяной печуркой или, по-малышовски, «каленкой». Кирпича тогда не было вовсе. Дядя Петя сбил нам на следующее лето русскую печь из глины. И я до мельчайших подробностей помню тот торжественный момент, когда дядя Петя запалил щепки, и стал выгорать вязовый свод топки, – все были счастливы. И хоть печь нещадно дымила и наполняла сырым духом во время топки нашу избу, всю зиму она пекла черные, с лебедой, коврижки, сушила наше лакомство – свекольные паренки, томила тыкву, парила репу и турнепс, грела озябшее тело... И я с благодарностью вспоминаю ее по сию пору. Помнят, верно, свой камин и Мариины дети.

...Под берегом шуршит шуга,
а у крыльца шумит тайга,
мшистая,
ершистая.
Уснули крепко в доме все,
и новый сруб, вздохнув, осел.
Будильник на столе стучит,
ребенок вдруг во сне кричит.
Чтоб тишину заштопать,
Мариин сразу шепот:
«Спи-спи, мужичок,
моя детынька...»
Шепчет Мария Наташе:
«Сошли с ума, что ли, наши?..
Вечно им больше всех надо!
Сказало начальство – и рады...
Детей, подлец, наплодил,
а сам, как вольный казак!..
Нету уж больше сил...
Лезешь вечно из кожи...
Я не двужильная тоже:
снег только вот стает –
уеду к мамке... в Расею...
Лиха на ус помотает,
живо забудет про Север...» –
«Скоро Юган, Маша, станет...
Что тогда делать станем?..» –
«Заколеют наши дураки!
Хоть форсить им вовсе не с руки,
но подумать только – просто страх! –
чо там: в телогрейке, в сапогах...
А ведь там железо – в буровой...» –
«Ну да твой-то Кеша – огневой,
а вот мой-то – уж на что мозгляк,
а туда же... я и так, и сяк...»
...Осторожно, боясь наколоться,
над тайгой подымается месяц;
в дом проник через окна-колодцы –
темень тонкими ножками месит;
притомившись, сидит на кровати
и ведет себя очень по-свойски:
вот примерил мой старенький ватник
и попробовал завтрак в авоське;
напоследок прозрачные пальцы,

как на клавиши, им на ресницы
опускает...
...Не лунные вальсы –
возвращенье мужей бабам снится.

В ту памятную осень первого Усть-Балыкского фонтана на работу мы ходили по грязи и снегу. Потом выбили у Бочарова трактор с санями. Весело было: навалишься кучей малой, тракторист врежет «петушка» – только гусянки позвякивают что твои валдейские колокольчики. «Эх, прокачу!» Только пыль снежная столбом! Раз прокатились, два: «однако, заворот кишок могет быть!» Да и снежная пыль: снег в гусеницах перетирался в жесткую пудру – была она вездесуща: проникала в самые потаенные места, лицо покрывалось глазированной корочкой, на буровую приезжали мы нахохлившись, в пудре, как кексы. После глаза слезились, кожа шелушилась. Подняли местком: «Где охрана труда? Требуй!..» Начальство отреагировало: плотникам была дана, как любили у нас выражаться, «команда» сделать на санях будку.

К тому времени квартировал я у Егоровых, в том же доме. Располагался в «спальне» – маленьком чуланчике, отгороженном от «залы» перегородкой. Домики эти – «коттеджи» – были с Большой земли, попали к нам благодаря оттепели и фонтану: завернул сюда караван барж, шедший в Березово и вмерзший было во льды. «В лесу лесу не нашли, епонский городовой! – ругался Кеша, узнав, откуда дома. – В Тулу со своим самоваром ехать и то... Ну что это за материал? Тьфу!» Обессоченнное дерево не пахло смолой. Зато скипидарным духом и озоном шибало от камина: дрова были сухи, смолисты. Недостатка в них не было: натрелевали мы из Чеускинского бора сухостоя на оба камина. Жили дружно, одной семьей, свободное время проводили вместе.

Наталье из-за меня приходилось вставать рано: она взяла надо мной шефство и готовила завтрак, собирала «торбазок». Растопив камин, охолоневшая, она ныряла к мужу под одеяло – он просыпался и сердито повизгивал. Когда я заскакивал с улицы, красный как рак после растирания снегом, в клубах пара, она стаскивала с Петра Егоровича одеяло, выталкивала с кровати: «Мерзляк самарский! Иди на улицу, делай зарядку!..» Тот дурашливо клацал зубами и заворачивался с головой в одеяло.

Собирались мы у клуба еще в темноте. В одно прекрасное утро увидел я вместо саней нечто похожее на цыганский

шарабан без колес или повозку времен покорения дикого Запада. Обойдя это «нечто» и увидев в его чреве огоньки сигарет, я понял, что это наше новое транспортное средство, и полез внутрь, по голосам определяя, кому наступаю на ноги. Тут же окрестили мы это «средство» «Коломбиной». Название пристало... При дневном свете выглядела она невзрачно: передняя часть каркаса обтянута черным автопологом, все остальное выгоревшим палаточным брезентом. В «Коломбине» даже днем темно, свет проникает с занавешенной «кормы»; набита она жестким сеном, между скамейками персональные «гнезда» – пригреешься в нем иной раз и не заметишь, как уже буровая. Разговоры по утрам тихие, житейские: кто о чем. Бани вот нет. Та, в которой мы жили летом, опять под жилье занята. Обмениваемся опытом: кто как обходится?.. Возмущаемся: «Имя – только работай! А как живем – до едрени фени...» Подтруниваем: «Нича-а... Ханты в бане не моются да не помирают... Так оно, можа, луч-че: комар донимать не будет...»; Эт-т ладно, снегом умоисси. Вот с шамовкой – эт-т да! «Мыр-лапку» подчистили: карамельки подмочены да икра кабачкова... «Какие конфеты испортили: марципаны! С довоенных лет не встречал: эх и марципаны были!..»

Иногда словно бес вселялся в мужиков. Начиналась «угадайка!». Хлопнут тебя рукавицей по шапке, а ты угадай: кто?.. За пушечный хлопок притягивали шапки с кожаным верхом, все поменяли их, один Женя Ибрагимов рисковал, но к нему не лезли: рука у него была тяжелая. Иной раз «меховуш-кой» в брезентовой верхонке так трахнут – в голове загудит, рассердишься не на шутку, а виду не показывай – иначе хуже будет: таковы правила игры.

Но чаще у нас другие «представления». Поскрипывает «Коломбина», в проеме, подрагивая, словно на экране кинопередвижки, мелькают то кедра лапы, то жемчужные ветки берез, то белые саранки тальника, то просто исчезающая во тьме присыпанная снежком – словно космической пыльцой – таежная дорога (в будущем она будет называться зимником).

И словно за кадром – голос Павла Чуманова, пожилого бурильщика.

... Но шепот громче голода, –
он кроет капель спад:

«Через четыре года
здесь будет город-сад!..»

С эстетической точки зрения – все в порядке было. Но – если к этому душа предрасположена. А если нет, то по дороге думаешь о том, как приспособиться к неустроенности быта, терпеть лишения, голод-холод. Один гнус чего стоит! Ради чего все? Стоит ли? Чтоб отработать обязаловку – три года! – «где требуешься»?.. Так оно: приземленно и буднично. Но где-то в подсознании, ознобом по спине, догадкой – предчувствовалась значительность происходящего. И это ощущение усиливал напряженный голос Чумакова:

...Я знаю – город будет,
я знаю, саду – цвесть,
когда такие люди
в Стране Советской есть!

И сейчас, слушая ораторию Свиридова на эти стихи, я невольно вспоминаю нашу «Коломбину», нескладного бурильщика Чумакова, панораму поселка, возникающего на нашем «экране» при повороте... и мурашки пробегают по коже... и не вина наша в том, что мы были такие!

Усть-Балыкская партия глубокого бурения организована из двух участков: Ярсомовского и Пимского. База партии – наш поселок – пока без названия, обратный адрес пишем: поселок Чеускино. До него семь километров. Наши донжуаны ходят туда на танцы, в кино, пьют с местными, порой дерутся. «Ну, как – хорошо пофестивалили?» – пытают их с завистливой подковыркой женатики. Незадачливые ухажеры похахатывают: «Мы таковские! Какой же фестиваль без иллюминации?..»

Довелось и мне побывать в Чеускино. Месяца четыре мы не получали зарплаты: все под запись. К зиме люди взроптали. Тогда приехала из Сургута кассир: получай кому сколь начислили! Хоть и платили нам голый тариф, и коэффициент был маленький, а набралась у меня после вычетов порядочная сумма денег: около четырехсот рублей. «Десять стипендий! Нища-ва...» Я отпросился у мастера и пошел в знаменитое Чеускино. Дорогу мне объяснили, но шел я по заснеженному сору с опаской: недели две назад один парень ушел на охоту и как в воду канул, мы два дня прочесывали – нашли обложку «Огонька», в которую он еду завернул, с вертолета потом

искали – бесполезно... Я благополучно одолел дорогу и через пару часов был на почте: испытывая самые приятные чувства, смотрел, как почтарь оформлял перевод на триста рублей, и представлял реакцию домашних – таких денег враз у нас не бывало... Могутный мужчина, неловко держа в толстых пальцах химический карандаш, заполнял документы, долго пересчитывал деньги. «Этими лапищами тебе не бумажки перебирать, а железо на буровой таскать. Или медведей вязать...» – мысленно попрекнул я почтаря. Словно прочитав мои мысли, он сказал: «Жонка, вишь, в декрете, заменить некому – приходится грамотешку вспоминать. Сопрел аж... Фиса!.. Фиса, поди, глянь – правильно – нет?.. С пешней аль с топором – сподручней...» Полная женщина, мельком глянув на бланк и квитанцию, неспешно зевнула и, перекрестив розовый рот, спросила меня: «Документ какой есть?.. Похоже, вам посылка из Уфы...»

Вот это сюрприз! Брат прислал теплые вещи, конфет, две залитые всклень бутылки водки, жаль, еще одна разбилась, тельняшка, в которую она была завернута, долго пахла; уцелевшие бутылки оставили на Новый год, а конфеты... выклянчили детишки за неделю.

Пока я ходил в Чеускино, приехало начальство – проводить выборы разведочного комитета, собрание вечером в клубе.

Клуб, привезенный из Ярсомово, собирали в последнюю очередь, на скорую руку, – пола не было (то ли растащили его, то ли решили: и так перебьемся зиму, а там – новый построим).

Народу – полон клуб. Среди взрослых дети. Даже наша Танька пришла. Несколько местных жителей в ожидании фильма посапывали в дальнем углу. На дощатом помосте, заменявшем сцену, стол, застеленный алым сатином. В президиуме все начальство: Бочаров, Егоров, мастер Иглин, начальник экспедиции Салманов и еще двое незнакомых мне.

Присутствующие принаряжены. Как-то непривычно видеть товарищей не в робе, а в добротной и даже нарядной одежде. Про женщин и говорить нечего: преобразились, не всякую и узнаешь! В клубе холодно, никто пуговицы не расстегнул, шапки не снял. Только президиум, бросая вызов холодрыге, сидит в пиджаках, с непокрытыми головами. Не сразу разглядишь под пиджаками, на свитерах из верблюжьей шерсти, меховые жилеты и помочи меховых же штанов. Да и на возвышении все ж!

Отчитываются два председателя участковых разведкомов. Предстоит избрать новый – совместный – комитет. Выборы странные: в Пиму уже проголосовали. А вдруг мы будем против пимского комитета? И выберем других? Не быть же двоевластию?

Первым читает свой доклад пимский председатель Хропаль. Он низкоросл, щупл, невзрачен. Золото коронок из-под рыжеватых усов тускло поблескивает. Доклад ему под стать: прописные истины, ничего конкретного. Запинается, хоть и во второй раз читает. Закончил – никто ни слова: ни за, ни против...

Николай Крюков – бурильщик, недавний морячок, наш председатель – отрапортовал без бумажки, напористо, с критикой.

– Чо делали?.. А продукты делили. Про Ярсомово – что говорить? Там работали. Здесь – зубы на полку класть пора: за навигацию по килограмму продуктов на душу. Вот спасибо: и начальству, и разведкому, и парткому! Себя, небось, обеспечили – вон, раздетые сидите, а у Чумакова с кабачковой икры, хоть он и в пальто, нос посинел...

– С голоду не помрете: самолетом возить будем! – прервал его Бочаров. – Вы не об утробе... не только о ней... думайте! Как план будем выполнять? В связи с историческим открытием... материалами съезда... перед нами стоят огромные задачи... Сейчас, можно сказать, в жизни области... всей Сибири... намечается резкий поворот... Об этом и предложения давайте, конкретные... деловые...

Крюков быстренько закруглил свое выступление. Прения открыл помбур Юрий Перевалов. Он, что называется, с ходу покатил на Бочарова «бочку»: про продукты, про заработок («посиди-ка с пятью ртами на тарифе...»), про ошибки («летом строиться надо было, а он всех распустил и сам на югах брюхо грел...»), про негодную организацию труда, разукомплектованное оборудование, технику безопасности... Много дельного сказал Перевалов и предложил выбирать «достойных товарищей, которые не боятся правду-матку резать в глаза любому начальству». Упрекнув некоторых из рабочих, готовых «за пачку лизать одно место», несколько смазал свое выступление.

– Вот Муратов – он молчит! – привел он пример. – А почему? Бочаров заткнул ему глотку: дал новый кран, разряд повысил. Другим – тоже...

– Сплетник ты, епонский городовой! – вспылил Кеша. –

Сплетни бабские собираешь!.. Слушать тебя не могу!.. Тьфу!.. – Обозвав напоследок Перевалова последними словами, он стал продираться к выходу.

Что тут началось! Всех охватил ораторский зуд. Вмешался Салманов:

– Тише!.. – крикнул он пронзительно. – Ви что?.. Я – человек южный. И сказать – есть чито! А молчу. Жду. Как это по-русски?.. Свой черед. Давайте ви тоже: каждый свой черед!

Еще сегодня мы радовались жизни, с удовольствием работали, смеялись, шутили... С наслаждением грелись у костра, угощая друг друга из своих «торбазов», блаженствовали, кимаря в «Коломбине»... Вроде ясно-ясно было, и вдруг из ничего – мелким дождичком посыпало, потом капельками и вот – как из ведра окатило, ливень да с градом:

...жилье! жилье! жилье!.. Слесарь Асанов с пятью ребятишками ютится в балке-развалюхе... балок промерзает... дети болеют...

...спецодежды нет... одежонку купить негде... известки нету – как без нее чистоту в доме блюсти?..

...ни книжечки, не тетрадочки, ни пузырька чернил... газетку бы почитать, радио послушать – где?.. письмо куда опустить?.. обратный адрес какой указать?..

...продукты! продукты!.. по осени дичь выручала, рыбка... овощей бы... да и фруктов – детишкам побаловаться хоть...

...прописка – кто где числится... (другие, как я, нигде не прописаны: нас как бы и нет?)

...как?.. что?.. где?.. до каких пор! – столько проблем вдруг выплыло, что оторопь взяла: в таких условиях жить не-воз-можно! А мы – жили... и не просто жили – работали. Весело работали! Значит, мы можем «через не могу»? Значит, запас прочности у нас – ого-го?! И мы – люди, из которых можно, по-тихоновски, делать гвозди? Или просто заторканные, привыкшие ко всему «трудящиеся», у которых только просыпается «классовое сознание», протест против установившегося порядка вещей?..

Собрание оглушило меня, как врубленный на полную катушку приемник, извергающий какофонию звуков, но сквозь шум помех прорезалась основная «мелодия»: трезвая оценка ситуации простыми «работягами», понимание объективных и «головотяпских» трудностей, предложения по их устранению, раздача «сестрам по серьгам». Собрание преподнесло мне урок

на будущее: если руководишь людьми, думай не только о работе, но и о «мелочах» – из них и складывается наша жизнь; чаще советуйся с людьми, оглядывайся вместе с ними: а порядок ли, товарищи, у нас в доме?..

Выдохшиеся, умиротворенные, как после жаркой бани, решали последний вопрос: как назовем поселок? Усть-Балык? Нефтеборск? Нефтегорск?.. Сошлись на «Нефтеюганске» – постановили: просить власти утвердить это название. Было это 16 декабря 1961 года. Точнее, уже 17-го, расходились за полночь... Проспавшиеся ханты спрашивали: «Кино пыло?» – «Было-было! – отвечали им остряки: – «Покорение Сибири», первая серия. Многосерийная э-по-пе-я!..»

На улице пахло смолистым дымом – пригнуло его вниз, к непогоде, да и пора снежку пасть: декабрь!

Поселок спал. Лишь у Иглина и Бочарова дымились трубы: там ждали гостей.

Было радостно и тревожно идти в темноте по неглубокому снегу, игнорируя тропинку, – скоро наметет его столько, что так вот вольно и не походишь...

Март 1965 г.
Сургут

НОВОЕ ДЕЛО

«Новое дело тебе поручаем, ответственное... Приказать не можем: нужен энтузиаст! Вот иди, поговори еще с Федоровым, – может, он тебя убедит... – Биншток, новый начальник экспедиции, вдруг заговорщицки улыбнулся: – Между нами говоря, геофизики интеллигентный народ, не то что буровики... соглашайся!»

Виктор Петрович Федоров, главный геофизик, плотный, просветленный какой-то, неторопливо посвятил меня в суть вопроса. «В экспедицию начали поступать станки для бурения взрывных скважин. То, что нет специалистов, – одна сторона дела. Надо готовить группу мастеров, есть специальная программа, а кто будет? Некому... Вторая сторона дела заключается в том, что скважины, пробуренные шнековым способом, быстро заплывают – взрывники не успевают опустить в них

заряды. Надо решать эти задачи. И снова: кому поручить? Есть у нас асы... Но – либо практики, привыкшие работать с комплектами ручного бурения – «эмпайрами», либо энтузиасты, но... с геофизическим образованием. Старых буровиков пригласить?.. По себе ощущаю: инерция мышления... Поэтому хотелось бы поручить это новое дело кому-то из молодых технарей, конечно, с творческой жилкой. Настойчивому. Чтоб смог сам, так сказать, зажечься идеей механизации бурения при сейсморазведке... И других зажечь».

Главный геофизик глубоко затягивался дымом, плавно отводил сигарету в сторону, щурил яркие голубые глаза, смешно делал губы трубочкой – при этом был виден одинокий желтый зуб – и выпускал дым тонкой струйкой в сторону форточки. У него было массивное, крупноносое лицо, изрезанное вертикальными и горизонтальными морщинами и складками – «геологическое», так сказать, лицо, обрамленное редкой проседью. Курил он вроде бы неумело, но желтизна больших ногтей и зубов выдавала в нем заядлого курильщика. (Я не курил уже четыре месяца и на слабости других смотрел снисходительно...)

Федоров подробно рассказывал о структуре геофизической службы в экспедиции, о ее задачах и кое-что, к слову, о себе. Его интонация временами раздражала меня: «Говорит как о решенном деле, а ведь я согласия не давал». Замечание Бинштока о буровиках задело меня. «Голубая кровь! А открытия-то у буровиков на долоте!.. Вот сейчас встану и попрощаюсь...» Но сидел и слушал: интересно человек говорил, о новом для меня.

В кабинет несколько раз заглядывали, но осторожно прикрывали дверь. Мне это льстило: не тревожат, понимают – разговор серьезный!

И когда я привел Федорову свой последний довод: «Я же мелкое бурение не знаю, у нас все структурно-поисковое бурение было втиснуто в несколько лекций, практики не было», он принял мое возражение за согласие.

– Э-э, батенька... – усмехнулся он, – молодой специалист и не должен все знать. Он должен владеть методикой: как это или то узнать. Все остальное – дело наживное...

Разместил меня Виктор Петрович у себя в кабинете. Основную часть времени я проводил на ремонтной базе – в РКТБ, так она хитро называлась. Стояло там несколько неис-

правных буровых станков. Дали мне в помощники недавнего механика-водителя танка Толика, с ним я и «осваивал» технику – восстанавливал старье. Одновременно проталкивал изготовление двух погружателей зарядов, – Федоров дал какое-то подобие эскизов. Я сделал нормальные рабочие чертежи, попутно усовершенствовав конструкцию погружателя. В мехмастерских привыкли все делать по образцу и, приняв чертежи, спрашивали: «А сама железяка-то где?..» Я разводил руками: «Нету, впервые в мире...» Усмехались поначалу: с приветом парень «чи шо»?..

Выполнялись заказы со скандалом. Стоишь над душой – обрабатывают. Отошел – деталь из патрона и в сторону, другой срочнейший заказ подоспел. Понять механика можно: все его теребят, всем он «должен»! Мехмастерские работали в две смены. Чтобы как-то ускорить дела, приходилось задерживаться до позднего вечера: и за слесаря-сборщика и за такелажника, и за бурильщика.

В каптерке РКТБ сидела диспетчер Зиночка. Все, кому не лень, околачивались там. Заходил туда и я. Разомлев от жары, я как-то распахнул полу-шубок и заметил, как кокетливая девица удивленно уставилась на мой «поплавок», привинченный к лацкану толстого польского пиджака. По РКТБ иногда дефилировали два молодых специалиста с институтскими знаками; в унтах, в голубых меховых костюмах на молниях, ходили они приволакивающей походкой старых северных волков, засунув руки в карманы распахнутых курток, снисходительно подтру-нивая над Зиночкой. По сравнению с ними я, конечно, выглядел как какой-нибудь пехотный лейтенант рядом с летчиками или особистами. Получилось так, что первое время со сверстниками я не общался. Они сдружились еще в сентябре, как приехали, жили в общежитии. А я квартировал у тети Нюры, общался с обитателями ее дома. В экспедиции, как я позже узнал, считали меня высокомерным, заносчивым.

Во второй половине февраля мы уже испытывали погружатель за мехмастерскими, в пойме Черной речки. Впервые я увидел тротиловые болванки: массивные, желтые, с полой сердцевиной. Хоть и поразил меня склад взрывчатых материалов убогостью строений и охраны, своей обыденностью, ходил я с внутренним холодком между штабелями, поглядывал на них уважительно: столько «спящей» энергии мне видеть не приходилось.

Испытания проводились с деревянными болванками. Не все ладилось, перебирал варианты, менял конструкцию. И вот – пригласил Виктора Петровича на приемку работы.

Было бы во что – приоделся бы по-праздничному: чувствовал торжественность события, все-таки – первая вещь, родившаяся из нарисованных мной линий! Мной! Нарисовал бы по-другому – была бы другая вещь... Устройство!.. Жаль, что шмотки в Усть-Балыке...

Виктор Петрович приехал не один, с ним были начальник сейсмопартии Бехтин и техник по бурению Власенков. Потом к ним присоединился длинновязый очкарик, в унтах, радикулитке, с планшеткой на ремешке. Слегка заикаясь, быстро облизывая красным широким языком пухлые губы, он то и дело бросал ехидные, но дурашливые замечания.

– Герман, ты, как всегда, хочешь казаться максималистом, – добродушно одернул его Федоров. – Сейчас же выглядишь консерватором. Кстати, – обратился он ко мне, – познакомьтесь: ваш подчиненный, прораб буровых работ Солкинской партии Герман Телятников.

Герман шаркнул по снегу унтом:

– Оч-чень... неприятно. Им-мей в виду, ш-шеф, твой противник: т-ты занял мое з-законное место...

Бехтин одобрительно захмыкал, похлопывая Германа: вот, мол, какие мы, правду-матку в глаза режем...

Герман стоял циркулем, поправлял круглые очки и напоминал мне Жака Паганеля. Я невольно улыбнулся. Он многозначительно поджал губы, обидевшись:

– Ш-шеф, смеется тот, кто... Учти, упадешь, соломки стелить не буду. А у...у нас склизко... учти...

– Ну-ну, петух, успокойся: какие твои годы, успеется – во всех ипостасях побудешь, – утешил его Федоров. – Виктор Николаевич начал новое и трудное дело. Ему надо помогать. Половина дела, полагаю, сделана: с мертвой точки сдвинулись... Как, Николай Михайлович, – обратился он к Бехтину, – с тебя начнем?..

Бехтин скривил и без того асимметричное лицо и густым гнусавым голосом отказался:

– У меня материал какой никакой с «ручниками» идет, а вот у Кочнева, в Покуре, по Обской пойме – брак, к нему надо.

– Хорошо, – согласился главный геофизик, – на том и

остановимся. Готовьтесь, Виктор Николаевич, в Покур... в командировку.

Едва я выгрузил из АН-2 погружатель, подкатил вездеход ГАЗ-47. Его водитель молча закинул мой груз под брезентовый тент, а мне указал на командирское место. Я впервые увидел эту приземистую гусеничную машину; в Усть-Балыке у нас был легкий артиллерийский тягач – «АТЛ», в нем было просторно. С трудом, стыдясь неловкости, втиснулся я в кабину. С водителем нас разделял двигатель. Сидеть было удобно, правый локоть лежал на порожке дверцы, левая рука – на теплом кожухе двигателя. Подъехали к темной от времени избе, без вывески, но чем-то неуловимым отличавшейся от других. Водитель подождал, пока я выберусь из железной норы, сказал: «Завтра заеду...» – и укатил, обдав дымом.

В конторе сейсмопартии встретили меня приветливо. В большой светлой комнате, камералке, свежеоструганные сосновые столы завалены рулонами сейсмограмм, в обиходе – «лентами», на окнах занавески, горшочки с цветами, свежие кедровые ветки. Хозяйки – интерпретатор и две девушки-вычислители. Старшая, высокая и темноглазая, жалуется:

– Материал – сплошь брак. Бóльшая часть профилей по пойме. На каждом пикете плывун. Мальчики стараются: и группируют заряды, увеличивают до ста килограмм, и перестреливают, чтоб хоть на «троечку» материал выжать. Может, хоть вы поможете...

Они показывают мне ленты, поясняют, что к чему. Тонкостей я не понимаю, но «хороший» материал могу отличить.

Вечером меня пригласили на радиосвязь.

Когда-то нас учили обращаться с полевыми радиостанциями: показали, как поставить антенну, настроиться, и тут же приняли зачет... У меня в памяти осталось одно – антенна, запомнилась она оригинальностью конструкции: на мягкий тросик нанизаны металлические шпульки, лежат бесформенной грудой, а повернешь концевой зажим – шпагой гибкой вывострится... Вторым, образным смыслом, запомнилась: так вот и человек... много у него свойств и качеств. Но лежат они эдакой же кучкой до тех пор, пока не появится своеобразный «соединительный тросик с зажимом» – идея какая-нибудь, увлечение или любовь, которые и сделают человека таким же гибким и устремленным, как эта антенна.

Радист Виктор Пугин напомнил мне правила, вызвал на связь начальника и передал трубку, предупредив:

– Клапан при приеме не забудь отпустить...

– Второй... второй... – позвал я осевшим голосом, – инженер Козлов на связи...

«Второй, второй...» – это было символично: я во второй раз в жизни выходил в эфир. Год назад и сейчас. Тогда я со странным волнением слушал свой голос, искаженный эфиром, по радио. И вот снова он, превращенный в радиоволны, летит над Землей... и дальше, дальше... и я посредством их заполняю Вселенную...

«... Инженер!» – это был единственный случай наивно-студенческой гордости за звание инженера, произнесенное мной вслух.

Есть у Ивана Лысцова горькие строки:

Поуронили слово русское!
А то, которое в ходу,
оно в плечах такое узкое,
что не узнать и на виду...

Вот такая же девальвация и со словом «инженер» происходит. С какой горькой обидой за это слово приходилось сталкиваться с «инженерами» отделов кадров, служб быта, похвалявши-мися даже тем, что они «академий не кончали», что у них «четыре класса, пятый – коридор». Оклад инженера уже тогда был на уровне тарифа рабочего средней квалификации, которую можно приобрести, не обладая особыми способностями за несколько месяцев. В Усть-Балыке, к слову, мой сдельный тариф был больше сургутского оклада инженера. Анекдоты на этот счет появились. А вот наградами инженеры не избалованы!

Но это я познал несколько позже, а тогда гордо так представился:

– Инженер Козлов на связи!

Мой абонент был явно шокирован и тоже представился официально:

– Начальник партии Кочнев слушает...

Договорились с ним, что мне лучше выехать в отряд Беляева.

Что такое профиль, я знал, – старший брат сейсморазведчик и я бывал у него летом. Но на зимний, сибирский профиль,

выезжал впервые. Ночевал я в камералке, на сундуке. Механик Мациевский поднял меня затемно, и мы выехали на профиль к Беляеву.

Конец февраля. Дело к весне. По ночам мороз прижимает, снег голосит веселой хромкой. Световой день заметно прибыл. Солнце рано припекает, глазирует снега – они зеркально слепят глаза. Под корочкой крупнозернистый снег. По свежему следу вездехода невозможно идти, топчешься на месте: крупинки ускользают из-под подошвы, не дают шагнуть. Башмаки гусениц отполированы, ослепительно сверкают, звенят звонко, ксилофонисто. Пойма пересечена гривками, ложбинами, тальниковыми зарослями. При переезде с одного пункта взрыва на другой сейсмический отряд кружит, как в лабиринте, а мы напрямую.

Буровики движутся первыми. За станками прицеплены сани с инструментом и жилой балок. Балок миниатюрный, из тонкого бруса, для прочности скреплен крест-накрест металлическими полосами. Полозья саней из толстенных бревен, обуты железом; лучшие сани – из лиственницы. Спереди у балков лари для продуктов: котлопункта в отряде нет, каждый берет со склада мясо, банки всякие, хлеб и готовит сам.

В балке двухъярусные нары, на них спальники. На круглой, из трубы, «буржуйке» закопченный чайник, на полу ведерная кастрюля с бульоном. Пол замазучен. Грязно, темно. У входа умывальник, под ним рядом с помойным ведром канистра с бензином и трехлитровка с соляркой для растопки. Запах мехмастерской, а не жилья.

Мастер-водитель Николай Килунов, немногословный рязанец, зубы – никелированный шпунт («в молодости сосчитали... в драке»). Его помощник, Витек, моложе его, в два раза пошире, чернобров и волосат. Я со своим погружателем для них не в радость: дополнительная работа. Но Николай невозмутим: подшучивает над ворчащим Витьком. На станке положено работать втроем, они вдвоем управляются.

Бурстанок, потрепанный и старый,
как послушный конь у них в руках.
За троих работают –
на пару,
вот и крутятся они на всех парах...

Погружатель заряжен на взрывпункте – торпеда настоящая. Так и зовем: «торпеда». Или еще: «дура». Весит она, в зависимости от заряда, до трех пудов. К скважине подносим на руках. Правила безопасности я прочитал, но не «прочувствовал» – они еще существуют вне меня, так же, как опасность и страх... Старший взрывник Юра Шлепенков по-флотски элегантен, энцефалитка на нем сидит ладно, ниточка усов ровная. Вообще, как я заметил, взрывники не прочь покрасоваться, произвести на новичка впечатление. В печку, например, они бросали довольно крупные обломки тротила. Я хоть и знал, что при горении взрывается только критическая масса, на «буржуйку» с тротилом смотрел без восторга: где-то на околице души потягивало холодком. Мне вспомнился давний случай из детства. Жили мы тогда в маленькой деревушке Малышовке. На выгоне паслись овцы с ягнятами. Вдруг одного из них схватила собака и понеслась меж редких березок в темный лес. Когда я понял, что это волк, то не испугался, а скорее удивился. В то же время в глубине души или сознания надолго затаилось нечто холодное, неприятное...

Когда скважина готова, погружаем в нее свою «торпеду» и начинаем подъем. «Открылся – не открылся?..» Идут томительные минуты ожидания. И какая радость разливается в груди, когда из полости поднятого погружателя выходит кольцами боевая магистраль... «Получилось!.. Сработал!..» – я готов обнимать свое железное детище. И хоть провалиться сквозь землю – когда «дура» выходила в снаряженном виде, с запрессованным песком зарядом... Что с ней делать: подрывать или пытаться извлечь заряд?.. Или того хуже: заряд выходил, а магистраль заедало, и детонатор выдирался из гнезда. При виде открывшейся пасти погружателя и болтавшегося в ней, словно жало, ярко-красного детонатора где-то под желудком обдавало то жаром, то холодом. Даже Шлепенков, поигрывая желваками, заметно бледнел. «Бросить это дело к чертям собачьим!.. – проносилось в голове. И параллельно: – Конструкцию катушки менять надо – чтоб не заедало...»

Начальник отряда, широколицый мужчина в годах, ругался сиплым голосом. Ему вторил его помощник, Саша Калинин – «Михайлыч», такой же широкоформатный «восемь на семь», могутный. Гулким нутряным голосом он пытал меня:

– На кого работаешь, Николаич, а? Кто подослал тебя, не ЦРУ?.. Решили сорвать работу отряда Исая Анисимовича

Беляева, что в Северо-Ватинской сейсмопартии номер 18 дробь 61 тире 62?..

–...Где оператором внедрился агент ЦРУ по кличке «Михайлыч» и гонит сплошной брак, пытаясь таким образом увести русских от открытия крупного месторождения... – Беляев заразительно смеется. – Здорово я его уел, а, Николаич? – Просмеявшись, подмигивает мне: – Давай, дерзай!.. Чтоб весь материал таким шел!

Он берет подсохшую после проявления сейсмограмму, рассматривает и кладет на столик.

– Какие вступления! – щелкает желтым ногтем по ровной лесенке в начале ленты. – А какие отражения!.. А? Картинка!.. Будешь в камералке, передай Светке мой приказ, чтоб нацеловали тебя – сколь захочешь! На счет другого чего – не могу приказать, это уж потом решайте полюбовно, а на счет поцелуя – передай.

Я вспомнил яркогубую высокую Светку, капризный изгиб ее рта... и, видимо, смутился. Михайлыч сгладил бестактность друга:

– Ну-ну... дядя шутит... – пророкотал он. – Не хошь? И ладно. Замнем для ясности. У нас девочки нецелованные. Мы их блюдем для хороших ребят.

Из другого отряда приехал техник по бурению Иван Иванович Платонов, крепкий рябоватый мужчина, с яркими – шоколадными – глазами и каштановыми, под цвет глаз, волосами. Голос у него свежий, ядреный, было в нем что-то задорное, как в хрусте свежего снега. Располагались мы с ним в итээровском балке на верхних нарах. Освещался балок от семилинейной лампы со стеклом; аккумуляторное питание Беляев берег.

– Опять что-нибудь спалите! – ворчал он.

Батарейный приемник «Родина» сгорел, геофизики грешили на Платонова: подсоединил к аккумулятору. Тот открещивался: сами сожгли, а мне дело шьете?.. Дудки!

Впрочем, за день все выматывались так, что не до радио и не до чтива было. Да и «травлю» на сон грядущий Беляев начальственно пресекал. Широко зевая, по-бульдожьи рявкал:

– Спать! Завтра всем на работу в семь! Как штык!

Через неделю сравнительно успешных испытаний вся хитроумная начинка погружателя по непонятной причине

осталась в скважине: или я ненадежно затянул стопорный болт, или подшутил кто. Запросил самолет по рации. Но появился Мациевский на вездеходе и мои планы изменил.

– Что за проблема! – воскликнул он, узнав о моей беде. – В Вартовске, на рыбозаводе, у меня главный механик кореш! Что желаешь, сделаем! Да еще и обсудим!

Беляев ухватился за это предложение.

– Давай, Николаич! Пару гнилых профилей отшлепаем – и «гуд бай»! Дальше разрез глинистый пойдет, обойдемся без тебя. А?.. Да и Ван Ваныч поднатаскается...

Я согласился. Мациевский на одной гусянке крутанулся и помчал меня по белоснежной реке, навстречу ослепительному сиянию – пока не закипел двигатель. Мы выбрались наружу...

Хоть морозы суровы, как прежде,
и от ветра сочится слеза –
нынче день, словно первый подснежник,
распахнул голубые глаза!
Синевой наливаются ели...
А в рассыпчатом, звонком снегу –
как в прохладной жемчужной купели
я, ей-бог, окреститься смогу!..
Чуть замру – и такое безмолвье
в этом мире, насквозь голубом!
Вот снежинка летит – микромолния!
А коснулась других – микрогром!..

Мациевский зовет – прогреет остывший двигатель самую малость – и вперед! «Военная» машина рвет снега. Пересекаем укатанную санную дорогу. «Оленья... – поясняет механик. – Ханты на север гоняют на нартах».

Слово «завод» у меня ассоциировалось с чем-то крупным, мощным, значительным. Рыбозавод разочаровал меня. Мациевский с главным механиком, таким же краснолицым и голубоглазым крепышом, надолго скрылся в приземистом, похожем на лабаз помещении, а я остался в цехе. Как только были изготовлены мои детали, он, пышущий жаром, тотчас появился: «По коням?!» И снова ровный рев мотора, усыпляющее тепло. Ехали, видимо, другой дорогой, в маленьком поселке сделали остановку. Вошли в крошечный, занесенный снегом до крыши домик. Кухонка, уютная комнатка. Чисто. Сухо. Жарко. Приятный дух стряпни, сдобной выпечки. Полная красивая

женщина без разговоров накрыла на стол: в толстых фаянсовых тарелках борщ, жаркое, грибы, брусника. Выставила граненые стаканчики. Мациевский все воспринимал как должное, обменивался с женщиной короткими, непонятными мне фразами...

После сытного обеда вездеход мчался, словно застоявшийся конь в родную конюшню – взметая снег на поворотах, как бы взлязгивая при переключении передачи; то ли сказывалась накатанная дорога, то ли у водителя пробудился азарт после встречи с женщиной...

В отряд мы приехали к концу дня. Опытничать с «торпедой» не стали. Беляев сказал:

– Оставим на завтра. Сейчас на «удочку» выжимаем. Помоги-ка лучше механику: закусь сгоношите. У нас тут были «военные» летчики, я их «спецзадание» попросил выполнить... – Беляев заговорщицки подмигнул узким глазом и щелкнул пальцем у кадыка.

Этот жест я уже понимал и осуждающе помотал головой.

– А чо? – сразу ощетинился Исай Анисимович. – Привезли спецматериал. Взрывчатку так шифруем. Не знал?.. А ты подумал... – снова подмигнул и рассмеялся.

Мациевский тем временем вытащил из кузова пятилитровую кастрюлю, из кабины сумку со звякнувшими бутылками и плетенку лука. Мне он доверил чистить лук, а сам принялся «отбивать» икру от жировой пленки в полуведерной кастрюле. Наставлял и меня – как это делается, полной ложкой пробовал: не готова ли? Предлагал мне. Я отказывался: не ем сырого, брезгую. Недавно хозяйкин зять угощал мороженой стерлядкой. Я с содроганием съел одну густоперченую рыбку и все прислушивался: не шевельнется ли она в желудке, оттаяв. Хозяева же их наяривали! – словно свеженькими огурчиками похрустывали.

– Ешь, Николаич, ешь... – угощает Беляев, поблескивая крошечными светлыми глазками. – Может, когда будешь вспоминать, как вот так, деревянной ложкой, из кастрюли, черную икру рубал. Ешь, не стесняйся. Но привыкать не рекомендую. Я вот этого «агента» цэрэу понимаю, – кивок на Михайлыча, – чем раньше открытий наделаем, тем раньше орава народу привалит, вот тогда и останется – вспоминать... Я вон – в Поволжье работал... Ешь!.. Не вороти нос!

Чистого спирту до этого я не пробовал.

– Чтоб горло не обжечь, – инструктировал Михайлыч, – испей водицы, сразу же спирт и – не передыхая! – снова аш два о. И все будет о'кей! Меня в армии учили – на Севере служил. Ну, теорию усвоил? Давай на практике... поглядим, что за ученик...

Доброму учиться – мучиться, а такое – само идет... Не зря меня предупреждал главный инженер...

После спирта черная икра показалась вкусной. И пленка нипочем!

После одной бутылки Платонов взялся фокус показывать. Налил воды в бутылку, бросил туда обломок спички и стал гонять ее вверх-вниз, останавливая, по желанию, в любом месте. У всех глаза на лоб полезли: чудеса! Калинин недавно с курсов из Москвы вернулся – Беляев и стал нас с ним подначивать:

– Ну-ка, академики, шевелите извилинами: в чем секрет?.. А мы, практики, вмажем в это время по рюмашке...А? Ван Ваныч? Брониславыч?..

Фокус меня заел. В похожей ситуации я оказывался на практике – там меня теормех выручил. А здесь?.. Я стал рассуждать: здесь гидравлика должна помочь. Так. Плавучесть. Зависит от плотности. Туда-сюда... Значит, меняется плотность. Среды или тела. Так: тепло! Плотность – вес на объем... Теплее!.. У рыбы сжимается пузырь... Понял! Беру спички, выбираю плотную, без пор – из сучка. Предлагаю Иван Иванычу:

– Погоняй эту...

Фокус не получается. Теперь шокирован Платонов. А я не скрываю самодовольства:

– То-то!.. Надо не только фокус знать, но и его фи-зи-ческую основу...

Платонов обиделся:

– Куда уж нам!.. Нам науки неколи было учить, робить нужда заставляла...

Я смутился: ведь без задней мысли ляпнул, объяснил суть фокуса:

– Палец, как поршень, давит на воду. Вода несжимаема, а воздух в порах спички, как в рыбьем пузыре, реагирует на давление: нажали – пошел вниз, чуть отпустили – вверх...

Все были разочарованы простотой объяснения фокуса, но какая-то подвижка в настроении произошла, – Беляев перевел разговор на природные загадки, которые так просто, без чудес-

ного – снежного человека, пришельцев или высшей силы – не объяснишь...

Оказалось, Беляеву скучно жить во Вселенной без братьев по разуму!.. Он уверен, что в прошлом Землю неоднократно посещали инопланетяне. И почему бы им не появиться сегодня или на днях? Может, они уже выбрали площадку для приземления... Лучше, чем в Сибири, им места не найти: освоиться и постепенно подготовиться для контакта.

– Ну-ну! Еще по сто пятьдесят вмазать – само то: входить в контакт с внеземной цивилизацией... – пробасил Михайлыч.

Посмеялись: уел начальника... А тот распалился не на шутку: достал журнальные, газетные вырезки. В них «взлетные полосы», «гермошлемы», гигантские статуи, загадочные взрывы, вроде Тунгусского, переплетались со сказочными «феноменами». Его обрадовало, что в свое время я тоже начитался статей по этому поводу и даже в группе выступал с рефератом о возможности внеземных цивилизаций согласно теории профессора Козырева.

После этого мы не раз вели полуночные разговоры на эту пьянящую воображение тему. Тут уж не выдерживал Михайлыч (Ван Ваныч уехал на базу).

– Вы!.. Братья по разуму, угомонитесь или нет? – бурчал он возмущенно. – Вроде на пробку не наступали, пользуетесь тем, что не могу отодвинуться от вас на край Вселенной? Лучше бы анекдоты травили или про баб трепались...

Беляев огрызался незлобно, а Калинин апеллировал ко мне:

– Николаич, не общайся ты с ним на эту тему. Он же помешался на этой фантастике. Жена выгонять собирается. К Аэлите... «Завтра всем на работу в семь...» – передразнил он и рявкнул: – Прекратить контакты! В анабиоз!..

– От зверь! Неандерталец!.. – сипел на него Беляев. – Не даст с человеком наговориться... – И ласково жаловался и утешал меня: – Ничо, Николаич, встретимся в Покуре – обговорим без помехи. – И, засыпая, не забыл напомнить: – Завтра всем... на работу... в семь... как штык...

Десять дней я пробыл в отряде, а такое впечатление, что занимаюсь этой работой всю жизнь: мотаю на катушку боевую магистраль, заряжаю «торпеду», таскаю ее, определяю глубину погружения, технологию спуска и открытия... Перчатки изодрал, руки красные, как у гуся. Иной раз спрячешься от ветра,

солнышко пригреет – рукам ломотно, пар от них, а все равно благостно от первого солнечного тепла... Один из трех-четырех спусков – неудачный. Иногда как пойдут отказы подряд – все уже носы повесили, а ты – крепись!.. У самого кошки на душе скребут, а будь спокоен и уверен, ищи причину неудачи. Нелегка, однако, работа по испытанию и внедрению... Но что-то в ней есть! И самое главное – я ощутил уверенность, способность ломать себя при неудачах: не раскисать, а преодолевать помехи! Почувствовав в себе исследовательскую жилку, я пожелал, что реализую ее совсем в другой области, ведь готовил себя для глубокого бурения: столько задумок было в дипломном проекте, их бы сейчас практически внедрять. Не зря в рецензии была отмечена «блестящая разработка спецтемы», да и научный руководитель предложил статью написать... И средний балл был высок, и отношение института – распределили на восток: «Надо, Витя!» Витя и рад... А еще Кешу Муратова осуждал.

Накануне приехал старший техник-взрывник по прозвищу «Укысло». Он невысок, худощав, голова приплюснута в висках, в синеватых глазках затаенная хитринка, чувствуется – себе на уме. Удивительная вещь – прозвища! К ним, как к хорошим стихам, идут и всю жизнь, и мгновения. Вот ведь: сказал человек один раз слово «укысло», а оно к нему прилипло на всю оставшуюся жизнь. Получилось так. Заметил Василий Иванович, что сторожа у него на складе взрывчатых материалов постоянно под хмельком. Человек он строгий, взыскательный, проверял сторожку, являлся внезапно ночью, но с поличным не мог поймать. Но однажды его осенило, пришел на склад – и к огнетушителям. Поднял – тяжелые! Открыл один, другой – брага! А дух – приятный, соблазнительный. Не выдержал – приложился. А тут и сторож тихонько подошел, спрашивает обреченно: «Ну, как?..» Василь Иваныч и ответь механически: «Ничого – укысло!» С тех пор и пошло: «укысло» да «укысло»...

Василий Иванович при мне трижды снарядил «штуковыну», все погружения были у него удачные, чем он неимоверно возгордился.

Буровики и взрывники напоследок высказали мне свои претензии. Почему при механическом бурении заработки ниже, хотя «вкалывать» в устойчивых породах, что в плывунах, где по нескольку раз приходится перебуривать? И с «торпедой» –

как платить будут, мороки-то о-го-го? Что материал идет – хорошо, а что мы иметь будем?..

Вопросы справедливы: при социализме работаем, получка должна быть по труду. Насчет погружателей пообещал: доплаты добьюсь, дело новое, исполнителей надо заинтересовать. Меня бы – тоже неплохо.

Перед сном, после космической темы, размечтались о дирижаблях («как бы они для сейсморазведки подошли!»), о подвесных дорогах («природа не нарушается, дешево...») и совсем о прозаическом: походных балках с отоплением, освещением, радио и телеприемниками... и незаметно перешли к прошлому, недавнему: ведь всего семнадцатый год мира идет! И много, и мало. Исай Анисимович успел повоевать, прошел пол-Европы. О себе он не рассказывал, а вообще философствовал на тему войны:

– Читал в одной книжке: за последние сто лет на войны и ликвидацию их последствий израсходовано 15 секстиллионов!.. долларов. Секстиллион – это миллиард миллиардов... Сейчас на земле три миллиарда живет – представляешь? По пять миллиардов на брата! Каково, а?.. Деньги деньгами, а сколь народу полегло! Восемьдесят миллионов, пишут. Может, и поболе. Эх, такую мать! Каких мужиков выбило! И ведь что? – все заварухи в Европе затевались. Вот и ищи с такой Европой контакт, брат по разуму... Считается, что война в сорок пятом кончилась, – а Северная Корея? А на Кубе что затевается? Не знаем. Не знаем! Посля скажут! Так, как надо. Читаю вот про войну, даже воспоминания – как «в кине»: все не так, все – как про другую войну...

Рассуждения Беляева пришлись мне не по душе, хотя раньше и сам сопоставлял рассказы рядовых участников войны и творения писателей и киношников: не увязывались они друг с другом. А деревенская жизнь? В книгах описывалась другая жизнь – как в хрущевской Калиновке! Я-то в сорок седьмом-восьмом годах в Малышовке чуть не умер с голода. Но вот война...

Отряд встал на ночевку в осиннике. Сквозь голые ветки видны колючие февральские звезды. А понизу метет поземка, заметает следы плотным снегом. Февраль-февраль... В конце февраля девятнадцать лет назад погиб отец. Может, вот в такую же ночь, под Великими Луками, у деревни Ивановки... Я не знаю подробностей, боевые друзья его ничего не написали,

только официальная похоронка говорит, что «погиб смертью храбрых...». И февральская поземка вызывает во мне смутное беспокойство. Одно определенно знаю я: никакая поземка дней, пока буду жив я, мои дети, внуки, – не заметет память об отце и всех погибших. Да и наши следы, вот эти – сегодняшние, в широком смысле уже не исчезнут: они превратились в «картинки» сейсмограмм, перейдут в изогипсы структурных карт, точки буровых, фонтаны нефти, новые города...

В Покуре ощущается весна! Осели дороги. В вытаявшем навозе роются воробьи, весело чирикают. На южных склонах потайки, скаты крыш почернели, воздух над ними играет. В воздухе влага...

В камералке женщины говорят о фасонах, кто что готовит к лету: что-то «сплошное», «разрезное», «кнопки... пуговицы... пояса...». Я оформляю результаты испытания, ко мне привыкли, забылись. В Сургуте то же, через дверь все «тайны мадридского двора» узнаешь, другой раз такие, что уши краснеют. В Покуре женщины скромнее...

Со мной передают письма: опустить в Сургуте, а еще лучше – переправить с кем-нибудь в Москву или в Тюмень. Свете, конечно, я не сказал о приказе Беляева – шутливом, но, при желании, можно бы и рассказать так же – шутливо. Красивая девушка – Света, но у меня думы о другой – далекой...

Бесшумно, белой совой, приземлился биплан АН-2. Провожающие меня девушки примолкли, прикрылись воротниками от взвихренной винтом снежной пыли. Машут руками. Становятся все меньше и меньше. Чувство жалости накатывает на меня. К ним... к себе... Ну почему на моем месте не кто-то из адресатов этих писем?.. И почему я здесь, а не в солнечной Башкирии, не рядом с Валентиной?..

Почему так устроена жизнь – разбрасывает людей...

«Что имеем – не храним, потерявши – плачем...» – так она сказала?

Самолет делает вираж. Во весь иллюминатор летное поле и на нем – две фигуры. На высоком берегу – темные коробочки изб, неровные прямоугольники огородов. Покур... Северо-Ватинская партия. Вот тебе и новое дело – как оно получится?.. Как бы то ни было, начало положено...

Задирай, но не очень, свой нос,
что в тайге тебя хлещет мороз,

и не очень выпячивай грудь,
что в снегах и болотах твой путь, –
просто честно собою гордись,
ведь у всех одинакова жизнь –
все мы связаны между собой,
в чем-то больше других
знаем толк.
И у каждого есть, дорогой,
кроме выбора
долг!

1966 г.
Сургут – Тюмень

«КРЕСТЫ» НА ПРОФИЛЯХ

У большинства слово «геолог» ассоциируется с молотком, рюкзаком и штормовкой. Есть и такие, но они ищут не нефть. Современное понятие «геолог» – многогранно. Нефть ищут геологи-геофизики, геологи-буровики, одним словом – нефтеразведчики. К ним относят себя многие, так или иначе связанные с поисками нефти.

Январь 1963 года. Снежная теплая зима. Поселок Южный – база Тайлаковской группы партий, столица «арабской республики». «ОАР» – так зовут этот конгломерат организаций из-за постоянного раздора между начальниками и неразберихи. Это, пожалуй, самый отдаленный участок нашей экспедиции, находится он много южнее моего родного Ярсомова, стоит на Большом Югане. Работать сюда едут из-под палки: поселок у черта на куличках, а поясной коэффициент, поскольку «юг», ниже, чем в Сургуте. Даже нам за время командировки вместо пятидесяти платят тридцать процентов к окладу. Вообще, эти хрущевские репрессии против северян – резкое снижение льгот – осуждаются всеми: неумное решение и должно быть отменено. В «ОАР» работают штрафники или энтузиасты, текучка – огромная.

Поселок – десяток изб, разбросанных в березняке. Вертолетка в поселке, а самолеты садятся летом и зимой на озере, километрах в трех, – если не встретят на какой-нибудь технике, топать да топать.

Мне надо в отряд Калнина. Туда должен идти трактор с топливом, да все задерживается: прицеп ремонтируют, крышку к горловине подгоняют, ужинают... Уже стемнело, когда выехали.

Тракторист – Аркаша. В промасленном до блеска ватном костюме. Глаза светлые. Со смешинкой. Голос хриплый. Балагурит. Чувствуется – поел плотно, вкусно, с удовольствием, может, и рюмку принял.

Слева от него – Володя Токарев. В большом полушубке. В двойных рукавицах – одни отдал мне. Маленький, но не скажешь «мужичонка» – мужчина! Плотник. Типичный плотник. В отряд – временно: он еще и аккумуляторщик. «Молодец! – хвалю его. – И механик и плотник!» – «Это – так... Вот топор да рубанок – другое дело! С детства люблю...» – «Самокритичен». Аркаша на него покрикивает. Он слушается. «Безотказный...»

Свернули на профиль...

Профиль начинается невдалеке от поселка и рассекает тайгу на много километров. Трактор тяжко гремит. Кажется, что скоро и кости начнут погромыхивать... Нет, в дорогу на тракторе надо отправляться натощак! Бедная техника! Бедные мы! Черт бы побрал рубщиков – профиль совсем не очищен от валежин! А я-то еще хвалил «топиков»:

...Не в привычке у нас вилять –
если споры, то честные споры.
И в тайге у нас профиля
как зеленые коридоры...

Лакировочка действительности, товарищ! В коридоре, даже в коммунальном, полы должны быть ровными. А тут – язык прикусишь...

Впереди неширокий овраг. Нырнули в него – емкость чуть на нас не опрокинулась. Трактор, задрав капот в небо, скребется по мерзлоте, подрагивая, словно загнанная вусмерть лошадь, разворачивается и сползает юзом...

– Что сидишь, раззява! – вдруг зло орет Аркаша. – Отцепляй!

Володя поспешно выпрыгивает. Я тоже открываю свою дверцу.

– Сиди, сиди, один сделает! – удерживает меня Аркаша. Но мне неудобно перед Володей, и я выпрыгиваю в темноту, снег – по пояс...

Задней фары нет. На ощупь отцепили сани. Ищем трос.

Догадываюсь зачем – сцепить трактор с прицепом длинным тросом. Аркаша с трудом выцарапался наверх, стронул прицеп. Встали в сторонку – неровен час, трос лопнет... Буксир оказался длинноват – трос врезается в берег, звенит предупреждающе. Подложили ломики – пошло лучше, с третьей попытки выбрались; делали все молча. Молча и сейчас едем по болоту, но атмосфера стала более дружественной, и не так трясет. Сейчас самое время рассказать о профилях. А для наглядности – вот он, профиль: вешки на болоте, просека в тайге, позади...

Профиль... Все начинается с него: любая дорога, стройка, съемка и, если хотите, жизнь начинается тоже со своего профиля: мечты, планы, цели... Профиль, в свою очередь, начинается с пакета – как жизнь со дня рождения. А сейсмический профиль начинает свою жизнь на бумаге. Берет начальник партии или другой проектант карту-пятиверстку в спецчасти. В глазах рябит у него от синего бисера озер и зеленых, в черточках, болот. Надо бы покрыть район работ сеткой профилей геометрически правильной, да останутся они на бумаге. Вот он и начинает проводить их по гривкам, по берегам речушек да по опушкам таежных массивов, чтобы смог пройти сейсмический отряд, не утопив технику. И только уж в самых крайних случаях прокладываются профиля по озерам да болотам...

Пока готовился и утверждался в инстанциях проект, вездесущий «зам» собирал продукты, снаряжение, принимал сезонников – лихих «топиков» – рубщиков просек. Потом, летом, они были заброшены на вертолетах и гидросамолетах в тайгу. Топографы к тому времени пробили визирки – теодолитные ходы, наставили вешек-пикетов, наделали временных реперов, указали пункты взрыва, стоянки сейсмостанций... Теперь дело за рубщиками – таежными робинзонами! Гоните профиля – четыре метра ширины, с чисткой, подчисткой – чтоб не штрафовали лесники, а в длину – сколько сможете. Больше успеете – больше заработаете. Не забудьте, как агитировал вас один «зам»: «Тюк топориком – рупь в кармане, тюк еще – еще рупь...» – и заразительно хлопал при этом по карману. Вкалывайте, ребята, зарабатывайте «рупчики»! Только на совесть! Чтоб не вспоминали вас зимой длинной, длиннее, чем тот «рупь», руганью...

И вот профиль готов. А там, где он пересекается с другим, – «крест». В тайге его не пропустишь: светлеет, небо словно крыльями взмахивает, а на болоте можно и не заметить, если

б не «кресты» на вешках – словно елочные подставки... «Крестами» обозначаются «владения» отрядов. На «крестах» назначаются встречи, там же остается разбитая техника, пустые емкости. На «кресты» вывозятся грузы. На них, как правило, ставятся «репера» – хранители высотных отметок и геодезических координат...

В свете фар постепенно растет, словно кристаллизуется, таежный массив. Въезжаем в сказочный туннель. Сначала следишь жадно за игрой света и теней в хрустальном царстве, потом устаешь. И вот – балки! Серые – старые, восковые – новые. Одиночные и сцепки. Как трамваи. Стоят беспорядочно. Между ними трактора, бурстанки.

В одном балке светится окошечко – станция. Здороваемся с Геной Калниным и – спать. Сплю и слышу: гусеницы звенят. Толчок! Балок дернуло – поехали...

Так и есть – проспал! Уже работают. Загремела посуда. Упала и раскрылась книга. Ага! Паустовского читаем? Пляшут дрова у печурки. Скрипят сани, балок как бы перекашивает... Поворот?..

Калнин в балке сейсмостанции. Подвезли взрывпункт. Растянули «косу», расставили сейсмоприемники. Гена щелкает тумблерами, прозванивает «косу», проверяет каналы. Плавно, артистично, словно по клавишам, движется рука – только вместо звуков всплески бликов. Проверил аппаратуру – связывается по телефону со взрывпунктом:

– Мороз, готов?.. Принимай команду!

Слышно, как по профилю разносится: «Спокой-но-о-о!..»

Я сразу представил Мороза, большеротого, небритого, в брезентовой энцефалитке, высунувшегося из балка.

Глушатся трактора. Все затихает на профиле.

Я сижу рядом с Геной. Слышно, что отвечает Мороз.

– Готов?

– Есть!

– Внимание... – Гена включает лентопротяжку и одновременно произносит: – Огонь!

Взрыв...

Гена выключает протяжку, снимает кассету и отдает проявительнице. Обаятельная улыбка. Доволен. Пригладил чубчик.

– Хорошо стрельнули...

Обычно пока не проявят, не оценят сейсмограмму, не трогаются. Гена уверен в себе, командует:

– Смотка! – И объясняет нам с Морозом: – Главное – настроить аппаратуру, проверить все – и весь секрет. Тяжело сейчас и за начальника отряда, и за оператора, и за помощника... За начальника – ладно, все так работают. А вот за помощника да еще радиомеханика – тяжело. День отработаешь, а ночью настраиваешь станцию. Да я приспособился: через день отсыпаюсь.

Мороз жадно слушает. При последних словах загорается:

– Яныч, научи! Вот те и помощник будет! Дай, счас приму? А?.. Ей-бо, сработаю.

Гена с улыбкой обещает. В тот же момент он, словно в невесомости, поднимается и валится на меня... Балок останавливается. Из пола торчит березовый комель... Да, не заметь тракторист вовремя, разворотило бы станцию и неизвестно еще, что бы с нами сталось...

Я удивляюсь Калнину: его выдержке, мягкости, работоспособности. Ночь не спал, а чуть свободная минута – настраивает осциллограф, натаскивает любознательного Мороза. Другой оператор со своим штатным помощником столько не возится. И сейсмограммы у него – загляденье: что запись, что обработка фотобумаги – как в фотоателье!

С Геной я познакомился летом. Мой «кадр», техник по бурению Витя Хотян, квартировал с братьями Калниными. Я не раз заходил к ним. Когда Витю провожали в армию, мы крепко выпили. А старший Калнин – не пригубил. Я бестактно поинтересовался. Он как-то грустно отшутился. Он и без вина был веселым, компанейским: располагал к себе. Лицо крупное, мужественное. Я был потрясен, когда узнал, что он трагически ушел из жизни. А каково Гене? Ведь было видно: он очень любил старшего брата. Не озлобиться, сохранить мягкость – нужна железная воля, сильная душа.

Если правильно говорят, что жилище характеризует человека, то Володя Токарев юморист. Все стенки балка разрисовал профильными сюжетами. Косогор. Тайга. Стоянка отряда. Отряд в пути. Тихая заводь. Над нею утки, гуси, журавль. Надпись: «Летят утки и три гуся». Рядом, витиеватым почерком, глубокомысленное: «Тунеядки. Их было трое...» Плакат по технике безопасности: «Берегись торчащих гвоздей» – приколочен шестидюймовыми гвоздями. На другой стене совет трактористу в стихах:

...А ну, тракторист, потихонечку трогай
и шкворень возьми, не забудь...

Или:

...Сегодня четыре стоянки мы дали
и завтра четыре дадим...

Особенно рассмешили строчки в злободневном стихе:

...Шевелитесь пошустрей,
чтоб обставить всех Петрей...

Дело в том, что отряды партии соперничали, начальником второго был Петр Петрович – Петря. В действенности такого «экрана» соревнования я не сомневался: была в нем «теркинская» живость...

Утром Володя пришел чуть живой: в зарядной пропускал выхлопной коллектор, и он чуть не задохнулся газом.

– Выпей таблетку и ложись поспи, – советую ему.

Он до обеда поспал, а потом вышел на свежий воздух: встал «на косу» – расставлял, как и другие рабочие сейсмобригады, приемники и таскал сейсмокосу. А вечером, склонив на калнинский баян маленькое обветренное лицо, играл попурри из песен и плясок, по всей видимости, своего сочинения. Заскорузлые короткие пальцы быстро бегали по клавишам, извлекая из недр инструмента то залихватские, то жалобные, берущие за душу звуки.

Вместо Володи на следующую ночь заряжал аккумуляторы Мороз. Но Николай поступил хитро: когда почувствовал, что начинает болеть голова, выставил окошечко. Худощавый, горластый – он все равно нравится мне ироничностью и сметкой.

– Выставил окошечко, голову туда и звезды считаю. Как страус в клетке! А чо? В натуре: прогревание и свежий воздух. Курорт!

Мороз интересный человек. Любознательный, трудолюбивый, мастер на все руки. Единственное, что не позволяет зачислить его в положительные герои, – его шутки, сдобренные жгучим, как аджика, жиганским жаргоном.

– Коля, ты бы в городе каждый день суток по пятнадцать получал.

– Потому к медведям и заныкался. Они не попугаи – и не научатся...

Он собирается увольняться: не поладил с начальником партии. Тот одумался, да Мороз не идет на попятную:

– Сразу надо было думать. А то в душу нахаркают, а потом уговаривают... Чо я – шестерка? Да и к матери надо съездить... в деревню... Страсть – соскучился! Носки вот мать кажду осень присылат... – Он задрал штанину и любовно оправил толстый шерстяной носок. – Северные только жалко: у меня ж замороженных полста хрустиков да и по новой вторая надбавка пошла... Да бог с ними! Возле матери-т, може, и осяду...

– Жирок-та спустишь да и опять жа сюды прискачешь... Ты таперя для деревни конченый человек... Учись у Генки – можа в начальство выбугришься! – помощник смеется. – Не шеперься ужо, Колян.

– Да не-ет! Уж решусь – так решусь!

И я верю ему: чувствуется в нем внутренняя сила.

Я закончил свои дела. Из Южного пообещали прислать вертолет. Два дня мы с попутчиком – механиком партии Кононенко – ждали «Воздушного извозчика». «Вертодром» был намят трактористом Аркашей недалеко от «креста» на болотце. В последние дни резко похолодало, температура упала до сорока. Мы с Кононенко ходили по площадке, собирали подмятые форкопом трактора сушины и подпитывали прожорливый, не греющий костер. Кононенко – пожилой украинец с плаксивым голосом и грустным лицом, вид у него, как говорят, «затырканный». В отряд он приехал на ГАЗ-47, клянет дорожников: застрял между пеньками. И вообще... «Запчастей не хватает... кадров постоянных нет... У самого руки до всего не доходят... На зарядные агрегаты приходится ставить даже плотников (имеет в виду Володю, с которым я ехал сюда). Бросил бы все... Хоть в слесаря ушел бы...»

Вечером Гена предложил ехать на тракторе.

– Вариант тряский, но... надежный, – обаятельно улыбаясь, сказал он. Потом вызвался: – Давай немножко твои волосы подровняю.

Я пощупал свою голову и согласился. Он, ловко пощелкивая ножницами, состриг с меня порядочную кучу волос.

– Ты уж не очень там... резвись! – попросил я его. – Замерзну!

Он навел последний «марафет» и протянул ножницы мне:

– А теперь – ты меня.

Я опешил:

– Да я ж не умею!

Но как ни отказывался, пришлось начать.

– Я тебе буду показывать: где и сколько. Уши я руками прикрою, не отстрижешь! – убеждал он меня.

Оказалось – это не такое легкое дело, стрижка, – я взмок даже. Гена огляделся в два зеркальца и похвалил меня:

– Видишь?.. Как у мастера первой руки получилось! Не зря говорят: не боги горшки... под горшок стригут, а? Я считаю, Витек, мужчина должен все уметь делать. А ты?

Выехали из отряда мы затемно. В тракторе было холодно, пахло стылым железом. Часа через три, когда развиднелось немного, трактор вдруг зачихал и... заглох. Это было так неожиданно и неприятно. Аркаша, остервенело матерясь, заводил пускач, основной двигатель «схватывал» и тут же глох.

– Питательную трубку перехватило! – нашел причину Аркаша. – Дождешься от вас арктического топлива! Это разве солярка? При этом морозе даже бензин не хочет гореть... – ворчал он, разжигая паяльную лампу. – Что ж теперь – так под баком лампу и держать?..

Мы с механиком вылезли наружу. Ветерок был слабенький, но пронизывал до костей.

Аркаша прогрел трубку, завел пускач, стал проворачивать дизель – тот недовольно чихал, пускал колечки, но работать не хотел.

– Бак! Бак!.. – вдруг испуганно закричал Кононеко. – Бак...

– Ну да... – неуверенно протянул Аркаша.

Я ничего не понял. И только когда тракторист полез на фаркоп и стал отворачивать крышку горловины бака, до меня дошла страшная догадка. Аркаша между тем успокаивал:

– Вчера заправлялся... полон бак был...

Вытащил мерный щуп и стал внимательно рассматривать, протер о ватные, словно хромовые, штаны и замерил еще раз...

– Ну, шо? – с надеждой спросил Кононенко. – Хоть трошки е?..

Аркаша, не слыша его, недоуменно повторял:

– Ешь малину... ешь малину... полон бак...

– Вахлак ты экий! Да тоби б... по военному року – к стенце! Без суда и справы... Вин же ж усю ночь тарахтел! – все понял Кононенко. – Ну шо, будемо спивать: «Замерзал яцы-ык...» чи как?..

– Антифриз давали бы – тогда и глушили б... – огрызнулся тот. – А то... – И вдруг заорал: – Живем, мужики! У меня ж в радиаторе – солярка!!!

Солярка в радиаторе – хорошо, да как ее взять и что вместо нее залить?.. Натопить воды из снега. А в чем? В ведре? Это в такой мороз да на продувном болоте?.. Пока другое ведро натопишь – радиатор размерзнется. Но выход один – греть воду... В чем?.. И как греть – дров рядом нету. Баки! На вездеходе – баки! Снять и в них греть. Набивать снегом, топить его, греть воду! Сняли – а в одном баке даже немного, с ведро, бензина. Хорошо! Теперь – дрова! Без них бензин мгновенно выгорит. На болотине – снегу по пояс. Вспомнил старый опыт: застегнулся, завязался и покатился...

Снег топим в ведре, сливаем в бак. Костерок ушел вниз, «сел» на вытаявший мшаник. Наконец набрали достаточное количество воды, залили в радиатор. Теперь только бы пускач не подвел!..

На пятой скорости помчались мы в Южный. Сижу, напрягая различные группы мышц, однако прилива тепла не чую. И даже голову сжимает какой-то ледяной обруч. Что за холод окаянный! Въезжаем в тайгу. Тут вроде потеплее. И поселок скоро. Вон уж и вышка показалась... Метров за триста трактор вновь заглох. Ну и ладно – буровая рядом, отогреемся...

Однако буровики тоже на грани «замерзания»: оборудование все в застывшем растворе, идет ремонт. Заглянули в балок-культбудку – куда там! Народу набилось – чуть на раскаленной «буржуйке» не сидят. К своему удивлению, увидел соседа по комнате – Валерку Ртвеладзе. Он сидел в углу, нахохлившись, спрятав подбородок в меховой костюм, лицо было набрякше-красным от жары или недосыпания; он дремал или делал вид, и я не стал его окликать.

Кононенко пригласил к себе:

– Айда до нас... Мабуть, дойдем: тут уж недалече...

У него оказалась молодая белобрысая жена, похожая на мою мать в молодости, и маленькие ребятишки.

Переодевшись, Кононенко повел меня в котельную – принять душ. Пол в душевой был ледяной, и мылись мы, переминаясь с ноги на ногу, как цапли, иногда шарахаясь в сторону от прорывавшегося пара.

После плотной еды и стопки спирта Кононенко, разопрев-

ший и благодушный, вспомнил давнишний эпизод, аналогичный сегодняшнему. Было это в самом начале войны, едва ли не в первые дни. Его назначили механиком на катер. Экипаж небольшой, но еще не притершийся, катер новенький, с консервации. Только расположились – в ночь приказ: немедля в поход. Стартер жмешь – двигатель даже не чихает! И тут прибегает помощник, глаза с иллюминатор, кричит шепотом: «Кононенко, нас предали! В баках – вода!..» – «Как! – кричит Кононенко. – Вода?! Вчера... тоись: только что, днем, заливали полные, сам проверял!» – Побежали они, проверили – точно! Вода!.. Как тут в предательство не поверить?

– Було бы время, нас бы у стенки поставили б – точно! – Кононенко смотрит на меня грустно-голубыми глазами, сейчас они у него молодые, колокольчиковые, да и лицо – не лысина б – не такое и пожилое. Говорит он с украинским акцентом, мягким «г». – Счас – смешно! А тохда дюже похано було. Потом разобрались, шо нашей вины нема: дыра у баках! Заводской брак! Вода ж тяжельше соляра и вытеснила ...запах один остался. Це так: недогляд наш был. Простота она хуже врага. Аркаша вот... Да и я...сегодня... Там война, а тут... тоже: мороз! Шуток не любит. А у меня, сам бачишь, вона яка мелкотня. Жалко без батька оставить.

С Кононенко я больше не виделся, но история с баками врезалась мне в память: очень она характерна для нас! Все стараемся объяснить происками врага, тогда как беду творим сами...

Пролетая над тайгой, я всегда смотрю в иллюминатор: не видать ли сетки профилей? Тонкой линией, паутинкой пролегают они и там, где пересекаются, – «кресты», начало или конец чьей-то судьбы.

1964 г.
Сургут

ТЕТЯ НЮРА

Дня за два до Нового года меня вызвали радиограммой в Сургут. Не хотелось улетать из Усть-Балыка перед праздником, но я решил «распечатать» 1962 год на новом месте.

В Сургут я прилетел тридцать первого числа. В любой из остальных дней мое появление в конторе выглядело бы вполне обычным делом... Но за несколько часов до Нового года? Изви-ните! – попахивало нахальством. Я это вовремя понял и спросил: как найти гостиницу?

«Кадры» в лице плотного дядьки с утиным носом удивленно крякнули и неожиданно – наверное, и для себя – пожалели:

– Как же это вы, дорогой, решились?.. Гнал вас кто, что ли?.. Радиограмма радиограммой, а Новый год – раз в году бывает! Ох, молодежь-молодежь, не цените вы радости жизни... Может, ко мне пойдете?..

Я отказался и вышел. Дверь за мной облегченно вздохнула. Было уже совсем темно.

Гостиница, деревянный пятистенок, в котором клюквинке не упасть, забита разношерстным людом, вырвавшимся из тайги «погудеть».

После Усть-Балыка, месяц назад нареченного Нефтеюганском, центральная улица Сургута казалась сверкающим Невским проспектом! Много людей. Говор. Смех. Даже кружение снежинок у фонарей напоминало о праздничной суете и суматохе. Мне нравятся предпраздничные часы больше, чем сами праздники: уж больно счастливы лица людей, нет еще хмельного блеска в глазах, как в праздники, или похмельной виноватости – после...

Время шло. Мне надо было решиться: в какой первый дом «преподнести» новогодний подарок в виде молодого постояльца. Положение усугублялось тем, что у меня с собой не было никаких вещей, кроме туалетных принадлежностей, находившихся в необъятном кармане полушубка; из-за этого меня вполне могли принять за кого угодно.

Проходя мимо последнего магазина, я решительно завернул в него, купил шампанского и невзрачную бутылку с блеклой этикеткой и липкой сургучной головкой – питьевой спирт. В Усть-Балыке, где царил «сухой закон», я наслышался о королевском

напитке под названием «Сияние Севера», приготовляемом из этих компонентов. Погрузив покупки в карман, пошел дальше. Окинув себя внутренним взором как бы со стороны, усмехнулся: ну и видок! Шапка из черной кошки, романовский полушубок до колен («на вырост» – съехидничал кладовщик), черные валенки (в голяшке «форточка» – прожег). Под полушубком остатки былой роскоши: китайская ковбойка, польский суконный «спиджак», болгарские вельветовые штаны. Да.. летом я выглядел получше: в беретике, в плаще с капюшоном, со щегольским чемоданчиком (отпускники замылили, похоже). И гостиница простенькая, но – свободная была...

Вот так, критически разглядывая себя, я оказался возле просевшего пятистенного дома. Окна слабо светятся. Ворота полуоткрыты и занесены снегом. Хозяин, видно, не очень лопатку любит. Дальше по этому порядку – прогал и темные, неприветливые избы. Все: решился! Стучу в дверь, дергаю ручку – безуспешно. И чуть не падаю: дверь открывается от пинка изнутри. Ломкий голос:

– Пристыла... Не поевши не откроешь!

Не вхожу – вплываю, как святой, на белых клубах холодного воздуха. Прямо передо мной стоит парень. Свет бьет из-за него, потому вижу только силуэт, юношески стройный, вокруг головы золотой ореол волос. Справа, из кухни, выглядывает добрейшего вида бабуся. Руки с недолепленным пельменем держит над столом. Под низкой лампочкой стоит – каждую морщину видно. Ощущение такое, словно допреж много раз ее видел.

Я поклонился:

– Здравствуйте!.. С Новым годом вас!..

– Здравствуетé, коль не шутитé... – ласково ответила хозяйка и вопросительно посмотрела.

Пока я собирался с духом, чтобы объяснить свое «явление», она, видимо, все поняв, заговорила странным – для моего слуха – речитативом, с ударением на «те»:

– Что ж вы стоитé?.. Проходитé, гостем будетé!.. Разоблокайтесь, шубу вешайтé... под занавесь, на крюк...

Через минуту я сидел на кухне, между столом, запорошенным мукой, и кадкой, в которой плавал непривычный для меня, прямо сказочный, ковшик, и я, честно говоря, чувствовал себя превосходно.

Тетя Нюра – так звали хозяйку этого дома – бутылкой раскатывала комочки теста, точным движением брала фарш из помятой алюминиевой чашки, пальцы быстро пробегали по кромке сочня – и очередной пельмень ложился на перевернутое сито.

Она непринужденно расспрашивала: кто я, из каких краев родом, что делаю вдали от матери и сродственников?.. И сама рассказывала.

За стеной послышался детский плач, потом недовольный женский голос:

– Мама, где соска?..

Тетя Нюра засуетилась, вытирая руки о фартук:

– Издеся где-тось была... Олька все мусолила ее...

Она заглянула в шкафчик, пошарила на столе под клеенкой, даже на шестке:

– Ишь, лихоманка, куда забросила...

Она быстро-быстро пошаркала пустышкой о ладонь, смешно почмокала ее сама, заговорщицки подмигнув, подала ее в горницу – парню, впустившему меня.

– Зять? – спросил я вполголоса.

– Зять негде взять... Санька... – она что-то хотела добавить, но в это время тяжело хлопнула входная дверь, и на кухню внырнул молодой, крутолобый мужчина с ярко-голубыми, как у тети Нюры, глазами – только взгляд их был тверд, решителен, хотя по-матерински смешлив.

В том, что это ее сын, я догадался сразу. Он сунул на ходу маленькую твердую ладонь лодочкой: «Валентин», поздравил с праздником и уже командовал:

– Налей-ка, мать, по стопке за знакомство...

Тетя Нюра заворчала:

– Подождите малость: сядите за стол...

Он перебил ее:

– Тогда, мать, мы и так выпьем, а сейчас – за знакомство...

Сам вытащил из шкафчика граненые рюмки, достал огурцов, сбегал в сени за рыбой. Все это – не переставая разговаривать. Опрокинул рюмку, зажевал и:

– Ну, я побег... Окся у меня уже наклюкалась. Детишек уложу да на конный двор сбегать надо: есть там кто, нет?.. Я – скоро. Если что, не ждите – начинайте.

Он исчез, а у меня перед глазами еще стояло его лицо с

порхающими бровями, погружавшими в тень ясные, как небо, глаза.

– Ветрогон... – с осуждением сказала тетя Нюра. – Шагом не походит... и женился на бегу...впопыхах... Неруськую взял... остячку... – шепотом добавила она и в полный голос продолжила: – Как из армии пришел, на десятый день оженился...

– Они ж до армии д-дружили... Ч-чего уж наговаривать, мама... – Шурша праздничным, с блестками, платьем, на кухню вышла дочь: похожесть была удивительной, только у дочери уголки полных губ капризно приподняты, а у матери приопущены... ну, и молодость, конечно...

– Римма... – представилась она.

Следом вышагнул молодой парень. Блока и Есенина вспомнил одновременно, глянув на него.

– Санька! – он до боли жиманул мне руку.

– Она ждала его все три г-года... – чуть заикаясь, как бы для матери, а не для меня говорила между тем Римма. – К-кто ж знал,что так получится... П-пить ее на лесозаготовках научили: с у-устатку да для су-угреву... А Валентина она ждала. Хоть к ней и сватались. Так что не говори, мама...

– Торопыга и есть торопыга, – не сдавалась тетя Нюра, – вот за это его Бог и не замечает. Ведь чо: пять лет живут, а уж троих – да все девок! – настругали... Да и эти, – она лукаво глянула на дочь, – тоже внучку справили. А вот у старшего, Григорея, – три сына!..

– Ну, хватит, мама, – остановила дочь тетю Нюру и пригласила меня пройти в горницу. – И ты иди! – скомандовала мужу. – Стол раздвиньте...

Санька работал шофером единственного в экспедиции автобуса. Пока готовили стол, он посвятил меня в поселковую жизнь.

Вскоре пришел Валентин и, как катализатор, ускорил события. Стол был полон сибирских лакомств, я был в восторге от малосольной нельмы и маринованных маслят, моченой брусники и морошки. Тетя Нюра таскала горячие пельмени и все подкладывала: «Кушайте, кушайте!..» Глубокой ночью она пела с зятем старинные песни. Вел Санька ломким, вибрирующим тенором. У тещи голос был совсем молодой, приятный, и только некоторые согласные выдавали возраст певуньи.

От «северного сияния» и от всего хорошего – доброжела-

тельности, душевности, вкусной еды, протяжного пения – меня потянуло в сон. Тетя Нюра заметила это и показала мне в крохотной каморке кровать:

– Вот издеся отдыхайте...

Проснулся я довольно рано. Хозяйка уже хлопотала на кухне. Едва я заворочался, она тут же заглянула в мой закуток:

– Не спите?..

Прошла, села на табурет. В старой фуфайке. Из-под клетчатой толстой шали любопытно и весело глядят бойкие молодые глаза. Темные руки на коленях, поправляют фартук. От ее одежды пахнет сеном, навозом и парным молоком.

– На новом-от месте – приснилось ли чо, ай?.. Не заспалось?..

Я пожал плечами. Она усмехнулась:

– Крепко спите... заумер! Вчерась ведь такой шум был... Окся ведь приходила! Сноха то есть, жена Валентинова. Проспалась и пришла. С Санькой-т они ровно кошка с собакой – ну, и сцепились. Санька вытряхнул ее в сени – эт чтоб домой шла, – сени-т у нас обчие. Валентин-эт – следом за тобой уснул, так и дрых. Ну, Санька-т ее выставил, а она давай ломиться. В дверь никак, так давай раму высаживать! Летось, при ремонте, мужики топором не смогли, а эта пигалица – выставила!.. Пра!.. Только звон пошел. Мужики не осилили, а Окся – высадила!.. – Она, как бы снова переживая случившееся, хлопнула по коленям и покачала головой: – Ишь, дурная сила – велика! Кому скажи – не поверят. А куда тратится?.. На хулиганство!.. Ну, мужик бы – куда ни шло... Но баба... В доме, знамо дело, переполох. Девчонки проснулись – в рев. Валентин встал – всыпал ей. А не впрок – опять полезла. Только под утро угомон взял. Измаялась я с ними... – пожаловалась она и тут же с улыбкой добавила: – Дружинница ровно какая: разнимаю да мирю. Хоть повязку красную шей, пра... Ну, вставайте: картоха поспела. С похмелки-т хорошо горячей картошки поесть – с соленым огурчиком да грибочками...

На крыльце, на крышах и деревьях, как праздничные блестки, сверкал прошлогодний снег. Он был жестким, как стекловата. Я уже заканчивал зарядку, когда увидел заиндевевшего Валентина.

– Здоровы были! – как хорошо знакомого приветствовал он меня.

– Привет! – в тон ему ответил я. – Откуда так рано?

– А вон – за сеном ездил...

Я выглянул на его половину – у стайки воз сена, рядом заиндевевшая лошадь хрумкает из торбы.

– Давай, разомнись! – предложил он.

Откуда такое разнотравье? Настоящий гербарий... Запах густой, духмяный – словно бы жарким июлем повеяло...

– Когда ж ты успел? – восхищаюсь я.

– А я такой... – Валентин щурился, прикуривая «беломорину», – часок кемарнул – и готов хоть пахать, хоть щи хлебать. Вилы-то держать приходилось? Нет? Тогда лезь на стайку – принимать будешь.

Минут через пять стало жарко, а Валентин поддает да поддает:

– Я, брат, тоже зарядку люблю... – летит навильник, – только вот такую, – еще навильник, – чтоб для хозяйства с пользой!.. А, чем не зарядка?.. Не пристал еще?..

– Хорошо... – отвечаю с придыханием, – право, хорошо!..

Стряхиваю с себя травинки, любуясь резными листочками (а чуть пощады не запросил...), интересуюсь:

– Где ж такое разнотравье?.. Не поверишь, что на Севере росло...

– У дедки, на заимке... – отвечает он, запрягая еще больше заиндевевшего коня.

– У тебя и дедка жив?

– Не-е... это мы отца так зовем.

– Вот как? А я думал...

– Он – как от матери ушел с молодайкой – безвылазно там живет... одиннадцать лет, однако. Быстро время летит... Вот с тех пор и пошло: дедка да дедка...

На кухне – как в детском саду! На руках у тети Нюры грудной ребенок. На табуретке, возле кадки, на моем месте, большенькая девочка с косичками. На полу возятся еще две, сопливые, востроглазые: постарше – черная, как смоль, меньшая – светленькая, с продолговатыми, как ивовые листочки, светлыми, с прозеленью, глазами.

– Все – ваши? – с неподдельным ужасом спрашиваю тетю Нюру.

– Мои... мои... – отвечает она с усмешкою. – Анна, не балуй: закрой дверцу! – кричит она вдруг на чернявую толстушку. – Закрой, лихоманка, дверцу – пожару наделаешь!

Та настырно смотрит на бабушку угольками глаз и продолжает копаться в припечке. Тетя Нюра встает, оттаскивает «лихоманку», садится – а там уж «немтушка» Ольга:

– Ох ты, матушка! Чуть не раздавила...

В это время входит худощавая женщина. В зубах папироска. Вежливо здоровается и тихо спрашивает:

– А что, мама, мы вчера, никак, пошумели малость?.. Прости уж, однако...

Тетя Нюра смеется, с явной ехидцей отвечает:

– Мне-т что? Я-т прощу: куды деваться?.. А вот дети – простят ли они? Их-от постыдились бы да человека постороннего...

Я с любопытством смотрю на Оксю: вот она какая!.. Я-то представлял ее этакой гром-бабищей, а вижу тонкую, узкобедрую женщину. Глаза... Вот в кого Ольга-то, «немтушка», – в мать... Губы красивые, чуть припухлые. Очень женственна. Как-то все не вяжется с буйством, но ведь вот оно, окно – наспех вставленное, с треснувшими стеклами, подушка в форточке...

– Ух ты какая, мама! – вроде шутя говорит Окся. – Все боишься: как бы про тебя плохо не подумали. Да уж все знают: страдалица ты у нас... – С издевкой (а может, искренне?!) сноха вздыхает: – Чужим-то что? Приехал – уехал. Нам жить – нам и мириться...

– Экая ты балаболка! – возмущается свекровь. – Ишь, как запела! Вчерась надо было думать – когда рюмку брала! Экось: жить-от нам вместе – правильно говоришь! – да рази так жить? Дети родные бояться стали... Слыхано дело: родной матери бояться? Тут не то что перед чужим, перед собой со страму сгорать надо...

Окся, вроде уж и не слушая свекровь, подняла Ольгу, погладила Анну, потянулась к Таньке, горячо приговаривая:

– Да они же знают, что любит их мамочка! Мамочка крепко любит своих косеньких зайчиков, пташек певчих, белочек шустрых...

– Мамочка любит... – ворчит тетя Нюра, – до первой рюмки – любит...молчала бы уж...

А девчушки и отошли уже, притихли, похорошели. Только Ольга еще смотрит волчонком; вот и она облегченно вздохнула и довольно четко повторила последние слова бабушки:

– Мольча-а бы...

Тетя Нюра встрепенулась:

– Батюшки!.. Неужто немтушечка наша заговорила?.. Распечаталась, матушка!.. Скажи-ка еще, Олюшка, словечко, молви еще что ни то...

Но та молчала и льнула к матери, хитро поблескивая серебристо-зелеными глазенками, тая на губах недетскую загадочную улыбку.

Из горницы выглянул заспанный Санька.

– Еще один воитель объявился... Ну-кось, подеритеся, али стыдно? Спите, а чужие люди для вашей коровы стараются – сено на вышку мечут! – напустилась на него теща.

Санька оторвался от ковша, подмигнул мне:

– Мать! Новый год, а пилишь по-старому... Отстань хоть сегодня со своей коровой!

– Я-то отстану... – обиделась тетя Нюра, – скоро отстану... У меня уж и так все жилы трещать: ни один ведь стайку не почистите, сена скотине не дадите... А вот что пить будете?.. Зинку чем кормить будете?..

– Купим!

– Купите!.. И где купите?.. Водки рази купите!

Из горницы донесся детский плач и требовательное: «У-у-у... Бу-у...» Тетя Нюра обрадованно вскинула руку:

– Во-о! Слышь?.. Зинка-то – молока просит! Покупальщики... купите вы...

На следующий день я сходил в контору экспедиции. Меня уговорили переехать в Сургут, заняться новым делом. «Только вот жилье... – мой новый шеф, Виктор Петрович Федоров, вздохнул, – ты уж сам поспрашивай – неужели такого парня не пустят? И просись на пансион: так проще...» С этим я и обратился к тете Нюре... Она сразу согласилась:

– Живите, коли не гребуете... Не жалко – место не проспите...

В тот же день занесли с мороза кровать, застлали «чем ни то», и постель моя была готова. И на счет «пансиона» сряди-лись быстро: пятьдесят рублей новыми за все. Напоследок тетя Нюра еще раз попытала:

– Подумайте: может, не по нраву будет пища наша да порядки? Смотрите, чтоб без обиды...

Я сказал, что не у мачехи рос.

– Ну, ин и ладно, – заключила она, – живите, как дома. Коли не так что будет, не обессудьте...

Так по воле случая началась моя жизнь на Черном Мысу, в доме, где все было на глазах: и радость, и горе, и смех, и слезы.

Первое время я ходил на работу в контору – рядышком, поэтому завтракал один: Саньки с Риммой уже не было. Увлекшись делами на подворье, тетя Нюра забывала меня будить, и я, по студенческой привычке, вскидывался в последний момент, когда было не до завтрака. Тетя Нюра хлопотала вокруг меня, кляла свою забывчивость и заставляла выпить на ходу стакан молока, взять с собой кусок пирога или витушку. И только когда она затевала уху из сушеной рыбы, я просыпался сразу – не мог выносить запах варева. Тетя Нюра заметила это и сначала удивилась:

– Хорошая ушица, наваристая. Свежая-то, знамо, вкуснее. Попрошу Валентина, чтоб свежей привез от дедки. Пирогов напечем, с картошкой, по-хантыйски... – размечталась она. Потом задумалась, снова заговорила: – Так оно: с непривычки, в первое время муторно кажется. Я и сама гребовала – строганину эту, а то хуже – сушеную без соли... Первый год, как нас пригнали сюда, думала: помру с голоду, а есть не буду. Сейчас... э-э, Оксе не уступлю.

Меня поразило слово «пригнали» – может, ослышался? И переспросил:

– Как – пригнали?..

– А сослали... Мы же все...весь Мыс – из ссыльных: кто из раскулаченных, как мы, а кто, как Бауэр, – из немцев поволжских... Указ им вышел – кто уехал, а кто и остался. Народ они работящий, много труда вложили: как бросишь? Нонешние-то ссыльные – тунеядцы, а тоже не все на одну колодку – таки трудяги середь них есть!..

«Раскулаченные...» Вот оно что... Я слыхал от матери, что на Алтае, где мы родились, тоже раскулачивали, а раскулаченных ссылали на Север. Часть из них сбегала из ссылки, организовывала целые банды, которые наводили ужас на коммунаров жестокими казнями. У меня в памяти мамин рассказ о том, как они повстречали в глухом логу, где собирали ягоды, троих бандитов, – отделались легко – узелками с едой. По рассказам матери, и среди коммунаров, и среди раскулаченных были хорошие люди. Были и плохие. Совсем как в «Поднятой целине». Вот и мне довелось увидеть...

Какой край этот Сургут! Век нынешний и век минувший!

Декабристы и поляки, кулаки и немцы... Тунеядцы и мы... Потомки «государевых служивых» людей и сподвижников Ермака и воинов чума... и все – в одной буче, за одним столом, рядом – бок о бок... Вот она – история.

Когда я приходил с работы, кухня гудела ульем. Как на площади в девять-десять метров располагалось столько взрослых и детей?..

Завидев меня, шестилетняя Танька кричит:

– Дядя Витя пришел!.. Дайте пройти!..

Все чуть раздвигаются, я протискиваюсь к своему стулу... Если еще кто появлялся – находилось место и ему.

Я сажал Таньку на колени. У нее продолговатое лицо и фиалковые глаза. Она добра, понятлива и скромна. За смуглый цвет кожи я зову ее креолкой. За столом она тиха, аккуратна. Не то что Анка – та хватает еду с чужих тарелок, запихивает рукой в рот, кидается. Санька не выдержал и огрел по лбу ложкой. Тетя Нюра отчитала внучку:

– Достукалась, лихоманка? Так тебе и надо! – И тут же напустилась на зятя: – Ты сначала свою выводи, потом чужих воспитывай! – И потрясла Зинкой, которую кормила из бутылочки. – Рази так можно?..

– Своей-то я еще и не так дам, если будет по чужим тарелкам тыкаться, – огрызнулся Санька.

– Сказать по-людски можно: она, чай, с понятием... Самому бы так. Дай-ко, матушка, серебряну ложку приложу – чтоб шишки не было...

– Не ругайся, мама, Анка виновата, – миролюбиво вступает Окся. – Аничка, скажи дяде Сане, что больше не будешь.

Анка вертит смоляной головкой, пристально упирается взглядом в дядьку и кричит: «Бу-ду!» – вьюном соскальзывая с отцовских колен под стол.

– Вот и возьми ее за рупь двадцать... – вздыхает с осуждением бабка. Но я вижу: в глазах ее веселые зайчики, на морщинистых щеках поплавочками запрыгали ямочки – любила, знать, она сама поозоровать в детстве...

Вечера проходили за подобными перепалками, часто заканчивались обсуждением местных, союзных и международных новостей. Причем самым своеобразным комментатором, особенно «международником», была тетя Нюра. К любому событию у нее был свой подход, своя оценка и обязательно

прибаутка или аналогия. Вот обсуждаем события в Африке: войска ООН в Конго странно блюдут мир и порядок. Тетя Нюра тут как тут со своим резюме.

– Может, и не к месту, а расскажу вам про камышловского стражника. В германскую войну было, при царе еще – в первую мировую, значит. Наши ямщики возили тогда между Камышловым и Ирбитом товары разные. В Ирбите ярманки бывали богатые. Снарядили как-то обоз с вином. А вино тогда царь запретил, чтоб порядок навести. По этому случаю, для пущей надежи, стражника к обозу приставили, да. Как бы сейчас – мильцанера, вроде Витьки Кузнецова. Строгий такой, стражник-от попал, обличья свирепого. А выпить-та... видать, покрепше ямщиков любил. Мужики и так и сяк – боятся! Токо от Камышлова отъехали, он им и предлагает: «Слышь, – говорит, – робя, обруч-от у бочки давайте сдвинем, дырочку просверлим, вставим дудочку и будем потягивать винцо-то, через энту дудочку – все дорога покороче покажется». А у самого ж и буравчик заготовлен и дудочка припасена. Ну, ямщики так и сделали – имя-то что? Всю дорогу и потягивали винцо-то, кто сколь желал. А перед Ирбитом дырочку заколотили, обручи на старо место набили, и все у них благополучно обошлось... Вот вам и стражник! Нынешние-т стражники – и похлеще чего придумают что в Конге, что в Корее...

– Н-ну, ты мама, скажешь – как Швейк!.. – упрекала, смеясь, дочь. – Обязательно что-нибудь сморозишь, за тобой хоть з-записывай...

После вечери расходились спать, а тетя Нюра мыла посуду, что-то готовила к «завтрему». В своем закутке я час-другой читал. От горницы отделяла меня крашеная тесовая «заборка», оттуда порой слышался сдавленный шепот: «Да не спит он еще, не спит, куды лезишь, вишь – свет горит...» Я быстро гасил лампочку, сразу же начинал посапывать и в самом деле засыпал – «без задних ног», как попрекала порой тетя Нюра. Иной раз, управившись с делами, она заглядывала с «сонником» – стаканом молока, морса или «пива»: «На-ко, на сон грядущий, испей сонника – спаться будет слаще, може, кто привидится: мать али невестушка...»

Как-то, придя с работы, я застал в своем закутке спящего парня. Лицо его было обветрено и багрово, темные редковолосые брови ходили в такт тяжелому дыханию. От него несло

свежим перегаром. Вдруг он резко сел на постели, протер белесые, диковатые со сна глаза и представился:

– Мхаил... Ммхаил Сандрыч Саввин...кэп «Зелинского» – слыхал?.. Ну и хорэ, пнял?.. Я здесь живу. И ты живи – я не взражаю... Хорэ?.. Я ще дреману – минут шессот, хорэ?..

И тут я вспомнил разговор Риммы с матерью. Когда я просился на «пансион», она матери напомнила: «А Мишка приедет – он куда?» Тетя Нюра отмахнулась: «Когда ишшо приедет. А и приедет – так што?..»

Теперь я понял: о «Мхал Сандрыче» и шла речь тогда, вот он и приехал. Настроение у меня испортилось. Я пошел на почту: нет ли чего «до востребования» от родных или Валентины... Там меня добили: мне дали письмо из Новосибирска, а мое письмо, из Уфы, забрал однофамилец. Молоденькая связистка в тесной школьной форме, оправдываясь, пообещала письма обменять:

– Это не страшно, он завтра звонить придет – заберу. А вот раньше, с другим вашим однофамильцем, действительно казус произошел: исполнительный лист пришел! Вот смеху-то было: все совпало, даже месяц и год, только число рождения другое. Больше года разбирались, он с женой чуть не развелся. А вы женаты?..

Да... Для полного счастья мне еще только «листа» и не хватает... Где этого однофамильца найти? Хорошо, если человек порядочный... и наверняка – письмо от Валентины... Как мог взять – не свое?..

Возле моста через Сайму меня догнал автобус, резко притормозил. Открылась дверь, я запрыгнул на ходу.

– Садись! – крикнул Санька. – Эх, прокачу! – Он был весел. Серая кроличья шапка, очень шедшая ему, чудом держалась на шевелюре. Он газанул на всю железку и, улыбаясь, запел высоким ломким голосом: – Конь летит стре-ло-о-ю... – Не дожидаясь вопроса, пояснил: – С Мишкой вмазали. Парень – во! С зимовки прилетел за пешнями, продуктами... У них караван вмерз – вымораживают... чтоб по весне не раздавало... понял?.. Оборзели они там, вот он и загудел маненько... Ниччо! Мишка – парень молоток! Шебутной – когда поддаст, это есть... Нет бы – как я! Выпил – и пою! А добавлю – сразу на боковую...

Я засмеялся и поддел его незлобливо:

– И с Оксей не тянет повоевать...

Санька не обиделся.

– О-о! Окся – это... Точно! Она на меня – как муха цеце... Пьяные сойдемся – всё: рога в землю, хвост трубой!..

Возле нашей избы Санька лихо тормознул, заглушил двигатель и уткнулся в баранку; когда я приоткрыл дверцу с его стороны, он вывалился на снег – я и не успел его подхватить.

Мишка к этому времени выспался, был чисто выбрит, надушен; в черном костюме и начищенных ботинках он выглядел по-флотски элегантно. Он помог затащить в дом румяного и красивого, как спящая царевна, Саньку и предложил «прошвырнуться по набережной» или в клуб рыбников на танцы. Римма успела меня предупредить интригующим шепотом: «В Шанхай с ним не ходи: он ко всем цепляется, за к-компанию вломят...»

Пару раз станцевав местный вариант буги-вуги, потерял Михаила. Пошел в «курилку» – в вестибюль: там! Слышно задиристо: «Для моряка это пыль!.. Хорэ-хорэ!..»

– Прошвырнемся! – говорю.

– Хорэ, – согласился он.– Шанхай он и есть Шанхай!

По дороге он, вкусно причмокивая, пытался декламировать есенинские стихи:

– Эх, словно в душу мою заглянул, мысли мои прочитал!.. Да... Есенин... Пушкин – поэты! А Маяковский – «поэт социалистической эпохи» – дерьмо! Ассенизатор! и водовоз!..

Я возмутился:

– Сам ты дерьмо! Сельпо... Ничего, верно, кроме учебника не читал, а пытаешься судить Маяковского!

Мы не заметили за спором, как прошли мимо дома, опомнились на пустыре, где недавно еще стояли локаторщики, – там уж недалеко было и до самого Сургута, поэтому решили «отметиться» и в «ПДК» – районном Доме культуры, длинном старом строении. Там тоже долго не задержались: продолжили спор-разговор. За один вечер мы сблизились и утром расстались уже друзьями.

Я закончил изготовление приспособлений для погружения зарядов в плывуны и стал летать по сейсмопартиям, занимаясь их внедрением. Дома бывал редко. Моя щепетильная хозяйка даже не хотела брать плату за февраль. Мне хотелось узнать

поподробнее о том, как они оказались в Сургуте, на Черном Мысу. Спрашивать об этом казалось неудобным: мало ли какие могли быть воспоминания. И тем не менее при первой возможности я перевел разговор на эту скользкую тему.

У себя в Башкирии я, помнится, собирал росшие по вязовым колодам вешенки да сыроежки. Нападал, случалось, и на сырые грузди. Остальные грибы были для меня – темный лес.

– А грибки-то, однако, вы любите! – заметила тетя Нюра, глядя, как я ловко управляюсь с маслятами и обабками. – Здесь ведь их... и-и! – хоть косой коси да в кузов мечи! Не ленись – обрабатывай! Да... В Камышлове – а мы недалече жили – тож грибки были всякие... Мы, девчонками, часто в лес хаживали с корзинками да кузовками. Но таких – не бывало. Ведь тута иной боровик – что тыква, а красноголовик – от дождя можно спрятаться... Молоденький-то грибок, режишь ино – ну сало и сало, белое, без прожилочки – такое, когда сам откармливаешь, хлебом...

– Хорошие, видно, места у вас там. Как же вы здесь оказались – в ссылке? Почему?

– Издеся-то?.. – тетя Нюра нисколько не удивилась вопросу. – Как все – обыкновенно... Село у нас было большое, привольное. Жили мы справно. Да ведь и пластались от зари до зари. Без выходных, было времечко и повеселиться – не все ж страда. А коли начали в колхозы сгонять – тут и загремели, не токо мы – почитай полсела: шестьдесят дворов! Кто по навету злобному, кто из-за характера поперешного. Увозили когда – рев стоял над селом! Голосили – как над рекрутами не голосили. Были, конечно, кулаки-мироеды. Дак ведь народ-то не спрашивали: кто сноровлив да удачлив, а кто – жад-живоглот, – всех под едину метелку мели...Маслобойку держишь, мельницу имеешь, тройку лошадей, полон двор скотины, товаром торгуешь? Вот и ксплуататор, вот и мироед... Так вот и причесали село: в ссылку! А ведь и в артель бы пошли, работали бы ино получше других. Здесь ведь, на Мысу, и колхоз организовался тож, и жить стали не хуже, чем на родине...

Тетя Нюра на этом замолчала, задумалась, отрешенными стали ее голубые глаза, смурными...

– У меня, однако, другое дело было... Все по-иному сложиться могло. Замуж меня выдали не по воле. Родитель мой, не тем будь помянут, пропил меня загодя – породниться

захотел с соседом-богатеем. По нонешним-то временам оставила бы батюшке писульку да и укатила со своим ухажером в город али на стройку коммунизьма куда ни то... Да об ту пору не посмела родителя ослушаться: грех! Жалела после – да вот он, локоток-т: близко, а не укусишь... На роду, знать, написано было так. Испытание ишшо тако выпало: уполномоченным по раскулачиванию ухажер мой прибыл. Стал манить: «Брось, – говорит, – свово подкулачника, айда со мной – пропадешь вместе с имя, загремят твои в перву очередь». А у меня – свой гонор. Спасибо, товарищ полномочный, куда муж – туды и я со своими малыми детками. Григорею-то седьмой год уж шел, Валентин – грудной был. Намаялась я с имя и в дороге, и на новом месте. Ох, Господи, не приведи кому стоко мук принять! Высадили нас на Мысу. Это счас-то по улице до Сургута рукой подать, а тогда – тайга стеной, болотина, ручьи... Сайма та же – не перейдешь! Только на гребях и выбирались – в лавку или к властям. А жили – землянок нарыли, для себя и скотины... Чо уж – не голышом нас выкинули: были и коровы, и лошади, и семена были, и кой-какой крестьянский инвентарь. Где счас эродром-то и дальше – к Черной речке, гривы корчевали, озимя сеяли. Рыбу начали промышлять, а было то ее – Господи! Лови – не выловишь, только вот соли нехватка... Комендант у нас был хороший, помогал – и со снастями, и с солью, у местных доставал. При нем у нас рыболовецкая артель сколотилась – рыбозавод-от с нее пошел. Порешили его, сердешного: пошел по зиме на охоту и не вернулся. Сказали посля: на самопал, мол, попал, что ханты на лося ставят. Так оно, нет ли – поди разберись. Всяких атлетов с нами было, чего уж греха таить: могли и порешить. Прислали нам другого – построже был, но зря не обижал. Всяко бывало, если вспомнить. А и у него свое начальство: требовало, знать...

Зимой – еще ничего: мясца мужики раздобудут, рыбки спроворят, а к весне – бедовать стали, животами все перемаялись, зубы ронять начали... Проредила людей тогда костлявая, многих выкосила. Мест-ные, конечно, выручали; той же рыбкой вяленой, от которой вы нос воротите. Как нето, выжили, кому на роду было написано, посеяли по гривкам хлеба, картошку да овощ всяку по полянкам да огородишкам. В душе-то все были хлеборобами, потому и семена сохранили, и живность какую нето выходили. Так оно и пошло: где навоз,

там и урожаи пошли, земля-то здесь на назем отзывчива: рожь да овес сам пять, а то и сам десять выходил, а уж ячмень – и того выше. И к рыбе склонность пришла: ловить стали не хуже местных, готовить впрок научились. Ягоды собирали. Грибы. Орех кедровый.

Дома рубленые стали ставить: пятистенки, на два хозяина – полегше все же. Вот эта изба-то – четвертый десяток стоит, осела, знамо, но на мой век – хватит. А имя, – она кивнула в сторону горницы, – имя пусть ваша кспидиция квартеру дает...

Помолчали. Тетя Нюра – как встряхнулась, сбросила груз воспоминаний, заговорила о дне сегодняшнем:

– Вот у меня молоко берет Афанасьевна, жена твоего Федорова, так Афанасьевна и сказывает: город строить будут, дома высоки ставить. Чегой-то не верится. Сколь уж оне издеся? Третий год, а окромя конторки да таких же изб, что мы первый год ставили, ничего и нету: времянки да вагончики, иные – что твои стайки али собачьи конурки. Рази это ладно?.. У нас, что ни говори, люд подневольный был, ссыльный, а вы-то, чать, все – добровольные? Что ж начальство об вас не радеет?..

– Полевые платят, – защищаю я начальство, – компенсируют...

– А снабжение взять? Нам деваться некули было – на самообеспение нужда заставила стать. Вас понаехало, а чем кормить? Картошка в какой цене? Тридцать рубликов старыми пуд! Мыслимо ли? Продавать-от – хорошо, а как покупать?..

Санька вот попрекает меня: картовку продаю, молоком снабжаю, квартерантов держу – куда, мол, мне деньги-т? А и на сам деле – куда они мне? В кубышку не кладу – на них же и уходят... Приемник купили, радиволу, комод цельный – сто рубликов выложила. Коське вот, последышу, что во флоте служит, – тожа что нето справить надо. Приедет не приедет – а хош и во Влади-востоке, у невесты, останется, – все равно надо обзаведенье. По хозяйству, опять же, расходы. Все ведь мимо их: мужиков нанять, помочь сделать: сено, дрова... Саньке – все не до рук. Родны-т его – недалече тут живут – в Каргаске. Сваха рассказывала: весь в отца свово. Тому тож, грит, бывало, мировую революцию подавай! А валенки подшить, в стайке навоз подчистить – неколи все.

Валентину – тому на самом деле неколи: в совхозе весь! Остались у него одни бабы, как в войну... Мужики – все за длинным рублем к вам подались. Пьют да браконьерничают.

Имя теперь, ровно пьяной бабе, – и свое не свое. Валентин грозится: плюну да и тож уйду, подбивает его кто-то завхозом к сейсмикам. Ой, позарастают ведь осинником пашенки наши, позарастают... Гли-ко, уж и огороды бурьяном пустырятся у иных. А ведь земелька приусадебна все родит: свеклу и капуску, морковку и репку, лучок и редьку... – да всего не сочтешь. А уж картовку и говорить нечего. Слава Богу, пока у меня здоровье есть да у Окси – управляемся с огородом.

Окся-то ведь, хоть и ругаю ее, а ведь девка – хоть куда! Не пила б еще – цены не было. Как с Валентином в упряге возьмется за что – все в руках горит. Весной, к слову, за день огород вспашут и засеют... да и нам помогут, и рука легкая у имя... В хозяйстве ведь как? А так: как потопашь, так полопашь! Саньке покушать-то глянется, особо мяско – кажон день бы косточку глодал, а труд хрестьянский – кто бы другой делал. Знамо, он при своем деле, спецалист, заработок увесистый. Дак ведь банок да всякой мелочи на кажон день напаси – никакой зарплаты не хватит.

Она замолчала и некоторое время сидела сгорбившись и глядя мимо меня на пустую стену. И выглядела старой и жалкой.

– Маюсь эдак, маюсь, кручусь, хлопочу, – со вздохом промолвила, – а ино подумаешь: на кой ляд мне все это?.. Пензию мне, сколь нето, совхоз положил – лежи да, как ведьма старая, в потолок поплевывай...

От сравнения ей стало смешно, она преобразилась, повеселела.

– А то: у Грегорея внуки большие – прабабка ведь уже! Вот и уеду к кому нето: не выгонят, чай, всех вынянчила. Сосед вон, Бауэр, таки и решился – уехал. Думаю-подумаю, а решиться – сил нет. Такая жаль подступает: а как тут они без меня?.. Все ведь порушится!

В конце марта, когда дороги осели и приколотые зимой объявления о продаже мяса, коров (и до Сургута докатилась волна новой борьбы с личным подворьем) оказались настолько высоко, что их невозможно было прочитать, приехал наконец Мишка-капитан: выморозили они свои суда...

Теперь все свободное время я проводил с ним, отошел как-то от хозяйкиных забот. Мишка познакомил меня со своими друзьями-капитанами. Некоторые из них раньше плавали по морям-океанам: им было что рассказать. Иной раз мы задерживались

допоздна и, не достучавшись, забирались на стайку – на самую верхотуру, зарывались в тревожно пахнущее сено.

Погода стояла ясная, с легким морозцем. В гроте на «Олимпе» – так мы стали звать свое тайное убежище – было тепло, свободно, романтично. Здесь я приохотил Мишку к Маяковскому. Глядя на высокое звездное небо, он с чувством декламировал:

– Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Глухо.
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

Голос у него с хрипотцой, между словами он забавно причмокивает, смеется в восхищенье, всхрапывая, как жеребенок.

Мы с ним одногодки. Его после училища речников забрали во флот, а я в институте был. В чем-то он силен, в другом я. С ним интересно.

Я в очередной раз бросил курить; винцо пить, памятуя наказ, воздерживался и пытался друга попридержать. В сущности, Мишка был мягким парнем, но, видимо, с училища, въелась в него привычка «держать форс». Конечно, делать это было проще, «вмазав» – перед кино, танцами. И в этом тоже он был близок мне. Я знал свои слабости и старался их преодолеть. У меня была своя «теория» отвыкания от дурных привычек: бросив курить, например, я всегда имел сигареты и зажигалку в кармане. Согласно этой «теории» и в гроте на «Олимпе» мы завели бар.

– Всегда больше хочется того, чего нет, – убеждал я друга, – а уверенность в том, что твое желание может в любой момент осуществиться, делает его не столь острым.

– Зато постоянным... – резонно возражал мне друг.

Но держался он стойко, никогда не пользовался баром «без кворума».

На Оби появились забереги. Неделя-другая, и откроется навигация. И расстанемся мы с другом до осени. От этого становилось грустно. Михаил предлагал на лето перейти к его приятелю: он с женой будет в плаванье, и в моем распоряжении

маленький домик с палисадником, рядом с караванкой. «Подженишься!» – соблазнял Мишка.

Заманчиво было побыть одному, начитаться вдоволь, стихи пописать да и «тет-а-тет» переговорить с кем-нибудь. У тети Нюры же – и дома сплошная разнарядка! Всегда народ: чай пьют, пироги едят, юшку хлебают, а то пьют: «Бутылочку поставишь, хозяином будешь!» Не хочешь, а тебе такой «хозяин» стакан сует: «За все хорошее».

И в то же время что-то крепко удерживало меня в этом доме. Это «что-то» было похоже на тети Нюрину «жаль». Подобное чувство я испытал уже однажды. Поздним вечером, в слякотную пору, меня подобрал сердобольный шофер, а на полпути забарахлил двигатель. И хоть мимо проходили рейсовые автобусы, легковушки, не поднялась рука тормознуть одну из них, помочь водителю я не мог, просто стоял рядом с ним. Один раз взглянул на меня шофер, хмыкнул и опять нырнул в недра старенького «Москвича». Молча ехали мы и остальную часть пути. Он спросил меня, где живу, и довез до подъезда. И я не предложил ему плату, потому что почувствовал – обидится, только «спасибо» сказал, он мне махнул дружески...

Чувствуй я, что тетя Нюра – стяжательница, Санька – неблагодарный человек, а Окся – неисправимая пьяница или склочница, я ушел бы, не раздумывая ни минуты. Так же бросил бы и шофера-калымщика, который заранее содрал бы с меня за проезд, а потом застрял...

Здесь же все иначе. Тем более что я помогал «ремонтироваться» этой сложной машине под названием «тетинюрин дом». Исподволь я помог Саньке возобновить занятия в вечерней школе, приохотил его к рационализации – помог оформить пару предложений и, когда позже он получил тридцать рублей вознаграждения, – радовался им, словно первой зарплате. Загорелся он и совсем трудноосуществимой идеей: сделать трактор! И не меньше! Чтоб теща не приставала с огородом. К внучкам хозяйкиным привык, и они скучали без меня...

– Ладно уж, капитан, поживу здесь! – отказался я от Мишкиного предложения. – Все-таки «Олимп»...

...Улетая в очередной раз в командировку, я всегда стараюсь напоследок глянуть на «свой» дом.

Самолет АН-2 – «аннушка» – ложась на курс, делает разворот над тети Нюриным подворьем. Прижавшись лбом к холодному блистеру, я окидываю двор с теплым чувством... Вижу осевший после теплых дождей «Олимп»... тетю Нюру – с ведром: поила, видать, корову... из-за дома показалась водовозка – Санька на обед приехал, он теперь водовоз, с автобуса ушел... «Каждой бочке – затычка... каждый помыкал!» Теперь с удовольствием поет: «Почему я водовоз?... Потому что-о...» Плохо, что «калымить» стал и, в основном, за стакан... Римма скандалит, она в «интересном положении». Санька слово дал: «Строгать будем до тех пор, пока «Филиппка» не выстругаем (отец у него был Филипп)...

Самолет поднимается выше, ложится на курс. Виден весь Сургут. Он похож на срез дерева: темная, древняя сердцевина, уходящая во времена Ермака. Вокруг – несколько колец посветлее.

Внешнее полукольцо – это новенькие экспедиционные коттеджи из свежих смолистых брусьев – они словно всегда освещены солнцем. И корявая кора наростом – времянки, «шанхай»...

В районе Тунгусского метеорита, как я читал еще студентом, на срезах деревьем было ясно видно, что кольца, образовавшиеся после взрыва, были шире – явное свидетельство воздействия радиации.

Вот и здесь, думал я, происходит своеобразное «облучение» Сургута и как бы новые, мощные кольца совсем не затянули его сердцевину. Собственно, сейчас еще и не «взрыв», а горение «запала». Сам-то взрыв – впереди, и прогремит он, наверное, не хуже Тунгусского, на весь мир, восхитит и удивит многих, а для кого и останется такой же загадкой, если не более таинственной.

Пусть Сургут станет городом! Городом, который построят люди, приехавшие в этот суровый край, как сказала тетя Нюра, «по собственной причуде». Но пусть в нем останется, как мягкая, маленькая сердцевина, – какой-нибудь старый, осевший, построенный еще в прошлом веке, дом... на худой конец – тети Нюрина изба, с тесной кухней... и с нашим «Олимпом»...

1965 – 1967 гг.
Сургут – Тюмень

КОНЦЕРТ

Едва нога на снег опустится –
и словно скрипки голосят.
В тайге отличная акустика,
когда мороз
под пятьдесят.

На темном небе, как отдушина,
курится синяя луна
и льет, как будто прямо в души нам,
свет леденящий
изтемна.

На спинах ватники куржавятся,
и обжигают нос очки,
но мне чертовски это нравится, –
когда как будто бы смычки
скользят по струнам,
что колышутся
и оживают под ногой...
По всей земле, наверно,
слышатся
шаги
идущего тайгой!

1963 г.
Сургут

НОВЫЙ ГОД У САМОТЛОРА

В начале декабря я выехал в первую командировку – в Тюмень. Цель – поделиться опытом, получить бурголовки для погружателей, изготовленные централизованно.

Поселился в гостинице «Заря». Соседом по номеру оказался Виталий Петров, единственный в экспедиции мужчина-интерпретатор. Виделись мы с ним месяц назад. Я тогда шел с Мишкой к тете Нюре, встречу отметить, – все лето не виделись. Настроение у нас было приподнятое. По пути, возле нового, незаселенного дома, нас тормознул респектабельный молодой мужчина – это и был Виталий:

– Мужики! Пардон, милорды! Не желаете ли новоселье справить?

Мы опешили.

– Вот в этом доме! Опередим хозяев? Обмоем углы раньше их! Ну, как – идея? – он раскатисто захохотал.

Так мы и познакомились. Мишка на следующий день, вспомнив про новоселье, качал головой и всхрюкивал...

Виталий за пять лет после окончания Ленинградского горного института успел поработать в Дудинке, Березово, на Полярном Урале. Он женат, семья в Ленинграде. У него насмешливые серые глаза, породистый нос, полные улыбчивые губы, мужественный подбородок – истинный геолог! Ходит упруго, прыгающей походкой, уверяет: его походка – редкость, люди с такой походкой всегда успеют выпрыгнуть из-под машины. Мне Виталий обрадовался, как родному: сидел без денег. В первый же день он приобщил меня к «веселой» жизни...

На следующий день к нам подкатились еще сургутяне: каротажник Виталий Вакаев, буровой мастер Виталий Лагутин и снабженец Николай Доброхотов. «Четыре Вити и Коля сидят на приколе!» – каламбурил через пару дней Петров, когда спустили весело мои денежки. Все ждали «свои» переводы: кто «сто», кто «двести». Вскоре и мне пришлось телеграфировать в экспедицию. Денег на билеты не было, ждали спецрейс, перебивались на сырках и пиве, перехватывали у кого могли. Увидели как-то общего знакомого, переведенного в Тюмень, – обрадовались, но у него был только «хруст» (рубль) и батон. Взяли батон. Потом пошли искать шапочно знакомую Вита-

лию женщину – он помнил только приметы ее дома. Не зря говорят: везет дуракам! На двери одного из подъездов увидели список злостных неплательщиков, Виталия Бог сподобил прочитать его: в списке – она! С мефистофельскою улыбкой он нажал кнопку звонка ... Женщина обреченно ссудила нам десятку. В гостинице мы жили в кредит. Нынче не верится, что администраторы могли быть добрыми. Дежурная по этажу давала нам чайник, и мы ржаной хлеб – круглый, караваем – ели с сырками и запивали крутым кипяточком... Вкуснятина!

Как-то Виталий заметил у меня в бумажнике трехпроцентную облигацию, купленную в отпуске из любопытства, и возопил:

– Живем! Что ж ты молчал?! Двадцать рублей – это ж капитал! Иди – меняй!

Честно говоря, мне не хотелось менять ценную бумагу. К счастью, я вспомнил, что сегодня выходной. Однако ссылка на воскресный день не помогла. Виталий еще и пристыдил меня:

– Ай-яй-яй... млдчек!.. А центральна сберкасса – на что? Она вам любую бумагу – особенно такую ценную! – нца! – превратит в хрустики. Сами изволите прошвырнуться или дозволите мне?..

«Ценной бумаги» хватило на один ужин...

Долго ли, коротко ли – вернулся я с драгоценными для меня бурголовками в экспедицию, приобщенный к братству командированных...

Узнав, с кем я общался, Виктор Петрович усмехнулся: «Этот – приобщит... Оркестром, случаем, не дирижировали? Удивительно».

Полевой сезон в сейсмопартиях еще не начинался – не промерзли болота. Я подготовил несколько погружателей с новыми бурголовками и ждал: какая партия начнет первая, в ту и поеду.

Первым ринулся на профиля Халилов, общительный азербайджанец Али Джабраил оглы, а по-русски – Аркаша, через пять минут говоривший незнакомой девушке: «Я тебя лублу!» Однако атака захлебнулась: трактора тонули, и шел сплошь брак. Для Аркаши это было как пощечина! Тут он и вспомнил про меня:

– Викторр, доррогой!.. Садыс Атээлка и едым ко мнэ. У мэнэ такой плывун!.. мм-мэ! Нигде такой нэт!

Аркаша, как обычно, преувеличивал: плывун и плывун, такой же, как в Покуре. Его техник по бурению был на испытании первого погружателя, поэтому новый освоил быстро.

Возвращались мы из отряда на ГАЗ-47. Мне еще прошлой зимой, в Покуре, рассказывали, что этот вездеход может «преодолевать водные преграды на плаву». Поэтому, когда стали пересекать речку по тонкому льду, я чувствовал себя спокойно. А вот в «лоб» на невысокий крутой бережок взобраться не смогли. Пока соображали, что предпринять, «плавучий транспортер» стало заливать... Но нет худа без добра: при погружении изменился «угол атаки» гусениц, мы подложили несколько валежинок, и вездеход выкарабкался на берег. Недалеко виднелась деревушка, решили там обогреться и подсушиться. Собрали у кого сколько было денег, и Аркаша уговорил базистку: на все деньги – перцовку. Перцовка была темная, густая и не такая уж горькая. «Полечились» мы на славу: назавтра никто не чихнул.

Следующая партия – Нижневартовская № 25 дробь 62–63 гг. Начальник партии Кабаев, два отряда.

После открытия усть-балыкской и баграсской нефти развернули с Севера, из Нарыкар и Березово, полевую разведку, усилили Сургутскую комплексную экспедицию сразу четырьмя партиями: две ушли на восток, по Ваху, одна – в Нижневартовск, четвертая осела в Сургуте. Каждая «карта» в то время была равноценной, каждый из начальников этих партий вытащил свою, уготованную планидой. А вытащив, каждый старался «разыграть» ее в силу своих способностей: гнал профиля, отстреливал их, стараясь получить «зачетное» качество материала.

Из-за непогоды в партию вылетел только с третьего захода. Начальник отряда Шагандин встретил меня в штыки. Привыкнув к заинтересованности и гостеприимству в других партиях, я был ошарашен таким приемом.

– Мне план надо давать, а не с вашей сомнительной техникой возиться... – угрюмо, чуть в нос, резким баритоном выговаривал он. – Мне надо дать людям заработать. У меня не опытный полигон, в другом месте опытничайте! Есть, в конце концов, опытно-методические партии! Чем они занимаются? Привыкли чужими руками жар загребать. Почему я должен на их диссертации работать?

Шагандин черноволос, с крупными чертами лица, лоб изрезан упрямыми поперечными складками; в голосе истерические нотки.

«Трудный ты человек, Володя, – отметил я про себя, – но я ведь не к тебе в гости пришел, чтобы развернуться от такого приема. Я – старший инженер экспедиции! Чиф-инженер! Решаю важную задачу – это и в Тюмени сказали, предложили статью написать в журнал. Так что я не бедный квартирант, а ты не Мордухай, который может пустить на квартиру, а может указать на порог...»

Словно угадав мои мысли, Шагандин выложил свой последний козырь:

– Кстати, и жить негде... Все забито.

Отступать я не мог, но согласился на компромисс: там, где будет слабый материал, с плохими отражениями, при повторных перестрелках и применят погружатель.

Явный брак получили на первой же стоянке. Я торжествовал: сейчас покажу класс! Но и меня ждало жестокое фиаско: одна попытка, вторая, третья – не открывается погружатель, и все тут, хоть лопни! Еще попытка – заряд остался, но оборвало боевую магистраль. Час от часу не легче! В чем причина?

Шагандин «заводится», кругами ходит, играет желваками... А тут еще взрывники заныли:

– Как на такой глубине будем ликвидировать заряд? Оставлять нельзя!..

Я тоже начал терять самообладание, какую-то дрожь неприятную ощутил в груди. С трудом взял себя в руки. И решение сразу же пришло. Сказал небрежно:

– Первый раз, что ли?.. Пробурим рядом, опустим новый заряд и – подорвем! Давай бурстанок назад... Стоп! Хорэ!

Скважину пробурил сам, погружение и обратное вращение – тоже. Подъем сделал бурильщик. Получилось! Хоть шапку вверх кидай – так был рад.

Взрыв получился мощный, жесткий... Сейсмики народ опытный, по толчку определяют: какая будет запись. Вступления кривых из-за детонации первого заряда чуть смазаны, но в целом отражения вполне читабельны. Тем не менее Шагандин брезгливо морщится:

– Не-е... Все же лучше «ручников» нету... – И вдруг доверительно так, почти дружески: – Ты, я вижу, неплохой парень, но ехал бы в другой отряд, а?.. Честно, мне до Нового года выложиться надо – доказать кой-кому. Так как?.. Ладно, другой бы спорил – молчу: еще одно физнаблюдение... так и быть... – другим тоном заключил он.

Стоят самые короткие дни. Заряжаем уже в сумерках. Опускаем при свете фар. За рычаги встал техник по бурению. Все он сделал как надо, поднимаем: в ярком свете на темном, искрящемся фоне контрастно выделяются красно-синие провода боевой магистрали. «Сработало!» – отмечаю с удовлетворением. Но какое-то ощущение внутреннего дискомфорта, как будто что-то не то... «Бурголовка!.. Куда делась бурголовка?.. Е-мое! Свернули шею!.. Осталась в скважине...»

Меж тем взрывники отсоединили провода, «откусили» излишки, подключили взрывпункт. Ненужный уже погружатель бросили в сани. Отъехали на безопасное место. Старший взрывник крутнул ручку полевого телефона, связался со станцией. Нажал кнопку взрывной машинки – загорелся индикатор. Другим пальцем коснулся еще одной кнопки – балок жестко встряхнуло. О-о!.. Хорошо пошло – на «пятак»!..

Подсвечивая фонариком, осматриваю торец погружателя: «В чем дело?.. Некачественная сварка?.. Больно уж издевательски звучало: продолжим завтра. Может, подстроили? Да ну! Как так можно... Это уж я – с досады...»

В это время, по пути из другого отряда, на «АТЛ» – сам за рычагами – заехал Кабаев. Я решил выбраться на базу вместе с ним – надо было только вернуться на предыдущую стоянку, где у меня остался меховой спальник.

– Завтра отряд выедет на базу – привезут! – отговорил Кабаев.

Я доверчиво согласился. Со мной такое случается: «Неудобно... подумают: крохобор. Или – людям не доверяю...» Потом или рукой махнуть останется, или нести двойные хлопоты. Сейчас тоже: настоять бы, вернуться – делов-то: полчаса! Ан нет, пресловутое «неудобно»... Вот и у этого цигейкового спальника, я уже точно знал, вырастают ноги. Вообще-то неудобный спальник: тяжелый, жесткий...

«АТЛ» – военная машина: «легкий артиллерийский тягач». У него узкие, скоростные гусеницы, малый клиренс; бегает он быстро, но не любит косогоры и глубокий снег. Даже с грунтозацепами съезжает с косогоров юзом. А в глубоком снегу не может развернуться, приходится дергаться туда-сюда. При этом диски сцепления бортовых фрикционов звенят характерно: будто пилой-ножовкой режут железо.

Зимник у сейсмиков – понятие весьма условное. Петляет

он между деревьями, по опушкам грив, среди озер и болот. Поворотов не счесть и на ровном месте, и на косогорах. На одном из таких косогоров мы застряли надолго... На базу партии приехали только под утро.

Предоставленный самому себе, я разбудил сторожа и, не раздеваясь, расположился на каком-то ларе в холодной конторе. Тут и вспомнился снова спальник с чистым вкладышем: «Вот оно – «неудобно»...»

Зашел Кабаев, позвал на завтрак.

Дома у него – празднично: наряженная елка, по стенам ковры, прибрано. И еда – вкусная, не каждодневная. Но я чувствовал себя не в своей тарелке: хозяева, видать, были в ссоре. В жестах, голосе, движениях, во взгляде каждого – напряженность, натянутость...

Было уже тридцатое декабря. Вездеход, в котором должен быть мой спальник, еще не подошел. В сердцах я подался пешком в «аэропорт» – к стоявшей на бугре в отдаленье хибаре, в которой бывал кассир, продававший билеты по прилету самолета. Густокрашеная женщина в новой меховой куртке, представлявшая собой Аэрофлот, пообещала первой оказией отправить меня в Сургут. А вот будет ли оказия – не знает.

Я решил ждать. Подошло еще несколько человек. Среди них – техник-геолог Галка Басова, которую я видел в Сургуте раз-два. Она молода – второй год после техникума, общительна, говор у ней быстрый, с приятной картавинкой. Разрез глаз продолговат, с загибом к бровям; носик уточкой. А все вместе образует миленькую – лисочкину – хитрую мордочку. Она хоть и темноволоса, но даже в разгар зимы лицо ее осыпано веселыми веснушками. Летит на Новый год в Сургут.

– Ясненько... – понял я. – Женю проведать?..

– А вот и нет... – игриво поправила она, – в командировку...

В октябре сдали итээровское общежитие – длинный дом на двадцать комнат. Вполне приличное сооружение из струганых сосен. После некоторого колебания я съехал от тети Нюры и поселился в одной из комнат с видом на далекую, за песками, Обь. В комнате, как войдешь, по левую руку – моя койка, по правую – фанерный, крашенный под дуб шкаф. Дальше, слева – Валерка Ртвеладзе, механик, справа – Женя Кашепава, геофизик. У окна, между кроватями, простенький стол и под ним одна

табуретка. По мне – совсем неплохо. А Женя иронизирует: «О!.. Как советские инженеры живут – даже табуретка есть!»

В Сургут мы приехали в один год. Соседи мои – почти земляки: Кашепава – бакинец, Ртвеладзе – грозненский закончил. У Жени густая кудреватая шевелюра, за которой он тщательно ухаживает, маленькие усики над розовыми губками бантиком. Он близорук, но очки не носит. Память – девичья, по нашим понятиям: все берет на карандаш, у него разноформатные блокнотики. В свободное время любит шлифовать ногти – пилочка всегда с собой, этому занятию отдается самозабвенно, изящно оттопырив мизинец с длинным ноготком, что-то напевая женским звучным контральто. Программа-минимум: заработать денег на кооперативную квартиру в Баку и стать начальником партии, как только будет такая запись в трудовой книжке – сразу уедет...

Валерку девчонки зовут в глаза «рыжим грузином», а за глаза и лысым называют: на темени у него редкие каштановые кудряшки; под короткими бровками светло-карие глаза; характерный скошенный подбородок. Говорят они с подчеркнуто кавказским акцентом. Ртвеладзе тоже не скрывает своих карьеристских устремлений. Когда нас в сентябре произвели в «старшие», он не раз заводил Женю: «Вот, мы уже «старшие» – он инженер, я – механик, а кто ты? Просто ге-о-физик. Второй год...»

Тем не менее Галка Басова, как мне показалось, «старшего» механика игнорировала, отдала предпочтение «просто геофизику».

Вот и сейчас она стремилась в Сургут, чтобы, конечно же, встретиться с ним.

Я подтруниваю над Галкой:

– А вдруг он – сюда? Разлетитесь на повороте! Ну, ничего, Валерка будет дома...

– Неправда ваша... – грассируя, отшучивается она. – Меня Женечка в порту уже ждет... с цветочками, с подарочком! (Откуда ей было сейчас знать, что будет через три года? В судьбу мы тогда не верили, а гороскопы были не в моде...)

Погода между тем ухудшалась. Противоположный берег слился с небом, нависавшим над нами темно-серой оренбургской шалью. Белый кутенок, крутившийся у ног, сливался со снегом, и его темные грустные глаза, казалось, прыгали в пространстве сами по себе.

Наша надежда на отлет поддерживалась уверениями кассира, что самолет, проходящий из Ларьяка, «должен быть». И вот, словно в проявителе, в белой мгле проступили размытые контуры «аннушки»... Резко и неожиданно, при перегазовке, возник звук... Не дожидаясь диспетчера, мы побежали к самолету, вниз, под берег. А тот, развернувшись против ветра, чихнул и заглох. Из него вышли пассажиры и два пилота. Погоду закрыли до конца дня...

Пообедали-поужинали в рыбкооповской столовой. Выбор невелик, но все натуральное: муксун, осетрина, нельма в разном виде, уха, пельмени, отварное мясо, и недорого – с рубля сдача.

В сумерках вернулись на базу сейсмопартии. В конторе Кабаев окружен механизаторами. Разговор на высоких тонах. Узнал, что они с профиля, заикнулся о спальнике – никто ничего... Некоторые успели хлебнуть спиртного – «качают» права. Кабаев подначивает: «Ну-ну, что еще? Давай, вали!» – у него за тумбой стола, на полу включен магнитофон. «Вот оно что! Для «воспитательной работы»?» – догадался я. «Точно», – подтвердил Леонид, – я ему прокручу этот «концерт» потом, пусть покраснеет...» Он забрал магнитофон и ушел. Я сначала обиделся, потом рассудил: «Видимо, что-то дома не ладится – не до меня».

Утром я, что косач, встряхнулся, протер глаза снежком – все туалетные принадлежности были в мешке спальника – утерся носовым платком и – готов к полету!

Пилоты запросили разрешение на вылет – отказ! Закрыты и Нижневартовск, и Сургут: облачность, видимость, ветер...

Только начинает светлеть, и ветер вроде бы стихает, – нет, опять с юга ползет белая плена. А велик ли декабрьский день – хоть и сделавший воробьиный шажок к лету?.. Вот-вот и кончится.

Экипаж из Ханты-Мансийска, в Сургут им лететь нет резону: что Вартовск, что Сургут – все равно не дома. Вскоре они стали просить «вылет по трассе», то есть в Ханты-Мансийск. И сразу бравые ребята упали в наших глазах – еще бы! Они лишали нас надежды. Особенно расстроилась Галка. Но ждали мы «до упора»: пока пилоты, разжалобив синоптиков, не улетели. Многие полетели с ними. «Айда! – звали и меня. – Столица кака-никака, пивца ханты-мансийского попьем». Пиво я в то время не любил и отказался: здесь хоть какие-то знакомые есть, а там – так и ждут меня.

Геологиня моя совсем скисла – того и гляди, слезки побегут. Ни на какие шуточки не реагирует... Проводил я ее в расстроенных «чуйствах», как мы тогда говорили, до их «общаги» – заметенного по самую крышу просевшего дома. Жили они в комнате со Светой Бурдиной, переведенной сюда из Покура.

Светлана была тоже в миноре: лежала в полумраке, без света.

– Потому и Света: ей светло без света!

– Вот и говорят: Бога нет! – оживилась она. – Вы же из-за меня не улетели: вымолила! Не расстраивайся, Галчонок, шучу. Но – рада!

Дала мне кухонный нож, отправила за елкой...

Пошел я по дороге, по которой вчера приехал с профиля. Далековато оказалось. Да и навстречу мраку жутковато было идти. Несколько раз сходил с дороги, шарился по опушкам, но подходящей елочки не попадалось. За поворотом чуть развиднелось: просека ли раздвинулась, лес ли поредел, высветился стволами берез, – и я заметил елку. А как добраться до нее? Потом сообразил: докачусь! Завязал шапку, поднял воротник радикулитки, нож – в унты и – покатился... Весело стало: посмотрел бы кто...

Кровавую мозоль натер, пока, почти по-бобриному, перегрыз тупым ножом мерзлый ствол. Зато елочка оказалась что надо! Девчата, когда увидели, завизжали от восторга.

– Наряжайте, а я в ваш «Гастроном» прошвырнусь.

Вышел – Кабаева встретил, собирается на «АТЛке» в Вартовск – тоже в магазин.

Вина не было – поздно спохватились, один спирт...

Едем обратно – сплошная темень. Дорога неровная, волнами накатана, – тягач, словно катер на волне, клюет носом. Свет фар – яркий, гребни волн высвечивает, тени гонит в ложбины – бегут они, создавая еще большую иллюзию волнения. Вдали дорога – словно тельняшка в вырезе темно-синей форменки. Только полосы, перед тем как под гусеницы упасть, срываются мгновенно, бесследно испаряются.

В кабине тепло. Укачивает, убаюкивает – об стекло бы лбом не... Вдруг – показалось? – одна полоска так и осталась на дороге, ушла под днище тягача. Но – ни звука, ни удара. Кабаев смотрит вперед. Спокоен. Руки на рычагах фрикционов. «Показалось... А вдруг?..» Меня охватывает неясная тревога,

и я убеждаю Леонида вернуться и посмотреть: что там? Или поблазнилось мне?

Пока Кабаев разворачивает «АТЛ», визгом фрикционов кромсая тишину, вглядываюсь в темень: что-то чернеет на дороге. Подхожу ближе – человек!.. Развернувшись, Кабаев осветил его пронзительным лучом фар: не шевельнулся... Подходим. Не прикасаясь, рассматриваем. Шапка примята тракáми, на голове ни царапинки. На носке левого валенка след от шпоры противоскольжения. Рядом валяется авоська с задубевшими полотенцем и мочалкой. Леонид заглядывает человеку в лицо и узнает его: топограф партии, сегодня всех возили в баню, он отстал, видимо, встретил местного кирюху и пил с ним...

– Ну что?.. – не разжимая зубов, проговорил Кабаев. – Вот вам фонарик, оставайтесь здесь... А я поеду за... милицией... сдаваться. – Голос его скрипуч, лицо отдает в ярком свете синевой; желваки ходят. Я понимаю его, молчу.

И вдруг «труп» (разве мог уцелеть человек, которого «прокатали» между днищем идущей на скорости машины и утрамбованной до костяной твердости дорогой?) сел и забормотал:

– Млицию?.. Зачем, млицию?.. Не надо млиции... – Потом, совсем очнувшись, спросил ясным голосом: – Где это я?..

– Вы живы?.. Вы живы?.. – не скрывая радости, все спрашивал Леонид. – У вас ничего не болит? Все цело?.. Мы сейчас вас отвезем в больницу.

Топограф отрицательно закрутил головой и сделал попытку встать, но его качнуло, и он упал на снег: то ли хмель не прошел, то ли что-то было все же повреждено.

Довели до кабины, помогли забраться. В тепле его развезло, он пьяно просил:

– Спать... домой... домой... спать...

Дома, трепеща от гнева, но сдерживаясь, встретила жена. Когда Леонид рассказал историю, приключившуюся с мужем, она стала браниться, не стесняясь нас:

– Нет на тебя смерти, проклятущего! Задавили бы уж – один раз поплакала да век бы спокойно дожила. Так и на том свете ты не нужен! Пьянчужка несчастная, не могли по башке-то твоей дурной проехаться... Господи... все люди как люди: помылись, к Новому году готовятся... А с тобой?.. Никогда... по-людски... да за что... Господи...

В свежепобеленной комнате тепло, уютно... Пахнет стряпней... домашним очагом... Почему этот человек, сейчас осевший кулем, шатался где-то, напился до «положения риз» – так, что валялся на дороге, – не шел сюда, под теплый кров, где, если уж на то пошло, и выпить наверняка припасено? Не мог подождать два-три часа? Неужели настолько «алкала» его душа?..

Странность поведения людей, непонятность человеческих отношений порой наполняла меня тоскливой жалостью. Хорошо, что молодость брала свое и мне удавалось отогнать от себя эти мрачные мысли. Я говорил себе: «За всех не напереживаешься. Главное: я знаю, как мне жить, и меня «минует чаша сия»... (Сейчас бы мне этот оптимизм.)

Кабаев пригласил меня «разрядиться после стрессов...».

Он начал было собирать закуску, выставил рюмки, но... прибежала жена топографа и запричитала: «Ой, плохо ему... Ой, душегубы вы – задавили человека... Скорее везите в больницу – может, еще помогут... спасут, може... Ой, люди добрые... деется...»

– Фу!.. Хорошо, что не успели выпить! – Леонид шумно выдохнул. – А то бы доказывай: трезвым был! И так уже криминал: ездил без прав на вождение... Развеселенький Новый год! И вас втравил... Оставайтесь, один съезжу...

В больнице, на счастье, оказался дежурным врачом хирург; прощупав пострадавшего, успокоил:

– Явного ничего нет. Хотя сейчас он – как под наркозом, на боль может не реагировать. Оставим до утра. Протрезвеет – будет видно. Если что, прооперируем... Не волнуйтесь: с пьяным – еще не такое бывает! Тем более под Новый год.

Однако наш подопечный оставаться в больнице не хотел и норовил уехать с нами.

От приглашения зайти к Кабаеву снова я отказался: «Девушки ждут».

– Мы уж думали: загулял где! – укорили они меня за опоздание.

Елочку украсили они чем придется: были на ней и конфетки, и открытки, и карты... Все, что было в комнате красочного и блескучего, висело на ветках: ленточки, бусы, флакончики, часики...

– А утюг? – предложил я. – Вон как блестит...

Пахнет хвоей, духами... Девушки в нарядных платьях: Света –

в темно-вишневом, Галка – в темно-зеленом, густого, елочного цвета. Волосы начесаны, подвиты. Глаза у них ярко блестят.

– Самое лучшее украшение елки – это блеск ваших глаз. У меня глаза разбегаются: на кого смотреть? Одна другой красивее! Косоглазие приобрету – отвечать будете!

– На меня смотри, Витенька! Я – помоложе, росточком – помене: меня на руках носить легче! – хохмила Галка. Она смирилась с неудачей, ее природная веселость брала свое.

– Ишь ты, ишь ты! – откликнулась Света. – На руки уже запросилась. Было бы за что...

– А он меня погладит, я замурлычу: мур-мыр-р-мур-р-р...

Так и болтали всякий вздор: смеялись, пытались танцевать, песни затягивали, вроде и весело, но – не то! Натянутое веселье!

Музыки не было, а тут еще и «кальвадос» я сделал очень сладким: в спирт вбухал много яблочного сиропа, и он плохо «шел»... Да, видно, дело и не в этом было! Нет-нет да и задумается кто-нибудь, улетит в мыслях далеко-далеко... Паузы возникали тягостные, затяжные. Я и анекдоты пытался рассказывать: не смешно! А может, и не надо пыжиться? Грустно? И пусть грустят! А мне с чего веселиться? Мне самому не легче: ревность терзает, всякие картины возникают в воображении. У них-то, поди, веселье брызжет, музыка, огни, смех... Как бесшабашно-весело проводили мы эти часы прежде! Катались с горок, убегали в детский парк... крутили карусель... целовались украдкой... С каким трудом я вырвался в отпуск! Ехал с желанием поставить точки над «и». И что же?.. «...Подождем... проверим себя...» Сколько можно проверять?.. Возьму вот в Светку влюблюсь! Или в Галку... Вон какие симпатяги!

Света тихонько тянет: «Не жалею... не зову... не плачу...» Галка склонила ей на плечо темную головку и подпевает еще тише – ее грассирующий бормоток словно аккомпанемент гитары. Кончилось тем, что она уткнулась Свете в грудь и за-хныкала. А у той тоже капризно изогнулись губы, покатились слезки...

Я вышел на улицу – пусть поплачут.

Первозданная темень. Безветрие. Тишь. Со всех сторон – темень и тишь. Нет: чуть слышные звуки аккордеона. Может, пойти на него?

Заглянул: как там подруги?.. Начальник и подчиненная спали в обнимку. Что им снилось? Где витали их души? Прикрыл дверь щепочкой и ушел «домой» – в контору...

Утром, в новом уже году, слетал в «порт» – так, на всякий случай. Там ни души – даже транзитники из Ларьяка где-то загуляли. Что ж, будем и мы праздновать! Погрустили, и хватит. Надо ли мне все время вздыхать о своей «Дульсинее Сухологской»?..

Когда я вернулся, «у нас» уже шло веселье: забрел гость, молоденький парнишечка, сын вчерашнего топографа, с аккордеоном; он лихо наяривал на инструменте и пел забористые частушки, заменяя кое-где слова междометиями или свистом.

С музыкой мои «канарейки» – так у нас звали девушек, с которыми «гуляли», – ожили. А когда к нам присоединились еще парни, веселье забурлило. После обеда толпой прошвырнулись по Вартовску – все обошлось благополучно.

На следующий день я улетел в Сургут. Праздник кончился, и Света «отозвала» Галку из командировки: записку главному геофизику Федорову мог передать и я...

На словах она просила передать, что операторы работают с браком, ее не слушают; у нее много вопросов по обработке материалов: она же всего второй год после института, а старший интерпретатор – Виталий Петров – все еще в Тюмени, с отчетом за прошлый сезон... «Петров? – удивился я. – Виталий?.. Тот самый?» Оказалось: «тот самый»! «Баламут»! – сказала Света. «Очень даже пр-риятный мужчина... – не согласилась Галка. – Только женат...»

Виктора Петровича в Сургуте не было, я отдал записку его жене – «бабке», как звали ее все интерпретаторы. Зимой ей было скучно: под крылом только бехтинская партия – две Вали, Евдокия Бондаренко да бехтинша – Юлия Николаевна. Зато по весне! Съезжались все «невесты» с сундуками сейсмо-грамм – в камералке становилось тесно, шумно, базарно... «Бабка», круглая, в бородавках, громкоголосая, квохтала над камералкой, словно клуша... В общем, отдал я записку и улетел в Русскинские. Потом в Тайлаково... Потом в Ларьяк... И так – до весны. В конце сезона, в апреле, вдруг обнаружил я в правом внутреннем кармане пиджака, где у меня обычно лежал платок... послание Светы к Виктору Петровичу. Сначала я тупо прочел его. Перечитал... И тут меня бросило в жар: «А что же я передал Надежде Афанасьевне – «бабке»?.. Точно помню, как я сказал: «Светлана... просила передать... Виктору Петровичу» – и отдал. А что – отдал?.. Я начал перебирать

варианты и вычислил: отдал свое письмо... к Вале. Точнее, начало письма. Там еще были такие слова: «...Милая, хоть во сне покажись!» И в таком духе – несколько строф...

Теперь мне стало понятным то оживление, которое я вызывал, появляясь в камералке: хиханьки, хаханьки... переглядыванье, перешептыванье...

Смуглая, как цыганка, Дуся Бондаренко несколько раз заводила разговор:

– Скажите, Виктор, а у вас есть любимая?.. Девушка вашей мечты? Или хотя бы – которая вам нравится?..

– Виктор, посвящайте своей девушке стихи... Только не печатайте их в противных районных газетах! Как приятно быть хозяйкой стихов, обращенных только к тебе! Мой первый муж писал стихи – об этом знала только я. Они были – мои! Мы бы с ним не расстались никогда – он... умер...

В нескольких номерах местной газеты у меня были напечатаны стихи – о топографах («топиках»), о буровиках, о северной природе... Были они слабоваты, но искренни, вроде:

...Ты любишь юг, а мне по нраву – Север!
Его просторов снежных – новизна!
Его созвездий ярких – белый клевер!
Его неудержимая весна!..

Или:

...Весне здесь можно развернуться!
У приполярных берегов
меридианы даже гнутся
от плотных
нынешних снегов!

Вот я и думал, что она цепляется к этим стихам, и отказывался от авторства, ссылаясь на уйму однофамильцев. Порой я отвечал односложно, чуть не грубо, стараясь прошмыгнуть в кабинет, под защиту Виктора Петровича. И этим, вероятно, подливал масла в огонь...

Так вот оно в чем дело!

Бедные Вали! Что вы думали обо мне?.. Ведь вас же, беззащитных, наверняка пытали любопытные женщины: кому из вас были посвящены стихи?.. Ведь вон как ловко я подбросил признание: «Записка от Светы!..» – а кому?.. «Догадайся, мол, сама...»

Я готов был провалиться сквозь землю и стал жарко краснеть, встречаясь с Валями, и они стали смущаться и отводить взор...

Не раз приходилось мне бывать в кабаевской партии, открывшей Самотлорскую структуру. А позже на знаменитом Самотлоре – в начальной стадии освоения, при доразведке месторождения и при запале его славы. Но в памяти все стоит эта первая поездка к будущей «жемчужине» Сибири – водевильно-сумбурная, если бы не знать продолжения истории «героев», с которыми я встречался. Кабаев летом разбил «Волгу» и похоронил жену, чуть позже стал лауреатом Ленинской премии за Самотлор. Галка Басова-Ртвеладзе и Виталий Петров – не смогли «выпрыгнуть» из-под колесницы судьбы... Поэтому я с болью вспоминаю Новый год у Самотлора: я вижу их живыми.

1965 – 1973 гг.
Сургут – Тюмень

МЕЧТА РАЧЕВА

Курсовой проект по «Деталям машин» я делал с интересом. Каково же было мое удивление, когда преподаватель, конструктор с моторного завода, исчеркал его весь из-за несоответствия размеров, марок сталей ОСТам, ГОСТам и ТУ. «Но ведь все соответствует расчетам на прочность! – защищался я. – Зачем утяжелять редуктор, расходовать лишний металл, энергию, труд людей? Не проще ли изменить норму?» Он пообещал мне «неуд» за то, что я выступаю против унификации. Пришлось брать лезвие и подчищать чертеж, благо ватман тогда был отменный, с водяными знаками...

Когда я стал работать в экспедиции, пришлось столкнуться с такой ситуаций: на базе валялись горы шнеков большого диаметра, буровых коронок, керноприемников, инструмента для ударного бурения и уймы другого добра, ржавеющего многие годы. И ежегодно пополняемого. А чего нужно – не хватает. У меня не укладывалось в голове: зачем все это выпускается, везется за тридевять земель и здесь ржавеет?

Принцип «плановой и сбалансированной экономики социализма» вдалбливался с детства, а где ж она – плановость, кооперация, прямые связи?..

Кому бы я ни задавал этот вопрос, – будь то главный геофизик, «зам», снабженцы, главный механик, – все они пожимали плечами и отвечали как сговорившись:

– В комплект, значит, входит...

– Ну и что, что в комплект? – недоумевал я. – Отказались бы, сюда-то зачем везти? Сразу бы в металлолом...

– Себе дороже будет! – многозначительно усмехались снабженцы.

– Разукомплектовка будет! – пояснял главный механик. – Ний-зя! За это по головке не погладят.

– А за то, что выбрасываем?.. Разве лучше? Давайте добиваться изменения комплектности!

Василий Андреевич Мищенко, главный механик, всплескивал руками:

– Отстань от меня, вражий сынку! Добьешься: хрен в сумку! Комплект поставки предусмотрен утвержденными техусловиями! Тех-усло-ви-я-ми на пос-тав-ку!..

В экспедиции я оказался «хозяином» целого направления, как выразился начальник. У нас было много «внутренних» проблем (ремонт техники, подготовка кадров); решая их, я пытался сдвинуть с мертвой точки и «внешние» вопросы: комплектности поставок и изменения конструкции техники с учетом «условий бездорожья и низких температур». Буровые станки поставляли несколько заводов. Самые массовые поставки шли из Щигров. В экспедиции эти станки переставлялись с машин ГАЗ-66 на деревянные сани. Жесткость саней была недостаточна, рамы станков деформировались, станции быстро выходили из строя. Щигровскому заводу я предложил, в частности, ставить буровое оборудование на сани, конструкцию которых со всеми расчетами приложил. Пара писем за моей подписью до этого спокойно ушла, а это как-то попало на глаза начальнику – он вызвал Виктора Петровича и сделал ему, видимо, серьезное внушение: «шеф» вернулся возбужденный. Закурив, с озорными смешинками в глазах, он начал мне объяснять «основы бюрократии»: в «организации» кто бы «бумагу» ни написал – подписывает руководитель. И это не является плагиатом. Ведь на «бумаге» штамп «организации»

и ее счет. А тот, кто сочинил «бумагу», должен ее «завизировать» – чтоб потом его можно было «взять за штаны», если что. Ну и т.д. «А что касается машин... – смешинки у него погасли и голос затвердел: – Тут ты лихо развернулся! Экспедиция за счет станков и обзаводится ГАЗ-66-ми! Кузов ставим и – порядок! В столярке они на потоке...»

О праве на подпись я понял, а вот про машины – не согласился:

– А почему их сразу нам не поставляют? Сделаем заявку на них. Зачем через Щигры получать? Самоделки на них ставить?

Виктор Петрович долго объяснял мне сложности планирования и распределения продукции в такой огромной стране, как наша.

– Надо прямые связи устанавливать! – возражал я. – Нам по экономике нефтепрома давали: сейчас они в ходу. И кооперирование...

Виктор Петрович улыбнулся, спорить не стал, попросил: «Давай-ка, «кооператор», я – человек не посторонний, ознакомька меня со своими «нотами» и «меморандумами»...»

Не дождавшись ответов от заводов-изготовителей (вот тогда и вспомнил главного механика: «Ответят: хрен в сумку!»), я стал беспокоить, по совету «шефа», геологоуправление и даже Госгеолком! И тоже безрезультатно!

Между тем дела у нас двигались. В первый год подготовил группу бурильщиков (по справочнику – «сменных мастеров»). Среди прорабов и техников нашлись энтузиасты; что-то переделывали в станках, приспосабливая их «для наших условий». Даже бросовые шнеки приспособили: часть на регистры для парового отопления, часть стали применять в качестве якорей для оттяжек буровых вышек. Главному механику мои предложения понравились, он посоветовал мне оформить их как рационализаторские. У меня их набралось с добрый десяток, и я неожиданно стал «активным рационализатором». Окружное радио сделало передачу, а областная молодежная газета напечатала очерк. В многотиражке поместили фотографию с соответствующей текстовкой и два стихотворения (заголовок «Стихи в блокноте инженера»). Я был озадачен внезапной славой. Тем более что в публикациях исказили некоторые факты моей биографии. Мне было стыдно. Я решил свернуть «творческую» деятельность: перестал

показывать стихи и оформлять свои «безделки». Но машина уже закрутилась: я был уже не просто «я», а человек, выпускавший бюрократическую «продукцию», я пополнял «число рационализаторов» и «количество внедренных предложений». Секретарь БРиИЗа, инженер ПТО, мучительно заикаясь, стал стыдить меня: «Съы-сърываешь п-ппъ-а-казатели экспедиции!..» – и стал пугать всякими карами. Не знаю, что на меня подействовало: угрозы или его заикание, но я тут же улучшил ему показатели, подав несколько «рацух»...

Большинство моих «кадров» было много старше меня: солидные отцы семейств. С некоторыми у меня завязалась крепкая дружба, но особенно – душевно! – сошлись мы с Василием Семеновичем Барановым. Его начальник смеялся каждый раз: «Фамилии обязывают!..»

В 63-м году я стремительно женился. Моя жена знала Барановых прежде, и это способствовало нашей дружбе уже семьями. Обычно старших по возрасту я зову по имени-отчеству; даже если они сами предлагают обращаться попросту, я не могу перешагнуть какой-то психологический барьер. Так у меня было с моим литературным наставником, секретарем районной газеты Николаем Ивановичем Ездаковым: хоть и на брудершафт пили, и «по-матерному» он крыл меня – звал я его все «Николайванычем», а вот с Васей – другое дело: как только одни, сразу – «Вася». Так он мне понравился, что посвятил ему даже стихотворение, а Николай Иванович напечатал в газете (чем Вася был смущен).

Зимой сибирскою обветренный,
пропахший толом и тайгой,
ты, утомленный, но приветливый,
приходишь с профиля
домой.
Вот дверь скрипучая
распахнута
и немигучий брошен взгляд:
сейчас...
сейчас
близняшки ахнут
и, как на крыльях,
подлетят!
К тебе,
как были – полуголыми! –

прильнут,
схватившись за рукав,
и заворкуют,
словно голуби,
на
витых жилами
руках!
...О как, должно быть, притягательны
такие руки у отцов!
В них, а не в кассах сберегательных,
хранится счастье близнецов!

– Конечно, чего им не любить его! – обиженно выговаривала после этого Рая, его жена, мать молчаливых, быстроглазых двойняшек и еще одной дочери, большенькой. – Появится раз в месяц – чего ж не побаловаться?.. И шалости простить можно... И с рук не спускать. А мать – чо? Мать рыбьим жиром поит, спать заставляет... носы подтирает... нет-нет да и та-та! делает... Подслушала как-то: шепчутся по-своему, к нему бежать собираются. Господи, чо, я не понимаю, что ли?.. Он для них – словно праздник! И мне – тож, отдыхаю, когда дома он, все сделает, хоть и пеленки постирает – не стесняется...

Когда меня перевели в Тюмень, вместо себя я рекомендовал настоятельно Васю... то есть Василия Семеновича.

Честно говоря, из Сургута не хотелось уезжать, но перспектива «пробить» вопросы на более высоком уровне соблазнила. Не последнюю роль сыграло и тщеславие, подогреваемое соседом («Во! Наши уже управление занимают!»), и возможность получить квартиру... Были и другие, подспудные, может быть, и самые главные. К этому времени у меня появилось много общественных нагрузок: член бюро райкома, секретарь комитета комсомола, депутат Сургутского совета, а там еще разведком, совет молодых специалистов, НТО горное и т.п. Мне надоело конфликтовать, получать выговоры и другие взыскания. А быть послушным, менять свои взгляды, объяснять людям зигзаги нашей политики (вчера китайцы были хороши: друзья! – а сегодня – противники; Хрущев вчера был верным ленинцем, а сегодня – авантюрист, из памяти вычеркиваем) – было не по мне. Поэтому перевод в Тюмень я воспринял как возможность начать свою жизнь «с чистого листа».

Вася меня отговаривал. Даже помогая упаковываться, он говорил мне своим глуховатым, грудным голосом:

– Собственно говоря, ведь зря уезжаешь! – Он вытягивал смешно, трубочкой, губы, заглядывал в глаза и обижался: – Чесслово, зря! Девчонки привыкли... – Он щурил темные глаза, мотал головой и тихо смеялся: – Пусть, говорят, Леночку оставят тогда... Бери все: и ящики, и доски, – советовал он, – контейнер пустой, а в городе – все сгодится. И наказывал на прощанье: – Ты там, собственно говоря, если что, своих-то не жалей... чесслово, чтоб чужие боялись... но и не забывай: знаешь, что нам надо.

Большую часть времени приходилось проводить в командировках в северных партиях. Условия работы там были гораздо тяжелее, чем в Приобье: одна мерзлота чего стоила! Изматывала она буровиков: бурилась в час по чайной ложке. В мерзлых песках или плывунах коронки стачивались, как на наждаке. Вся беда в том, что станки были маломощны или не имели механической подачи. Мастера, прорабы выходили из положения кто во что горазд. Удачнее всех нашел выход Иван Рачев: использовал червячный редуктор, сцепление и еще кое-какие узлы списанного оборудования. Но самого его конструкция не устраивала. Мы не раз обсуждали: каким должен быть буровой станок для Севера? «Надо: чтоб был мощá! – говорил Иван. – Чтоб жиманул – и в мерзлоту, как в масло...» Я понимал, что одной принудительной подачей не обойдешься, нужен какой-то и принципиально новый стойкий бурильный инструмент. У меня сформировались определенные технические требования на разработку нового бурстанка. С этими «требованиями» я стучался во все двери. А пока занимались «самодеятельностью»: на «Строймаше» делали редукторы, в мастерских самодельные бурголовки, провели смотр-конкурс на разработку шнеково-обсадной колонны (погружатели шли туго) и стали их изготавливать. Короче, вели постоянно поисковые работы по повышению эффективности бурения. Допекли в конце концов и Госгеолком: в план работы СКБ были включены темы по породоразрушающему инструменту, ГИПРОНЕФТЕМАШ заключил с управлением договор на разработку установки шнекового бурения. В начале 66-го года пришел технический проект гидрофицированной установки. Я сделал ряд предложений, обосновал их, и они были учтены разработчиками полностью. При встрече с Иваном Рачевым я обрадовал его: мечта осуществляется!

Перед октябрьскими праздниками 67-го года меня пригласили в Щигровское СКБ для участия в заводских испытаниях установки, получившей название УШ-2Т.

В Щигры я приехал в зимней одежде. А там теплынь! Черноземная грязь! Главный конструктор проекта Юрий Николаевич Садовников здесь уже бывал не раз: авторский надзор осуществлял за изготовлением своего детища в экспериментальном цехе СКБ. Мы с ним впоследствии подружились. В первый же вечер он провел меня по улицам этого старинного уездного города, показал все достопримечательности. Попутно предупредил, что заводчане могут скомкать испытания, провести не в полном объеме, взяв меня на измор, – чтоб имел в виду.

Перед моим приездом, по их словам, они производили снятие всех характеристик и не хотели бы еще раз делать это. Однако я настоял на повторном замере параметров установки. «Кота в мешке мне не нужно. Лучше сейчас потерять неделю, но получить ту установку, которую заказывали. На Севере, – заметил я, – металлолома уже довольно, не надо добавлять...» Оказалось, что некоторые стенды неисправны. Пришлось запросить продление командировки.

В первое же воскресенье Садовников повел меня на базар, который бывает здесь дважды в неделю. Было еще раннее утро, но народ уже схлынул, продавцов больше, чем покупателей. Торговали в основном гусями, салом и яблоками.

– Нигде нет таких гусей и сала – только в Щиграх! А яблоки? Обязательно купи! – уговаривал меня Садовников. В его глубоком голосе не было иронии, худощавое, с желтизной лицо серьезно. – У меня здесь есть «спец» по салу, слесарь из инструментального, – так он купит и посолит нам. Думаешь: чего проще – сало посолить? Ан нет! И тут свои секреты! Профессиональные! Этот «спец» при нэпе мясную лавку держал, ледник, коптильню... А сейчас «хобби» осталось... Язык проглотишь!

И вот в следующий четверг, до работы, нас повел на рынок крепкий старик в рабочей куртке. Было тепло, сумеречно, туманно. Все ряды торгуют тем же: гуси, сало, антоновка... Осмотрев все, «консультант» остановился около мрачной женщины: «У ей берите!»

«Странно, – подумал я, – и получше попадалось...» Взял я, за компанию с москвичом, четыре килограмма (а он – восемь!). «Спец» все унес с собой – «колдовать»!

По программе ходовых испытаний нужно было наездить определенное количество часов. Это важное испытание: проверяется общая компоновка, центровка, надежность крепления. Я вызвался поездить с трактористом с умыслом: «прокатиться» по пересеченной местности, а не по ровной дороге.

Погода установилась отменная: тепло, тихо... Сквозь высокую облачную мглу пробивается солнце. Покатые холмы. Поросшие овражки. Молодые дубовые рощи... Какое-то странное ощущение испытываю: что-то знакомое, словно сон какой-то вспоминаю и не могу вспомнить.

– Послевоенные дубки... – словно желая мне помочь, говорит молоденький белобрысый тракторист. – Старые дубы немцы извели на доты да блиндажи... сожгли. А это – послевоенные посадки. Здесь же бои были... И какие бои!

Вот тебе и сон! Это же курская земля... «Дуга»!

– Сколько тут железа в земле – знали бы вы! До сей поры патроны попадают, а то и снаряды... Прошлу осень, во-он у той полосы... – показал он в сторону, – парнишка один зябь подымал... ну и это – подорвался на мине... противотанковой. Сколь ведь лежала! Двадцать лет пахали, боронили, ездили – таилась, сволота, парня этого дожидалась... в армию парень собирался, в осенний призыв...

Нахлынула почти физическая боль в сердце... Я почувствовал сострадание к этой всхолмленной, притуманенной стороне. Подспудно, со дна души всплыло вдруг сильнейшее чувство родственной связи с этой землей. Да ведь я впервые здесь! Откуда ж оно, откуда это ощущение боли, обиды за безмолвную, беззащитную землю, попиравшуюся чужеземным сапогом двадцать с небольшим лет назад?.. Враг плевал, гадил в душу этой земли, решал ее судьбу и всего сущего на ней: людей, дубрав, полей... Здесь я почувствовал реально: как все же далеко заходил вал разрушительной войны и каким далеким тылом был Алтай, где мы трудно, но терпимо пережили военное лихолетье...

И другие ассоциации возникли у меня, перекинулся мостик памяти в другие времена:

...А мои куряне – опытные воины:
под трубами повиты,
под шлемами взлелеяны,
с конца копья вскормлены...

Потому и победили!

Глубинная, исконно русская земля!

А Москва, по сибирским понятиям, – рядом...

Запала в душу мне эта поездка по окрестностям Щигров.

При составлении акта и протокола испытаний изготовители начали «давить» на меня. Предлагали убрать моментомер, заменить высокопроизводительный гидромотор двумя шестеренчатыми – менее дефицитными! – насосами. «Гидромоторы выделяют по личному указанию Брежнева! Сам видел пачку телеграмм на заводе...» – чуть не шепотом стращал снабженец. Цель всех увещеваний – упростить машину. «Чем проще – тем надежнее! – говорил начальник СКБ. – Зачем бурильщику на пульте столько приборов?..»

«Конечно... – иронизировал Садовников, – зачем? Им хватит одной рукоятки... Например, у кувалды... или лопаты...»

Я настаивал:

– Станок должен быть широким шагом вперед в сравнении со своими предшественниками. Усовершенствования старья мне надоели. Техническое задание составляли мы и требуем его выполнения. Установка должна быть гидрофицирована, высокопроизводительна, полностью использовать приводную мощность двигателя. А вы предлагаете день вчерашний...

Начальник СКБ сухо заметил:

– Эти образцы – ваши, и пусть будет по-вашему. А что пойдет в серию – не нам решать. Мы предлагаем, а решают – там! – Он указал большим пальцем за спину: – В Москве...

Опытные станки поступили на станцию Лабытнанги. После техухода, сделанного на совесть, станки перегнали за несколько сот километров. Рачев был доволен: перегон прошел успешно. Приступили к промышленным испытаниям...

Испытания проходили без «чэпэ». Заложенные в станок конструктивные решения полностью себя оправдывали. Станок монтировался быстро, мог передвигаться с поднятым гидроподъемником по ровной местности. Скорость бурения мерзлоты была в несколько раз выше, чем у старых станков, – и это при использовании обычных бурголовок и шнеков, которые не позволяли «жимануть» до упора.

Все станок нахваливали: «Во! На ять!..» – а необходимую

«бухгалтерию», особенно хронометраж, толком не вели. Я вынужден был объяснять всем: «Ваши «во!» к делу не пришьешь. Без полного объема первичной документации станок на приемочных испытаниях «зарежут»! Или продлят их на следующий год. И останемся мы на бобах!»

Соглашались и тут же забывали. Пришлось, бросив остальные дела, проводить многие недели на профиле. Меня радовало, что станок всем понравился, было приятно – будто я сам его придумал и изготовил...

Рачев, как и многие в Заполярье, владеет десятком профессий. На Севере он больше десяти лет, заработал уже льготную пенсию, хотя еще не стукнуло «тридцатника». По поводу универсализма смеется: «Я как «Беларусь», колесник, – что навесят, то и тащщу!» Новый станок ему нравится: «Мечта!..» Ему интересно: как был создан станок? Недоверчиво, с детской непосредственностью спрашивает: «Конструктора – вот так из головы начертили? И все потом – тика в тику?..» Скоро, говорю, приедут они и сами тебе расскажут, о чем хочешь.

У Рачева обветренное, кирпичное лицо, мягкие, с желтизной, кудельные волосы, брови белесые, жесткие, густые. На одном глазу бельмо, другой глаз ярко-синий, смотрит твердо, спокойно. Он улыбается: «Ладно, спрошу у них, коль свижусь...»

В конце марта на профиль прилетели авторы – Садовников, главный конструктор, и Казарин, ведущий. Ходом испытаний, выполнением программы они удовлетворены и выразили нам благодарность (что, кстати, нас удивило: для себя стараемся!).

Казарин Николай Иванович быстро сошелся с Рачевым. Тоже плотный, краснолицый, с задорным коротким носом и широким подбородком, он казался старшим братом Ивана. Казарин дважды работал в Антарктиде, бурил ледяной чехол с помощью специального станочка, разработанного ими. Особое оживление слушателей вызывало то обстоятельство, что ледяной керн добывали они, используя в качестве промывочной жидкости...спирт – чтоб не примерзла коронка и трубы к ледяной стенке. Американцы решили бурить паром, привезли мощный парогенератор, долго и безуспешно возились, а они – сразу. Много и красочно рассказывал Николай Иванович о шестом континенте: забавные случаи из жизни зимовщиков, о природе, о пингвинах. Теперь, чуть свободное время, Рачев пристает к нему: «Николай Иванович! А ну еще

расскажи что...» Тот, приподняв короткие бровки, удивленно таращит круглые голубые глаза: «Я разве еще не все рассказал?.. Нет, да? Ну, слушай тогда... Был у нас механик...» – и полилась очередная история... Дело дошло до того, что однажды Рачев поинтересовался:

– Николай Иваныч, а... как туда попасть?.. Где оформляться?.. – Заметил, что Казарин замялся, усмехнулся: – Ежли на щет этого... – почти ткнул себе в бельмо, – то не боись – пройду! Меня ж и сюды не брали было, а со мной не всякий четырехглазый потягается! Ей-бо!

– Загорелся?.. Ну-ну, дерзай... – неловко смеется Казарин.

Вечерами смотрим игру северного сияния. Оно нежных пастельных тонов. Мне и в Сургуте доводилось видеть эти замечательные бесшумные явления, даже более игривые, красочные...

Однажды во время созерцания небесной цветомузыки (тишина звучит!) обратили внимание на появившееся на юге зарево, явно не от наземного источника, а от чего-то высоко летящего, восходящего над горизонтом. Веерообразное сияние все выше и ярче. Исчезла в нем, растворилась, сгорела радужная кисея танцующей ночи. Светло стало, как в полнолунье... Особенно ярко светилась ручка «веера». Когда зенитный угол достиг градусов восьмидесяти, веер стал бледнеть, изменять размеры и вскоре превратился в яркую звездочку. Была какая-то космическая величественность в том, что мы только что наблюдали, не хотелось верить, что это – дело рук человеческих. Но что это, кроме запуска ракеты, могло быть? Жаль, не было рядом Анисимовича, что-то бы он признал в этом? Не НЛО ли? А москвичи в один голос: «Ракета. Завтра слушайте сообщение ТАСС...» И все же – грандиозное зрелище! У меня аж мурашки по коже... Наши заботы и тревоги показались мизерными в таком освещении. Хотя... Без малых дел и великих открытий не было б. Вот сейчас начался бум вокруг Самотлора. «Открытие века!», «Черная жемчужина Сибири!..» – а разве не из мелких будничных дел кабаевской партии, из споров, ссор, записок Светы-интерпретаторши, спуско-подъемов, метров, суточных рапортов норкинской буровой бригады сложилось это «открытие века»? Может, и здесь, сейчас мы тоже закладываем фундамент нового, не менее грандиозного свершения, которое будет оценено только в

далеком будущем?.. А скорее всего, будет не замечено и канет так же безвестно... как...

...На базе партии, в старом Надыме, страшное впечатление произвели на меня полуразрушенные, с сохранившейся местами беленой штукатуркой, строения барачного типа. Остатки изгороди из колючей проволоки в несколько рядов. Телеграфные столбы... какие-то карликовые, но самые настоящие: с фарфоровыми чашечками и проводами. И самое главное: с этим загадочным, как шум моря, гудением! Я не удержался и, как в детстве, приложился к холодному дереву ухом... маленьким я думал, что по телеграфным проводам летают телеграммы и звучат слова и музыка. И если хорошо прислушаться, то можно в звучании телеграфных столбов разобрать слова и мелодию. Тогда мне слышались звуки протяжного «у-у-р-р-а-а...», посвисты трассирующих немецких пуль и отцовское «сы-ы-н-н-н-ка-а...», а сейчас – завывание далекой пурги и стоны ... жалобные стоны...

...На берегу Надыма, словно скелет огромной нельмы, выбросившейся на берег, белеют остатки «Дугласа», потерпевшего аварию с каким-то гулаговским начальством на борту, инспектировавшим далекую сталинскую стройку.

Мне приходилось несколько раз летать вдоль заброшенной железной дороги от Уренгоя, Старого Надыма до Салехарда. Контуры ее четко вырисовывались даже под снегом. Видно, что местами насыпь размыта – ребрятся перекошенные рельсы с зависшими шпалами. Множество завалившихся мостов через речушки, ручьи и реки. Как и все заброшенное, стройка производит тягостное впечатление. Жалко бесполезно затраченного труда, материальных ценностей. Жалко погубленного здоровья и жизней многих людей. Под влиянием этих мрачных мыслей и наше будущее представлялось уже не таким радужным: ну, откроем мы подземные кладовые – смысл-то всех наших потуг в этом! – а дальше что? Промотаем их за границу, сожжем в факелах, в котельных... И что станет с нашими поселками, скважинами, трубопроводами? Какое они, заброшенные, будут производить впечатление? И – на кого?.. Что же нужно делать, чтоб этого не случилось, чтобы продолжился и здесь вечный круговорот жизни?.. Задумываются ли те, кто решает судьбу Тюменского Севера, об этом?.. Наверно. Должны – если уж мы думаем!

Испытания между тем продолжались: бурстанки наработали положенное число моточасов, набурили тысячи метров. Программа испытаний была выполнена. Вызвали остальных членов государственной комиссии. На вертолете прилетели на профиль представители трех министерств – члены комиссии и председатель – Цибулин Лев Григорьевич, главный геофизик Главтюменьгеологии, мой «шеф». Показали им установку в работе, всю «бухгалтерию», сфотографировались на фоне ослепительной тундры рядом с «объектом испытания». Вылетели все в Салехард для оформления акта приемочных испытаний.

Апрель в Заполярье ослепительно солнечный! Без темных очков беда. Солнце палит, как в горах. Вдруг замечаешь, что лицо и руки загорели.

Салехард «сидит» на Полярном круге. Пока ехали из аэропорта, пересекли его.

– А как же с полярным коэффициентом? – интересуется Казарин. – Шаг шагнул и – «тю-тю»? Не могли маленький зигзаг сделать?..

– А его и без зигзага то туда, то сюда двигают: уточняют! – хохотнул водитель «уазика».

Дорога напоминает желоб для бобслея: борта высокие, оплавились на апрельском солнышке, ледяной корочкой покрыты. В колеях кое-где маленькие, с пригоршню, первые дневные лужи пускают «зайчиков»... Воздух – не надышаться! Синева...

...Пришел, как солдат на побывку,
на Север апрельский день.
Воздух густой наливкой,
синим платочком тень.
Солнце блестит, как пряжка.
Скрипит дороги ремень.
На сердце радость
в упряжке
с предчувствием перемен.
В свадебном ритме
и темпе
сыграла пурга
отходной.
Май на пороге –
«дембиль»! –

пьяный и молодой,
встал во весь рост на карты.
Солнце во лбу – кокардой.

Поспорили немного, подписали акт, произнесли по тосту на банкете и разлетелись – все, кроме нас: я с конструкторами остался доделывать приложения к акту.

В выходной сходили в краеведческий музей. Потом Садовников затащил на базар. Базар был, конечно, условный: за несколькими строениями в снежных суметах жались ненцы и подозрительные типы с клюквой, какими-то вещами и изделиями из оленьего меха. Юрий Николаевич посоветовал мне купить кисы: «Покупай! Себе, жене и дочери! Прекрасная вещь! Вспомни сало щигровское – я советов плохих не даю! Лови момент – потом не купишь!»

Я купил только дочери, и такие это кисы оказались! После дочери таскали их племянники, и еще бы они послужили, кабы не моль...

Настала пора и нам уезжать. Вечером я предложил сходить в ресторан «Север»: там хороша холодная оленина, сосвинская селедка бывает и осетрина во всех видах и даже пиво, выложил я главный козырь (к этому времени я только-только оценил пиво).

– Ну-у... узнаю северянина! Пиво для него – все! Высшая степень кайфа... – усмехнулся сдержанно, только глазами, Садовников. – А если по-домашнему?.. Без пива, но за самоваром?.. Как?.. – он взял свой потертый кожаный портфель и, как фокусник, извлек из его недр палку твердокопченой московской колбасы и бутылку «Столичной». – По-домашнему посидим, покалякаем, а?.. – вокруг глаз мелкими складками тонкая смуглая кожа, в кофейных глазах веселые искорки.

– От даете! – восхитился я. – Столько времени хранить! Да я бы...

– Мы такие! – взгоготнул Казарин. – Мы, москвичи, прижимистые... Это у нас от Калиты пошло... У нас, помню, завхоз в конце зимовки шампанское выставил... тоже москвич оказался...

– Некоторые тут помалкивали бы... проведали бы – выкушали тотчас! – подковырнул своего друга Садовников.

Пока Юрий Николаевич строгал охотничьим ножом колбасу, рассказал им про недавний случай, который все не шел у меня из головы. За авиабилетом ходил вместе с представи-

телем родственного министерства, вальяжным молодым мужчиной. Он полюбезничал с кассиршей и попросил не ставить дату вылета в самом билете. По дороге я поинтересовался:

– Вы это в расчете на нелетную погоду – если вдруг? Чтоб отметку о задержке не делать?

Он аж тормознул, посмотрел на меня, как на идиота, и объяснил:

– Командировка у меня на десять дней, мы управились за пять. Убытие у вас в тресте я отметил с открытой датой. Билет, после отрыва корешка в порту, тоже будет с открытой датой. Прилетаю в Москву, ставлю даты, какие нужно, а сэкономленные дни спокойно догуливаю. Уловили?.. Впрочем, вам не советую: в Тюмени можете погореть, попасть на глаза...

– Ведь это же гадко! Мне до сих пор стыдно за него... и самое главное – такой человек работает в министерстве! – с возмущением воскликнул я.

Что тут произошло с моими москвичами!.. Садовников перестал резать огурчики и закатился мелким смехом, Казарин плюхнулся на стул и громко захохотал.

Через некоторое время, вытирая глаза, красный как рак, Николай Иванович спрашивал:

– Вить, ты это серьезно?.. Если в министерстве – то нельзя?.. Какой же ты наивняк! Не могу... Да пол-Москвы в министерствах работает! Нет, ты словно из вечной мерзлоты вытаял...

Просмеявшись, Юрий Николаевич обратился ко мне:

– Ну ты, старик, не сердись! Это ж хорошо! А вся беда, Витек, что и в Москве – тоже люди...Больная теща, знаешь ли... детишки там... дача.. хобби... А то и любовница, да если еще жадная... А денег – в обрез, где-то подработать надо – на все время нужно! Ох, Витек, это еще что! Знал бы ты – какие негодяи есть! У нас в институте, в главке... в министерстве... в Госплане – тоже есть, знаю парочку... И у вас есть наверняка!

– Ну... у них – меньше! – уже серьезно заметил Николай Иванович. – На Севере, как заметил я, стерильная обстановка: мороз, ультрафиолет способствует. Ведь многие сюда бегут, не выдержав городской скверны. Вот того же Рачева возьми... Ведь ему же эти пять дней без работы наказаньем показались бы... Для него работать – это как дышать: естественная потребность...

Дальнейший разговор крутился вокруг результатов испытаний и судьбы установки. Оказывается, до «путевки в жизнь» –

ой как еще далеко!.. Предстоит пробиваться теперь сквозь бюрократические рогатки. «Спроектировать, изгото-вить, испытать – это еще полдела!.. Вот запустить в серию... – загрустили конструктора, – это – службища!»

Наш акт должны были утвердить на техсовете одного из главков Минхимнефтемаша. Время шло, нас не вызывали. Я звонил Садовникову.

– Эт тебе не скважины бурить, брат... – со спокойным сарказмом отвечал на мои возмущенные речи Садовников. – Тут быстрота не требуется, тут вдумчивость нужна... да, может, и задумчивость – ты прав. Как там: ждите-ждите-ждите... вызовут.

Наконец в конце мая 1967 года нас с Цибулиным вызвали в Москву... на десять дней. Мы были удивлены: «Десять дней?.. Не много ли? А, ладно – в Москве дела найдутся».

Техсовет же то переносился, то откладывался: нет кворума – один в загранке, другой – в Совмине, третий – в Госплане, четвертый – аж в цэка! И все это сообщается нам мимоходом, небрежно, по-хлестаковски: председателя... знаете ли... срочно в цэка пригласили... Я был разочарован, потом раздосадован и, наконец, возмущен: у нас ведь и другая работа есть! Цибулин вида не показывал: ему, очевидно, не впервой! Но и у него временами играли желваки и в голосе появлялась прерывистая хрипотца. Садовников загадочно хмыкал...

Кроме ожидания нашу жизнь отравляла еще одна «мелочь»: проблема жилья. Пока мы остановились у давнишнего знакомого Цибулина и устроились, на мой взгляд, прекрасно: минут сорок на электричке – и мы в прелестной дачной местности. Но Цибулина это не устраивало: он привык к «Украине», ему всегда там бронировали место. Тем более что в Мингео мы встретили Быстрицкого, зама начальника нашего главка по общим вопросам, конечно же живущего в «Украине»... И Цибулин потащил меня туда скорее по привычке, чем из амбиции. Мест, естественно, не было. «Наших» собралось еще несколько человек, мы освежились у Быстрицкого в номере и пошли в ресторан ужинать. Среди нас был незнакомый мне человек, высокий, мосластый, веселый, по фамилии Альтер, чувствовалось, что он пробивной парень. Он заговорщицки подмигнул Цибулину и двинулся в атаку на стандартно красивую солидную администраторшу. Цибулин, надо сказать,

к этому времени был не только лауреатом Ленинской премии, но и недавно получил звезду Героя. Альтер, видимо, на это и давил: деловая женщина заинтересованно начала вскидывать длинные ресницы в сторону стоявшего поодаль Цибулина, но пообещала неопределенно: «...Если съедет кто после полуночи». Кто-то предложил позаимствовать второй знак лауреата – у Быстрицкого. «Проймешь их тут! Пошли перцовку пить!» – махнул рукой Цибулин. Однако и тут не обошлось без заминки: швейцар не пропустил Альтера: «Без пиджака – нельзя-с!» Это немножко развеселило нас. Выход был найден: у Быстрицкого оказался второй костюм. Пока они поднимались в номер, мы сели за столик, сделали заказ. Вскоре «нарисовались» и они и еще больше нас развеселили: кругленький солидный Быстрицкий и возвышающийся над ним, по-никулински озирающийся Альтер в кургузом пиджачке, из коротких рукавов которого почти по локоть видны волосатые руки...

– Цирк! – матюкнулся, посмеявшись, Цибулин.

– Зато «буква» соблюдена... – снимая с треском пиджак, хохотнул Альтер. – Хорошо, если бы у нас только в ресторанах так!

– Точно! – отозвался Быстрицкий. – Возьмите Леву: дурак дураком, а сообразил, что без обкома сюда не выгребет...

– Не скажи! – возразил Цибулин. – Лева дурак, но умный...

Хоть они не называли фамилию, но я понял, о ком идет речь: наш недавний главный геолог быстро пошел в гору в Москве. И я был полностью согласен с афористическим замечанием Цибулина...

После долгого застолья шумно потолклись около портье и разошлись: кто в номер, а кто и на электричку...

Наконец техсовет собрался... Да здравствует кворум! Полчаса всего и понадобилось на все вопросы, ответы и принятые решения.

Садовников повеселел:

– Ко мне не соблаговолите по такому случаю – рюмку водки с хлебом-солью выкушать?

Цибулин неопределенно пожал плечами, предложил:

– Может, в ресторан лучше – в «Прагу» или «Украину»?.. А впрочем...

– Чего уж, Лев Григорьевич, надо уважить человека: пусть расслабится дома... – вмешался Казарин и уговорил нас.

Сначала держались немного чопорно: спасибо, пожалуйста, будьте добры... Почувствовали: накладывает Север отпечаток

все же, огрубляет... После того как выпили и принесенный с собой коньяк, отношения потеплели. На лоджии курили, рассматривали Москву в вечерней майской дымке. Говорили о работе, о Севере, о перспективах.

Все эти дни стояла солнечная погода. Буйствовала майская зелень. Цвела сирень, яблони...

– Ну, что? – весело спросил Цибулин. – Сделаем еще одну попытку в «Украину», а не получится – в Тюмень? Как там у тебя – где про «здорово» и «сальто»?..

... Это здорово, правда? –
очутиться в Тюмени
вот в такой же весенний
ослепительный день
и почувствовать
заново
запах сирени,
погрузиться в прохладно-
лиловую тень?
Это здорово, правда? –
после серых, как скука,
и холодных, как смерть,
заполярных снегов,
вдруг на землю упасть
и послушать: «А ну-ка,
как ты дышишь, земля!
Я – чертовски здоров!
Чуешь, как от меня
пахнет дымом и потом
и как ноги блаженно
гудят в сапогах –
им досталось шагать
по тюменским болотам, –
как никак, а всю зиму,
земля, на ногах!»
Это здорово, правда? –
шагать по асфальту.
В остроносых ботинках
легко – как босой...
Так и хочется сделать
на улице сальто
или просто пройтись
по земле колесом!
В сквере возле вокзала

звонокогорлое пенье –
здесь скворцы начинают
раньше прежнего петь.
Это здорово, правда? –
очутиться в Тюмени,
а потом до весны
вновь
в тайгу улететь.

Мы шли вдоль цветущих садов по плохо освещенной дорожке. Захоложенный воздух был ароматен. Цибулин иногда делал могучий вдох, «дыхалка» у него будь здоров! У жены на работе, говорит, однажды в спирометр дунул – тот чуть не улетел. Удивительный контраст: только что были в гудящем реакторе города и вот – благоуханная тишь деревни.

– Жаль!.. Тряхнуть бы стариной: «по Москве колесом!..» А?.. поедем тогда поездом – в мягком вагоне! В международном!

В Тюмени Цибулин сказал:

– Первый раз из Москвы досрочно приезжаем.

– Может, сделаем, как москвичи?.. – пошутил я и рассказал про «открытую дату».

Цибулин хмыкнул:

– Просто, как все гениальное. Кстати, по-моему, у нас есть такие деятели. А ты, если хочешь, догуляй – разрешаю...

Установке предстояло пройти через дополнительные испытания и бюрократические завалы и трясины. Мы представили уйму всевозможных справок, расчетов – я устал составлять, а Цибулин подписывать. Как-то в сердцах он назвал меня «лоббистом» Гипронефтемаша. Так или иначе, буровая установка пошла в серию, демонстрировалась на ВДНХ – разработчики и участники внедрения ее были награждены медалями. Сейчас это самая распространенная буровая машина.

Еще много раз летал я в северные партии с различными новыми разработками, а с Иваном Рачевым больше не встречался. Осуществилась ли его новая мечта – поездка на работу в Антарктиду, – не знаю.

1968 г.
Тюмень

ДВА РАЗА «ХЕ-ХЕ»

В больницу меня привезли на новенькой – первой в Сургуте – «скорой помощи» в пять утра: аппендицит... Пока ехали, приступ прошел, я ожил. Дежурный врач помял живот, покрутил с боку на бок и молча ушел.

Сонная медсестра проводила меня в большую, низкую палату и указала на койку у стены. После морозного воздуха улицы здесь было ужасно душно. На четырех койках, разме-тавшись и постанывая, спали больные, еще одна была свободна.

Низ живота побаливал, но состояние, по сравнению с тем, что было час назад, казалось великолепным, и я тотчас же уснул...

Проснулся от легкого потряхивания за плечо.

– Что, тебя спать сюда привезли, что ли? – густым, утробным басом заговорил пожилой, метра полтора ростом, мужичок – гном гномом.

Я еще не пришел в себя: где я? Не во сне ли я проснулся?.. Гном, приглушаясь ладошкой, захохотал:

– Чо, спросонок-то не разберешь?.. Вставай, завтрак проспишь... Есть-то льзя?

Я объяснил что к чему: хочется, да, наверно, нельзя...

– Приступ-то – первый иль последний? – поинтересовался сосед от окна. – Их ведь три быват. Первые два – туда-сюда, а на третьем – капут, ежли не вырежут в срок.

– Третий не третий, но второй – точно. В октябре, на юге, вот так же прихватило: думал, коньки отброшу...

– Ишь ты! На юге был! Неча по югам шастать! – рокотнул Гном. – Ну и как там – на югах-то?..

– О, прекрасно! – оживился я, отдаваясь приятным воспоминаниям. – Честно: сказка!.. Море! Солнце! А воздух!.. А природа: горы, кипарисы, пальмы... и народ – очень своеобразный!

– Народ, паря, везде причудный, не только на югах...

– Так оно, но там – особенно. Мы в конце сентября приехали. Только в Адлере из самолета – нас в разные стороны: «Ай-вай! Айда к нам, нигдэ лучше не найдешь!» Чуть не разорвали нас на три части: я был с женой и молоденькой свояченицей. Пошли мы к той, которая в жену мертвой хваткой уцепилась, – к Маро из Гантиади. Нормально устроились: комната огромная, на втором этаже. Других квартирантов нет.

Маро сама предложила: вот вам две лозы, зачем на базар ходить? Черный виноград, белый виноград. Захотел – сорвал. И цену взяла божескую. Уж винограду поели!.. Приятно вспомнить...

– За все голодное детство? – подал голос рыжий здоровяк, с ногой в гипсе.

– Точно! И на всю оставшуюся жизнь. Да! В тот же день зашел в парикмахерскую побриться. Парикмахер – молодой парень. Амбал, можно сказать. Дал рубль, жду сдачу: по прейскуранту – тридцать копеек. Он – ноль внимания! Ну, хоть бы хорошо побрил, а то ведь тупой бритвой драл! В нескольких местах порезал! Сдачу! – говорю. Он мне рубль обратно и выталкивает: иди, мол, иди... Или в магазине... Продавец кусок сыра или колбасы с размаху кинет на весы – докуда стрелка отклонится, за такой вес и возьмет. Хохмачи! Артисты!

– Эт-т, милый, не токо на юге: таких артистов везде хватат!

– А еще случай. Я по утрам, чуть солнце встанет, купаться бегал: море через дорогу. Жена и попросила: сбегал бы заодно на базар, груш купил, хурмы, еще чего нето... Она-то уже бывала на юге, а я – первый раз. Хурма, алыча, люля-кебаб, даже «шашлык»! – в диковинку... Продавцов на базаре много, на прилавках чего только нет – глаза разбегаются! Накупил всяких диковин и к выходу... А там несколько павильончиков, маленьких, как скворешники, из них, как скворцы, продавцы выглядывают. А в одном – судоусый, седогривый дед-красавец. Я на него засмотрелся, чуть не упал... А он: «Да-рогой, подходи: изабэла! Па-пробуй! Век вспаминать будэш!..» Я и подошел. Даю рубль, говорю: «Стакан! Попробую...» – «Как! – восклицает он. – Одын стакан? Одын будешь пить?..» Тут до меня дошло! Даю трешку. «Наливай три!» – говорю. Дело в том, что он до этого разговаривал со стоящим рядом пожилым кавказцем, видимо, его другом. Дед из бочонка нацедил три стакана мутноватой светло-розовой жидкости и произнес тост. Я его не запомнил, но смысл его был вроде: «С добрым утром!» Вино, прохладное, приятное на вкус, понравилось! Я сказал об этом, хотел идти – не тут-то было! «Зачем обижать, дорогой! Тэпэрь я угощаю!» – упрекнул меня друг продавца. Потом дед угощал... Чуть по второму кругу не пошло... Вино – сладенькое, как сок, а домой я пришел пьянющий... А время – еще семи утра не было... Хмель, правда, быстро вышел.

– Это они могут! – подтвердил Гном. – Приходилось с ними гостевать...

– А незадолго до отъезда, вообще, хохма произошла... Во дворе у Маро, около водопроводной колонки, стоял чан с краном, куда они время от времени бросали виноград, и кто хотел давил его ногами: пятки под краном помыл и в чан... Свояченица с хозяйскими детьми любила там танцевать, да и я забирался иногда. И вот, когда мезги набралось полчана, Маро сказала, что «будем гнать чачу». Винокурню прямо во дворе устроила, около чана. Меня в помощники взяла. Ну, я подкладываю хворостинки, бутылки подставляю... Дым запашистый... Да и чача – самогонка пока горячая, хорошо пахнет... чуть-чуть попробовал, а пары вокруг – захорошел!.. Один во дворе; Маро – на кухне, мои женщины куда-то в город подались. Оглянешься – красота! Усадьба Маро на склоне, окрестности хорошо видно и море... Но и двор отовсюду просматривается... Да... Сменил я очередную бутылку, набрал чуток в кружку – пробу снять – и повернулся в сторону моря... И что я вижу?.. К калитке шествует... старшина милиции. Ну, думаю, влип, Витя: закон-то о самогоноварении недавно принят! А старшина подходит... здоровается. «Хозяин где?» – спрашивает. Я – тык-мык... и тут вдруг Маро выбегает и залопотала по-абхазски, забегала вокруг него... Вынесла остывшей чачи, вина молодого, закуски... Посидели мы с полчасика, выпили-закусили. А перед уходом, она, похоже, старшине и червонец еще сунула. Зато, когда прощались дружески, он похвалил Маро: «У тебя чача лучше, чем у них...» – махнул в сторону соседей.

– Сюда ба чалыжку... – хрипло, севшим голосом произнес неслышно появившийся чернобородый, крупный мужчина в застиранной бумазейной пижаме. – Хряпнуть, можа, полегчало ба... а то – не спится! Не засыпаю, хоть глаза зашивай...

– Вертался бы ты, Петруха, домой, подолбал бы майны хорошей пешней на свежем воздухе, потягал бы сети... Дровишек поколол... Вот сон и появился бы, – посоветовал ему Гном.

– И ты, Микита, не веришь! Худо мне, совсем худо... колет везде... А они, врачи... ничо не признают. И не лечат. Вам-та – по пригоршне таблеток дают, а мне – микстурку в стекляшке... и есть не могу...

Вдруг Никита-гном скрючился на своей койке, издал детски

жалобный стон и сполз на пол; стоя на коленях, подобрал под живот одеяло и уткнулся лицом в серую простыню, заскрипел зубами. Все напряженно притихли.

– Что это с ним? – шепотом спросил я.

– Запор у него... – так же шепотом ответил сосед от окна.

Я сначала чуть не хрюкнул от смеха: «Ха! Болезнь!..» Но потом кое-что вспомнил... Когда мы после войны в дороге чуть не неделю питались сухарями, с добавкой просяной муки, меня тоже на перегоне Челябинск – Уфа помучал запор: аж глаза на лоб лезли! Ой, все плохо! Все болезни... Я хотел повернуться на спину и – ой! – опять прихватило... поплыло перед глазами... и я забылся. Когда боль отпустила, в палате начался обход...

Меня опять покрутили, понадавливали на живот, бока... Ночной врач помятый и с тонким шлейфом винных паров, передавая меня полной блондинке, назвал полдюжины симптомов аппендицита, из которых я запомнил только один – Бриттена, хотя и не понял, в чем он проявился...

Блондинка, поглаживая прохладными пальцами правый бок, поинтересовалась:

– Приступы раньше были? Как протекали? Какой образ жизни предшествовал приступу?..

Спрашивала она доброжелательно, и я подробно рассказал про «образ жизни» перед «южным» приступом и перед «северным»...

Вечером в Адлере съел салат и «почки а ля рюсс», запил фужером «карданахи». Перед сном поел винограду, а часа в четыре утра – приступ с рвотой и поносом. «Скорую» не вызывали. Но, как отпустило, дошел с помощью жены до больницы. Часов около шести. В семь пришел хирург, осмотрел. Жена говорит: аппендицит. А он: «Какой аппендицит? Если бы аппендицит, он бы у стенки не стоял!» А у них в ожидалке и стульев не было. Ну, он мне сразу несколько уколов. Потом через час еще и еще. С десяток, наверное, всадил. А к обеду, как огурчика, отпустили...

– Так-ак... А вчера?.. Да! Первый-то приступ, на юге, когда был?..

– 17 октября 1963 года! А второй – 5 декабря того же года в 18 часов 30 минут, а третий – вспомнил! – в 4 утра 6 декабря, то есть сегодня... До приступа съел пару пирожков с печенкой и сто грамм...

– Ну, хорошо, хорошо... Будем оперировать...

И они перешли к следующим больным...

Вечером меня опять передавали по дежурству: блондинка – худощавому, с жиденькими волосами, светлоглазому хирургу... Снова вертели, «пальпировали» – это так, оказывается, щупанье живота они называют... Хирург опять расспрашивал «про образ» и симптомы. Отвечал ему я коротко: «Был. Почки ел. Потом – пирожки с печенкой. – И спросил: – Есть можно? Очень хочется!» Он отказал: «Потерпи. Будем оперировать...»

А состояние между тем было отвратное: то тошнило, то есть хотелось, то боли накатывали...

Сосед от окна – у него что-то сердце хандрило – говорил мне:

– Ты, парень, не шути! Требуй, чтобы оперировали. Меня, помню, когда прихватило – сразу в операционную, как привезли. Чего тянут?..

– Да ничего, пока терпимо, – успокоил я его.

А среди глубокой ночи меня разбудили и отвезли в операционную.

Обезболиванье было, видимо, местное: я слышал, как хирурги разговаривали о всякой ерунде между репликами: «зажим», «салфетку» и т.п. Потом они начали перебирать кишки – искать аппендикс, это я почувствовал по подступившей тошноте. Один из них, я его чуть знал – молодой специалист, встречались на конференции, – матюкнулся: «Ешь малину! Куда он подевался?..» Наконец второй, старший, обрадовался: «Вот он! – И присвистнул: – Как он не лопнул! Смотри, основание даже перфорировано... Как будем зашивать?..» И они запыхтели, приглушенно переговариваясь... Долго они возились, и во время этой возни меня нехорошо подташнивало где-то в области сердца... Наконец один из них окликнул меня:

– Не уснул? Погляди! – И он помахал красно-желтым, с мизинец, червяком. – Еще бы минут двадцать – и прорвался! – обрадовал он меня.

Я мог бы ему сказать: «Что ж до утра еще раз не оставили? «Попальпировали бы!» Да не сказал: сил не было... Они между тем быстренько зашили, что нужно, наклеили повязку, придавили ее клеенчатым мешочком с чем-то тяжелым и отправили в палату: «Досыпай», предупредив, чтобы сутки не ворочался...

Ох и дались мне эти сутки!.. Ничем не мог я отвлечься от

нудной, постоянной боли... На следующий день к ней добавилось раздражающее донельзя ощущение – будто по спине бегают муравьи: древесные, желтенькие, злые-презлые, в гнилушках живут; вот и казалось, что я лежу на гнилой колоде, они бегают и кусают, а сбросить их – не моги, терпи.

А тут еще Микита-гном подначивает:

– Тебе они, Витек, заместо пендицита кабы чо друго не вырезали: по-ихнему, слыхал, оно тоже на «пэ» начинается... Ты пошшупай на всякий случай, на месте ли?.. Когда пендицит режут, на другой день бегать заставляют, пра! А тебе – повернуться запрещают... Чтой-то не то, пра...

За Микиту вся палата переживает, когда клизму ему поставят и он долго отсутствует. Но он обычно приходит туча тучей: морщинистое его лицо сжимается до печеного яблока... Но когда «запор» отпускает его, морщины разглаживаются, из-под коротких густых бровей поблескивают хитроватые, мышиные глазки. Приглушая голос, но все равно, что в бочку, гулко с кем-нибудь разговаривает – «разгуливает», чтоб не заснул.

– Хватит спать, паря! – говорит он. – А то не заметишь, как помрешь. К бодрому да тверезому костлявая побоится подступить, а сонного-то походя скосит...

– Ты не вставай, – советовал он мне гулким шепотом, – а брюхо помаленьку напрягай... Плетнев-от хороший хирург, слыхал, рука у него легкая, да, как клушка, трусится...

– Во-во! Тогда мне здесь и делать нечего: сами все знаете! – говорит входящий хирург. – Делайте, что хотите, а я пойду «труситься»...

Но он подходит ко мне, сдирает повязку... осторожно пальпирует.

– А сейчас... – он делает паузу, – ножками, за стенку держась, в перевязочную – дренаж уберут. Можно кушать, что принесут. Резких движений не делать. Не кашлять. Не смеяться... Случай очень сложный! Захочется в туалет – «по-большому» – только на «судно»!..

Труднее всего оказалось сходить на «судно» и не смеяться...

Только я, как Магеллан вдоль Южной Америки, обогнул вдоль стенки все углы до перевязочной и обратно и улегся на спину, Федор, монтажник из нашей экспедиции, положив загипсованную ногу на спинку кровати, начал рассказывать «больничные» анекдоты. Я никогда раньше их не слыхал, и

они мне показались смешными и жизненными, а, самое главное, оптимистическими. Я в душе посмеялся со всеми, но импульсы к брюшному прессу не пропустил.

Ходячими у нас были Микита-гном, как я его для себя прозвал, и Петруха. Сердечнику – он оказался инструктором райкома партии с редким именем: Флегмонт Кононыч – тоже не разрешали вставать. Мы уже поели и, «помогая обществу», тщательно, молча, переваривали пищу... И тут в проеме двери нарисовался Петруха: волосы, борода – черным плюшем, пижама расхристана, длиннющие пижамные брюки внизу напуском, складками... А на лице блаженная улыбка: «Лечить начали: по две таблетки... Сразу и поел маненько...» Ой до чего живописен: черный полуовал – красно-пунцовый! – овал, в нем ослепительно белые скобки, а между ними кратер...

Никита подмигнул: не проговоритесь, мол. Дело в том, что он при мне попросил добросердечную сестру: «Да дайте вы ему чего нето безвредного: хоть витаминку каку... пусть мужик угомонится». Вот и удержись, не посмейся...

Да и сам Никита нет-нет да расскажет что-нибудь из своей богатой биографии. Посетовали как-то на его голос: с того света подымешь! Как иерихонская труба орешь...

– Эх, мужики! Вам-то от мово голоса – разве страданье?.. Вот я сам-то за щет его настрадался! В сорок втором мобилизовали меня. И вот в Омске, на формировании, вызывают добровольцев в школу младших командиров. «Добровольцы есть?» Человек пятнадцать вышло, а надо сто! Тогда «сват» – ну, из школы, стал по взводам перекличку делать и выбирать, как невесту, кто покажется. Доходит очередь до меня. Мне бы надо шепотом хрюкнуть, да бес попутал, во всю глотку: «Я!» А голос у меня тогда погуще, повольготнее был... «Свату» того и надо: годишься! К концу войны, грит, полком будешь командовать... Так и загремел... В наступленье ишшо туда-сюда: взводом можно командовать. А в обороне – маета. Забудешься, гаркнешь на кого нето – артобстрел или минометный налет в ответ... – Он задрал рубаху, подтянул штанину: – Во, до сих пор осколки сидят... – показал на синеватые, как от татуировки, пятнышки...

И смех сам собой застрял в горле...

Жена ко мне приходила каждый день сразу после работы, пореже заглядывал кто-нибудь со службы. А на четвертый-

пятый день, когда я уже начал ходить не держась за стенку, меня вызвали в приемный покой часов в десять вечера. Кого, думаю, нелегкая принесла. Выхожу в эту курилку, а там... попадаю в объятия старшего друга, секретаря районки, Николая Ивановича. С ним молоденький парнишка, фотокор. Николай Иванович обзывает меня всякими непотребными словами. Говорит он чуть потише Никиты, хохочет, тискает, хлопает по плечу. Он вообще, как ребенок, непосредственный. Отвечаю почти шепотом:

– Ладно, пока. Спасибо, что зашел, поздно уже... – И пытаюсь уйти. Не тут-то было:

– Куда, а выпить? Мы тебе выпить принесли! Во! – И достает из бездонного кармана неизменного полушубка... бутылку водки. – По большому блату изыскали...

Я в ужасе:

– Братцы! Да вы оборзели: манную кашку ем, бульончик пью... Гуляйте, братцы, гуляйте. Ненароком, врач выйдет...

– Кто? Плетнев-то? Леха? З...ц! Пойдем к нему – у него в ординаторской и выпьем...

Едва их спровадил...

Дела между тем шли на поправку... Швы уже сняли. Я узнал, что после острого аппендицита через семь-восемь дней выписывают, и попросился домой. Плетнев – он стал называться «лечащим» моим врачом – не отпускал: анализы крови были не в порядке:

– Сделаем еще анализ – там «будем смотреть».

Я уже несколько дней был «ходячим». Побаливал еще сам шов, и внутри чувствовалось какое-то неудобство, а в остальном – «все хорошо!». Мы с женой выписывали много газет, журналов, и она чтивом меня обеспечивала. Иногда я составлял компанию в карты: соседи любили играть в «девятку». Во время игры болтали о том о сем... Забавные случаи рассказывал иной раз и Петруха, смешные и грустные в своей жестокой наивности. Поначалу мне показалось, что он чуть ли не симулянт, которому хотелось поотлынивать от работы. Потом – просто большой ребенок, наивный и доверчивый... Не умеющий толком объяснить свою болезнь... «Везде колет... Места не нахожу...» Федор им помыкал: Петруха – то, Петруха – се! Сделает не так, орет: «Ты совсем чокнутый или наполовину? У меня нога в гипсе больше соображат! Расскажи-ка лучше, как ты артистом был,

ну! Витек с Конычем не слыхали». Петруха недовольно морщился, отнекивался... Мне было жалко его, я заступился:

– Ну, чего пристали к человеку? Не хочет и не надо!

Но Петруха обреченно начинает:

– Эта... приехала к нам в Локосово завклубом. Баская девка, заводная: юла юлой! Житья не стало: кого в хор, кого в кружок... по ейному понятию – работу брось, иди в клуб... Меня тоже записала: пиесу играть. Очень, говорит, подходящий по обличью. Ролю коротку дали. Репетировали скоко раз. И все ничо ба, да на представленье конфуз случился... Как вышел я на люди, из головы все вылетело, чо должон произнесть. Чо подскажут, то, как попка, и вторю. Напоследок не понял, чево шипят. Подался ухом: не разберу! Они громче: «Два раза «хе-хе» – шепчут, ну я и сказал: «Два... раза...хе!..хе!..» Засмеяться надо было, а я не понял... Ненароком же.

– Ну, артист! – смеется Федор. – Отстали, говоришь, после? Ну вот, худа без добра не бывает... «Два... раза...хе!..хе!..» Артист!

Через несколько дней выписал меня лечащий врач на амбулаторное лечение... И вот тут-то началось непонятное: силы стали покидать меня, навалилась на меня апатия, и я стал таять... Ничего не болит, и ничего не хочется. Даже думать: мысли медленно, неохотно ворочаются... Николай Иванович сказал бы: как «беременные мухи на морозе»... Жена меня и так, и сяк пытается расшевелить, есть заставляет, лимончиков где-то достала, мандаринов, ешь – не хочу... Пошел в поликлинику, как было назначено: ветром – натурально – качает... Пожаловался хирургу, а он:

– Фрукты кушайте, куриный бульон, на свежем воздухе гуляйте... Все нормально: рубец рассасывается... Покажетесь тридцать первого с утра. Обязательно...

С грехом пополам допилил до дому, лег совсем обессиленный...

Жена пришла, с мороза яркощекая, веселая.

– Ну, как ты? – спрашивает. – Два раза «хе-хе» или получше?..

Я невесело засмеялся:

– Точно! Два раза «хе-хе»!.. Лучше не скажешь...

– Что твои эскулапы-то говорят? Я до них доберусь: устрою им «хе-хе». Почему сразу вечером не увезли, когда первый раз «скорая» приезжала? Днем почему не сделали операцию? Почему тянули до без «двадцати» минут до перитонита? Не дай Бог... Я им... – и с трудом сдержала слезы.

Успокоившись, спросила:

– Что делать: приглашают на Новый год к Коршиковым, Виктор Петрович с Надеждой Афанасьевной, Багаевы, Шаталовы... Все наши будут... Заодно Коршиковы и новоселье отмечают как бы... Будем сбрасываться? Надо сейчас решать...

– Конечно! – соглашаюсь я. – «Об что речь»! Пойдем!..

– А ты-то – сможешь ли?..

– «Хе-хе»! На карачках приползу... – как в больничном анекдоте.

Тридцать первого, на приеме, случайно прикоснувшись к спине, врач удивился вдруг:

– Да у вас, кажется, температура?..

– Ага... – подтвердил я. – Я ж вам говорил в тот раз...

– Да? – протянул он. – Не помню. Выпишем лекарство...

– А как на счет этого? – сопроводил я вопрос щелчком по кадыку.

– Что-что? – не понял он.

– Так Новый год же... Выпить – спиртику граммульку – можно?..

Он глубоко задумался:

– Нет, спирту – не надо. Шампанского – можно. Немного...

И тут я вспомнил, как Петруха ожил, когда я рассказывал про чачу... Сам-то я, кажется, тоже чуть взбодрился: домой дошел гораздо быстрее, чем в поликлинику.

Вечером жена была как на иголках:

– Никуда не пойдем! Встретим дома, вдвоем. Бог с ними, с деньгами...

А как дело стало подходить к назначенному времени, уступила:

– Ну, ладно... Новый год встретим и сразу домой... Не вздумай пить! Я бы и шампанского не советовала. Усугубишь еще болезнь... Не хочу...

За праздничный стол сели часов в десять: старый год проводить, к встрече Нового подготовиться...

Виктор Петрович Федоров увел меня от жены:

– Ты попрыгай, а уж мы с ним: болезный да старый!.. Покалякаем – давно ж не виделись! Я вам его, Галина Ивановна, утречком верну: целого, невредимого и здорового...

– Только уж, пожалуйста, не напоите его...

– Не-ет!.. Нет.

Народу набралось человек тридцать, а еще подходили и подходили.

Коттедж пока не оштукатурен, пахнет смолою... Стены украшены ветками, рисунками, шаржами: кому что снится... Постарались, женщины, постарались... Да и нарядились: глаза разбегаются! Красавицы!.. И голоса у них такие полнозвучные, волнующие... Праздник!

Виктор Петрович, с вожделением пожевывая губы прокуренными зубами, пододвигает несколько фужеров, плещет в них шампанского и доливает коньяком доверху; один из них ставит передо мной.

– Да мне всего-то, на весь праздник, во-от столечко шампанского разрешили, Виктор Петрович!..

– Во-от, потом его и выпьешь. А сейчас, за старый год, – «северного сияния!». То, что вы пьете, спирт с газировкой, не «северное сияние», настоящее – вот такое! И вообще, с начальством не спорят, а старших, кроме того, слушаются... Ну, поехали!..

Чтобы не пререкаться, я взял фужер и хотел чуть-чуть пригубить... Но Виктор Петрович не дал мне сесть:

– До дна, до дна, до дна!.. – И подталкивал локоть до тех пор, пока я не выдул весь фужер...

Только я сел, он мне лимончик с сахарком:

– Полагается по этикету. Да и просто полезно... – И, приобняв, сказал на ухо: – Не обижайся, ничего плохого не будет. Все хорошие лекарства – на спирту. К тому же у тебя не язва. Багаев, гляди, печенкой мается, а уже второй фужер ладит. Ты же хирургический, почти как с фронта, а в госпитале, поверь мне, коньяк считался лучшим лекарством! «Слушай сюда» – и все будет о'кей!

И я «слушал туда»... Сначала опасливо взглядывая в угол, где сидела жена, грозившая, на всякий случай, мне пальцем, а после второго фужера я перестал озираться. Виктор Петрович угощал меня колбасой, сыром. Рассказал, как он в морской крепости, в затишье, когда особенно голод невыносим и когда мечтаешь о штурме, перебирал всю свою жизнь, вплоть до того, что вспоминалось: тогда-то ушел с гулянки, а на тарелке остался кружок колбасы, ломтик сыра и рюмка недопитая... Я рассказал, как меня кантовали-кантовали, а прооперировали за двадцать минут до... и про «два раза «хе-хе» рассказал, не удержался...

С проводин старого года непосредственно перешли к встрече Нового...

Я забыл про все – я веселился! До того забылся, что где-то перед московским Новым годом в прихожей, превращенной в курилку, посостязался по пережиманию рук в стойке. «Опустила» меня на землю жена, когда увидела, как я «жму» хозяина дома: она чуть не упала в обморок...

....Проснулся я на следующий день, то есть первого января, уже вечером внезапно. Осторожно прислушался к себе: в голове, в теле какая-то напряженная, но приятная легкость. Я потянулся и почувствовал в мышцах силу.

– Что, симулянт, может опохмелиться дать? – с иронией сказала жена.

Я встал, опять потянулся – сила вернулась!

– Давай! – сказал я. – И закусить – побольше! Ты думала: я в ящик сыграю? Я забыл свою «ролю», как Петруха! «Два раза «хе-хе»!

1964–1992 гг.
Сургут–Мегион

О СВОЕОБРАЗИИ КИТАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В 1957 году, после второго курса, нас направили на производственную практику в трест «Туймазабурнефть».

Жили мы в длинном белом бараке, оказавшемся в центре белокаменной столицы туймазинских нефтяников – городе Октябрьском. В этом же бараке обитали китайские студенты из московского института, человек двенадцать.

Время тогда было, по выражению руководителя практики Дюсуше, вальяжного, под А.Толстого, доцента, – «будирующее». Позже его назовут «хрущевская оттепель».

Жизнь была на подъеме: говори – что вздумаешь, ешь – что пожелаешь. Мы на стипендию умудрялись жить да и хаживать изредка, для «понту», по ресторанам: громаднейший бифштекс со сложным гарниром, два пива со сливками – шик-блеск!

Мы, студенты, вели себя свободно, раскованно. Но до немцев нам было далеко: жили они в гостинице, питались в ресторане.

Одевались модно, по погоде и случаю. Имели шикарные фотоаппараты. Но в остальном вели себя «по-нашенски»: по ночам резались в «тыщу», в преферанс, в волейбол бились до тех пор, пока виден мяч; не прочь были выпить и в парк сходить.

Китайцы с нами накоротко не сходились, делали вид, что не понимают, ходили «хором» в контору бурения, в столовку и на спортплощадку, через определенное время появится в проеме двери староста – или кто он? – крикнет визгливо, и игра прекращается даже на самом напряженном моменте. И снова сидят за зубрежкой хором, оформлением отчетов. Отчеты, конечно, у них на грани искусства! Правда, я, если бы уделил столько же времени, посоперничал бы с ними: рисовать худо-бедно умел... Так, не подружившись, и разъехались...

А на ОМЛ – «Основах марксизма-ленинизма» – в тот год мы изучали «своеобразие китайской революции»...

Отношение к китайской революции, и к ее «своеобразию» в частности, в народе было двойственное. С одной стороны – определенно ироническое.

Достаточно вспомнить крылатое выражение: «Х...я это в сравнении с китайской революцией, на что уж она была...» – и анекдоты про «энное последнее предупреждение». А радиопередачи, фильмы, книги?.. Как там у них все просто получалось!..

Но с другой стороны... Какой энтузиазм! Какая организованность!.. Решили – сделали! В Шанхае воробьев вывели как? Измором! Не давали садиться... Или про спутник – хоть анекдот, но уважительный.

На кафедру экономики вернулся профессор Б. Два года преподавал в Пекинском нефтяном институте. И специально, и в лирических отступлениях на лекциях рассказывает про китайцев много интересного. Западные журналисты проверяли честность китайцев: оставляли, к примеру, фотоаппараты в парке. Через пару дней приходят – лежат, где «забыли».

Дядя моего друга работал по вербовке на Дальнем Востоке – тоже рассказывал о трудолюбии и честности, неприхотливости «китаезов». Из сортира, извините, удобрение возьмут да и вам же еще заплатят... А уж про китайскую вежливость и говорить нечего: нарицательной стала...

«Будирующее» время!..

Еще четыре года назад я, восьмиклассник, риторически спрашивал друга: «Как без Сталина жить будем?» А потом не

заметил даже, что из сквера его имени исчез огромнейший его монумент. Но он незримо еще присутствует в нашей жизни. «Сталин и Мао слушают нас!..» Даже во введении к «Сопромату» цитируется «корифей, вождь и учитель»... По инерции ерническое отношение вызывает его «ближайший друг», основоположник, работы которого приходится конспектировать: «Где же его ученье? Одни конспекты!»

А время «будирует»! Вместо пятилетки – семилетка!

Китайцы тоже не отстают: семимильными скачками!

Скачок – перегнать Англию по выпуску стали. И вот оно, своеобразие: в каждой провинции, в каждом уезде, в каждой деревне – по домне!..

Сомненья берут: хреновенький ведь металл будет даже в сравнении с самой революцией... Зато – своеобразие, раскован гений народный!..

Скачок – нефтяная промышленность на подъеме! А что?.. Если, как те ребята, все будут упираться, то – вполне скаканут могут на семь ли...

Мы в это время, я имею в виду СССР, догоняем и перегоняем «далеко» саму империалистическую акулу – Америку...

А что? В те годы казалось, что коммунизм уж приоткрывает двери. В рабочих столовых под накрахмаленными салфетками в хлебницах горки бесплатного хлеба. На дореформенную трешку – винегрет, биточки, компот, а хлеба с горчицей – сколько осилишь. Расчет без кассира. Принят «Моральный кодекс строителей коммунизма». Движение за коммунистический труд. «С нами Ленин впереди!» – поем на демонстрациях.

Только вот... Словом, как и при отце народов – многое...

Неплохо бы – китайского «своеобразия»!

Генералов – на недельку-две ефрейтором или рядовым! Пусть вспомнят, как обмотки крутить, на нарах спать, ночью вскакивать да бежать!

Директора – к станку, к лопате, к рейсфедеру!

Секретаря – в поле, на картошку! Да навоз пусть почистит!

Дирижера – за контрабас! За ударники!..

На хлеб! На воду! На перловку! На самогон!..

Смех смехом, а в этом – что-то есть... Даже сейчас эта идея привлекает, а тогда и подавно!

Профессор Б. предложил, по линии СНО, о своеобразии китайской революции рефераты написать – многие взялись, я –

тоже! Да так, что получил приз – «Сборник рассказов современных китайских писателей»...

Прошло несколько лет... О китайской революции и ее своеобразии я вспоминал все реже и реже, занятый своими проблемами. Да и доступные мне средства информации все меньше и меньше сообщали о делах у «великого соседа». Незаметно стала исчезать тушенка, плащи, рубашки, синие штаны – так выручавшие в студенческие годы. Мелькавшие сообщения о выходках хунвейбинов воспринимались как продолжение своеобразия китайской революции...

И вдруг осенью 62-го, на семинаре пропагандистов, «имевшем быть место» в районном ДК, из уст секретаря райкома, бывшего недавно редактором районки, слышу обращение ЦК к членам партии и советскому народу о прекращении межпартийных связей и сворачивании и ограничении межгосударственных отношений, потому что...

...видит Бог, не по нашей вине...

...началось это давно...

...китайская революция с самого начала была «...»...

...Мао Цзэ-дун всегда был такой...

...руководство КПСС неоднократно пыталось...

Но великий китайский народ... Дружба между нашими великими народами...братскими партиями... И...и...и тэ пэ...

А я сидел как оплеванный...

Докладчик закончил и, механически спросив: «Вопросы есть?» – пошел на место. Я резко вскочил и крикнул, пустив петуха: «Есть! Есть-есть! Вы вот сказали, что трения начались еще при Сталине. Что потом отношения ухудшались и ухудшались. А почему же мы пели, что «Сталин и Мао слушают нас»? Почему нам толдычили о своеобразии китайской революции? Как попугаям».

Я был как в бреду, голова горела, а на душе было мерзко.

С докладчиком я познакомился еще год назад, когда принес в районку стихи о Севере, покоренный его своеобразием: «...В апельсиновом небе нежный бунт акварели – непросохшие краски безумно свежи ...его созвездий ярких белый клевер, его неудержимая весна...» Спокойной внешностью, образованностью редактор произвел на меня впечатление; у нас оказались одни и те же любимые поэты, нашлись и другие точки душевного соприкосновения. И показался он мне очень дели-

катным человеком. Не раз философствовали мы и на вечные темы. И о будущем коммунизме тоже. В своей бригаде я, едва появившись, выполняя поручение, прорабатывал новую программу партии – программу построения коммунизма. Многое в ней напоминало «семимильные» китайские скачки и вызывало сомнения. Тем более что Америка не приближалась, а, похоже, отрывалась от погони. Да и с хлебом происходило нечто странное: не то что бесплатно, за деньги купить – становилось проблемой! О моих сомнениях редактор знал и некоторые, в приватных беседах, разделял...

Поэтому меня совсем сбило с толку его грубое одергиванье. «Сядьте! – раздраженно рявкнул он. – Сядьте! Здесь вам не институтский семинар. И вообще! Студенческие – безответственные! – замашки бросьте! Партия, понимаете, честно обо всем рассказывает. Всем! И вам – комсомольцам! И поручает довести до народных масс! Не искажая. Народ поймет. Так, товарищи?.. А вы, если что не ясно, подойдите после семинара...»

В перерыве я ушел домой. Настроение было мрачное...

Я шел мимо вросших в землю, коричневых от смолы, пятистенок еще царских времен. Наши-то коттеджики столь не простоят: из обессоченной сосенки... А мимо этих изб, может, еще ссыльные декабристы хаживали... «Ах, как ночи глухи... На минуту раздвинутся тучи – как в тюремный глазок, на меня мельком глянет луна, чтобы только узнать: не сбежал ли мятежный поручик, не испив свою горькую долю до дна...» Я не поручик: отработаю обязаловку – год осталось-то! Да и сейчас рвану – не посадят: не те времена! Десять лет назад – да, могли. Тогда мужа двоюродной сестры, за то, что после ФЗУ, не отработав до конца по направлению, вернулся к молодой жене в деревню, посадили! Я учился в шестом классе, когда она приезжала, и мы ходили к нему с передачей. Я, потрясенный, испуганно смотрел на Антона через железную решетку: как в зверинце! За что?.. И почему мы не изучали вот такое наше «своеобразие»? И будем ли? Думаем одно, говорим другое, а делаем третье... А ведь, казалось, культ разоблачили, памятники сдернули, – живи, народ, радуйся! Свобода, равенство, братство! Честность, справедливость, гласность! Партия – гарант! «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение будет жить при коммунизме...» Будем!.. Китаю помогали, помогали, а теперь ж... к ж... и дружба врозь! Не беда! Куба

появилась, Конго, Алжир, Ангола... Там тоже революции! Помогать надо! Пишите, ребята, о своеобразии тех революций.

Злость и негодование переполняли меня: «Какой дурак! Ну, наивняк!.. Да нельзя же ни во что верить искренне!.. Все они – пауки! Если уж в борьбе за власть люди благородных кровей доходили до крайностей, то уж наши с большой дороги... «Вышел в степь донецкую...» А из забоя по трибунам, до ЦК! А нашего «обрубка-швырка» взять... Секретарь парткома! И сразу должность под него: начальник отдела кадров! Кабинет! Профсоюзник зовет его: «Комиссар!» – откликается с огромнейшим удовольствием... Кончилась «оттепель»... Осень... А там и зима...

До Черного Мыса, где я жил, еще шагать и шагать. Дорога, как плывун. Октябрьские сумерки... Почти уткнулся в щит, прибитый к двум столбикам. Прежде вроде не было... Ощерившаяся фанера, облупившаяся краска... «Семилетку – досрочно!» Вот лозунг! Семилетку отменили, потому как провалилась, а тут – нет! Смешно? Но смеяться не хочется...

Метров через сто – еще щит! С одной стороны: «Догоним и перегоним», скотские безрогие морды, остатки цифр, с другой – не разобрать...Третий щит – в стороне от дороги. Понятно! Щиты ставились по прямой, как предусмотрено программой партии и директивой ЦК, а дорога, как всегда, виляет резко влево... На щите – про интернационализм и братский союз коммунистических и рабочих партий. В успокоившемся было сердце закипела обида: «Нас за союз и своеобразие агитируете, а сами – то целуетесь, то...? Хватит!

И я решительно обхватил ближайший ко мне столбик... Не тут-то было. Столбики, расшатанные ветрами, вьюгами, морозами, болтались в гнездах, как гнилые зубы, а извлекаться не хотели! «Крепок интернационализм!» – пыхтел я. Изрядно попотев, выдрал их все же! Оказывается, на комлях прибиты в пазах крестовины. «Ишь, как укоренили хитро!» Иронизируя над собой: «Ну, Витя!.. Ну, хунвейбин!.. Не ожидал от тебя...», я оттащил столбики и щит на берег и, презирая себя, опасливо огляделся: «Не видел ли кто?..»

Остальные щиты я смог ликвидировать только следующим летом, белыми ночами, в присутствии «рефери», так как требовалось соблюдать обязательное условие, выставленное друзьями – в «рукопашную», без вспомогательных средств, как-то: лопата или Архимедов рычаг...

А в остальном, внешне, жизнь катилась без изменений. Вот только когда «комиссар» однажды вечером, смачно отрыгнув после «закуси», сказал: «Когда в партию думаешь? Пора, пора! Бери рекомендацию в комсомоле, другую мы дадим...», я спокойно, без волнения отказался: «Не-а! По крайней мере, не в той организации, которую вы возглавляете!..» И его онемевшая багровая физиономия доставила мне не радость, но удовлетворение... Правда, присутствовавший при этом начальник экспедиции, уважаемый мною одесский еврей, не раз потом мне пенял: «Ну и мудак ты, Витек, после этого. Вот, ты – хороший, я – хороший, оба не вступим, другие – хорошие! – не захотят, а кто ж тогда, скажи, там будет? Одни «комиссары»?.. Они нами «нарулят»! Партия-то – пра-авящая! Понял, «об что речь», как говорят у нас в Одессе?..»

– А! – махнул я рукой. – Все это ерунда по сравнению с китайской революцией – на что уж она была своеобразна! – И ровно пятнадцать лет в анкетах писал «б/п»...

ЗАРНИЦЫ С ЧЕТЫРЕХ СТОРОН

Никто из буровиков точно не знал, как и почему произошла на этой скважине авария. Казалось, что скважина эта с зацементированными в ней трубами существовала изначально, как окружающие ее болота, озера и кедровые гривы, как принявшие ее в себя недра... «Железобетон» в скважине воспринимался всеми безропотно, как естественная преграда, как обычные осложнения вроде крепких пород, осыпей, обвалов, – куда денешься? Надо бурить – и бурят. Тем более что есть план, по которому надлежит вести работы. План утвержден самим «генералом»! Какие тут могут быть сомнения?..

Пункты плана ясны и лаконичны. Главный состоял всего из четырех слов: «освободить колонну путем обуривания...» Вот этим сборная бригада и занималась уже целый квартал.

Леонида Ширяева начальник, еще не вошедший в курс дела после отпуска, попросил подменить аварийного мастера на пару дней, пока тот сдаст отчет. Прошло три дня, пять – мастер не возвращается. Ширяев по рации запрашивает:

– Где аварийщик?

– Уволился... – отвечают. – Сбежал к нефтяникам...

– А кто ж здесь будет?

– Пока вы закреплены...

Прошло полмесяца. У Ширяева появилось ощущение, что он торчит здесь всю жизнь. Вахты летные. И штрафники, и энтузиасты регулярно улетают-прилетают, а он, как абориген, все время здесь. Будто в балке родился и выучился. Все бы ничего, да время идет как-то странно: одновременно и летит, и тягуче длится. Диалектическое время: миг как вечность и вечность как миг. Разномасштабность времени осязается физически, особым чувством, словно меняющееся электростатическое поле, когда с тихим шелестом шевелятся волосы и потрескивают зеленоватые разряды... Не со сверхъестественным ли все связано? Ведь пишут же, что в Бермудском треугольнике происходит что-то с течением времени, гравитация там не в порядке, кажется. А почему бы и здесь им не быть – чудесам? Там гравитационные аномалии природные, а здесь – рукотворные. Два миллиарда тонн нефти выкачали, а это что-нибудь да значит. Вот и меняется ход времени в синие вечера.

Лето стояло жаркое. Сушь кругом. Даже болота и трясины обнажили самые сокровенные свои места, аспидно-черные или, наоборот, белесые, словно в тальковой присыпке.

Где-то за горизонтом постоянно горит тайга. И торфяники начали шаять. От дыма ест глаза, першит в горле. Ветра нет. Синеватый воздух слоится, как туман в горах. К вечеру дымный воздух тяжелеет, жмется, холоделый, к земле. Случались ночи, когда дышать было нечем, только на вышке находилось спасение.

На солнце можно смотреть, как при затмении. Вечером, когда оно, словно раздавленная клюквина, сползает за горизонт, со всех сторон начинают рдеть зарницы. Временами они поднимались, становились ярче, багровее... Казалось, на смену ушедшему солнцу вот-вот взойдут четыре фантастических светила. Потом зарницы тускнели, уменьшались. Всю ночь колыхались тревожные восходы-закаты. И только один из них, на востоке, около пяти утра разгорался все ярче и ярче, пока наконец не показывалось настоящее солнце, и тогда исчезали ночными кошмарами остальные псевдовосходы.

– А что, аварийщиком очень даже интересно работать. За одну заездку такого насмотришься, чего у другом месте за усю жизнь не побачишь! – Славик, по прозвищу «Летчик», на

секунду умолк, демонстрируя в ослепительной улыбке золотую коронку. – А таку вольну жизнь ихде еще найдешь? Спим – сколь хотим, работаем – когда желанье маем... Соби хозяева!

Под черными бровями веселые карие глаза. Улыбка настоящая, не вымученная. Чуб – каштановый, густой, небрежно взбитый. Только затылок более темный, с проседью, выдает Славика. Надо же! В такую жару, в тайге, среди одних мужиков – и в парике! Ширяев застал как-то Славика перед зеркалом. Тот испуганно отдернул руки от чуба и вспыхнул, как уличенный в постыдном деле школьник. Однако буровики никогда над ним не подтрунивали.

– Да уж, спите по-богатырски! – ответил Ширяев. – Вижу. Не разбуди – к обеду подыметесь.

– Плохо, Николаич, вы о них думаете! «К обеду»! Оне и до паужна могут подушку давить, – со смешком заметил Повжик, пожилой дизелист.

У Ивана Ивановича армейская выправка, каска ему идет, вид у него командирский. Тем не менее зовут его ласково – Ваней. Встает он раньше всех – электростанцию запускает. Себя считает самым главным на буровой, ко всем относится свысока, снисходительно. От общих работ – заготовки дров, воды – увиливает под разными предлогами. Буровики за это костерят Ваню, без скидки на возраст, последними словами. Другой бы не выдержал, а с Вани – как с гуся вода.

Ваня, Славик и еще двое парней помоложе работают в аварийной бригаде постоянно и друг друга знают как облупленные.

Иван Повжик старается быть поближе к начальству, к рации: тут и сводку послушаешь, и что на других буровых делается узнаешь, и какие «пэу» идут.

Каждого нового начальника Ваня прощупывает на интеллект или, как говорят бурильщики, «на тям», – по тому, как он реагирует на Ванины многозначительные реплики и тонкие комментарии. Одни, взяв у него отчет по ГСМ и заявки, бесцеремонно выпроваживают на буровую, другие, закончив связь, втянутся в разговор. Тут уж Ваня себя проявит!

В этот раз до политики не дошло, помешал бурильщик Костя, молодой крепыш с густыми усами.

Обрывистый голос электростанции перекрылся низким рокотом буровой. Ваня газанул на всю катушку – словно артподготовка началась перед новой атакой на «железобетон». Черные клубы дыма, рассеиваясь, голубели.

Утро ясное. Небо высокое, с широким горизонтом. С вышки видны все четыре факела – при дневном свете они кажутся восковыми свечами.

Вахта закончила спуск нового фреза в скважину. Ширяев подобрал режим работы, размерил ведущую квадратную штангу, сделал мелом метки и уступил место у пульта Косте. Спустился по трапу к устью скважины, проверил циркуляцию. Поднимаясь вновь на рабочую площадку, заметил, что северный факел нещадно зачадил – словно гигантский кальмар выпустил в небо огромное чернильное облако. Видимо, у эксплуатационников опять аварийный сброс нефти.

Молодежь ушла на «хозработы». Остальные сосредоточенно смотрят на мельтешение граней квадрата, на замершую стрелу верньера индикатора веса. Все словно бы ждут чуда: а вдруг новый фрез какой-то особенный и «железобетон» спасует перед ним? Десять минут... Полчаса. Чуда не происходит: стрелка стоит как приклеенная.

Славик стучит легонько по трубкам датчика: стрелка вздрагивает, а успокоившись, замирает у прежней черты.

– Ну шо там говорят? Долго скребтись будемо?..

– А тебе не усе равно? По мне так хоть усю жизнь: тяпло, гроши добры платют.

– Та я шо? Просто интерес маю. Усю скважину мисяц-другий бурили, а колупаемся вже шостый. И конца не видно...

– Я у конторы слыхал: колы «железобетон» разбурим, «генерал» мильен з гаком отвалит!

– Покроют не покроют – все убытки. Не дай Бог к тому же в сторону соскользнуть – профрезеровать «окно» в колонне. Как раз ведь против пласта! Сами можем открыть не то что «окно», а дверь фонтану! Так что держать надо ухо востро!

– «Там» знают! Предупредили ба...

– Счас – позвонят тебе сюда! Вон – вуртухалка летит! Солярку тащит. Беги, отцепляй!

Ваня поправил на мужественном подбородке ремешок каски и, лихо отбив чечетку на ступеньках трапа, скатился на землю и потрусил на вертолетку.

Вертолетка – двойной настил из кедрача и осины, скрепленный скобами, – располагалась, чтобы не поливать в жару, в самой трясине. К ней вела узкая лежневка, покрытая торфом, натасканном тракторами. Шоколадного цвета сухой торф

прикрывал трясину, создавая иллюзию ровной площадки. Вертолетчики, впервые прилетающие на этот «ротор», как они зовут буровые, часто ставят подвеску именно сюда. И в этот раз вертолет, без обычного разворота, прицельно шел к трясине.

– «Духи» летят – без захода, – не скрывая вздоха, произнес Слава-летчик. – Их почерк.

– Да уж после Афгана к гражданским порядкам не сразу привыкнешь, по себе знаю, – заметил Костя. – Ты вот, Славка, если бы училище закончил, тоже б, поди, сейчас где-нибудь атмосферу рассекал?

Тот не отозвался.

Ваня, преодолевая воздушный поток, шел к вертолетке, где возле отбойного бревна, сжавшись в комочек, примостился тракторист Якуб. Вдруг Повжик, видимо оступившись на краю лежневки, нелепо покрутив руками, опрокинулся на спину. Все с ужасом закричали: над барахтающимся Ваней зависла многотонная емкость. Сейчас бортмеханик нажмет кнопку сброса подвески и...

По-обезьяньи жестикулируя и крича, прыгал Якуб. Слава бежал от буровой, размахивая скрещенными над головой руками.

Экипаж то ли увидел сигнал, то ли сработало шестое чувство, видимо не раз выручавшее «духов» в жарком небе Афгана, – вертолет, словно всхрапнув по-конски, осадил назад, к лежневке, и, освободившись от груза, улетел на базу в крутом вираже.

Босой, в болотной жиже, в корнях, как леший, и в неизменной каске с рельефной надписью «ТРУД», выглядел Ваня комично: как говорится, смех и грех.

– Я... как пал, встать хочу и не можу. Ноги у грази, воздушная подушка давит. А тут ешче ен з емкостью. Ничого не пойму. Да шче соляра как из форсунки брызжет. Горловина пропускает, знать...

Ваня нервно смеется, словно всхлипывает. Нашли его сапоги. Отмылся он под душем из системы охлаждения дизелей. И все пошло своим чередом.

За ужином повариха выделила Ваню: на второе дала ему самый лучший кус мяса. Славик не преминул съязвить по этому поводу.

Он вообще в эту заездку озверел: каждый вечер с поварихой цапается, слезливой, предпенсионного возраста женщиной, издерганной пьяницей мужем, запросистой дочкой и вечным безденежьем. Сбила ее «спонталыгу», как она говорила, товарка,

проработавшая на Севере несколько лет: «Бросай обузу, Надька, поезжай! Не покаешься. Какое там кулинарное образование! Борщ варишь? Блины печешь? Пирожки стряпаешь? Тесто заводишь?.. И хорош! Триста рублей в месяц будешь иметь...Какая зарплата? Навару! При честной работе – учти! Не вздумай переборщать!..»

Вот Михайловна методом проб и ошибок и определяла пределы «честной» работы. И в этом ей Славик невольно помогал. Варила Михайловна сносно, а стряпала однообразно: пекла одни блины, поскольку духовка не пропекала. А всем хотелось горячих сдобных булочек и пирожков...

– Задолбала повариха блинами! – помбур Цветков надул пухлые губы. – На нас тренируется, чтоб потом зятю угодить?..

Этот прямо нестеровский отрок с незабудковыми глазами и светлой пушистой головой мог так произнести обычные слова своим мягким гнусавым голосом, что они казались последней гадостью. При этом глаза его прояснялись: проступала в них берлинская лазурь.

– Стараешься-стараешься... и все не угодишь... – запричитала Михайловна. – Бедный повар!..

– Бед-ных по-ва-ров не бы-ва-ет! – ехидно отчеканил Славик.

– А я мо-жет быть ис-клю-че-ни-е! – в тон ему ответила Михайловна. Тот даже опешил. – И вообще... Я давно хочу сказать! – обратилась она к Ширяеву. – К этому заезду у меня претензии. Да-да! Хватит ко мне одной предъявлять претензии. Я – повариха, да. Но у меня, между прочим, есть имя: Надежда Михайловна! А вот за этими молодчиками, – она показала в сторону Цветкова и его напарника, Глебского, – я ходить больше не буду. Если бы не тракторист Якуб – спасибо ему и поклон! – не знаю, что бы я делала. Потому ставлю ультиматум: воды и дров не будет – готовить не буду, получите сухим пайком. И тогда – не обессудьте!

– О!.. О!.. Так их! – загоготал тампонажник. – Распустились, помбурики! Смотри, старшой, не будет кормежки по расписанию, я фыть! – и до дому.

– Да и вы, не знаю, как звать-величать, – обратилась к нему повариха, – могли бы помочь: не больно, гляжу, заняты. Парень – кровь с молоком! Не надорвались бы...

– А вот это уж не ваше дело! Мы теперь от вас наособицу! По договорам работаем. А там: заказчик обеспечивает теплое жилье и горячее питание три раза в сутки.

– Может, еще сто грамм?

– А это уж как оговорят при заключении договора. Запишут: сто грамм, пирожок и бабу – будете выставлять...

Прекратив перепалку, Ширяев с нажимом поблагодарил за ужин:

– Спасибо, Надежда Михайловна!

– На доброе здоровьице! – по-доброму отозвалась та, забыв про расчет.

Проходки почти не было, счет шел на миллиметры. Ширяев сделал ловушку для металлических опилок – только они и говорили о том, что ротор крутится не зря: на забое строгается металл.

В сероватой массе опилок сверкали золотистые блестки. Буровики ахнули: золото! Но откуда? Ширяев разочаровал: бронза, из фреза.

И вдруг случилось чудо: за час углубились на двенадцать сантиметров! Буровики возликовали: теперь дела пойдут! А Ширяев помрачнел: еще раз отобрал пробы, долго их рассматривал. Потом остановил работу: «Добурились – дальше некуда! «Окно» в колонне прорезали. Скоро в пласт выйдем, на волю».

– Выходит, у нас теперь, хлопцы, артель «совсем напрасный труд»?

– Уж ты-то... за то, что ходишь в каске «ТРУД», сполна получил. Хату построил?

– Та я ж не про то... Шо ты заводишься? Просто иной раз думаешь-подумаешь: шо мы робим? Яку пользу приносим? Хош на цей же сверловине. А у Сибири? Или усесоюзном масштабе? а? Мы всем – нефть, газ. Они нам – трубы, технику. Шоб траншеи рыть – «нитку» тянуть. А дальше – шо? Сховали трубы у землю, технику оставили на трассе. Бо поломалась она, сносилась, у металлолом и годна. Гроши, что заробили, потратили на кроссовки, порошки, джинсы и разную резину з «хвостиком», шо воны зробили. Вот и думаю: кончится газ, нефть... кроссовки сносятся, резина используется... а дальше – шо? Как без хаты?..

На утренней связи Ширяев доложил свои опасения главному инженеру. «Какое может быть «окно»! – кричал тот. – Проходка пошла – бури! Нечего фантазировать! Не забывай, на этой скважине не один миллион тонн запасов висит!»

Ширяев пообещал первым же рейсом выслать образцы шлама, если ему на слово не верят, а работать, сказал, начнет только после получения письменного приказа.

– Ладно, высылай! – нехотя согласился главный. – Будет тебе приказ!

До вертолета успели поднять фрез – по характеру износа было видно, что он работал по металлу: протер колонну. Ширяев вручил бурильщику фрез, образцы шлама и в конверте, склеенном из крафтбумаги, свои соображения по дальнейшим работам.

На смену Косте прилетел другой бурильщик – Роман.

– Проштрафился? – вместо приветствия обрадованно воскликнул Славик. – Вы скважину начинали, вам и...

– Выходит, что так, – добродушно усмехнулся Роман и тут же пояснил Ширяеву: – Из отпуска я... С графиком накладка: у вас поработаю, а потом – в свою бригаду.

Роман широколиц, румян, осадист, от его фигуры, манеры разговаривать веет доброжелательностью.

– Как вы тут? – спрашивает обступивших земляков. – Много грибов насушили? А как рыбка – клюет? Мы зимой во-он на том озере из-подо льда таскали.

– Да мы здесь как за железным занавесом – никуда не выползаем! В болоте, говорят, можем увязнуть! Не пущают! – пожаловался Цветков. – Технику безопасности блюдут...

– Что ж вы с ними так неласково, а, Николаич? – упрекнул Ширяева Роман. – Болота здесь не опасные. Я все исходил. Во-он – сто пятидесятая, мы бурили. За гривкой – сто шестая. Там вон – сто тридцатая. Счас сбегаю на разведку, гляну. Соскучился, Николаич, ей-Бог!

И Цветков запросился

– Все равно ж стоим. Если что, Борька один управится – насчет дров и водички.

Посопротивлялся Ширяев внутренне малость и отпустил людей за грибами. Чуть погодя и сам решил прогуляться...

Шагать по мшаникам тяжело. Донимает мошка. Слабый попутный ветер не сносит ее – наоборот, прижимает. Остановишься, обернешься лицом к ветру, словно жгучую вуаль откинешь назад.

Заядлые грибники зигзагом шли. Ширяев и напрямую не мог угнаться за ними. Даже маленький Якуб, развернув

раструбы болотников, спорым гномиком мельтешил впереди. «Вот лоси! – завистливо чертыхнулся Ширяев. – Как от медведя ломятся...» Он решил побродить сам по себе и крикнул путникам:

– Ребята! Чтобы к ужину – как штык!

Ветерок приятно остудил лицо. Ширяев осмотрелся: до ближайшего леска было уже ближе, чем до буровой. Взглянул на часы: четверть часа и прошло-то. «В самом деле, как за колючей проволокой сидели!»

Места клюквенные, но ягод не видно. Попадаются прошлогодние: или засохшие, или вспухшие – надавишь, брызнет какая-то гнойная сукровица. Неприятно! Грибы тоже не попадают.

Лес издали казался сплошной стеной. Вскоре он распался на отдельные деревья. Вот уже видно, что за опушкой большая поляна, сквозь подлесок угадываются на ней громоздкие продолговатые предметы. «Да это ж никак старая буровая...» – осенило Ширяева.

Странное чувство вызывает вид заброшенных буровых! Чем-то сродни оно щемящему чувству печали на поросших бурьяном пепелищах, у развалин домашнего очага. И тут вырубка позарастала мелколесьем и поседевшим кудрявым иван-чаем. Только в центре поляны, вокруг двух металлических емкостей, земля безжизненно черна. Рядом с мерниками огородным пугалом возвышалась фонтанная арматура – «елка», – кто-то набросил на нее брезентовую робу и нахлобучил на макушку ведро. На мерниках остались куски укрытия, торчат трубопроводы. Тут и там обломки ферм, конструкций, бочки, пропитанные нефтью бревна, доски.

В заустенье мошка совсем обнаглела, жгла лицо, уши, запястья, проникала даже в сапоги.

Ширяев вышел на вертолетную площадку. Между бревен настила пробивалась березово-осиновая поросль. Веерообразно лежащие вокруг деревья напоминали место падения загадочного Тунгусского метеорита. Только ровно опиленные пеньки говорили о рукотворном происхождении вывала. Деревья, а среди них были могучие кедры и осины, уже теряли кору, были изъедены древотосом; сквозь их поверженные кроны прорастали настырные осинички.

Обойдя вертолетку по опушке, напрыгавшись через стволы, Ширяев присел отдохнуть на приступку широчайшего пня. Срез могучего дерева был бархатисто-серый, но годовые

кольца еще хорошо заметны. Леонид несколько раз принимался считать, сбивался и был потрясен результатом: в любом случае выходило, что кедровый орешек пророс еще при крепостном праве! Реликтовое дерево! На него бы табличку «Заповедный кедр», а он под бензопилу попал. Нет чтобы сместить чуточку вертолетку в сторону!

Приближался вечер: в воздухе запахло багульником, он перебил даже запах гари. Ветерок стал прохладнее. Ширяев больше не искал грибов. Так бы шел и шел. И тут что-то толкнуло его: надо обследовать мерники! Нет ли чего интересного? Монтажники часто кладут в них свою «мелочовку». А потом забывают.

Он вернулся и вышел на плотную торфяную, похожую на асфальт площадку, на которой стояли мерники. Это были стандартные емкости от циркуляционной системы объемом сорок кубометров каждая. Ни трапа, ни приставной лестницы. Пришлось применить всю сноровку, чтобы подняться наверх – больно уж были они замазучены.

Емкость, на которую взобрался Ширяев, полностью забрана рифленкой, на ней обрезки труб, уголки, остатки обшивки. Другая – открыта, в ней какая-то жидкость, отсвечивающая как черный осенний лед, и в ней стайка уток, но какие-то они странные, словно в сонном царстве: замерли в разных позах, – эта – дремлет, та – пытается взлететь, другая – ныряет. Наконец-то до него дошло. «Да это же нефть! – ужаснулся Ширяев. – Ну, испытатели! Вот варвары! Отработали пласты, а нефть не выжгли! Или нарочно оставили, чтоб потом использовать?»

Он оторвал рейку от укрытия и, балансируя ею, прошел по краю мерника до середины. Там поперек мерника была приварена широкая тавровая балка. Он встал на нее.

Уток было семь пар: кряквы, свиязи, чирки, чернети, шилохвости, нырки, гоголи... Большинство, видимо, попали еще по весне: к характерному гудронному запаху выветрившейся нефти примешивался запах падали и тленья...

Когда Ширяев ступил на перекладину, две птицы – нырок-селезень и гоголиха – трепыхнулись и снова завалили головы на спину. Они обессилели: глаза подернуты беловатой пленкой, клювы беззвучно ловят воздух.

«Дурашки! Меня не надо бояться. Я – ваш спаситель-избавитель!»

Идея ему понравилась.

«Спасу их... а гоголиха окажется заколдованной царевной... Сбросит перья она и скажет: «А бери-ка ты меня, Леонид-свет Николаевич, в жены!» Отвечу ей: «Милая моя! Есть в Пургае у меня законная жена. Правда, сейчас она в отпуске. У дочери. А ты у меня будешь полевой женой! Согласна? Будешь сама перелетать за мной с буровой на буровую, чтобы диспетчера не засекли».

Гоголиха приоткрыла шторки на глазах, посмотрела не него и слабенько и нежно крякнула. У Ширяева мурашки по затылку пробежали: «Гли-ко чудеса! И впрямь спасать надо...» Он протянул к ней рейку: может, догадается клювом за нее уцепиться? «Таскали же лягушек на прутике твои родственницы. В клювах. Цепляйся же, ну!» Но утка, не поняв добрых намерений, спрятала голову под крыло. Тогда Ширяев попытался подвести рейку под утку и приподнять ее или подтолкнуть к стенке. Но нефть оказалась липкой и тягучей. Никакая это, видать, не нефть, а скорее всего раствор на нефтяной основе. В нем всякая всячина: синтетические жиры, окисленный битум. Он понял, что находится на сто пятидесятой скважине.

Сто пятидесятая бурилась три года назад на спецрастворе. Надсмотрщиков у нее было много, и все толкали: быстрей-быстрей! Нужен прирост «запасов». «Совмещение промышленной эксплуатации с разведкой!», «Ускоренное вовлечение приращенных запасов в народное хозяйство!»... За это стрелять надо, ан нет! – авторам высочайшие премии и награды! Гер-рои!.. Лаур-реаты!.. Детей и внуков грабим. Осознанно, планово, на уровне государственной политики... «План – закон, перевыполнение – честь!» После нас хоть трава не расти. И ведь не растет! Ширяев огляделся: во все стороны, на пятьдесят – сто метров, языками чернильных клякс растекались ядовито-коричневые, безжизненные торфяники, – сверху хорошо было видно. Даже неприхотливый иван-чай не пробивался сквозь болезненные струпья земли. Ни одной былинки!..

Ширяев решительно шагнул по балке, опираясь на рейку, присел, потянулся – до уток было буквально рукой подать, и... сорвался вниз!

...Дышать было трудно, грудные мышцы ныли. Дыхание у мужчин диафрагменное, у женщин – грудное... Вот в чем дело! Был бы женский тип дыхания – все полегче было бы. Диафрагмой и сейчас можно было выдохнуть, но зато вдох требовал

неимоверного напряжения пресса, получался он затяжным, таким, что начинало жечь в горле и стучать в висках. Стараясь дышать осторожно и экономно, Ширяев отдыхал после неудачной попытки, сумбурной с испуга, выбраться из этой тягучей, как смола, тяжелой жидкости, если ее можно так назвать.

Нестерпимо захотелось по малой нужде. «Да, это тот случай, когда терпеть нет смысла. Что же, сэр, надо полагать, никто вас не осудит...» – с горькой иронией сказал он вслух. Вспомнился ему давнишний случай. Встретил он как-то друга на вертолете, из отпуска тот летел. И угостил от души редкостным в то время баночным пивом. Натерпевшись во время мучительно длительного полета, Леонид послал другу язвительную, как ему казалось, телеграмму: «Спасибо за пиво». При следующей встрече друг растроганно напомнил: «Ты единственный, кто хоть раз спасибо сказал. Мелочь, а приятно...» И он не стал разуверять его в заблуждении.

Оказывается, это непростое дело – пустить в штаны осознанно! – не получается, и баста: какое-то реле не срабатывает. Ширяев забылся – рука непроизвольно потянулась к ширинке и ткнулась в раствор, он оказался теплым. «Значит, воздух холодает, – уже спокойно отметил Ширяев. – Этот вар еще долго будет хранить дневное тепло...» Руки, согнутые в локтях, постепенно погружались в раствор, держать их на весу не было сил. Плечевые мышцы, отдыхая, блаженно заныли. Зато появилось ощущение полной несвободы: казалось, его туго спеленали.

Мерник был расположен почти в широтном направлении. На короткой его стороне, справа от Ширяева, солнце высвечивало узенькую полоску. На длинной стенке – сходящий на нет клинышек, лучи шли почти параллельно ей, и поверхность ее выглядела зернисто-тусклой. Освещенный участок быстро уменьшался: нижняя кромка его на глазах поднималась. «Будто в кубок золотой наливают темное вино. Кипрское... какое кипрское! «Вермуть» тюменскую!..»

Раствор на нефтяной основе, сокращенно «рэнэо», доходил технологу до подмышек. Легкие фракции из раствора за годы улетучились, он загустел, может быть, даже полимеризовался.

«Главное – не суетиться. Оценим ситуацию с точки зрения стратегической. Жизненные ресурсы: воздух, вода, пища. Воздух – не ограничен. Дышать трудно, но можно. Пища – по нулям. Но полмесяца люди терпят. Вода. Трое суток можно

без нее. Если дождь будет – можно и больше. После дождичка... Кстати, сегодня четверг. Завтра пятница. Смена вахт. Завтра будет не до меня. Те, кто прилетят, подумают, что я сменился. Только на Романа надежда. Он будет всю неделю. Итак, три дня можно ждать. Вот и все ресурсы на... ожидание помощи».

Солнце село за горизонт. Леонид определил это по едва заметной перемене, произошедшей в небе: оно приобрело глубину, как при стереоскопическом эффекте. Замерцали звезды. Те, что поярче, казались совсем близкими, дальние – мельчали, сливаясь в светлые пятна, молочные капельки, брызги, белесые ручейки... Вот так же кто-то впервые обнаружил, что днем из колодца видны звезды. Тот, кто копал его, или тоже нечаянно упавший, как я? Избавитель! Друг и защитник уток и селезней! Глядишь, без меня принцесса пожила бы еще день-два. Впрочем, доброе дело сделал: сократил мучения заколдованным существам. О, мама миа! Кар-рамба! Какая нужда потянула меня сюда? И почему меня?.. Почему не того, кто все это сотворил?!! Мастера, технолога, прораба? Разве трудно было хотя бы сжечь? В мерниках прямо в конце концов! Наверняка дело было зимой. Мастер получил команду заскладировать «рэнэо»: «Будем на другой номер вывозить». Потом другой «номер» раздумали бурить, а команду отменить забыли. Замерзший раствор не горит, не долбится – резина! Греть? Некогда! «Нулевку» – скорей-скорей! Сам «генерал» следит, начальнику руки выворачивает: «Что вы со старой буровой возитесь, драгоценное время теряете?!» Вот начальник монтажникам и скажет: «Бросайте все к чертовой матери!» И бросили ради новых метров. «Генерала» бы сюда вместо меня. Или хотя бы за компанию... Начальника тоже. На какое-то время это развеселило его. Ширяев вспоминал и вспоминал все неприятное, что мешало ему жить, чем он был, хоть и не в такой степени, как сейчас, но тоже спеленат прежде. Разминая мышцы, медленно сокращая их, он незаметно развернулся на запад. Долгое время просто бездумно смотрел на закат.

Краски вечернего неба как бы зазвучали, превращаясь в слова и фразы:

...Закат на оттенки богат,
на каждый – примета в народе.
Телесного цвета закат –

к какой, интересно, погоде?
Уж больно в нем нежны тона...
Румянец его золотистый,
бледнея, меняется на
какой-то тревожно-землистый.
И не уловим переход
оттенка в оттенок
и в жизни:
давно ли родился? – и вот
друзья соберутся на тризне...

Уже смеркалось. Ласково блестело рэнэо, отражая звезды. Высоко светилась Большая Медведица. Видны Кассиопея, Лебедь... Какие он еще знает? Стожары... Нет, их не видно. Может, забыл где они? Марс, Венера. Не видно, в сектор обзора не попали...

«Да, Леонид Николаевич, влип так влип. В прямом и переносном смысле. Посижу. Но не как муха на липучке! Найдут. Или сам что-нибудь придумаю. Не на морозе ведь. Бывало и похуже...» Он вспомнил, как однажды в пути кончилась солярка. Тракторист и механик запаниковали и тянули пешедралом добираться до подбазы. Был страшный мороз с ветром, и надежды на успешный «вояж» было мало. Ведь сообразил же он использовать солярку из тракторного радиатора, куда ее заливали вместо антифриза. С грехом пополам, но натопили из снега воды в радиатор, а на солярке доехали до ближайшей буровой.

Вдруг ему показалось, что со стороны вертолетки кто-то идет. Он затаил дыхание, напряг слух: «Шу-х, шух... шу-х, шух...» Будто осока о болотники шуршит. Закричал гром-ко, даже весело, с шутливой иронией: «Ау!..Тута я!.. Ту-точки!..»

В ответ мелкие ветки затрещали, источник звуков быстро удалился в лес: чух-чух-чух-чух... «Что за зверь? – Ширяев так и не понял. И рассердился: – Шляются тут всякие!» – в сердцах сплюнул. Слюна была тягучая. Очень хотелось пить.

«Странно, почему не слышно буровой? Ведь электростанция молотит! – в который раз задавался вопросом. – Или опушка леса так чисто экранирует звук? А здесь – застойная зона. Глухая. Беззвучная... Омут...»

«И зарниц от факелов не видно... Странно! Подожди-ка, а всегда ли они появляются? Факела горят постоянно. Это точно. А зарницы?.. Ведь зарницы – это отсветы пламени на чем-то:

на облаках, на клубах дыма, тумана. Зарницам нужна среда обитания. Поэтому-то в ясную ночь их практически не бывает: горизонт у факелов чуть-чуть светлеет, словно там ластиком подчистили. Так. С этим разобрались. Что еще? Ага, столбы. Над факелами иногда столбы света! Четыре огромные свечи! Только пламенем вниз. Свечка у пламени наполнена матовым светом, а выше – утолщается и постепенно меркнет. Да – стеариновые свечи. На круглом торте, внутри которого буровая. Или... Да-да! Это прожектора! И не торт это, а огромная вертолетная площадка. Для ночных полетов она должна подсвечиваться. Вот эти прожектора и обозначают таинственный вертодром. К нам сюда, выходит, не только хохлы и татары могут летать, но и космические пришельцы. Фу, дорассуждался. Чертовщина какая-то! Что-то надо делать, жжет, как огнем, съест всю промежность...»

Леонид почувствовал, как занемели мышцы ног и по всему телу забегали злые, донельзя раздраженные мураши. Лет двадцать назад ему удалили аппендицит. «Еще бы двадцать минут – и перитонит!» – обрадовал его хирург. У него не было сил, чтобы возмутиться и сказать: «Какого же хрена двое суток крутили, щупали, передавали по дежурству один другому?» Пришлось несколько дней лежать, не шелохнувшись, на спине. Вот тогда мураши дали ему прикурить! Будто натурально бегают по спине желтые древесные муравьи...

«Ну по-че-му, по-че-му я-я-я!.. – он даже заскрипел зубами, напрягся, завертел плечами, помогая рукам вырваться из плена. – Что за жизнь! Что за судьба! Кто-то выигрывает в лотерею, в спортлото, а я – я только влипаю во что-нибудь!» Он развел руки в стороны, пытаясь вытереть ладони о липкую и без того куртку. Отодрал один от другого пальцы. Помахал руками над головой, испытывая иллюзорное чувство свободы. Коснулся пальцами балки. Делов-то вроде: чуть подпрыгнуть, ухватиться как следует, подтянуться на руках, рывком закинуть за балку ногу и – на свободе! Гуляй на все четыре стороны!..

«Эх, росточка сантиметра четыре бы прибавить! Давно бы выбрался, смыл соляркой эту «мазуту» и гулял!.. Не зря поется: «Я столько в жизни потерял все оттого, что ростом мал...» Бабы не дуры, когда заказывают: «...рост не ниже 180 см». Все предусматривают. И такие ситуации. Конечно, ихние молодцы нигде не увязнут. Особенно в такой параше...»

Он снова, с усилием, кончиками пальцев ухватился за балку, затратив на это несколько минут. Устал так, что забухало в ушах.

«Нет, это напрасная трата сил,– решил он. – Надо менять тактику. Активное ожидание. С минимальной тратой сил. За балку без рывка не ухватиться: слишком широка полка, надо заводить ладонь. Так? Так. У борта уголок. Максимум пятидесятник. Пусть даже сотка! Так? Так! Это у-же ко-е-что! Это уже хо-ро-шо! Ухватиться же можно будет! А ухватившись – выбраться. Теперь задача: добраться до борта!»

Ширяев переместил центр тяжести на левую ногу. Легко сказать: переместил! Уперся правой и стал ждать, подастся ли тягучая среда. И перестарался: стал падать. Пытаясь восстановить равновесие, изогнулся так, что стало больно позвоночник. Свободными были только плечи, остальная часть корпуса находилась в «корсете». Но тем не менее ему удалось удержать равновесие, и теперь, опираясь на пятку, Ширяев мог подтянуть другую ногу. Учитывая опыт первого шага, он решил сначала выставить ногу, а затем, боком, перемещать корпус. Дело это было тягомотное и утомительное. Во время отдыха наступала апатия, хотелось спать, голова непроизвольно падала на грудь, как у той уточки, которую он хотел спасти. В минуты забыться ноги подгибались, и он чуть не по плечи погружался в рэнэо. Один раз даже окунул подбородок.

Очнувшись, вдруг обнаружил, что темнота стала сероватой. Перемена погоды? Облачность? Туман или дым? Или присмотрелся?

Когда он добрался наконец до стенки мерника и оперся о нее, зарницы разыгрались уже вовсю, их блики отражались даже в черном лаке рэнэо – тяжело, зловеще, кроваво, словно в бычьем глазу.

Решив, что отдохнул достаточно, Ширяев крепко ухватился за борт мерника и стал подтягиваться...

В школе и институте Леонид спортом не занимался. Но зачеты по физкультуре сдавал нормально. Преподаватель советовал борьбу, штангу. Он попробовал, но бросил: дурная работа! Находились у них спортсмены: на тренировках тонны ворочают, а как до сельхозработ – баклуши бьют, у костра отираются: печенки с молочком дармовым кушают, над ним, дурачком, потешаются: «Леня! За того парня еще не забудь мешочек!» И сейчас он не считал зазорным помочь такелаж-

никам бочку закинуть в вертолет, на буровой подменить бурильщика. А уж про субботники говорить нечего! И еще: везде, где ни приходилось жить, сажал на пустырях, без всяких призывов и кампаний, деревья. Рука у него была легкой: даже кедры и елки приживались. А секрет прост: ямы копал глубокие, деревца приносил из лесу с огромным пластом дерна; коленки трусились от тяжести, а не сбросишь – земля осыпется, корни обнажатся, осушливого воздуха хлебнут. Вот и росли деревья безболезненно, радуясь простору и солнцу! Куда с ними тягаться тем «хвостикам», приткнутым в мелкие лунки во время озеленительных кампаний.

«Еще...еще..чуть-чуть...чу-ть! – приказывал своим мышцам Ширяев. – Е-ещ-ще!.. Саму-ю ма-лость! Еще минутку-две!.. Только бы локти закинуть за край мерника!.. Только бы локти завести... Н-ну-у... ээ-ээ-х!»

С какой легкостью, бывало, подтягивался он на турнике! И десять... и двадцать, а надо – на спор! – и тридцать! А сейчас – только единственный раз и надо-то! Бесконечно долго, сантиметр за сантиметром вызволял он свое тело из липкого плена. И вот, когда подбородок уже цеплялся за холодный край емкости, когда оставалось резким движением вскинуть локти, бесчувственные пальцы разжались, и он стал оседать... «Выпадать в осадок!» – с горькой иронией прокомментировал он свою неудачу. Руки онемели, суставы аж мозжат. А рэнэо уже вновь засасывало его с поцелуйным причмоком...

Положение усугубилось. Пока он подтягивался, рубашка и майка выбились из-под ремня, и при вторичном погружении он ощутил раствор поясницей. «Залипаю все больше! – произнес вслух. – Еще внутрь наглотаться, можно не беспокоиться: не сгнию, буду, как мумия, забальзамирован». Он почувствовал страшную усталость. Пришло безразличие.

Он как-то враз очнулся от забытья. «Прошу прощения... прошу прощения...» – остатки каких-то повинных мыслей таяли в сознании.

«А кто у меня попросит прощения? Хотя бы за эту западню? И вообще, кто скажет мне спасибо за все мои труды, стойкость в лишениях? Да и зачем мне это надо: не скажут и не скажут, делов-то! Вот мама... Ей и так несладко. Нет, мама, я не огорчу тебя! Я не допущу, чтобы ты, оставаясь одна в квартире, разговаривала с моей фотокарточкой, как с отцовской. Жене тоже

не причиню страданий. Я выберусь. Выберусь, хотя бы для этого пришлось вылезти из собственной кожи! Стоп!..»

Его словно током пронзило: «А не из собственной кожи, так из одежды! Из о-де-жды!.. Из одежды!.. Дурак! как раньше не сообразил? Когда еще силы были свежие? Дело техники! Расстегнуться: ремень, замок на брюках. Руки из рукавов куртки вытащить – самое сложное! Отдышимся и за дело. Только сейчас уж – чтоб наверняка!»

Из одежды на Ширяеве остался один носок, пропитавшийся рэнэо.

Он уже мало-мальски отдышался и критически, внутренним зрением, оглядывал себя со стороны. Сейчас можно было и поиронизировать над собой! Когда-то он лечил радикулит – вот так же его тогда вымазали лечебной грязью и запеленали. Так же потом тянуло кожу и было холодно в очереди к горячему душу. Эх, сейчас бы тоже неплохо встать под горячий санаторный душ! Впрочем, такую «мазуту» простым душем не смыть. В детстве, классе в шестом, купаясь на Белой, он залез на плот и отдыхал на толстенной осклизлой пихте, пока его не прогнал сердитый бабай-плотогон: «Китталя, малай!» Потом все шпанята со смеху полегли: «Негра!.. – визжали они, показывая на него пальцами. – Тарзан!».. Оказалось, что вся грудь и подбородок в мазуте... Вода и песок оказались слабым средством, пришлось керосином оттираться... «Да... Немало придется извести солярочки, чтобы принять человеческий облик...»

Леонид встал на подрагивающие ноги, придерживаясь за показавшуюся теплой стенку мерника. Голова кружилась. В висках били звонко. «Как будто по биллиардному шару вставили: временами они сооударяются, разбегаются и сходятся снова...» Внутри все тряслось мелко-мелко...

«Нич-чего! Как врежу студенческой рысью! А кто встретится, спрошу: наши тут не пробегали? Согреюсь! Только сообразить: в какую сторону двигаться? Темень и зарницы со всех сторон одинаковые! Где оно, мое нерукотворное светило?..»

Он стал вспоминать: как шел сюда, с какой стороны заходил на вырубку. И ничего не мог сообразить: его внутренний компас как бы залип! Он крутился в темно-серой тьме, всматривался до рези в глазах в зарницы – ему нужно было идти в сторону одной из них, но в какую? Хоть бы что-то характерное

выглядеть! Задирал голову вверх: хоть бы звездочка проклюнулась какая? Может, это наваждение такое? Разбалансировка пространства? Силы тяжести?

У него закружилась голова, и он упал. Вскоре сел поудобнее и стал разминать мышцы по очереди, растирание не получалось – волосы липли к рукам, боль была нестерпимая. Попытался вспомнить, как делается аутогенная установка. Почувствовав, что онемение мышц проходит, встал, попрыгал, размахивая руками, побоксировал с темнотой, поприседал. И вместе с теплом стало возвращаться к нему внутреннее спокойствие. В какой-то момент он ощутил, как что-то шевельнулось в нем, будто вздрогнула невидимая стрелка сложного прибора, завещанного ему чередой предков в процессе эволюции – чтобы он мог определить свое место во времени и пространстве...

1989 г.
Тюмень

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ ФЕДОРОВ

(штрихи к портрету)

Познакомился я с Виктором Петровичем в конце декабря 1961 года и потом, до апреля 65-го, «квартировал» в его кабинете: мой ладненький с коричневым дерматином письменный стол располагался справа от входа перпендикулярно к массивному, на двух тумбах, столу В.П., покрытому зеленым сукном под толстым, огромным – предметом моей зависти – стеклом. Рядом с письменным прибором – аккуратные стопки РД (радиограмм) от «полевиков», слева, за пепельницей, на самом краю стола, лежали подколотые огромной сувенирной скрепкой ЦУ (ценные указания: РД и письма Управления, Главка и пр.). «Пусть вылежатся!» – с веселыми глазами, щурясь от дыма, говорил он. «Большинство таких «бумаг», – просвещал меня В.П., – пишется от нечего делать. – А дела появятся – забудут». Нередко так и происходило. Если же вторично «требовали» ответа или «напоминали», он с усмешкой говорил: «На «того» еще бюрократа попали: придется писать. Но мы

тоже не лыком шиты: дадим ему «уклончивый» ответ!» К деловым бумагам, разумеется, относился он серьезно: писал сам. Сидел он за столом лицом к двери. За спиной висела – во всю стену – геологическая карта СССР, слева от него, у окна, стояла тумбочка с книгами, справа – шкаф с техпроектами, сметами и сейф; рядком разместились шесть стульев с мягкими сиденьями.

Вместе мы проводили не так уж много времени, особенно зимой: мотались по профилям.

К нему постоянно приходили люди: под его «рукой» было больше двадцати полевых отрядов и партий (сейсморазведка, гравика, геодезия).

Но изредка выдавались спокойные вечера, и мы тогда разговаривали за жизнь. Этому способствовало частое отключение электроэнергии.

За окном синие сумерки. В.П. со смаком покуривает, далеко отставляя, после затяжки, сигарету и выпуская сквозь губы трубочкой длинную струйку дыма. Курит он очень много, в основном сигареты. Курево у него везде: в столе, в тумбочке, в карманах. Уходя, первым делом проверяет, похлапывая: спички, табак – на месте ли? У него все безбожно «стреляют» (кроме меня). Когда я долго не закуриваю, он, подтрунивая, вежливо осведомляется: «Что, Виктор Николаевич, бросаете курить? ...В таком случае угощу-ка я вас сигаретами с фильтром. Хорошая вещь! Попробуйте напоследок...» Пошутить он любил и умел и за словом в карман, как говорится, не лез.

Молодой, по второму году, геофизик с большим опозданием – аж сезон полевой начался! – вернулся из отпуска. В.П. не стал читать ему мораль, сухо сообщил, куда тот назначен, и продолжил разговор с двумя начальниками партий, прибывших летом из Нарыкар. Парень, рассчитывавший на головомойку, не врубившись, куда его направили, обрадованно выскочил из кабинета.

Группа партий, с центром в Тайлаково, звалась у нас «ОАР» (на устах у всех тогда была Объединенная Арабская Республика – ОАР, где творилось, как нам это преподносили, Бог знает что).

В нашей «ОАР» было нечто аналогичное: у черта на куличках – а коэффициент 1,3 против 1,5 в самом Сургуте!

Когда до парня дошло, он метнулся назад: «Виктор Петрович! – обратился он к Федорову. – Я согласен, при условии...»

«Никаких условий, молодой человек! – мгновенно среаги-

ровал Федоров. – Условия только Гитлер ставил Франции. В Тайлаково АН-2 идет, не опоздайте. Иначе я без всяких условий отправлю вас к маме. Желаю успеха и счастливого пути!»

Летом, по окончании зимнего сезона, в экспедиции становилось многолюдно: съезжались специалисты из полевых партий, базы которых потом становились городами. Шла приемка полевых материалов. Писались отчеты, проходили предварительную, на техсовете экспедиции, защиту. Составлялись проекты и сметы на будущий год.

В это время В.П. и его жена Надежда Афанасьевна, руководившая камералкой (среди молодежи – «бабка»), были загружены по макушку.

Постепенно, получив «добро», авторы отчетов, смет, проектов уезжали в Тюмень, в геологоуправление, для окончательной защиты отчетов и сдачи их в ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ СССР и утверждения проектно-сметной документации – для открытия грядущих тогда Самотлоров...

В Тюмени в это время собиралась веселая компания молодых северян и «северных волков»; вкупе с командированными «толкачами» и «технарями» геофизики-интеллектуалы вносили живую струю в вечернюю жизнь тюменских ресторанов (ж/д, «Заря», «Сибирь», «Восток» – у бани...).

До В.П., естественно, доходили «агентурные» данные о его подопечных, и он принимал меры по-федоровски. Помню, Виталий Петров, внешне и по натуре, – вылитый песенный «геолог», с которым я сдружился в первой своей командировке в Тюмень, показывал мне телеграмму: «Предлагаю прекратить дирижирование оркестром «Заре» тчк Федоров».

«Неужели отпускники донесли? – скалился Виталий. – Нет... Скорей всего эти, из управления, – с которыми Салманов кандидатский минимум сдавал, они накапали. А!.. Главное, защитить на «хор». «Отл» – безнадега. «Оркестр» – дело личное! – хорохорился он. – Мы, питерцы, все делаем на «ять».

Если дело делалось на «ять», замечал я, В.П. не попрекал. «Слаб человек, – говорил он. – А кто не слаб?» Прорабатывая и выговаривая дерзким, шебутным, срывающимся «с привязи», внутренне, мне казалось, он сочувствовал им: в уголках его крупных губ, в прозрачных голубых глазах таилась при этом лукавая усмешка.

Более того. Как-то у нас зашел разговор о слабостях и достоинствах человека. И он открытым текстом сказал: «Хлюпиков вот не люблю. Да! Даже самых положительных. Разумом понимаю, а сердцем принять не могу. Вот N, – назвал он топографа, – пьянчуга, и бабник – при красавице-то жене! – и приврать может... Но ведь какой мужик! Что специалист классный – про то не говорю. Оптимист, рыбак, охотник, ходок! Мастер на все руки. В общении легок. Что-то в нем от казака-землепроходца! Ермака не Ермака, но – Ерофеича, точно! Ты, В.Н., мужиков по женам суди: у них нюх на настоящих мужиков! Н-да... Не то я говорю. Но... Вот возьми того же NN... Ну, что скажешь? Милый, грамотный, вежливый, умница, красавчик... Но не здесь! В Питере, Москве... Может быть. А здесь – не смотрится. Боюсь за таких: хилы духом и телом для Сибири. Для нашей работы. Может, и их время придет. Попозже. Вот так, В.Н., такой я консерватор. Боюсь и за вас».

...Самому Виктору Петровичу хлебнуть жизни пришлось уедистой ложкой. Родился он за пять лет до Октябрьского переворота в трудовой семье; помнил и военный коммунизм, и нэп, и индустриализацию.

Работать начал с семнадцати лет, получил специальность слесаря-инструментальщика. На кустах аж при Институте труда! Был такой во главе с поэтом. Днем – рейсмус, шабер, лерка, метчик, тисы, зубило, серп и молот, вечером – конспект на рабфаке! После рабфака – тоже вечером – Московский геологоразведочный институт имени Серго Орджоникидзе...

«Великое дело – молодежь! – говорит В.Н. – Вы «Фауста» Гете читали? Может, смотрели? Не для экзамена – для себя, – прочтите! И я вам – завидую! Потому что я прочел и – убедился: тра-ге-ди-я! Там. И у нас – каждый день! Сказать только об этом некому».

В кабинете совсем темно. Мерцает сигарета. Выражения лица не видно. Вздохи сожаленья. В голосе скорее торжественность, чем грусть.

– Сам был молод. Дух – тоже. – Он усмехается, замолкает.

– Но сам был – здо-ров! Хоть и тетеристый. В спор. В драку. Не-е! Не лез. В каком же году? В МГРИ? В вечернем учился?.. Может быть. Иду, короче, с занятий. За полночь. Народу мало.

Обгоняют. Двое. Замандражил: приблатненные. Точно! Пошушукались – куртку сняли. С меня! Кожаную! Ладно. Иду. Но – зло разбирает: а в чем буду дальше-то учиться?! Ну! И так меня зло разобрало – обратно вернулся, отнял у них свое обратно! А потом иду и смеюсь: «Если погодя, так и их раздел бы! Под горячую руку ежели бы...» Вот она – «расейская» черта!

Начало лета. Душно. Жарко. Мы с Бехтиным обливаемся потом. Виктор Петрович – хоть бы хны, смеется: «Похмелье из вас, сеньоры, выходит... У Николая Михайловича – точно! А В.Н. – водохлеб. В организме, как в природе, – круговорот воды. Я почему не потею? Потому что мало пью воды. Привычка! Я, как институт закончил в 39-м, сразу в армию: в Среднюю Азию. Новыми – геофизическими методами – стратегическое сырье искали. Жара! Водичку так бы хлебал и хлебал, да ведь с собой в маршрут много не возьмешь. Вот и ищешь золотую середину: чтоб и не тяжело, и жажду можно было утолить. Так вот и втягивался. Потом, в войну, привычка эта ой как пригодилась! Оказался под Кронштадтом на дальнобойной батарее: островок, орудия и прислуга в казематах, в скале, – ни бомбежки, ни артналеты не страшны, даже десант, – все веселее. А вот когда тишина... О! Тягостно и морочно: только о воде и еде думаешь. Да... Покушать люблю, винца хорошего – не откажусь, а вот воду – до сих пор экономно потребляю».

Ждем АН-2, и не холодно вроде: градусов 25 – 30 мороза. Я свою радикулитку застегнул доверху, воротник поднял, попрыгиваю, В.П. сигаретой попыхивает, руки в карманах коротенькой дубленой куртки, расстегнутой к тому же: жарко, мол! В глазах веселые искорки. Висловатый нос, правда, баклажанно лиловеет, но В.П. не запахивается и уши меховой, под куртку, шапки не распускает. Да еще и пошучивает.

Прилетит наконец АН-2, а у него дюралевые сиденья как раскаленные сковороды, пока долетишь до Сургута – извертишься. Как тут откажешься, когда В.П. пригласит: «Ну что? Может, к нам: щец похлебаем? А? У Надежды Афанасьевны, может, и рюмочка найдется. Как, В.Н.? Зябко?»

Жили они рядом с конторой экспедиции, в небольшом деревянном домике – «скворешнике»: сенцы, прихожая, кухонка, крохотная, но уютная гостиная, в которой, когда «гуляли», размещалось в «елочку» человек пятнадцать и еще поменьше –

спаленка. Жили они вчетвером: с двумя послевоенными сыновьями: Сергеем и Ильей. (Когда я женился, Федоровы были в отпуске; до их приезда мы с Галей жили в этом «скворешнике» почти месяц.)

У «Надюши» (на работе, точнее, уже за оградой «скворешника», они звали друг друга по имени-отчеству, а дома даже и при посторонних: «Надюша», «Витюша»), как всегда, только что приготовленные «щецы», «борщецы», «грибные супчики», а к ним и «рюмашка» и закусочка, да другой раз что-нибудь в Сургуте и невиданное – из московских еще «гостинчиков».

«Скворешник» был теплый. От плиты с духовкой шел благостный жар. Когда после «щец», перед растворимым кофе (тоже диковинкой по тем временам), мы курили в раскрытую вьюшку, В.П. смахивал с залысин пот и иронизировал: «Лишку жидкости потребил: просится наружу...»

Чувствовал я себя у них раскованно, как у родных, хотя обычно в гостях я веду себя «как в гостях». И хозяева меня не стесняются, ведут обычные житейские разговоры, меня особо не пытают и сами не вдаются в воспоминания или в высокие материи, а если что и выскакивало, то так, к слову.

Вот и я сейчас к слову вспомнил.

С детства я не был приважен к колбасе. Позже, в Уфе, если приходилось баловаться, то больше дешевенькими сардельками (студентами потребляли мы еще «кавалерийскую» полукопченую колбасу из конины). Короче, когда В.П. угощал московской твердокопченой колбасой, я был к ней равнодушен и вежливо, чтоб не обидеть хозяина, съедал ломтик-другой. Уговаривая меня, В.П. к слову как-то и сказал: «Угощайтесь, В.Н., а то, не дай Бог, пожалеете когда-нибудь... Во время войны, на батарее, между бомбежками, артиллерийскими дуэлями или отражением десанта я только и думал о еде: вот такие тарелочки с недоеденной колбаской, сыром, селедочкой, хлебцем вспоминались. Рюмашки недопитые. И до чего все это явственно виделось – до судорог в желудке. Так что ешьте, В.Н.!»

Честно сказать, я хоть и голодал после войны и знаю голодные спазмы не понаслышке, рассказ его произвел на меня сильное впечатление.

...Секретаря парткома – «комиссара» на слэнге его окружения – назначили начальником отдела кадров экспедиции, хотя он, как

обычно, занимался привычным делом: вдохновлял и направ-лял. Во время очередного отключения света, я посетовал на это: «Интересно получается: в партии мы живем или в государстве?» – «Ну, это что! – добродушно откликнулся В.П. – Сейчас жить можно. Хрущев, конечно, много дров наломал, но ему можно в ножки поклониться только за то, что институт замполитов отменил. После демобилизации мы с Надеждой Афанасьевной в системе Центрального геофизического института работали. Время послевоенное, замполитов принимали как неизбежное. Но там попадали мне в этих должностях специалисты или около того хотя бы. А вот когда в 52-м в Сибирь направили, что ни «комиссар» – дундук настоящий. На мне, правда, где сел, там и слезешь: в партию даже на фронте не вступил, а как к специалисту – «нос» надо было подточить, не каждому «комару» поддавался. Хотя пытались... И в «органы» капали: со взрывчаткой ведь дело имеем, а случались и недостачи и прочее. Нервов, конечно, потрепали! Как сейчас вот за травматизм – со всех сторон обложили: не принимаю, де, мер, гроблю рабочий класс. Говорю и пишу: надо зрить в корень, в масштабах отрасли меры принимать, если не страны, – это и профессиональная, не для отвода глаз подготовка кадров, специальная техника, а не то барахло, что получаем, наконец, спецодежда, походное жилье, питание, медобслуживание, летний отдых и только потом – инструктажи, политбеседы и повышения идейного уровня. На фронте ведь гибли в первую очередь новобранцы, голодные, холодные, необученные, а за сытым, обмундированным, обученным солдатом и пуле-дуре надо было погоняться. А наш «комиссар» что? По мне – безобидный...»

И напрасно, кстати, недооценивал он «комиссара». На собрании по выдвижению кандидатов в лауреаты Ленинской премии за открытие нефти и газа, которое вели «комиссар» и представитель «сверху», Федорова не включили в список: вспомнили, что В.П. лауреат Сталинской премии первой степени (ее стыдливо переименовали в Государственную) за ставропольский газ и что, де, лауреатом двух премий быть не положено. Как ни горячились выступающие геологи и геофизики, В.П. Федоров даже посмертно остался за бортом многочисленной лауреатской флотилии, хотя и отдал открытию и разведке тюменского нефтяного моря-океана с 1952-го по 1965 год всё: знания, интуицию, здоровье – жизнь!

Летом 65-го в «скворешне» на отвальной (одни переезжали в Тюмень, другие в отпуск) договаривались: как только к Сургуту «железка» подойдет, съедемся со всего Союза и прокатимся на первом поезде, вспомним, как мы прокладывали и вели свои профиля... Жаль, немногим удалось это сделать. Чьи-то профиля, пересекшись, разошлись, другие, упершись в «крест», закончились. Но сетка профилей осталась, в ней – Сибирь.

Заросли березовым подростом
профиля, которые на глаз
он чертил на карте-пятиверстке,
а потом ходил по ним не раз:
по кипрейно-красным, кудреватым,
по сквозисто-стылым, продувным –
под Сургутом, Покуром и Ватой –
и по многим профилям иным.

Верил он в Сибирь и, как апостол,
в свою веру обращал друзей...
... «Федоровкой» называют просто
жизнь его вторую средь людей.

3 декабря 1993 г. – 9 января 1995 г.
Мегион

ЖЕНЯ-БОЛОДА

Евгения Григорьевича Шермана (Ананьева) все мои знакомые, которым приходилось пообщаться с ним хоть разок, называли «бородой», с уважением, восхищением, добродушно, с усмешкой, но всегда дружески тепло – «борода»! И в самом деле: за двадцать семь лет знакомства приходилось видеть его без усов, но без бороды – ни разу.

Одно время жили мы с ним в Тюмени, по Республике, в соседних домах. Гуляли мы как-то с дочуркой теплым октябрьским вечером во дворе. Вдруг дочь замолкла, стушевалась. «Ты что?» – спрашиваю. «Женя-болода... вон...» – «Боишься его, что ли?» – удивляюсь. Дочь в ухо шепчет: «Его – не боюсь, болоды боюсь!..»

С тех пор мы звали его Женя-болода.

С первой встречи в 63-м году и до последней, за год до его кончины, звал я его, в неофициальной обстановке, несмотря на разницу в возрасте в полтора десятка лет, уменьшительным именем – Женей. Преодолев внутреннюю скованность, своеобразное «табу», немногих старших товарищей я так называл – как ровню. А меня он звал, как, впрочем, и многих других, совсем ласкательно – Витенькой...

«Значит, Жени – не боюсь, а «болоды» – боюсь?» – улыбался Женя.

Познакомились мы с Шерманом шапочно в 63-м, а поближе – следующим летом в Сургуте.

В 64-м году в Сургут началось паломничество журналистов, киношников, проектантов, начальствующих лиц... Общественная, духовная жизнь в старинном городке, еще недавно тихом, если не забурлила, то весьма оживилась.

Высокое начальство общалось с партхозактивом. Творческие люди тоже не чурались встреч с активистами, но и перед простым сургутянином являлись: в районном Доме культуры («эрдэка»), на страницах районки не брезговали опубликоваться. А некоторые пытались на ощупь потрогать «фактуру» жизни первопроходцев, старожилов, аборигенов...

После их отъезда оперативно в газетах, журналах, по радио шли бодрые и бодряческие материалы: очерки, репортажи, заметки и т.п., зачастую повторявшиеся, перепевавшие тему покорения недр, суровой природы и обязательно – подвиги, причем одних и тех же, попавших в струю, как говорили тогда, передовиков. Читали мы, слушали и не узнавали ни их, ни самих себя, проходивших фоном, ни природы, ни всего остального. Даже на обложках «Огонька» сургутские сюжеты казались нездешними – бутафорскими! Да так оно и было! Фотокор Марк Редькин, энергичнейший мастер своего дела, снабженный высочайшими рекомендациями, для одного из кадров задействовал всю наличную авиационную и наземную технику в Сургуте! Внушительная картина получилась: по земле – колонна тракторов, военных тягачей всех марок, в небе – АН-2, МИ-4 и гордость тогдашней авиатехники – вертолет МИ-6, – покорись, Сибирь! Создавалась «Сибирятина»...

Евгений Григорьевич Шерман отлично вписался в компанию экспедиционных острословов: Вадима Воронина, Коли

Куренного, Игоря Кулехова, Германа Телятникова и других геологов и примкнувших к ним пилотов Ми-6, которые снабжали техническим спиртом, прекрасно дополнявшим дешевенький, по полтора рубля, болгарский «Димиат» – «новинку сезона».

В отличие от своих собратьев-журналистов и литераторов, он не писал ни репортажей, ни очерков, – он просто жил: наслаждался редкой на Севере погодой, немудреной пищей и выпивкой и самым ценным – общением с интересными ему людьми; а уж подкатиться к засимпатичневшему человеку он мог запросто.

Помимо экзотической, карломарксовой шевелюры, ассирийской бороды и мощной, по-медвежьи подвижной фигуры обращал он на себя внимание обвальным, камнепадным хохотом и неожиданно беззащитной, доверчивой улыбкой и тихой, мелодичной и чуть невнятной скороговоркой (по этому поводу кое-кто навязчиво «острил»: «Женя, выплюнь бороду»).

Одновременно с Женей в Сургуте некоторое время были писатели Слава Николаев и Гриша Бабаков, входившие вместе с ним в группу составителей книги «Разбудившие землю» – первой книги о тюменских нефтеразведчиках («Открытие века» – было произнесено!). Жена моя была в декретном отпуске на Большой земле, я холостяковал, и под это дело Слава и Гриша квартировали у меня, в четвертинке большого, под шатровой крышей, сибирского дома. Приходя на обед или вечером с работы, я заставал частично обновлявшуюся компанию... Анекдоты, байки, розыгрыши, пикировки, серьезные разговоры, работа – все было! Но столько и такого хохота! – стены моей хибары не отражали, верно, с момента своего возведения: не зря осенью, при ремонте, я обнаружил, что штукатурка во многих местах отстала и чудом держалась на дранке! Одно Женино «ха-ха!» равнозначно было пушечному выстрелу! Вадим шутил: тебя, мол, Женя, ни в одном американском аэропорту не примут: по децибелам не впишешься в ихние стандарты...

Вечерами (условными, конечно: шесть, а солнце – высоко-высоко!) ходили купаться на Обь или Сайму. Женя с Игорем оказались ныряльщиками и пловцами. Вечность, кажется, пройдет, заволнуемся уже, вдруг откуда-нибудь со стороны словно глуби обские глас подали: «Ха-ха-ха!», глянешь – там, в центре черного волосяного круга, жерлом черного водоворота, красно-белый рот, извергающий нептуновской мощи звуки...

Огромное, как над морем, сибирское небо: ультрамариновое – по окоему, серебристо-ослепительное – вокруг солнца. Зеленовато-ивового цвета, с проголубью, в солнечных бликах, обская вода... И над ней катится: «Ха-ха-ха...» Отразившись от далеких грив и колков, возвращается: «А...а...а...»

Нам, в среднем, под тридцать, ему – за сорок. Он – участник войны, у него то-то и то-то... Но мы – ровня! Даже наоборот: жизненная сила в нем сильней гудит – фонтанирует!

Что-то в нем от Винни Пуха: доброта, наивность, хитринка, леность, мудрость и... готовность всегда поесть, выпить, повеселиться. Ну и, конечно... И во всем он знал толк!

В конце лета, в затишье, встретился он мне со своей неизменной папочкой под мышкой: идет из старого Сургута в поселок геологов. Борода ухожена, шея побрита, запах «тройного»... «От «тупейного художника»? – спрашиваю. Здоровается, не останавливаясь: хлопок по руке и: «Извини, Витенька, спешу в одно место: опаздываю!» – «К «племяннице»? За интервью?» – пытаюсь угадать я. Хохочет на ходу, руку по-кубински поднял.

Через некоторое время стучит ко мне: обстоятельства изменились!

А я собрался в столовую идти, ему предлагаю: «Идем, за компанию, – в рыбкооповскую? У меня ни яиц, ни картошки, одни консервы».

Он отказывается: «Посидим у тебя: у меня перекусить кое-что есть». И меланхолически начинает опорожнять папочку... Емкой оказалась она! Черный хлеб, масло, черная икра, осетринка, малосольная нельмушка... Отварная картошка, головка репчатого лука, склянка с горчицей и хреном, пакетик черного перца... Бутылка водки. И – дефицит из дефицитов, редкостные в Сургуте об эту пору перья лука и зеленый, пупырчатый огурчик...

«Женя, ты – волшебник! – воскликнул я. – Может, для «племянницы» оставим? Против такой закуси – не устоит!»

Хорошо мы в тот вечер пообщались! Между разговорами, поделился Женя секретом приготовления коварной закуски – «пыжа по-шолоховски»; коварство ее заключалось в том, что этой закуской можно было «запыжовывать» определенное количество выпивки, оставаясь совершенно трезвым, после чего следовал «взрыв»: питок вырубался. Мы выпили с ним бутылку – ни в одном глазу! Будто и не пили! Смеялись потом: «Зря «пыжили»!»

Встретились через год почти в Тюмени ранней весной: Женя собирался в гости к «соученице». Уговорил. Подался я с ним. Вечер прошел весело. Интересные разговоры. Стихи. Потом вкусный ужин. Песни, танцы. Допили вино и бутылочку покрутили... Смеху!.. Прощаясь, Женя пригласил хозяек с ответным визитом...

К ответному визиту Женя где-то посуды набрал, стол сервировал на славу! Основные блюда готовили, конечно, другие «приятельницы», но самолично он кое-что приготовил. «Женя! Ну разве можно так кощунственно нарушать рецепты?! – упрекали его приятельницы. – Кто в такой салат кладет соленые маслины?! Чернослив нужно, только чернослив!»

«Что вы говорите, девочки! – елейным голосом удручался Женя. – Чернослив нужно было? Ай-я-яй!.. Впрочем, девочки, вы, как и все женщины, – консерваторы! Вы можете хранить рецепты, но не изобретать! Не сподобил вас Господь! Рецепты блюд, как и остальное, изобретают мужчины!» Из его красногубого рта, извергалось несколько глыбистых «ха-ха-ха!», и он снова говорил тихо, проникновенно, нежно – о них, конечно, о женщинах, спасительницах и хранительницах очага, веры, дружбы, любви и... традиций...

У Жени часто гащивали приятельницы или «племянницы». Однажды рядом с письменным столом даже появилась ножная швейная машина! И, самое забавное, он изменил свой имидж: сбрил усы, окоротил бороду.

Саша Бриндзинский, один из приятелей Жени, увидев меня в главке, спросил: «Шермана давно видел?.. Он же сейчас пишущую машинку сменил на швейную и, чтобы нитки было удобно откусывать, усы сбрил...»

Конечно, громче всех смеялся над этой байкой, как и над многочисленными другими, сам их герой... А сколько их – «имевших быть место» и совсем фантастических! – ходило за ним по пятам, он и сам не знал.

Еще одной и неуемной страстью Жени были книги. Их он привозил и из «глубинки», и из столиц. В конечном счете у него собралась отличная библиотека...

Не могу судить, много или мало написал и издал Женя, но рассказал он много, о многом и многим! Рассказчиком он был, на мой взгляд, не громким, камерным, но – великолепным. Хоть он и не стяжал славы Ираклия Андронникова, и нос у

него был помене, но многим он памятен больше не книжками, киносценариями, а именно как рассказчик.

В одну из последних встреч шли к нему на Ялуторовскую, и он все меня притормаживал: «Не так быстро, Витенька, суставы болят...»

Безжалостно время! Гриву и бороду знаменитую, словно куржаком, седина проморозила. Огрузло прыгучее тело... и только глаза поблескивают маслинами – как прежде. И те же – быстрая речь, грохочущий хохот... К этому времени многие ушли в «края иные» – мы вспоминали их с благодарностью за то, что они, как сказал поэт, «были»...

Точно так же вспоминаю я сейчас и Женю-болоду – с благодарностью за то, что он – БЫЛ.

5 февраля 1994 г.
Мегион

ЮБИЛЕЙ

Праздновали 60-летний юбилей начальника нашего орденоносного производственного главка.

Юбиляр был заслуженным человеком, слава и награды не обошли его: Ленинский лауреат, Герой, многоорденоносец... Он не любил мелочиться. Так же решительно незадолго до этого баллотировался в членкоры Академии, единственный инженер из огромного списка, но неудачно. Он мог бы, как другие, «эволюционировать»: кандидат, доктор... Но это было не в его характере. Он был элегантно, по-мужски, грубоват; говорил медленно, весомо: «...Слово каждое по весу что червонец золотой!» Походка была соответствующая: командорская! Был упрям. Слово свое держал, больше того: был рабом слова. Бывал сентиментальным. Меценатствовал. Книги писал сам. Любил молодых женщин и коньяк. Ценил старых соратников, прощал им многие слабости... Раболепие презирал, но не пресекал: такие времена наступили... О его памяти, особенно зрительной, ходили легенды.

Каких только подарков – от коллективов, от себя лично – не навезли из разных городов и весей!.. Словно королю от

вассалов, царю – от подданных: и электроника импортная, и «рухлядь мягкая»... Один друг преданный, лис старый, приволок шкуру белого медведя, в Красную книгу занесенного; перестарался, друг, перестарался, ситный...

В конференц-зале – как на всесоюзном совещании. В президиуме и первый замминистра, и первый секретарь, и академик... С ними известный композитор, писатель... Ближайшие соратники... Авансцена в цветах.

Торжества открыл первый зам, академик. Он пространно и изящно осветил жизненный путь, пройденный юбиляром. Потом виртуозно говорил главный партайгеноссе. Соратники. Остальные – зачитывали адреса, а более мелкие сошки – вручали адреса, с короткой, абзацем, сопроводиловкой... Куча адресов росла, грозила превратиться в штабель...

Юбиляр иногда прерывал приглушенную, доверительную беседу со своими соседями и взглядывал пристально в зал, изучая его по квадратам. Время от времени он улыбался знаменитой скупой усмешкой, медленно подымал руку и помахивал ею, кивнув величественной седогривой головой. Многие, очень многие в зале, словно на захватывающем матче, в экстазе, не замечая, тянулись навстречу его кивку: «Узнал! Заметил! Не забыл...»

Наконец ведущий, зам-академик, прервал, довольно нетактично, поток «адресантов», намекнув, в духе некрасовского «Парадного подъезда», на холопский недуг: «...а кто не успел вручить адрес, вручите завтра, в рабочем порядке...» – и предоставил слово юбиляру.

Юбиляр выступил в своем стиле: лаконично, с паузами (он, как большой актер, умел держать паузу!) и заметной грустинкой...

После минутного перерыва, пока президиум двумя ручейками – в зал и за кулисы – растекался и убирали столы со сцены, начался концерт...

Концерт начался «Величальной» в честь юбиляра... Исполнял артист местной филармонии, полный, лысоватый, во фраке и при бабочке. Аккомпанировал автор, коротышка с подбородком и лиловатым носом; он уже занес было руки над клавишами, но раздумал: вскочил, снял крышку с инструмента и только после этого обрушил на зал шквал звуков, долженствующих характеризовать бурное время, в котором пришлось жить юбиляру... После этого вступил баритон... Слова разобрать было трудней, чем в оперной арии...

И наконец, апофеоз «Величальной»...

Напрягая яремные жилы, артист руладами, модулируя свой небогатый баритон, как заевшая пластинка, раз пять повторил фамилию, имя, отчество юбиляра...

И когда композитор и сопревший исполнитель резко склонили головы в ожидании аплодисментов, зал ошарашенно молчал... Пауза затянулась. Потом всем стало неудобно: обидится ж юбиляр! – и зал разразился шквалом аплодис-ментов...

Было стыдно за всех: за автора, исполнителя, юбиляра (наверняка ж прослушивал!), за себя: не ушел ведь, остался!

1972 г.
Тюмень

«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...»

Сегодня то и дело слышишь: бастуют шахтеры, авиадиспетчера, таксисты. Грозятся остановить работу медики, педагоги, налоговые инспекторы. И ничего – небо на месте, земля не разверзлась, Россия жива...

А всего двадцать лет назад само слово «забастовка» применительно к обществу «развитого социализма» нельзя было на людях вслух произнести. Упаси Боже. Бастуют там, за «бугром», в обществе «бездуховного потребления», а нам некогда, мы – в марше «К коммунизму на пути!».

Хочу напомнить об одном случае.

В то время я работал в одном из многочисленных тюменских главков. На третьем этаже, в темном тупике коридора, возле пощелкивающих шкафов внутренней АТС было что-то вроде клуба-курилки – по-нынешнему, место тусовки: здесь можно было покурить, узнать главковские и международные новости, посмеяться над новым анекдотом, послушать светский пикантный треп.

Однажды, чуть припозднившись, я застал непривычную картину: до «звонка» было еще минут пятнадцать, а народу – мало, да и те, что были, притулились у стенок, сосредоточенно курят.

Такое настроение предшествовало обычно официальным сообщениям о том, что ожидавшаяся премия «блыснула», или

же о предстоящей очередной реорганизации или сокращении штатов. Остальные события, даже трагические, почти не затишали шумного прибоя курилки.

Я закурил и вполголоса спросил: «Что оплакиваем?..»

– Да, – вяло махнул рукой обычно шумный всезнай Владимир Алексеевич из соседнего отдела. – В принципе-то ерунда: начальника экспедиции в Горуне сняли.

Я присвистнул:

– И грустим из-за этого? Каждый день кого-то снимают, кого-то назначают: главк большой! Из-за плана? Да вроде у всех завал...

– В том-то и дело, что не за план! – Владимир Алексеевич тщательно наполнил слюной мундштук «беломорины» и ловко пульнул ее в урну. – Если б за план... За политику! Вот так! За пьянку... За аморалку... Всякое бывало, а за политику – впервые! – Он состроил трагическую гримасу и вихлявой походкой двинул к себе.

Оказалось, при пуске «нулевки» (т.е. при вводе в работу буровой установки) одна из бригад потребовала, чтобы на буровую прилетел начальник и объяснил, почему урезаны нормы на скважину. На базе ответили, что начальника нет, он в райкоме партии на совещании. «Да забуривайте, если инспектор дал добро, не тяните резину! – потребовала база. – На буровой главный инженер – решить не может, что ли? Закручивайте скважину! Завтра начальник прилетит – разберетесь. Все у вас есть. Бурите!»

«Все да не все: согласия нету! – ответил главный инженер. – Мужики мне уже не верят – бастуют, начальника требуют...»

И – стоп! Слово было произнесено – «бастуют»!..

Как оно было сказано: без задней мысли – «умысла» или с оным? Повлекло ли за собой действия? Это было уже не важно! Важно, что оно было произнесено, вылетело «воробьем» из советского передатчика, на советских частотах и сказано было на «языке межнационального общения».

И самое главное: слово тут же было поймано. По шпионской ли сети или с самолета-разведчика «АВАКС» оно было передано на пресловутую радиостанцию «Голос Америки», которая оповестила мир, что там-то и там «забастовала буровая бригада», недовольная оплатой труда. И передано это сообщение было сверхоперативно – буквально на другой день.

И так же оперативно И.П.Б. отрешили от должности (с человеком, о котором идет речь, я уже несколько лет не виделся, не знаю его отношения к факту оглашения случившейся с ним истории, поэтому буду называть его по инициалам – ИПБ).

Чуть позже в курилке обсуждались подробности.

– Все, «приехал» мужик! – уже в полный голос пророчествовал Владимир Алексеевич. – Обкомовцам в цэка наверняка вломили. Теперь они отоспятся на нем. «Рекомендовать... впредь на должностях первого руководителя не использовать...» – так у них делается, вежливо. Гарантирую: куда отныне не поедет, цидуля эта впереди полетит, на Коньке-Горбунке поскачет...

– ИПБ – не Иван Иваныч! Не пропадет! – заикаясь, заметил коллега из соседнего кабинета.

– С Иван Иванычем, может, так не сделали б: втихаря на тормозах спустили.

– А может, покруче: рога обломали бы! У ИПБ везде соплеменники...

– Да бросьте вы! Не те времена: обойдется!

Но времена были те – самые застойные!

Так, по воле СЛОВА пришлось мне познакомиться с ИПБ поближе, и почти два года, до моего второго «исхода» на Север, работал я под его рукой.

Знать я его и прежде знал, года с 65-го, бывая в командировках, не раз обращался к нему как к заместителю управляющего трестом, по самым разным вопросам. И помнился мне он человеком мрачноватым, со скептической улыбкой на темных губах.

Оказался же он очень простецким и коммуникабельным, в меру ироничным и самокритичным человеком, временами обезоруживающе откровенным и циничным. Внешне выглядел он исключительно респектабельно, все в нем было основательно: черты лица, голос, фигура – костюм сидел как влитой.

В том же году, в мае, у меня родилась дочь, первые месяцы после родов то жена болела, то малышка, да за старшей нужен был пригляд, и приходилось мне крутиться как белке в колесе. ИПБ с пониманием относился к моим проблемам: не посылал в дальние командировки, разрешал отлучки и не замечал задержек. От моих объяснений великодушно отмахивался: «А! Даже если весь главк на пару дней отлучится, производство не станет... Твою работу никто же не делает – сам справляешься, и не плохо. И ладно. Замнем для ясности».

В отделе каждый из нас вел свой «вопрос», и он очень уважительно относился к нам. И когда мы полностью ввели его в курс дела, не игнорировал наше мнение, вполне серьезно приговаривал: «По-своему вы профессора в своем деле. Эксперты. И по вашим вопросам ваше мнение должно быть решающим. А у нас... По себе сужу – как-никак двадцать лет с гаком в руководителях, сразу после института начал главным инженером экспедиции, – так вот, знаю не понаслышке наш рабоче-крестьянский принцип: «Я начальник – ты дурак, ты начальник – я дурак! Вот когда не будет этого постулата, тогда и будут в цене специалисты. Тогда и будете получать поболе, чем помбуры или... секретари парткомов... – Он крякал, тер крупной ладонью сизые щеки, скрипел стулом и долго смотрел в окно на противоположную сторону улицы (по иронии судьбы, на параллельной улице, в похожем доме, тоже построенном военнопленными немцами, располагался комитет КГБ по нашей области: времена были все же не те, а то бы ИПБ сидел не против нас, а против следователя на параллельной улице!).

Он быстро вошел в наши проблемы и решал их энергично, с воодушевлением, прихватывая даже некоторые вопросы, входившие в компетенцию других служб. «Так и нужно, – со смешком говорил он, – наш отдел – самый важный в главке, не будет нас – не нужен и он!»

Показав твердость характера, он начал прибирать отраслевой институт.

– Не на диссертабельные темы надо работать, а на производственные.

Шутливо вроде говорил, а планы им корректировал безжалостно.

– Ребята, – убеждал он, – вы производство знаете по командировкам, а я только что от «сохи», знаю, что надобнее. Уж не обессудьте!

А уж на структурные подразделения главка давил, как бульдозер!

И все же чувствовалось: не по нему упряжка! В газетах в то время как раз писали и ахали по поводу трактора «Кировец»: «Такая махина, мощь, а навесных орудий, прицепных тележек под стать ему не выпускается, таскает, что придется, почти вхолостую». Вот таким «Кировцом» мне казался и ИПБ: наш отдел – малая для него поклажа!

К нему, особенно в первое время, часто заходили работники его бывшей экспедиции: отпускники – перехватить деньжата на дорогу до дому, толкачи – помочь выбить дефицит, а больше просто так – поболтать. Рабочие и итээровцы. Трезвые и поддатые. Скромные и начальственные. Со всеми он разговаривал с удовольствием, веселел, интересовался делами – дотошно, подробно: крепко, знать, засела в печенку ему экспедиция...

...Ночи уже прохладные: стекла «Запорожца» ИПБ запотели. Август. Мы решили обмануть всех и приехали за грибами с вечера.

Попутчики наши на заднем сиденье посапывают. ИПБ вполголоса, враздробь, скорее для себя, вспоминает, рассуждает о событиях, предшествовавших СЛОВУ и последовавших за ним. Я в полудреме, слушаю его вполуха и деликатно похмыкиваю.

В бору темно, тихо. Только сигарета ИПБ временами мигает красным светофором, отражаясь в непрозрачном стекле.

– Да-а... – задумчиво тянет ИПБ. Голос у него от беспрерывного курения и от бессонницы хрипловатый. – Вот и проработал в экспедиции всего ничего – два неполных года, а жалко... С удовольствием работал! И понял, что лучше всего работать начальником. Я ведь главным инженером недолго поработал: как только трест создали, до недавнего времени, когда их ликвидировала какая-то дурья башка, бессменно пахал заместителем управляющего. Собачья должность, честно говоря. Но работа интересная. И прав много. За управляющего подолгу оставался. Но все – не то! Только начнешь что свое – он возвращается: превысил полномочия! Нет, если уж работать, то начальником! Хозяин – барин: никого над тобой нет, а главк далеко, до него – как до Бога. Всех выслушай, но последнее слово – всегда за тобой...

Тьма за стеклами стала зеленоватой, зернистой. «Роса выпадает, – понял я, – к рассвету бор поворачивается...»

– Да, – после очередной паузы повторяет ИПБ, – начальником хорошо быть не потому, что хапануть можно для себя, хапануть можно – и хапают – на любой должности: кладовщики, товароведы, толкачи. И не потому, что твое слово – последнее. Нет! Только начальником можно себя реализовать. Что такое наши экспедиции? Это же маразм! Порнография! Ни нормаль-

ного планирования, ни своевременного учета, ни снабжения, ни толковой отработанной технологии... Бесхозяйственность сплошная. И везде приписки, явные и скрытые. В бурении, ладно, их невозможно скрыть, но и там есть показатели, которыми можно всячески манипулировать... Про вышкомонтажные работы и говорить не хочется... А уж про строительство – тем более. Вот и забастовка так называемая... Когда я принял экспедицию, стал разбираться прежде всего с зарплатой. Начал со вспомогательного производства – это же не дело, когда там заработок на уровне или выше, чем в основном. Подтянул быстренько. Они что, не рыпались? Вот там такелажники – натурально бастовали. Я с ними не раз встречался. Поспорили да и угомонились: поменьше перекуров, работа по-хозяйски – стали не хуже зарабатывать, чем прежде. Зарабатывать, а не получать деньги за «кантование воздуха». Так и тут все обошлось бы – никуда бы не делись. Нормы на мехбурение местные. Сговорились бы, кинул бы я им пару суток еще. Сговорились бы. Ах, если бы мне хоть в райком позвонили! – он горестно и расстроенно крякнул: – Снял бы на время проблему, но все равно – дожал бы и их. Ведь все на них, на основное производство, стали работать организованней, четче, – пора было и им быть пособраннее: ведь вся экспедиция на них работала. – ИПБ насупился и замолчал.

Вдруг совсем рядом что-то знакомо звенькнуло. Мы как бы очнулись и выглянули наружу – словно в темном омуте, но различимо, тенью старинных рыб двигались в густом тумане грибники, позвякивая ведрами... Туман поднимался, оставлял темь в лощинах-омутах; на ближнем бугре стали проступать комли старых сосен. Рядом с машиной осклизло поблескивали маслята. «Это хорошо! Но мы-то приехали за боровиками!»

Провидцем оказался Владимир Алексеевич, заявивший когда-то в курилке: ИПБ – «приехал»!

Когда через несколько лет вместо разогнанных трестов стали создавать объединения, большинство руководителей вернулись на свои «сучки», «ветки» и «верхушки». Предполагалось, что и ИПБ вернется. Однако вежливая «рекомендация» сделала свое дело... Насколько я знаю, были попытки со стороны руководства главка «двинуть» его, дать ИПБ соответствующую его «мощности и кпд» упряжку, но безрезультатно.

И до самой пенсии ИПБ занимал свою функционально-руководящую должность.

Поистине, «Кировец» хоть и не с «сохой», но и не более, чем с трехлемешным плугом от знаменитого «Сталинца»...

КАК «ПОЛЮБИЛ» Я ЭТОТ ПРАЗДНИК

(к годовщине Октябрьского переворота)

О существовании этого праздника, точнее, о его обязательном праздновании я узнал в ноябре 1950 года, в шестом классе «д» 10-й мужской средней школы при БГРИ г. Уфы, при жизни «вождя и корифея»...

До этого почти пять лет я жил в деревне Малышовке, где, сдав четыре выпускных экзамена, окончил Покровскую начальную школу, а затем 5-й класс Краснозилимской семилетки (в семи кэмэ, кстати, от Малышовки).

Не думаю, чтобы нам в «деревне» не говорили о Великой Октябрьской социалистической революции, – наверняка говорили и по поводу и без! И собрания с докладами, где все сравнивалось с 1913 годом, думаю, были, – да вот не запомнился он мне, двенадцатилетнему деревенскому пацану, этот праздник как ПРАЗДНИК!

К примеру, Рождество там... или Крещенье... Святки... Маслянка... Вербное воскресенье... А уж Пасха (по-малышовски «Паска») или Троица! Вот это – ПРАЗДНИКИ! Да тот же малышовский престольный праздник Покров! Или Девята Пятница – когда к Табынской иконе Божьей Матери один из ручейков Крестного хода с хоругвями, шитыми золотом, с молитвопеньями через Малышовку тек... До чего торжественно: аж мурашки по коже!

Вот этим праздникам – радовались мы!

Как мы их ждали, как готовились к ним! По своей волюшке, без понуждения учительского, без понукания родительского.

К Рождеству – побаски да погудки повторяли, в Святки – настоящие постановки готовили: со сценарием и «машкерадной» одеждой...

К Маслянке – сани правили, катушки заливали, соломенных «зим» рядили.

А уж к «Паске», для качелей веревки из лыка вили, длинные жерди на себе из лесу возили, «бабки» телячьи да бараньи загодя вываривали, шлифовали да красили (для одноименной игры).

Скворешники, дуплянки на шестах подымали – к прилету птиц... На Троицу – ветки березовые ломали, ворота, избы украшали...

Это – мы, пацанва.

А уж бабки-мамки, даже в голодные послевоенные годы, приберегали к этим праздникам и мучицы, и яичек, и маслица, и медку, и, хоть жменьку, «узюму» диковинного, всего, что нужно, – на блины-оладушки, на пташек-жаворонушек, на куличи-пасхи-просвирки, на ватрушки-шанежки-витушки, на коврижки-прянички, на косники-растегайчики, на пироги-калачи... После картохи в мундире, хлеба из лебеды с вывевками да с голимой травой – незабываемо вкусными казались эти кушанья, яствами царскими представлялись, поистине – праздничными!

А если прибавить ко всему, что и обновки какие-никакие справлялись-припасались для голопузой, голопятой послевоенной детворы к этим дням, то ощущение праздничности было незабываемо ярким и врезалось в податливую, как воск, детскую память, отливалось там надежнее патефонной пластинки (не стирается, звучит она до сих пор!).

И вот – 1950 год... Город Уфа. Новая жизнь. Новая школа. Новые друзья, игры, порядки. И – новые праздники...

В магазинах – полки ломятся от неведомых, экзотических для меня товаров, глаза разбегаются, слюна бежит. Хоть и не разгуляешься на пенсию за погибшего отца да на (меньше пенсии) материнскую зарплату, городская жизнь в сравнении с деревенской – райской кажется!

С жильем, правда, дело совсем дрянь!

Квартировали мы тогда у одной бабки: вчетвером в чуланчике за фанерной переборкой, где размещались две железные кровати да сундук; спал я в «зале» на полу, на папкином армейском полушубке под мягким байковым одеялом.

Кроме нас бабка держала еще одну квартирантку: снимала у нее койку Юлька-банщица, разбитная женщина лет... не знаю сколько, но тогда она представлялась чуть ли не старухой.

Да самих хозяев двое: жила бабка с «дочкóй», вскоре и «унучка» появилась от сержанта-сверхсрочника. Если сержант хаживал регулярно, то к Юльке, после помывки, приходили

разные: кому, видимо, невтерпеж было, а на девок – денег не было. Все эти встречи сопровождались «малыми сабантуйчиками». А по праздникам бывали «зур-сабантуи»: с патефоном или аккордеоном, с фокстротами и обязательно с частушками и дробями-сербиянками и застольными песнями...

Но в тихие будни, до полуночи, приткнувшись в дальний уголок, не затыкая ушей, читал я Купера, Стивенсона, Майн Рида, Жюль Верна... Позже приспособился под одеялом с фонариком читать. Благо, что занимался я во вторую смену: некоторые письменные работы приспособился делать в школе, утром отсыпался и, наскоро перекусив и приготовив устные уроки, уходил к другу или шел «гулять» по городу (очень меня смешило, кстати, это слово: в Малышовке оно имело совсем другое значение!). Дело в том, что я побаивался оставаться с бабкой...

Бабка была колченогая, ходила с большим витым батогом; одевалась она во все черное: длинные, до полу, юбки с бездонными незаметными карманами, полушалок «домиком», а из-под него пронзительный взгляд черных, по-цыгански быстрых глаз. «У, холера!», «Чтоб тебя лихоманка взяла!» – ворчала она на всех, а дочь свою совсем поедом заела – когда та забрюхатила и сверхсрочник укатил восвояси...

Но даже в этих условиях жил я в приподнятом настроении, изредка вспоминая иную, бесконечно далекую деревенскую жизнь.

К школе купила мне старшая сестра шевиотовый костюм, шикарные ботинки, а старший брат, студент техникума, живший от нас отдельно в общаге, подарил мне полевую – из блестящей кирзы, на отстегивающемся ремне – командирскую сумку, предмет моей гордости.

Класс, считалось, это – пионерский отряд. На первом же сборе меня выбрали командиром звена (звенья – по рядам парт). Я постеснялся сказать, что в пионеры не вступал, и некоторое время боялся, что меня разоблачат. Дома я тем не менее похвастался. Младшая сестренка пришила на рукав пиджака красную нашивку и зауважала меня: ее готовили в пионеры в женской школе (она пошла в четвертый класс). Двоечников у нас в звене не было, был зато Маратик, ходивший в музыкальную школу, я и попросил его поиграть на первом сборе звена. Слух о нашем «начинании» получил резонанс, и нас ставили в пример. Короче, я вживался в городскую жизнь, и меня, даже в

спортзале (я не сразу освоил не то что упражнения на снарядах, а даже сами слова: «конь», «мат»!), стали реже называть «деревней»... И только вот на ВЕЛИКОМ ПРАЗДНИКЕ – срезался: показал себя вновь «деревней» да не простой – «колхозной», – а... Вот как все случилось.

Перед «седьмым» – так называли этот праздник все, у нас, как, впрочем, и у соседей, дым стоял коромыслом. Приткнуться мне было негде: наш закуток забит был одеждой и обжимающимися парочками, и мы с соседом (он был чуть постарше, школу бросил и ошивался где-то в учениках), погуляв по шумным улицам, пришли к нему. Забравшись на полати, мы некоторое время, с ироническим чувством превосходства, наблюдали за «окосевшими» знакомыми и чужими людьми. И тут друг мой предложил: «Давай кислушки попробуем?» – и показал на бочонок с краником, привалившийся к печной трубе. Бражка – «кислушка», иначе, – показалась приятной, как городской квас, но хмельной: нам стало весело, мы даже пытались подпевать взрослой компании и незаметно сморились... Проснувшись, никого не обнаружили: только безнадзорное радио гремело музыкой, призывами и криками «ур-р-а!..».

Мы поняли, что проспали. Все ушли и нас не разбудили. А может, и не заметили... «На занятия-то я успел бы!» – подумал я и, без угрызения совести, забыл об этом.

Первый урок после праздника был немецкий. Вел его наш классный руководитель, смуглый, гривастый, как Карл Маркс (только без бороды). Он поздравил всех с прошедшим праздником, а потом поднял меня и еще двоих – тоже из моего звена! – они оказались одного со мной пошиба!

Подняв нас, классрук коварно-ласково попросил рассказать подробнее о причине нашего «антиобщественного» проступка.

«Ну... проспал...» – признался я. Другой – тоже. У третьего была уважительная причина: он начал излагать ее, сбился и замолчал.

Нашего наставника такой лапидарный ответ не удовлетворил: он предложил «посмотреть на поступок шире»... Во-первых, он кратко рассказал – какой это Великий праздник! Во-вторых, поведал о том, что даже в «мире капитализма, рискуя работой, а то и жизнью, празднуют его трудящиеся, мировой пролетариат и прогрессивное человечество»! И что мы подвели не только своих товарищей, свой коллектив, но и...

Мы опустили головы и уже хлюпали носами...И тогда он сказал в заключение, понизив трагически голос, совсем уничтожающие слова.

«Рассуждая логически, делаем такое резюме... – он, поджав губы, поиграл длинными бровями и зловещим шепотом проскандировал в мертвой тишине: – Тот, кто не был на демонстрации, не уважает праздник Великого Октября! А тот, кто не уважает Великий революционный праздник, самый главный праздник советского народа, советской власти, тот не уважает саму власть! И народ! Значит, кто он, этот человек? Он – враг Советской вла-сти! Совет-ского на-ро-да!! Вы, все трое, на демонстрацию не пошли? Так? Отвечайте. Громче! Так! Значит, кто вы?.. Кто?! Вы понимаете? Вот так: зарубите себе на носу, запомните на всю жизнь! С вами могут вот так поговорить кое-где, и никакие уважительные причины не помогут! А сейчас... зитцен зи зих. Ан дер тафель антвортех...»

И начался урок. Для всех – первый, для нас – второй, более легкий...

С тех пор я всегда ходил на демонстрации: понравилось! А что? Тоже праздничная атмосфера. Свежий воздух. Друзья рядом. Да и озоровали часто: «Да здравствует конная милиция!» – крикнет кто-нибудь из наших «басов», мы – дружный класс! – в тридцать пять глоток: «Ур-ра-а-а!» Глядишь, кто-нибудь и со стороны, не разобравшись, поддержит. «Привет матросу Шмаге и адмиралу Жебраку (был у нас свой, школьный «адмирал»)! В институте тоже хохмили, но – регулярно ходили, хотя уже и «оттепель» пошла, не так строго было...

Но демонстрации демонстрациями, а ведь вбили мне в голову величие события, в честь которого они устраивались! Вот в чем беда и трагедия заключалась. Мать изредка рассказывала, как она «была девчонкой», и отсчет времени она вела от «переворота»: «..за два года до переворота...», «...это – после переворота уже!». – «Мам, после «Великой Октябрьской революции!» – поправлял я ее. «А! – махнула она в сердцах рукой. – Юция – хренуция»! Грабеж был, а не революция! У деда твоего пчельник сначала позарили, а посля – и все остальное!.. Да еще в Сибирь...» Нет, не нравилось мне это слово «переворот»: мелкое, низкое, то ли дело: революция!.. Октябрьская! Да еще – Великая!..

...И вот ушел на всполье истории Великий Октябрь, протек

кроваво-красной от знамен рекой по городам и весям – и усох, как узбой, и вся недолга! Но многие привыкли к нему, я понимаю их: грустно! Нужны праздники! Да горевать-то – почто? Есть они, праздники, исконные, которые не разумом, не понукиванием насаждались, а от внутреннего желания! Воздвиженье, Покров, Введенье... Рождество...

ПРИШЛА ЛЬ ТВОЯ ПОРА, МОЙ ДРУГ?

Однофамильцы всю жизнь преследуют меня!

Мало двоих экспедиционных – командир вертолета, прибывший на базировку, – однофамилец!

– Не мог на другую точку напроситься? – пеняю ему, подписывая задание. – У нас тут своих Козловых девать некуда.

Смеется командир. Открытое, улыбчивое лицо вообще солнышком лучезарит, козодоем весенним взгыркивает.

– Я, – говорит, – третий месяц, как перевелся в ваши края, все к вам набивался, да не получалось. Сейчас только вот...

– А чего так – к нам потянуло? – я тоже начал непроизвольно всхохатывать. – Капусту мы вроде не разводим... А... к родственникам? К кому же?

– Не-ет! – смеется пилот. – Лично к вам! Привет передать из «солнечной Башкирии»! От Юрь Петровича Морякова! Помните – соседа по школьной парте?

– От Юрки? – опешил я. – От Морякова?

– От него самого: слово дал ему. Я в его совхозе не один сезон на АН-2 поля обрабатывал: пестициды, гербициды, удобрения... По работе – крутой мужик, лаялся: «Бу-бу-бу!» Басище-то у него, а? Знатный голос! При работающем двигателе в кабине – рявкнет! – слыхать. Вот он как узнал, что я – в Сибирь, и наказал: встретишь, мол, там «свово» тезку, привет, мол, с «кисточкой» передавай!

– Вот тебе и Сибирь!.. – развожу руками. – И здесь не спрячешься!

Еще посмеялись.

– Будешь, – говорю однофамильцу, – снова в сельхоз-

авиации, передавай Юрь Петровичу ответный привет, и тоже с «кисточкой»!

Взыграв во всю мощь «юпитерских» сил, на одном колесе мотоцикл вынес нас на взгорбье увала.

– Во! Все вокруг – мое!

Юрка кашлянул, гукнул, прочищая горло, и запел мягким михайловским басом:

– Ви-и-ижу чудное приволье, ви-и-ижу ни-ивы и пол-ля-я-а...

Вокруг нас, во весь окоем, кружили разноцветными подолами, гуляли свадьбы поля и нивы. Вдали, в синей дымке, проступала неровная лесистая кромка хребта.

– Ирындык! – пояснил мне школьный друг. – Защитник наш: прикрывает от сиверков – с вашей стороны, а оттель, с Магнитки, – от суховеев. Оазис!.. Свой микроклимат. А этого «там» не понимают, под общую гребенку: «Давай сроки!» Ладно. «Ярар», как тут говорят. Потом расскажу. А сейчас –слушай!

Он набрал воздуха в неширокую, но круглую и потому вместительную грудь, напрягая жилы на длинной замате-ревшей шее, закричал протяжно и мощно: «Эге-ге-ге-эй!..» Перехватив воздуха, озорно взглянул и, приложив к губе вибрирующую ладонь, испустил ликующий тарзаний вопль: «Э-э-бэ-бэа-а!..» – как бывало в школе.

Я отшатнулся назад: настолько звук был экзотичный и оглушительный...

Юрка, довольный, вытащил «беломорину» и, покрутив ее в расплющенных колодезным воротом пальцах, постукал мундштуком о руль. Я закурил сигарету. Молча и сосредоточенно наблюдали за дымом: голубой дымок вычурным зигзагом шел вверх и растворялся во влажном воздухе, мутно-синий, никотинный, клубясь, – вниз, к сырой земле.

– А-а-а... Э-э-э... О...о ...У-у-у... – почти одновременно, со всех сторон, вернулся слабый, но узнаваемо Юркин голос.

Юрка, довольный, знакомым движением снизу вверх провел ладонью по носу, распустил алый бант сочных губ, обнажив зубы до прокуренных желтоватых клыков:

– Акустический центр моих «владений»! Недавно открыл. Эх, чтобы везде так! Как на душе наболело, крикнул бы, а тебя бы и услышали, ответ дали. А то ведь кругом как об стенку горох! – не слышат.

...Мой отец, из сибирских войск, погиб в феврале 43-го под деревней Ивановкой, что под Великими Луками, и мать после победы решила вернуться на родину – в Башкирию, в Малышовку.

– Как черемуха цветет! А как квакают лягушки! А как свищут на опушке за деревней соловьи! – расписывала она Малышовку. Позже, при случае, старшие корили ее: «Чо плачешь? Слушай: квакают!» Мать смеялась, утирая слезы. Уезжая с Алтая, распродали мы все добро по дешевке, а здесь пришлось брать втридорога. На Алтае мы и во время войны голода не знали, а в Башкирии летом 48-го я чуть не умер от дистрофии. Не забыть мне хлеб из лебеды, горькую желчь, режущую боль в желудке! Но не забыть и черемуховой метели, и обвального соловьиного восторга в уреме, и лягушачьих концертов...

Пять тяжких, но незабываемо прекрасных лет прожил в деревне Малышовке. В 50-м году перебрались мы в Уфу, и отдали меня в 10-ю мужскую школу в 6-й «д»...

В детстве я трудно привыкал к новой обстановке, к людям. Позже, когда народил своих детей, забыл об этом и легко снимался с места, послушный «производственной необходимости»: «Надо, Витя!» О подчинении своих личных, а потому «корыстных», интересов общественным нам вдалбливали умело и накрепко.

В классе я держался особняком: новичок да еще «деревня». Посадили меня на «камчатку» к веселому, бесшабашному Ваське Васильеву. Он был знаменит тем, что мог цыкнуть слюной до первой парты. Не раз плакал тихо отличник Симонов, когда на диктанте вдруг «плыли» красивые, в завитушках, фиолетовые, с отливом, строки в особой – «переходящей» – тетради.

Наш класс располагался рядом с буфетом – это было завидное преимущество, но я им не пользовался: мне еще не приелся хлеб, и я обходился бутербродом с маргарином или просто горбушкой.

Через парту от меня располагался долговязый, нескладный парень в вельветовой курточке, у него ломался голос – временами он басил. В буфет он тоже не ходил, а рисовал обычно морские сражения или читал, как я (благо, и библиотека была рядом с нами!).

Это и был Юрка Моряков. Он на большой перемене жевал что-нибудь свое, не канючил, как многие: «Ухмырни!..» или «Сорок восемь – поделиться просим»...

Однажды, когда мы остались с ним одни, он подошел ко мне и сунул неловко...яблоко!

Надо признаться, что до того дня фруктов никаких я не пробовал. И поэтому у меня не вызывали никаких вкусовых эмоций яркие картинки в ботанике: антоновка, анис, Бере – зимняя Мичурина... Ягода – другое дело!

Не без трепета я надкусил твердое, гладкое, как голыш, неведомое мне творение природы... От вкусового удара онемело нёбо, слюнные железы уподобились камчатским гейзерам... От аромата перехватило дыхание...

Юрка сказал что-то, смущенно провел снизу вверх ладошкой по длинноватому, «смотревшему в рюмку» носу: выражение моего лица, видно, произвело на него впечатление. «Последние, – пояснил он, – с самой верхотуры... Айда вечером, после уроков сразу, райских яблок пособирам, слатимые уже – изморозью прихватило...»

С этого началась наша дружба.

От Васьки и дворовой шпаны я отошел. Не думаю, что, оставаясь с ними, я бы «пал»: деревенская мужицкая оглядка и рассудочность не позволили бы мне свернуть на «кривую дорожку». Впрочем, не зарекаюсь.

Жил Юрка в частном доме с матерью, тетей Клавой, и братом Борькой. Половину дома с отдельным входом они сдавали одной еврейской семье, а к себе, в комнатку возле кухни, пускали одного-двух холостяков или холостячек. В саду у них росли четыре – дедовской посадки – разлапистые яблони, а также вишня, терн, малина, смородина и крыжовник. Грядки с овощами и немного картошки. В глуби, около забора, покосившийся сарай – «каретник», напоминавший о деде, державшем до конца нэпа извоз.

Что у нас оказалось общего на первых порах? Верно, это близость к земле. И еще – безотцовщина. Впрочем, последнее, как и у трети класса...

Так или иначе – я стал пропадать у Юрки.

В сравнении со мной он жил как буржуй – так показалось мне вначале. Но и в бедности мы с ним были равны: и в школе, и в институте ходил он в неизменных вельветовых или байковых – «лыжных» – куртках, в тапках или начищенных до хромового блеска кирзачах, в сшитых матерью на старинном «Зингере» ватных телогрейках.

Помимо любви к земле общим в нас оказалось увлечение рисованием, живописью, музыкой: «Передвижники», «Могучая кучка»... У Юрия к восьмому классу прорезался бас: мягкий, михайловского тембра... И слух кое-какой оказался (у меня, к великому огорчению, ни того ни другого: только любовь к музыке). Мы пропадали в республиканской библиотеке, в музеях, особенно в художественном, не пропускали оперных постановок («Кармен» – первая и на всю жизнь наша любовь; «Князь Игорь»; «Иван Сусанин»; «Риголетто»; «Лебединое озеро» – это почти каждый сезон!) и, если позволяли финансы, концерты живых классиков: Максаковой, Лемешева, Лисициана, Пирогова...

Учились мы легко, несмотря на обилие экзаменов (с четвертого класса!) или, может, благодаря этому. Юрке, правда, точные науки доставляли много хлопот, но я, как мог, выручал его. Весной, летом, осенью – дел по горло: копались в земле, удобряли, делали прививки, опыляли, скрещивали. Природа вокруг Уфы прекраснейшая! А в те времена особенно – нетронутая (народ работал по восемь часов, с одним выходным, пикники были редкостью!). Мы чувствовали себя первопроходцами! С ночевками пропадали в лесу, на Деме, на Уфимке, на Белой...

После изнурительных выпускных экзаменов проблема – куда идти, была у меня, но не у Юрки. «Айда в сельхоз тоже, – агитировал он меня, – на мехфак: там тоже математика! Потом я – главным агрономом, ты – главным инженером, вместе, а?..»

Не уговорил меня мой друг, подался я в нефтяной: перспективная, рассудил, профессия, да и стипешка высокая, форма к тому же у горняков почти флотская. Зимой меня в военкомате «сватали» в Ленинград в военно-морское училище, да на медкомиссии забраковали по зрению, но романтические струны в душе затронули.

Быстро пролетели студенческие годы. Выпустился Юрка рано весной, чтоб на посевную попасть. Дружил он долго с одной девушкой, а перед отъездом неожиданно окрутился с другой (чуть позже со мной случилось то же!). Подарил я ему на память вожделенный кортик, который нашел я в восьмом классе при реконструкции подполья, с готической гравировкой на клинке: «Гот мит унс» («С нами Бог»!).

И вот, через пять лет, приехал я к нему в Темясово из далекого Сургута с женой и четырнадцатимесячной дочкой. А у

него уже двое: сын и дочь! Сейчас у тещи: жена собралась по турпутевке в Венгрию и Чехословакию – через пару дней. Поэтому нашему приезду она обрадовалась: хозяйство будете вести, за Юрь Петровичем приглядывать!

И покатились деревенские деньки!

Мы планировали погостевать день-два, да куда: природа изумительно красивая. Погода – макушка лета красного! Воздух – чистейший! Рядом, на озере, санаторий магнитогорских металлургов. Кумыс для него из Юркиного совхоза возят: держат в горах кумысный табун.

Юрка давно обещался свозить нас на кумысный стан, да не получается: страда! Дома бывает урывками. Вмешался сосед и друг его, Иван Иваныч, главный зоотехник:

– Юрь Петрович! Не мурыжь гостей: поехали!

Дорога серпантинно поднимается в гору, опадает по увалам и снова, как на волне, на гребень. Как волнующе пахнут созревающие нивы! Красота! Ну разве сравнится с нашим «болотистым краем»? Да катилось бы оно, и бурение, и «черное золото»!

За рулем «козлика» Иван Иваныч, Юрь Петрович следом – коляску подцепил, едет медленно.

На одном пологом привольном увале главный зоотехник тормознул:

– Юрь Петровича подождем. – А когда тот подъехал, спросил его, продолжая давнишний, видимо, разговор: – Ну чо, надумал? Отдаешь поле? Глянь еще раз.

Юрка сошел с дороги, походил по реденькой рыжеватой пшенице, растер несколько колосков, бросил зерна в рот, пожевал и, прищурясь, уставился на соседнее поле. Я тоже подошел к нему. Дышал он трудно, желваки ходили под щетинистой кожей, а в повлажневших глазах была тоска. По низкой ущербной пшенице я дошел до густой волнующейся зеленовато-золотистой нивы, потрогал налитые, остистые колосья. Да ведь и здесь, слева, – пшеница.

– Как так? – вырвалось у меня. – Одно поле, одна культура, а...

– А вот так! – Юрка матюкнулся. – Мне укор. Эта, что справа, по райкомовскому графику. А слева – по науке и народным приметам...

– Да это же... Да надо же... – завозмущался я.

– Кому?.. Выкрутятся! Система же! Коммунисты драные!

Юрка сплюнул и сказал Ивану:

– Гони коров, паси, пока не передумал.

До самого кумысного стана ехали молча, в подавленном состоянии. Дочурка моя спала у меня на коленях и улыбалась во сне.

Яхья, хозяин кумысного стана, пригласил в юрту, стал угощать весело, с приговорками. Мне как гостю вынес пиалу кобыльего молока (как раз шла дойка). Иван толкнул меня локтем в бок, шепнул: «Смотри, пронесет!» Я выпил и сказал: «Зур рахмат, абэй!» Потом Яхья показал чувалы с кумысом, рассказал, как готовится хмельной и лечебный напиток.

Юрка уехал, а мы походили среди атласно-гладких кобылиц, поднялись на каменистый гребень: там ласково обвевало теплым – из степей – ветерком. Внизу, на террасе склона, войлочная юрта. На духмяном разнотравье, усыпанном переспевшей клубникой, паслись кобылицы. Во весь окоем простирались волнистые, в голубых лесистых кудерьках, ирындыкские дали... Благословенный край!

Моя дочурка-белянка за руку с хозяйской девочкой, смуглой, как томленая клубничка, спокойно лавировали между подрагивающих кобыльих ног.

– Нищава! – успокоила хозяйка мою, готовую упасть в обморок, жену. Она оторвалась от дойки, поправила ситцевое платье и такие же шаровары. – Нищава! Она – умны! – похлопала кобылу по гладкому крупу. – Не тронет кызымок наших, пущщай играют...

Выехали под вечер. Вниз «козлик» катился самокатом: Иван экономил бензин.

А вот и тот увал с контрастными нивами. Но что это? На правой половине его – словно бы весенние, красные, в пятнышках, «солдатики» – букашки. «Коровье стадо в лучах заходящего солнца», – догадался я. Иван, словно читая мысли, пояснил: «По рации от Яхьи передал, чтобы гнали. Чтоб не передумал Юрь Петрович... Да и в самом деле: овчинка выделки не стоит, горючее не оправдаешь – словно оправдывался он за потраву...

...В гости к Юрь Петровичу я больше не сподобился, а вот он дважды бывал с ответом. Последний раз на пути к Семену Терентьевичу Мальцеву. «В командировку по обмену опытом?» – «Не-а! – в отпуске. Поговорить, коли примет», – простодушно

ответил Юрь Петрович. Засидевшись, мы вспомнили и то многострадальное поле.

– По-прежнему давят? – интересуюсь.

– Не говори! – понурился он. – Осудишь ведь: в партию загнали!

– Ах, Юрка-Юрка! Не ты ли честил партийцев? Вспоминал, со слов бабки, не добрым словом еще пацаном «голодраных коммунистов и чекистов»?

– А куда деваться было? Сказали: или-или! «Вступай или от должности отрешим!» Я же агроном! При должности какое-никакое, а земле облегчение обеспечу: знаю ведь, как надо.

Разъехались мы, и вот посланный в сибирское пространство его привет с «кисточкой» дошел до меня!

И вновь припомнилось мне то поле и кроваво-красные – словно кони на знаменитом полотне Петрова-Водкина – коровы, пасущиеся на пшенице. Да и не забывал я его! «Нефтепровод Шаим – Тюмень – к годовщине Великого Октября!» – а перед глазами ущербный колосок с того поля... «Миллион тонн нефти, миллиард кубов газа в сутки!» – красные коровы на пшеничном поле. «Беспартийный? В члены! Приструним! Дорожить будешь. Или – к чертям собачьим: с должности и от дела отрешим!»

Сколько их, таких Юрь Петровичей? Милая моя, бедная родимая Расея! Ты сейчас – как то многострадальное поле: отдана на потраву твоя худосочная нива, может, хоть какой-то прок с нее будет... Но рядом с ней шумит, наливается полновесным колосом другая твоя половина, которую на свой страх и риск засеяли по науке и здравому народному опыту Моряковы Юрь Петровичи. Пришла их пора, они должны быть в «акустическом» центре всех сторон и властей. А коль так будет – значит, будут и сады цвесть, и нивы колоситься! И будем мы думать не только о хлебе насущном, но и о возвышенном – хлебе души. Дай-то Бог!

1981 г., Ваховск
1993 г., Мегион

ПО КРИВОЙ ДОРОЖКЕ...

Телефон заверещал хрипло и противно, как будильник в похмельное утро.

– Не бери! – попыталась остановить меня жена. – Хоть поужинай спокойно. Забодали...

Звонили из общежития.

– Чэпэ тут! Поножовщина случилась, – сообщила комендантша, задыхаясь. – Этого... пострадавшего... понесли в медпункт... за врачом послала... Зама не найду... потому – вам сообщаю...

Стал собираться... Жена – в слезы: «Все – на тебя! Пусть зама ищут, не ходи. «Сипатый» ведь не летает, когда на буровой авария или несчастный случай! Тогда – и я с тобой!»

Дети притихли: все понимают, испугались. Остановил жену: «Сиди с ними».

В холле новой двухэтажной общаги гвалт. Несколько парней в окровавленных рубахах, руки в крови: относили раненого в медпункт. Они возбуждены и, чувствуется, сильно поддаты. Главный среди них – высокий, сутулый молдаванин Володя Косырь. Поправляя тыльной стороной мосластой кисти растрепанные кудри, он пытается рассказать, как было дело. Он и по трезвянке-то говорит быстро, гундосо, невнятно, а тут вообще: перескакивает с пятого на десятое, с мата на нецензурщину... Главный механик, как обычно, первым оказавшийся в «горячей точке», тоже базлает что-то невразумительное. И краснорожий: успел принять. Не исключено, что в общаге. Помощнички!..

Сквозь ор спрашиваю комендантшу, полную женщину завучевской наружности. Она высоким, хорошо поставленным голосом, привыкшим перекрывать какофонию школьных перемен, выкладывает то, что ей известно, и более того – свои предположения.

По ее словам, с утра в комнате Косыря – он на отгулах – началась выпивка или, как он говорил, культурный отдых: слушали магнитофон, играли в преферанс. В обед сходили в столовую, поспали. К вечеру, когда с работы потянулись базовские, – с буровых несколько человек, среди них и Рафик, тогда еще здоровый, прилетели раньше, – так вот, как базовские пошли, шум у них там возник, спор вроде, но – без драки. Потом будто успокоились, разошлись то есть по комнатам. А часов в восемь Володя Косырь и обнаружил Рафика всего исколотого ножом...

Пока она рассказывала, я чувствовал себя не в своей тарелке. «Кто же это сделал? Кто мог решиться на такое? Не Косырь ли?» Мне уже добровольные информаторы докладывали: рукоприкладствует мастер у себя в бригаде – чуть что не по нему, горяч... «Трезвый, а по пьяне? Неужели он? Ах, Вовка! Пацан ведь еще: два года после техникума!»

Показали мне комнату, где жил пострадавший. Рафик работал помбуром, приехал в экспедицию под осень, сразу после дембиля. До армии был у нас на практике от училища, вот и вернулся. «Скромный, вежливый, не алкаш», – давала ему комендантша характеристику, пока мы подымались по широкой лестнице на второй этаж.

– Вот, комната на двоих. Сосед – монтажник – на буровой сейчас. Оба чистюли. – Она включила свет.

Рафик, видимо, спал головой к окну, когда ему был нанесен первый удар ножом, и самый, наверное, тяжелый... По следам крови на сбитых простынях, на крашеном полу можно было понять, как по дуге, от окна к двери, к выходу, разворачивался он, а его противник садистски продолжал всаживать в него нож... «Нет, Вовка так не смог бы!» – отмел я свои подозрения от Косыря.

Жизнь парня была, судя по картине, явно в опасности – если он еще жив! – и наши медики вряд ли смогут спасти его: нужен операционный стол. Я тут же написал записку начальнику нашего узла связи, чтоб вызывал санрейс с реанимационной бригадой, если медики еще не вызвали...

Внизу шум не утихал.

«Не-а, не жилец Рафик... Несли – покойник покойником!.. Умрет – кончу урку! Вот этими руками задушу!..»

«Да здесь он, чо – в окно? Слабо ему!»

«Тихо! Може, он в комнату к себе вернулся – за шмотьем и грошами?»

«Та пожарная лестница ж с евонной стороны! Побдить надо бы, а, хлопцы?»

Оказывается, доморощенные Шерлоки Холмсы и доктора Ватсоны вычислили, по наводке анонимного свидетеля, что это дело рук Шурика Матдинова... Во-первых, у них с Рафиком с месяц назад, по трезвянке, уже была разборка. Во-вторых, Шурик заглядывал к Косырю, звал Рафика: «Выйди, разговор есть!» А был он «на взводе». И самое главное, после того как все «разбежа-

лись» перед ужином, а Рафик – после ночной смены да и поддал – пошел спать, свидетель... («А кто? Кто видел?»)... свидетель видел, как Шурик, держа руки за спиной, вышел из комнаты Рафика и «был как чокнутый»... и как в воду канул! И не выходил вроде, и в общаге нету: все комнаты проверяли.

– Может, он у себя? – предположил я. – Покажите, где он живет.

Шурик Матдинов сидел у окна, между шкафом и столом, прислонившись поясницей к батарее, словно грея радикулит: на лице было такое выражение, что он замучил беднягу и жизнь ему уже не мила...

«А что, если не он? Или начнет отпираться? Тогда как?»

– Шурик, – начал я, – неужели ты...

Мученическая маска слетела с него, он как-то игриво прокричал:

– Я! Представьте: я! Не верите?..

Я опешил: очень все походило на розыгрыш.

– Я серьезно. И ты не скоморошничай. Дело ж подсудное...

Тогда он истерично рванул рубаху:

– Да! Я!.. Я, я, я, я!.. Если бы не я, вы бы его завтра об этом же спрашивали! Куда серьезнее, чем вы думаете.

– Но за что? За что?..

– Это – наше дело! – спокойно сказал и замкнулся в радикулитной или душевной боли.

Оставив как народного дружинника главного механика за старшего, я решил проверить, в каком состоянии Рафик и вызвали или нет санрейс. На большой рации, по которой мы связывались с авиаотрядом, кроме связистов находился и командир эскадрильи, звено которой базировалось у нас. Он прилетел с инспекцией и заночевал. Ситуация была неприятная. Из-за непрохождения радиоволн напрямую с отрядом связаться не удалось, заявку передали через Дудинку или Норильск, которые слышали Вартовск. Уверенности, что ее примут, не было. У комэска имелся допуск на ночные полеты, и он предложил свои услуги. Правда, воспользоваться он им мог с началом новых суток, т.е. через сорок минут. «Все равно санрейс раньше, чем часа через три, не придет». И он пошел в пилотскую, чтобы дать команду на подготовку вертолета к полету. А я пошел в медпункт...

Рафик лежал в приемной медпункта, на кушетке, под белой простыней. Наш терапевт, молодая невысокая женщина,

боязливо приподняла край покрывала... «Если бы даже ничего жизненно важного не задели, от потери крови скончался бы... Господи, такой молоденький...» – и она приложила комочек марли к покрасневшим глазам.

А на вертодроме уже с посвистом и скрежетом, на малых оборотах, прогревали турбины, проворачивали трансмиссию «технари»-наземщики. Пришлось дать отбой... Подготовил телеграмму в прокуратуру и райотдел милиции.

Поздняя ночь... А во многих домах поселка огоньки: взбудоражился поселок, давно подобного не было.

Последняя февральская поземка улеглась! Вызвездилось темное небо. И все же редкие дуновения ветерка были зябкими. Так же неуютно было на душе. Что за год! Да и что за поселок? На заклятом месте, что ли, поставлен? За лето три утопленника. Самострел. Несчастный случай на буровой. Сплошные хлопоты! «Проверю, как там с «охраной» убивца, да домой: хоть часа три-четыре поспать, завтра столько дел надо перепахать!..»

Однако меня ждал очередной сюрприз...

В холле опять народ, но не галдят, как в тот раз: молчаливы, растеряны, кое-кто, как на похоронах, переговаривается шепотом...

– Что случилось? – почуяв недоброе, спросил я.

– Дак у то... – поникшим голосом начал главмех. Голубые его навыкате глаза забегали, он пригладил блестящую лысину – явный признак виноватости. – У то...

– Ну не тяни кота за хвост, почему ты здесь? Кто у Шурика?..

– Да прогнал он их! – выкрикнул кто-то из-за спины главмеха. – Прогнал и оккупировал весь второй этаж. Заложников, ладно, не взял... – и хохотнул. На него зашикали.

Оказывается, Шурик разжалобил своих охранников: попросил шампанского, дал денег. «Сердобольный» главмех послал гонцов куда надо и составил Шурику компанию: была у него такая слабость – любил выпить на халяву наш Гриць...

Остальное произошло, как в боевике: захмелевший Шурик в один прекрасный момент вдруг выхватил из-за шкафа топор и завопил: «За-арубл-лю всех, су-уки!..» – вся «стража» и драпанула позорно. Сначала из комнаты, а потом и со всего этажа...

«Зенки – кровью налились! Зверь прям, зверь... как бешеный!»

– Ну и что теперь делать? – задал я риторический вопрос,

скорее для себя. – Будем ждать, когда протрезвеет? Так ведь опохмелиться потребует, а, Игнатьич? Готовь бутылку...

Однако главмех не принял шутку, обиженно засопел, мне показалось, что на глаза его даже слезы навернулись. «Пошли!» – хотел я ему сказать, да сдержался. «Пойду один...» Решившись, я направился к лестнице...

Комендантша кинулась ко мне, уцепилась за рукав радикулитки, зашептала громко: «Прошу вас, не ходите! Он сейчас не контролирует себя!»

Я стряхнул ее руку и медленно, размеренно, стал подниматься по лестнице.

Шурик стоял в конце коридора, у пожарного выхода. Увидев меня, он поднял топор и медленно пошел мне навстречу, не узнав меня, заорал: «Не подходи! Зарублю!..»

Я шел так же медленно и размеренно. Когда мне показалось, что он меня узнал и замедлил шаги, я тихо, спокойно, устало, как обычно, заговорил с ним...

....Первый раз я заговорил с ним летом позапрошлого года, когда на него пожаловались одновременно и с буровой: прогуливает, и из службы быта: грубит воспитателю общежития... Не будь он выпускником ГПТУ, еще, так сказать, «тепленьким», я бы выгнал его по 33-й статье за прогулы – и вся недолга, а так – он должен двухгодичную обязаловку отработать, а я его – воспитывать. В кабинет зашел до черноты загоревший, выше среднего, угловатый парень в голубой сорочке, с парой книжек в сухощавой жилистой руке. Густые, воронового отлива волосы коротко острижены. Из-под коротких, редковатых бровей сумрачно смотрят черные горячие глаза. Нос картошкой, ноздряст, крылья ноздрей трепещут. Рот маленький, красные губы бантиком. «Сказали зайти к вам. Чего вызывали?» – голос с приятной, напряженной хрипотцой...

После того разговора больше года я о нем ничего плохого не слыхал. Он съездил в отпуск, а вернувшись, взялся за старое, более того, стал пить, буянить. Я еще пару раз говорил с ним – не помогло, перевел его из буровой бригады в освоение, к Косырю в бригаду. «Обязаловка» у него закончилась, и он ушел вскоре сам в ОРС грузчиком. Тут-то он и разгулялся: заработки приличные, доступ к дефициту – пьян и нос в табаке ежедневно...

Вот он, на уровне своей комнаты, остановился: узнал меня, но топор не опустил и продолжал хрипло грозить:

– Не подходите!.. Не посмотрю, что – вы...

– Шурик, не дури... Опусти топор... Это же я – узнал?.. – говорил я спокойно, по крайней мере так мне казалось, и все так же приближался к нему. – Ну, Шурик? Я ж тебе плохого никогда не советовал. Зачем усугублять положение? Что сделано, то сделано – чего уж теперь. Дай топор, и пошли в комнату...

Он уже начал было опускать топор, но, когда между нами осталось метра три, снова вскинул его, как при колке дров, глаза, как у быка, полыхнули красным огнем...

У меня не то чтобы сердце зашлось, как-то под желудком охолонуло и ноги как бы одеревенели... Если бы не ощущение скованности, может, и бросился бы к лестнице... Но я автоматически, не сбивая темпа продолжал идти с внутренней обреченностью: будь что будет, Господи.

И он дрогнул...

Сначала отступил назад, а потом и топор опустил и отдал его безропотно, на какое-то мгновение даже припал ко мне и несколько раз всхлипнул...

Мы вошли с ним в его комнату. Он вытер руками красные глаза и совершенно успокоился. Из шифоньера он достал свой архив и стал показывать мне семейные фотографии. «Вот это, – показывал он на одного из мужчин, стоявших в обнимку на плохо закрепленном любительском снимке, – папаша. Из тюряги не вылазил. Сейчас в деревне. Доходит, но пьет всякую дрянь. Это – брат... – вытащил другой снимок. – Похож на меня? В тюряге сейчас срок мотает...»

Мы уже несколько минут рассматривали снимки, беседовали, когда отрылась дверь, и в комнату повалил народ во главе со сжавшим кулаки механиком. Пришлось их выставить, а механика попросил составить график дежурства на сутки, часа по четыре. Вернулся к Шурику. Он и в одиночестве перебирал фотокарточки.

– Да!.. – тяжело вздыхал он. – Я – гад, а люди тоже – хороши!.. Мандражники! В отпуске у отца с утра до ночи керосинили. До чертиков. И хоть бы кому что. Совхозного быка племенного завалил! Кувалдой по лбу! И хоть бы что! Бык старый – амортизировался. А мы мясо в кооперацию – еще и в барыше остались. – Он хохотнул, и я не удержался, зашелся внутренним идиотским смехом – нервы сдали. – Или в город поехал, за билетом сюда. На шоссейке, на остановке, народу много. Полез в переднюю дверь – какой-то парень сзади уцепился: «Беременную

пропусти!» Я ему ботинком промеж ног, кулаком – промеж глаз, упал, скрючился... а народу – хоть бы что! Отворачиваются, «не видят». Так и поехали. Купил билет, вернулся, догулял отпуск... Эх, остановили бы меня тогда, может, и сошел бы я с кривой дорожки. Или задержали бы – схватил бы за хулиганку срок... Да ладно. Теперь восемь лет буду небо в клеточку видеть...

Меня задело: так он спокойно и уверенно про срок обмолвился! И я со злости выложил:

– Ошибаешься, Шурик! Как бы вышку тебе не дали – убил ведь ты Рафика, Шурик!

– А я на то и шел! Я ж говорил вам: если не он меня прикончит, значит, я его!

Вот тут у меня зашлось сердце и перехватило дыхание... «Мог ведь и меня зарубить!»

Шурик облизнул алые горячечные губы... Глаза его покоричневели от прихлынувшей крови, казались огромными, белки в красных прожилках...

– Все же не могу понять... Не пойму! Что не поделили? Или кого? Разъехались бы!

– Не-ет... Тут было: или-или...

Так он мне и не сказал – ни истинную причину, ни правдоподобную, жалостливую, сымпровизированную...

Трое суток – ни милиции, ни следователя... Прошел слух, что у убитого в райцентре братья работают и что якобы они пообещали расправиться с убийцей самосудом. И пришлось его, как подпольщика, прятать, менять «конспиративные» квартиры. Я его не видел больше, но слыхал, что он очень мандражил. Значит, верно надеялся на восемь лет, как сказал мне.

Не дожидаясь представителей карательных органов, пришлось направить в райцентр свой вертолет с убийцей и гробом в сопровождении нескольких человек – явочным порядком.

Самое странное в этой истории для меня: Шурику действительно дали восемь лет...

А у меня осталась фотография убитого, которую я взял у Шурика: удлиненное молодое лицо, пристальный взгляд небольших глаз под тонкими бровями, прямые волосы почти до плеч. Славный паренек...

«Неужели и он шел по кривой дорожке?» – думаю я.

«Или по прямой, да другая – кривая! – пересекла ее?»

«Это ведь только две прямые – не пересекутся...»

СТАРОСТА

Атаманом артель крепка.
Русская поговорка

«Староста»... Это слово, с патриархальным, времен изгнания Наполеона, оттенком, услыхал я в поселке Ваховск более двадцати лет назад. Признаться, оно даже резануло слух.

Стоял ослепительный март 1975 года. Производственные дела в Сахской экспедиции шли успешно, и мы частенько собирались в «белом доме» – стоящей чуть на отшибе, на взъеме берега, – хате начальника.

В тот раз собрались по поводу; гостей уже было много, но хозяин за стол не приглашал.

– Подождем еще трошки, – пояснял он нетерпеливым, – Ромку за «старостой» послал. Застряли чи шо?..

– Каким – «старостой»? – не врубился я.

– Та за Бурундуком же ж! Забыл чи шо? – Вырвыкишко, хозяин дома, посмотрел на меня с удивлением. – Тезка твой. Охтеурского совета председатель. Бурундуков. Виктор Васильевич. «Старостой» мы его зовем...

1. «И родом, и доводом – сибиряк!»

Родился Виктор Васильевич Бурундуков в рыбацкой семье в Сургуте. Для многих 37-й год – черный, но что делать? Дни и годы рождения не выбирают. Поэтому для нас с Виктором Васильевичем 1937 год – светлый, родились мы в нем. Забавно, что появились мы с ним на свет в июне того года с разницей в одни сутки: я – 15-го, он – 16-го. И оба в Сибири: он – в Среднем Приобье, я – на Алтае... Писать о нем – все равно что о себе.

Отец В.В., Василий Николаевич, жил в селе Басманове Байкаловского района Тюменской области. Семья была большая: пять братьев и сестра. В середине тридцатых годов приехала в Басманово в гости семнадцатилетняя Анисья Герасимовна Язовских, сирота, бывшая на воспитании у старшего брата в Шадринске, да и «загостилась» на всю жизнь, познакомившись с Василием Бурундуковым.

Вскоре после женитьбы, в 34-м году, Василий Николаевич выделился и уехал на Север. Рыбак он был опытный, устроился

на Сургутский рыбозавод; промышлял рыбу по Оби вплоть до Полновата.

В 37-м году, после рождения сына Виктора, как бы предчувствуя военную грозу, вернулись они на родину – в Басманово.

Басманово в ту пору – более сотни дворов, расположившихся вдоль речки Басмановки, рыбной и многоводной – благодаря мельнице. (Ныне, с грустью отмечает В.В., без мельницы, речка обсохла, оскудела, а от деревни один двор одинешенький остался!)

Дед В.В., Николай Николаевич, начавший крестьянствовать еще в прошлом веке, крепок был, дюж, а вот разлуки с сыном сердце не выдержало: сын 25 июня 41-го – в военкомат, отец на следующий день – на вечный упокой... Как знал, что впереди – хлебать бы горя да не перехлебать: из четверых сыновей, ушедших на фронт, двое – один из них отец В.В. – погибнут под Сталинградом (Василий да Павел – память о них и о всех павших за Родину пребудет светла и вечна!).

В Басманово и пережила войну семья В.В.: бабушка Марья Федотьевна, матушка, сестры Анна да Валентина да сам «набольший» – В.В.

Хозяйство держалось на бабушке, истинной сибирячке: двужильной и неунывающей. Как она не раз вспоминала, и дед ее, и прадед обитали безбедно в придорожном, вдоль Тобольского тракта протянувшемся селе Байкалово. Видимо, от них унаследовала она сноровку и хватку: корову с подтелком держала, овец, кур-несушек. Огород – полон «второго хлеба» – картошки, овощей традиционно сибирских, а про дары леса, поля и болота – и говорить нечего: внучата уже помощники! Крепко жили Бурундуковы и без мужиков: по старым меркам, и раскулачили б за милу душу. А что за постряпушки – шаньги, пирожки, витушки – пекла бабка Марья! А паренки, печенки, сушенки! Из репы, тыквы, свеклы, картошки... Топленки, томленки, моченки... Калина, рябина, черемуха, клюква, брусника... Какой дух шел по избе, когда бабка Марья открывала заслонку русской печки! Легко, играючи – будто сказку сказывала или песню складывала – управлялась она и у загнетки, и во дворе, и в поле. Хранительницей очага была она, радетельной хозяйкой.

Глядя на взрослых, трудились посильно и дети. В.В. к концу войны был самостоятельным «мужиком»! Безбоязненно ходил в лес и за хворостом, и по грибы-ягоды: были у него свои заветные полянки, бугры, улоги и лощинки, уловистые берега и заводи.

Умел плести: из лозы – корзинки, из конского волоса – лески, из черемушин – ладил гибкое удилище, из сосновой коры – поплавки. И семи лет – еще до школы! – начал работать в колхозе, боронил. Ростом – от горшка два вершка, утром конюха просит: «Дядя Степан, подсади – на «верхову!» Ранним утром подсадят, и, считай, весь день на коне: сползти-то не проблема, да на «верхову»-то – как?

И коров пасти доводилось: пастухов в Басманово не нанимали, пасли по переменке, по двое.

Утром, заря еще брезжит, коров уже доят: цвирк, цвирк – молоко о подойники. Со сна зябко. Воздух зато сладкий: не дышишь – словно пьешь его. Стадо собралось... Открываются прясла, и, пощелкивая бичами, юные ковбои направляют стадо в нужную сторону. И начинается длинный, неспешный (но ушки на макушке!), занимательно-утомительный пастушеский день...

Глаза, уши, нюх, ощупь, язык и нёбо не зря человеку даны: чего только за день не увидят, не услышат, не почуют, не потрогают и не попробуют они! Хочешь не хочешь, волишь не волишь, – а то цветок какой удивит взор, то звук усладистый, аромат дурманящий, шершавость щекотливая, сладость приторная незнамо как оказавшейся травинки во рту – все дивит, в память, цепкую как репейник, на всю жизнь западает... А еще – голова у человека: дивная штука! Мысли в ней – как мальки в теплой заводи: замрут, замрут, потом, как от щуренка те мальки – прыскают во все стороны...

К вечеру воздух как бы уплотняется, густеет, синевой насыщается, пыль к земле пришибает. Коровы соловеют, голос подают; скученные в стаде, сытно пахнут молоком парным. Идут медленно, смешно, в стороны вскидывая задние ноги. Входя в село, низко, утробно взмыкивают, роняя уздечкой тягучую слюну. Хозяйки с крутосолеными гостинцами встречают их...

Хорошо на душе у пастухов и пастушат: скотина в целости и сохранности, сыта, молочна. Дома, не коснувшись подушки, засыпают они сладким сном.

В 44-м вернулся с фронта по ранению дядька Алексей.

Бывший танкист, чуть оклемавшись, стал работать на тракторе НАТИ в МТС. Работал ударно, по-стахановски: при норме 5 га на вспашке давал 15! Уменье уменьем, но и упорство: спал урывками, ел походя, пахал сутками. Дядька был не жадный: давал и племяннику «порулить» – натаскивал!

Школа в Басманово была начальная, располагалась в

бывшем кулацком доме. Два учителя. Занимались сразу по два класса в комнате: первый с третьим, второй с четвертым.

(Как это мне знакомо!

В начальную школу в Покровку
я шел в сорок пятом году
с холщовою сумкой-обновкой.
В запущенном барском саду,
в живой тополиной ограде,
с железною крышею дом
смотрелся внушительно рядом
с соломою крытым селом.
...Звонок прозвенел, и морозный
озноб по спине пробежал –
учитель безрукий серьезно
успехов больших пожелал...
– А ну, поднимитесь, солдаты,
те, кто без кормильца из вас...
И дрогнули парты – ребята
поднялись... Почти что весь класс!
Как будто стесняясь, устало...
– Ну, что же, – сказал, – вам за них жить!
... Мы знали, что нам предстояло
в двойные впрягаться гужи...

О начальная школа! Сколько принесла ты нам, деревенским, послевоенным пацанам, чудных ощущений, дивных открытий! Самоутверждения, гордости за первую написанную букву, прочитанное слово, перворешенную задачку и первую отметку – как оценку твоего труда и способностей не только со стороны мамки, а уже со стороны общества! И наконец, экзамены и «Свидетельство» о начальном образовании! Кста-ти, в начальной же школе в то время изучали делопроизводство на уровне секретаря сельсовета!

К сожалению, для многих деревенских парней и девчонок образование на этом заканчивалось. «Четыре класса, пятый – коридор!» – с горечью шутят они сейчас.)

В семилетку В.В. ходил в старинное село Балашово за три с половиной километра. Летом, осенью в Балашово бегали по тропкам, зимой – на лыжах, а вот весной, в водополье, – приходилось кругаля давать!

Ходили стайкой, ватажкой: из Басманово училось в семилетке человек двенадцать.

Весело жили! Зимой – что делали? Бани в Басманово под берегом, у самой речки; на одну из них делали заезд – и такой трамплинчик получался: дух захватывало! Поздней осенью, в предзимье, – на «снегурках» и «дутышах» по черному молодому льду Басманки носились: гнулся лед и потрескивал так, что сердчишко ознобисто замирало. По весне, по первой травке-муравке, в заустунье, в бабки играли, в свайку, в городки, в ножичек... В.В. во всем был не из последних!

В Балашово учились вместе с детдомовцами; по говору, одежке и гонору детдомовцы выделялись, В.В. и его друзей звали «деревенские». Но жили мирно, более того, влюблялись безоглядно!

С седьмого класса В.В. на охоту бегал, зайцев, тетеревов промышлял. Крепким рос, закаленным: купался сразу после ледохода.

После семилетки поработал в колхозе да и подался в строительное училище в Ново-Тапы. В 56-м училище закончил, по распределению попал в Уватовский район, в Першиной строил сборно-щитовые и рубленые дома.

В армию – в июле 57-го, служил на Курилах, в войсках связи. («Красивые, богатейшие места! – В.В. по-беличьи процокал языком, вздохнул: – Жаль, если Россия лишится их!»)

2. «Охтеурье – крест пожизненный»

Пока В.В. служил, мать с отчимом перебрались в Охтеурье. Так была определена судьба В.В.: демобилизовавшись, он приехал к матери...

С 59-го года началась охтеуровская часть жизни Виктора Васильевича.

Охтеуровский участок тридцать семь лет назад: шесть рубленых изб, три барака, в которых живут тридцать ссыльных калмыков. Бедность – несусветная! Одежка – сплошные ремки, обувки никакой. Поистине, голы, босы, еда скудная. Многие больны. Помощи ждать неоткуда. Мерли, как мухи.

В.В. впрягся в работу на рыбоучастке: рыбачил, охотился, обустраивался. Познавал норов своевольного Ваха, изучал окрестные и дальние гривы, заболотья, боры и урманы, урья и озера; знакомился с ближними и дальними соседями, русскими и ханты, мало различавшимися по образу жизни, осваивал

местные обычаи и приметы, – и новый край становился понятнее, ближе. Да и сам он – крепкий, закаленный, умелый, спорый, общительный – как тут и родился!

Односельчанку Валентину заприметил он еще с детства. Пока служил, она превратилась в красивую, статную девушку. Определившись окончательно с жизненным путем, он сделал Валентине предложение, и в мае 1961 года они поженились.

А через месяц семейной жизни его избрали председателем охтеурского сельского совета. Старостой, таким образом, стал В.В. в 24 года, почти 35 лет тому назад. Крест, считай, пожизненный!

Чем только не приходилось заниматься новоиспеченному старосте! И рыбачил, и лес заготовлял, и дома из заброшенных поселков сплавлял, дикоросы собирал, и преступников брал. И рутинную работу справлял: прописывал, выписывал, справки выдавал, браки, рожденья и смерти регистрировал, советовал, уговаривал, стращал, мирил, рядил и – ходатайствовал, ходатайствовал, ходатайствовал: власти-то у советской власти фактически не было! Слова, одни слова – о власти!

Маленькими, конкретными делами старался он поддержать авторитет ее. Ради этого, как его предки на себя, гнул он хребет и жилы тянул на общество – в прямом и переносном смысле слова, смирял норов, помня бабкимарьину присловицу: ласковое, мол, теляти двух маточек сосет, брыкливое – ни одной.

Территория совета огромная! Справляя свои обязанности, с печатью и бумагами объезжал свои владения В.В. летом – на обласе, зимой – на нартах. В первую же зиму попал с ханты Максимом в пургу: четверо суток добирался из Колик-Егана в Охтеурье! А тут еще закавыка: В.В. по-хантыйски ни бум-бум, Максим, взаимно, по-русски. А ведь пурга, ночевки: объясняться надо! «Ничего! – решил В.В. – обучусь. Жил с татарами рядом – общался на татарском. Освою и хантыйский!» Сказано – сделано: вскоре В.В. бегло изъяснялся с хантами.

В эти же годы на территории сельсовета появились геологи, пришлось В.В. проявить дипломатические способности: налаживать с ними добрососедские отношения, чем-то им помогать, что-то от них требовать. Первые из первых – Саша Баянов, Петр Поздняков, Роман Дубинский, Николай Морозов.

Постепенно, где своими силами, где с помощью района, шефов, Охтеурье становилось похожим на село: к рыбоучастку

добавился охотучасток, звероферма; клуб построили, контору, склады, сбор дикоросов организовали...

А в 67-м году в районных верхах появилось «мнение»: все охтеурские участки объединить в Охтеурский госпромхоз, а директором назначить... Виктора Васильевича Бурундукова! Пять лет тянул В.В. хозяйственную лямку, исполняя фактически на общественных началах и обязанности старосты.

Госпромхоз был на хозрасчете. В.В. измордовался, но сделал его рентабельным: выбил пилораму, стал доски пилить, брус – на сторону и на свои нужды: строили жилье, соц-культбыт. В 69-м году за счет леспромхоза построили детсад, школу-интернат...

По нынешним масштабам, мелочью покажутся проблемы В.В. и его дела. Но ведь это делалось в условиях хозрасчета, у черта на куличках – до пресловутых «нефтедолларов»! На его энтузиазме: крутиться и мышковать приходилось В.В. ради этих мелочей поболее, чем иному процветающему ныне крутому бизнесмену!

С 72-го В.В. вновь в должности председателя «совета». Потом – глава администрации. Менялись названия должности, но по духу он – староста: защитник интересов своих земляков, своей земли, лесов и угодий, заповедных мест и их обитателей, высей и глубей: воздуха, воды и недр... Рачительный хозяин!

Более тридцати лет В.В. в этой беспокойной должности! Сколько предриков и их замов по нацвопросам (у Охтеурья статус национального поселка), секретарей всех сортов (от первого до третьего) пережил он... Радоваться бы, да ведь общение с ними не прошло бесследно: сердце стало прихватывать. Когда я в этот раз встречался с ним, он был только что из больницы и, не заходя домой, сразу в администрацию: как дела?.. Да ничего, идут! В одной половине конторы финкомиссия из района бумаги проверяет, в другой – секретарь администрации, подвижница многолетняя В.В., Абдуллина «расписывает» молодоженов из поселка геологов Ваховска.

Узнав, что староста приехал, в кабинет главы администрации повалил народ со своими заботами, бедами и радостями. Такой народ, какой есть: одних – хоть на Тверскую или Брайтон-бич, других – в дома призрения или в вытрезвитель...

Крест свой Виктор Васильевич несет без суеты, со справедливой строгостью и, самое главное, заинтересованно и доброжелательно.

3. На высоком берегу, под кедрами...

«Лодочных весел короткие взмахи. Глуби слились с высотой... Так бы и плыть мне по Ваху и ахать, вешней дивясь красотой...»

На этот раз хорошо отрегулированный «Вихрь» толкает нашу дюральку по вахской глади в глиссирующем режиме. Управляет моторкой заместитель Бурундукова, представитель администрации в Ваховске, Ширяев. Маршрут прокладывает он экономно: отрезки прямых соединяет плавными, как по лекалу, поворотами.

Ивовые плесы, таежные крутояры, белые высокие облака, купоросно-синее небо отражается в зеленоватых водах Ваха. Бурун от «вихря» распадается на два узких, как у ласточки, крыла, едва касающихся берегов. Вздрогнут, зигзагом, отражения, и снова позади нас глуби сливаются с высотой. Тут и поймешь и охтеурцев, и ваховчан-старожилов – как от такой красоты уедешь? Позавидуешь им и вздохнешь: хранить надо красоты, лелеять и множить, а то ведь вон они – следы лесных пожарищ и земснарядного браконьерства: пожухлые сосны и подмытые, с упавшими деревьями, берега.

Издалека, на высоком берегу, за кедрами и под кедрами, завиделось Охтеурье... Узнаваемые серебристо-серые, старые постройки, томлено-янтарные, золотистые – новые плоды рыночных отношений, результат местного самоуправления.

– В лесу ведь живем, так? Всякие там бамовские, сборно-фенольножестяные предлагали. Нет! Мы вон из бруса. Вагонкой обошьем: елочкой и внахлест. Кому как нравится. Зато... не тундра ведь здесь, правильно говорю? Вон– тайга кругом. Красиво ж получается, правда? – В.В. в упор смотрит на меня; глаза у него незабудковой голубизны, детской непосредственности и распахнутости, и только темная, затягивающая глубина зрачков говорит о его уверенности в своей правоте и непреклонности.

– Веселые дома, – соглашаюсь я, – веселые, смолистые, радостные! Глаз отдыхает, глядючи на них: золотистое на бархатно-зеленом. Гармония!

– Сейчас за бюджет воюем! Охтеурская территория – самая большая в районе, 50% районного бюджета дает! А куда отчисления деваются? Пухнет чиновничья надстройка, пухнет... И за шефов обидно, задушили их налогами, обдирают, как липку. Конечно, строимся... А вот будет финансирование по справедливости – так ли еще заживем!

В.В. аккуратно, по волоконцу, по косточке вяленую рыбку разбирает, меня пивом потчует, сам водичку минеральную принимает. Соболезную ему: в старые времена случалось и водочку после баньки пользовать. Сидим мы на «вышке» его нового дома, т.е. на втором уровне (в мансарде). Внизу занимаются своими делами жена Валентина, сноха, внуки... Сын заходил ненадолго: дела!

С вышки виден ухоженный двор, обильно зеленеющий огород, постройки, теплица... соседние дворы... производственные помещения... гаражи... темно-зеленая кедровая рать вдоль берега Ваха, золотистая гладь которого – блестками – в просветах хвои. Дело к вечеру, но северный вечер долог: иному дню не уступит по свету и насыщенности делами.

В.В. эллегически задумчив. Я уже утолил свое любопытство, а он все смотрит и смотрит на Охтеурье, а может, и дальше видит что: всю свою территорию?

Разливается Вах по сорам и по урьям.
На токах еще стонут тетерева.
На заре золотится мое Охтеурье,
на счастливую жизнь заявляя права...

И местоимение «мое» здесь вполне уместно: от многих я слыхал, в частности, давным-давно, от охтеурской знакомой Зины Надсиной: «Не было бы Бурундука – Охтеурья не было б!»

4. Что для старосты главное

Староста... Нынче этим словом никого не удивишь: узаконенное, официальное слово. Староста – выборная должность со своим статусом.

Но вернемся еще раз на двадцать лет назад.

Прождав старосту еще некоторое время, решили, что машина села, капитально сойдя с зимника. Вырвыкишко, на всякий случай, распорядился, чтобы послали на выручку гусеничный тягач АТС, и дал команду садиться за стол...

В разгаре веселья появился плотный, кряжистый, крупноголовый человек, встреченный общим доброжелательным гулом, и я понял, что это и есть мой тезка – «староста» сиречь.

При знакомстве, пожимая его крупную, горячую длань, слушая его негромкий, с приятной сипетцой, доброжела-

тельный, с едва заметным прононсом голос, я с интересом вглядывался в его беззащитно-незабудковые, яркие на фоне крупного обветренного лица, небольшие глаза, с любопытством смотрел на большую – бабушкину! – бородавку на кирпично-крепкой скуле. Занятным человеком показался он мне тогда, и я, по-детски любопытствуя, нет-нет да взглядывал на него, что даже самому показалось бестактным. Но он не обращал на это внимания, вел себя весьма скромно.

После «штрафной» и очередного тоста хозяин стал подначивать Виктора Васильевича: «Староста, песню давай! Про Екан-Екан... Давай! Тезка твой же ж ни разу не слухав...» И мне пояснил: «В.В. белковал со своей командой на Екан-Екане. С вертолетчиками у них был уговор – когда вывозить. Ждут-пождут охотнички, а «вертолетки нету много дней!». В.В. на эту тему и сочинил песню. Перевел ее на хантыйский, разучил в своем клубе с национальным хором. И что ты думаешь? Потом на смотре выступили – приз отхватили! О как! «Тихо! Ша, хлопцы. Ну, В.В., слухаем!»

В.В. не стал отнекиваться после такого вступления и спел песню по-русски и по-хантыйски приятным, почти бернесовским голосом.

Я был в восхищении. Через некоторое время В.В. исполнил песню на «бис», причем ему уже подпевали хором. Припев песни долгое время у нас в экспедиции пользовался популярностью: «Это что такое? Это что такое? Вертолета нету много дней!» – особенно при нелетной погоде.

В последние годы – годы повальных национальных конфликтов – я частенько вспоминал Виктора Васильевича: не было, значит, в «горячих точках» старост, подобных Бурундукову! Ведь для настоящего – большого или малого народоводителя – главное, это – возлюбить чад своих, которыми управляешь, такими, какие они есть, землю, на которой они живут, и язык, который достался им после «вавилонского столпотворения», – тогда будет у него с народом взаимопонимание и приязнь, а земля будет прирастать богатством, миром и благодатью.

В.В.!
И пусть золотится твое Охтеурье,
на счастливую жизнь заявляет права!

1975 – 1995 гг.
Ваховск – Охтеурье – Мегион

ЗЛЫЕ МОЩИ

В экспедиции началось поветрие на прозвища. Большинство, впрочем, были элементарными: по фамилии или профессии, внешнему виду или хобби. Но появлялись прозвища и загадочные. Как вот это – «Злые Мощи».

Злые Мощи. Владельца такого прозвища я представлял высоким, худым, с узким лицом, глазками-буравчиками неопределенного цвета, противным верезгливым голосом, с поперечным характером.

Обладателем прозвища оказался, к сожалению, симпатичный мне человек – слесарь буровой бригады. Был он чуть постарше меня, но фигурой – поджарее. Звали его Николай Алексеевич Перетягин.

Спросить его о происхождении прозвища не позволял такт, другие пожимали плечами, усмехались: «Да он, поди, с прозвищем и родился. Раз прозвали, значитца, было за что: прозвище не репей, зря не прицепится».

Стал я приглядываться к нему исподволь. Среднего роста, широкогруд, малость сутуловат, ходит с легкой развалкой, без вихлявости. Темно-рус, чубчик поредел, осекся. Лицо загорелое, в сеточке морщинок, на щеках – мужественные складки. Брови прямые, слегка кустистые. Под ними, в набрякших веках, фиалковые глаза – то тусклые, блеклые, повядшие, то искрящиеся, лукавые. Усы бы ему полномерные, прикрывающие верхнюю губу и уголки рта, – вылитый бы моряк-кронштадтец. Но женственно-полноватые, пунцовые губы да печально опущенные уголки их и мягкого рисунка подбородок не позволяют провести это сравнение. И голос его, хрипловатый, с шепелявинкой, негромок, хотя и бывает добродушно язвительным. Рассказывает он складно, живописно, в речи нет-нет да и сверкнет какое-нибудь малоупотребительное или забытое словцо.

Повстречался я с ним в то время, когда он блудным сыном, после трехлетнего мыканья по белу свету, вернулся в экспедицию и попросился в свою бригаду. Я пошел ему навстречу, выполнил его просьбу. Потом, столкнувшись с ним на запуске буровой, между делом, поинтересовался:

– Ну, как дела? Наверно, будто и не уезжали из бригады?

Николай Алексеевич, не торопясь, снял верхонку, поздоро-

вался за руку, угостил сигаретой, закурил сам и после этого ответил:

– Да ничо! Оно ведь всегда: хорошо там, где нас нет. – И пригласил: – Чайку не желаете? Со смородинкой чаек. С ветками. Хотите – и чага есть.

Самодельным кипятильником из бритвенных лезвий буквально в считанные секунды в трехлитровой банке вскипятил, даже не вскипятил – всклокотал! – воду, сыпанул в крутой кипяток горсть цейлонского чая, пучок каких-то веточек и запечатал горловину фольгой.

– Может, чаги? – Показал на большую банку с дегтярно-черной жидкостью. – Все чагу кипятят, а ее настаивать лучше. И чай вот тоже, неразбавленным его надо пить. И свежим. Как в Средней Азии. Тогда у него и аромат, и вкус, и целебность.

Я разговор поддержал: мне приходилось бывать в тех краях, где чаепитие – ритуал. Да и кое-что читал о сортах чая и способах заварки.

По-старинному перевернув кружку вверх дном, он отодвинул ее от себя и, подавшись назад, оперся спиной о стенку балка.

Лицо у него нежно порозовело, фиалковые глаза искристо посветлели.

Он глубоко вздохнул и на выдохе произнес давно не слышанное мною и такое подходящее к нашему состоянию слово: «Бла-агостно».

И еще не раз чаевничали мы с ним, когда удавалось встретиться на буровой. Поэтому, узнав, что Злые Мощи – это он, я был несказанно удивлен, больше того – расстроен...

Конечно, идеальным человеком Н.А. не был: и похвастать мог, и сквернословил постоянно да и бражничал, видимо, крепко. Не раз я ему пенял:

– Что-то нынче у вас, Н.А., глазки кроличьи?

Он не отнекивался:

– Было дело, Николаич... С Лехой, он ведь сосед мой по комнате, пришлось повеселиться...

(Леха – классный сварщик, временами безотказный работник, но человек с гонором, старый холостяк и бедолага в личной жизни, друг Н.А., по прозвищу Держак.)

– Леху знаете ж? Леха... Николаевич, вы Федосеева не читали? У него проводник был Улукиткан. Вроде как у Арсеньева Дерсу Узала. Вот как-то этот Улукиткан, эвенк он,

встретился со старыми друзьями-пастухами. И под это дело выпросил у Федосеева «винки» – спирту то есть. Сидят они у костра, под винку беседуют. Федосеев в палатке материалы съемки обрабатывает, дневник заполняет. Вышел ночью, смотрит – дерутся друзья-старики смертным боем, за волосы, за бороды таскают друг друга, поддых мутузят. Разнял он их, спать приказал. А утром раненько видит: они как ни в чем не бывало чай у костра пьют, разговаривают дружески. Все равно решил он их постыдить. Морды исцарапаны, в синяках... Одежка изодрана... Зачем, мол, дрались? А они возражают: что ты, мол, начальник, что ты! Давно так хорошо не гуляли! Так и мы с Лехой – «хорошо» гуляли. Культурно!

Усмехнувшись, Н.А. отвернул пунцовую губу и показал кровоподтек.

– Вот ведь, друг! Точно, фиксу сдвинул. Ничего. Я его рожу рябую тоже малость разгладил. Еще разок так пообщаемся – гладкая совсем станет, как Клавкина задница.

Он погладил подбородок и посоветовал:

– А Федосеева почитай, Николаич, интересно мужик пишет. Все из жизни – документалистика, – а захватывает почище детективов и фантастики. В нашей библиотеке есть.

Я сказал: «Ладно, загляну – поинтересуюсь Федосеевым!» – да закрутился: зима заканчивалась, зимники плыли, а надо было буровые станки и материалы растолкать по летним точкам. Пока не вскрылись ручьи и гнилые болота, круглые сутки работали тягачи, бортовые, трубовозы, бензовозы, трактора: летом авиацией не навозишься. Последнюю колонну с ГСМ я провел до подбазы в первых числах мая. Сам затем на ГАЗ-66 уехал на буровую. Зимники вовсе поплыли: машина провалилась в промоину, двигатель залило. Я немного вымок, но солнце хорошо пригревало, и я благополучно дошел до буровой. Мастер на тракторе уехал вытаскивать машину, а я занялся скважиной – в ней было осложнение. Разобравшись в ситуации, я дал необходимые команды и пошел к Н.А. греться. Это была его буровая.

Первым делом он дал мне сухие валенки и укорил:

– Сразу надо было в сухое переодеться. Что ж ты так сплоховал, Николаич? Весенняя остуда гнилая. Чахотку схлопотать недолго. Это осенью ничего, когда организм с лета. А сейчас с зимы: ослаблен по причине авитаминоза.

Пока я переодевался, он посетовал:

– Эх, вам бы катанки ручной работы на ноги, живо бы согрелись, ведь они, как печка, сразу греют. Или чесанки. Да. Благота! Легонькие они, теплые...

– Валенки, катанки, чесанки, пимы – какая разница? А еще – валяные сапоги. Все ведь из шерсти производится, – сказал я вередливо.

– Э-э! Не скажите! Есть разница, да и большая. И в сырье, и в технологии. Сидишь в баньке... процессу поскольку влажность нужна и пар. Вот такой валенок слепишь и струной бьешь, то есть шерсть уплотняешь. Старый пимокат, не одну пару скатал, так что, Николаич, будьте спокойны.

Я выразил искреннее удивление:

– Н.А., все-то ты умеешь: варить, лудить... Слесарить и по буровым установкам, и по котлам... А теперь еще и пимокат. Когда успел все постигнуть?

Н.А. насупился, затяжно молчал, потом по-стариковски покряхтел и проникновенно сказал:

– Эх, Николаич! Я хоть и малость постарше тебя, а в сравненье... Знаю, ты тоже хлебнул, но я – я прошел огонь, воду и медные трубы. Приспичит – все в жизни постигнешь.

На людях он величал меня всегда на «вы», а когда одни оставались – незаметно переходил на «ты».

– Тебе сорок недавно справляли. А мне сорок пять вот-вот стукнет. Сейчас – не больно ощутима разница. А в детстве, во время войны, огромная. Тогдашние пять годиков нонешних десяти стоят. Ты в школе учился, а я уже колхозную академию заканчивал. Не только пахал, косил, дрова готовил, лошадь снаряжал, быкам хвосты крутил, но и девок щупал, скорняжил и это самое: пимокатил. Сельский житель, как Робинзон, о ту пору полностью себя обихаживал. Я, ежели чо, и сейчас и за доярку, и за ветеринара-коновала справлюсь. Без булды, честно. А когда в город подался... Разнорабочий... Слесарь... Это ведь специальности, если с тямом подходить, универсальные. Леность, лень-матушка да нелюбопытство – они любую профессию унижают. А я в молодости – страсть любознательный был. Как курсы: кто желает? Я! Освоил работу, а тут опять: есть желающие поучиться? Есть: вот он – я! Не надоумился вот школу закончить, аттестат получить – может, в инженеры бы пошел и вся моя планида другой была бы...

Н.А. размечтался, кружку позабыл: над ней парок едва заметный вьется, прерывистый, как бы попыхивая. Папиросу закурил, поначалу затягивался, потом, погасшую, причмокивая, мусолил – другой никотин, никотин воспоминаний, кружил ему сейчас голову, табачным дымом всплывали видения жизни...

– Не в обиду, Николаич, будь сказано, – хрипло, осевшим голосом вдруг сказал он, меняя тему, – сейчас в экспедиции нету ведь техучебы. Да и везде на производстве. Так, видимость одна, для блезиру. Даже курсы с отрывом, так: пиво ездят попить. Что ИТР, что рабочие. А тогда, хоть техминимум взять, строго с учебой было. Порядок был. Уж тут не отнять. Потому и прорыв везде был. Хотя... загнул малость. Ладно. Все равно, ты только «пифагоровы штаны» кроил, а я сначала в Германии, потом в Венгрии хэбэ протирал казенное в учебке да в танке. Можно сказать, ты только собирался в свои университеты, я свои – закончил.

Прервал чаепитие молодой специалист, работавший стажером бурильщика, хлопец из Верховины, небольшого росточка, с вертлявыми темными глазами и усами скобочкой. Другие стараются на глаза реже попадать, а этот наоборот – так и норовит с начальством словом перемолвиться, замечают это рабочие и не одобряют. Вот и Н.А., недовольный тем, что ему самому помешали выговориться, одергивает его:

– Отметился, Володя, и будя – гуляй на вахту. Все равно итээровских вакансий до лета не будет. Учись «палку» держать.

Молодой спец пытается все в шутку перевести:

– Не гостеприимный ты хозяин, Алексеич, однако. Даже для вида чайку не предложил.

В слесарном балке, а живет Н.А. вдвоем со старшим дизелистом, чисто, даже с потугой на уют. На окошке занавесочка, стол веселой клееночкой застлан, из консервных баночек абажурчики для бра – истинные произведения искусства. Пепельницы, подстаканники... Не только уменья и глазомера – терпенья-то сколько нужно было?

Н.А. принес куски льда, веточки смородины, шиповника.

– Талая вода пользительна. Чай на ней себя во всей красе проявляет. Пока лед тает, схожу на буровую: дела кой-какие закончить надо. А вы посидите, вот вам Федосеев, припас для вас, почитайте. Сами-то, поди, закрутились, не до того было? Я так и подумал.

Беру книгу. Федосееев Григорий Анисимович, писатель, инженер-геодезист.

У меня сразу проявился интерес к взятой из вежливости книжке: к геодезистам я испытываю уважение с давних пор. На каникулах дважды бывал в небольших экспедициях по Южному Уралу, знаю не понаслышке. Да и со своими «топиками» дружбу вожу.

Когда Н.А. вернулся, меня уже нельзя было оторвать от книги: я был захвачен ею. Вроде бы чего интересного? Собираются люди в экспедицию, идут по непролазным маршрутам, путевые впечатления, трения между участниками. Что особенного? А не оторвешься. Что же так привлекает? Видимо, правда жизни, описанная скупым, точным языком. Впрочем, нет, – описания природы, лирические отступления. Объемная картина, яркие краски и нежнейшие оттенки... Суровые условия и живые люди в них.

С сожалением прерывался несколько раз по делам: был на буровой. Как свободная минутка – за книгу. Н.А. пытался со мной разговаривать, но я слышал его фрагментами, отвечал невпопад, переспрашивал.

– Почти всю Сибирь использовал, – бубнил он как бы в отдалении. – Я в тех местах, что в книжке-то описаны, – бывал. И в Саянах. И в Джугдыре. Восточные Саяны! Становой хребет! Куда только я не вербовался!.. И на прииски... и на БАМ... В леспромхозы... В мостоотрядах слесарем-монтажни-ком робил и сварщиком. И вальщиком... и чекировщиком... Раньше вербовка была, сейчас – договор... Хрен редьки не слаще...

Все мне было близко: и ощущения героев, и мысли, и переживания. И житейские ситуации во многом схожи. И у природы много общего: ширь, непроходимость. И самое главное – ощущение свободы и первооткрывательства. Конечно, люди всегда и везде уже когда-то были или там и живут испокон веков. У Федосеева свои были проблемы, у нас свои: подземные пути не менее трудны, чем горные тропы и дебри.

«Ничто так не располагает человека к раздумью, как первобытная природа. Когда ты надолго соединяешься с ней, тебе хочется быть лучше, очиститься от житейской накипи: лжи, лицемерия, жадности», – пишет Федосеев. И я с ним полностью согласен! За пятнадцать лет до прочтения его книги, в декабре 1964 года, я написал стихотворение, которое заканчивалось так:

...Сибирь, как новую планету,
должны освоить мы с тобою,
не занеся с собой микроба
наживы, ханжества и злобы.

К сожалению, в последнее время такая масса людей хлынула в Сибирь, столько было нанесено со всего Союза (а ныне и со всего мира) нравственного мусора и нечистот, что она начинает задыхаться. Но истинные северяне и сибиряки, исконные и новокрещеные, выделяются из общей массы людей. В этом я не раз мог убедиться за тридцать лет работы в Сибири – своей вновь обретенной родины.

Вот спрашивает Федосеев друга Улукиткана – Осикту:

– Что тебе подарить? Выбирай.

А тот отказывается.

– Тебе самому все в дороге нужно. А у меня нужды нет, ты не думай, что я бедный, в тайге имей руки, ноги – будешь сыт и одет.

«Подумать только, – удивляется автор, а вместе с ним и я. – А ведь он стар, одежда его давно износилась, пища – мясо да чай, а все богатство – ветхий чум, несколько шкур да ружье. И считает себя счастливцем. Ему ничего больше не надо».

Господи! Да ведь так можно сказать про каждого второго работника нашей экспедиции! Про Н.А., друга его Леху. Да я и сам-то давно ли из этой категории ушел? Да и далеко ли? В отпуске уже три года не был. Да особо на Большую землю и не тянет. Скажи кому – не поверят. Нет, временами, конечно, очень хочется в большой город, в театр, в ресторан, на каток, в галерею, на выставку... Но так – легким облачком на заднем плане.

На следующий день дочитывал книгу на вертолетной площадке. Площадка – словно плот, севший на пригорок. Десятка три-четыре бревен, скрепленных скобами, прижатых по концам огромными поперечными хлыстами. В ожидании вертолета сел спиной к солнышку: хорошо пригревает, – благостно. Подошел одетый в рабочее Н.А., поинтересовался, как книга. И вытащил из-за пазухи другую. Со словами: «Вот, продолжение» – подал мне. Обменявшись книгами, мы закурили.

– Весна... – страстным шепотом произнес Н.А. – Багульничком потянуло, березовым соком... Вот запахи... Какая-то связь у них со звуком и с цветом есть. Вот багульник... Будто скрипка

цыганская на самой верхотуре зашлась – тонко и пронзительно звучит. Ах, благостно-то как!

На губах его отрешенная улыбка, фиалковые глаза мечтательно бездумны.

– Слушай, Н.А., ты знаешь, что у тебя прозвище есть? Отчего – странное такое? – вырвалось у меня. – Впрочем, извини. Нечаянно вышло.

– Да ничо, – не сразу отозвался он. – Хоть горшком назови, только в печь не станови. По глупости прозвали. Молодым я худой был, кожа да кости. Худой да жилистый. Не смотри, что кость тонкая. От колхоза на сплав отряжали. Вот, там приболел – так совсем одни мощи были. Мощи-то мощи, да я в бараке не валялся, а вместе со всеми бревна катал да плоты вязал. Меня и подначивали: «Ого! И «мощи» туда же: будут дела!» – «Мощи-то, говорю, мощи, да злые. А злые мощи не пужаются тещи! Куда бы вы без меня», – отбрехивался. Вот и доотбрехивался: куда не уеду, прозвище без меня бежит. По первости обижался, хоть виду не показывал, а ныне – чего уж... Да и слово «мощи» – хорошее, необидное, христианское. А что злой – так злой-то я на работу, на несправедливость, на измену да на мошкару вот. Да на себя бываю зол: ничего ведь путного и вправду, кроме мощей-то, после себя не оставлю – вот что. Семья сама по себе пошла давно, я – сам по себе. И еще прозвище в точку попало: до баб злой был, грешен, каюсь...

– Наталья! – вдруг окликнул он проходившую вдалеке коллекторшу.

Та остановилась, нехотя отозвалась:

– Ну чо вам, дядя Коля? – Она работала ночью, лицо ее было заспано и капризно.

– Чо-чо, – передразнил ее Н.А. – Брюки застегни. Одна ведь спишь, брюки-то на хрена расстегиваешь.

– Да ну, вас, дядя Коля, вечно вы... – не обидевшись, фыркнула девушка.

– Наталья, погоди, – попытался он остановить ее. – Аль во сне у Рустема рукоятку крутила? Сознайся!

Коллекторша сложилась пополам:

– Было бы за что крутить. Ой, уморил...

– Ну, Наталья! – захохотал и Н.А. – Гляди, скажу Рустему. Дизелист-кавказец у испытателей работает. Вот Наталья с ним женихается, – пояснил мне «дядя Коля». – Такая любовь: чуть

не за девять кэмэ «по морозу босиком» бегала. Хорошая деваха, отзывчивая, добрая, – похвалил он коллекторшу. – А вот джигитенок, похоже, балуется. Жалко будет, если в подоле принесет... А вот, кажись, и вертолет летит... – Н.А. настороженно прислушался, зорко, из-под широкой в ссадинах ладони глядя в яркую голубизну майского неба. И подтвердил: – Точно – летит. И на прощанье сказал: – Книжку, что дал, прочтите обязательно. Еще интереснее. Особенно последняя повесть: «Смерть меня подождет» называется.

...Не подождала – скосила Николая Алексеевича по прозвищу Злые Мощи. Ах, Злые Мощи! Скуднее стал белый свет без вас.

МЕРТВАЯ ХВАТКА

Родители тракториста Хандиканина, прилетевшие на похороны, настоятельно просили с похоронами погодить. Пожилая, монашески угрюмая женщина, уставясь в пол, твердила: «Брат должен прилететь. Отбили ему «молнию». В секретной зоне служит. Отпустят по такому случаю». Ей вторил пьяненький мужичок: «Не было, как гритца, счастья, да несчастье помогло. Шутю, как гритца. Смех сквозь слезы...» – «Помолчи! – одернула его жена. – Хоть до завтрева – подождать надо...»

В кабинет вошли трое смущенных, но решительно настроенных парня. Передний, русоволосый Володя Левченко, пощипывал кудреватую бородку; выждав паузу, астматически придыхая, начал: «В общем, опять по тому же поводу. Только с ультиматумом. Сколько издеваться можно? Или труп, или мы: вот заявления. Терпели. Все понимаем: гуманизм, сострадание. Сколько можно? Судмедэксперта ждали. Родителей... Теперь чего ждем? В цинк – и пусть тогда забирают. Что за капризы? Жара ведь! Эпидемию ждем?..»

В зашторенном красном уголке итээровского общежития, на тающем льде и пихтовых ветках, в кумаче, вздувшийся и черно-синий, как заморский негус, лежал утонувший тракторист. Густой запах уксуса, одеколона и хвои не мог перебить сладковатых испарений разлагавшейся человеческой плоти. Запах этот,

несмотря на открытые настежь окна, проникал в коридор и комнаты, напоминая жильцам о бренности жизни...

– Видите: тянуть некуда! – сказал я поникшим родителям. – Прилетит вертолет – будет кто, нет – хороним.

После обеда они еще раз зашли ко мне: обсудить материальную сторону: «Чужого не надо, но что положено – выложьте!»

Им принесли деньги, выделенные экспедицией, профкомом, остатки зарплаты, отпускных... Кассирша повздыхала: «Такой парень был! В морфлоте служил – не утонул на океане, а тут... Проклятое место: кажон год тонут! Что за река?.. – После паузы добавила: – После поминок еще деньги останутся: народ жертвовал, сердечный у нас народ – в несчастье всегда поддержит; попозже отдадим».

На вертолетке слонялись две вахты, ожидавшие вертолета. А тот – как в воду канул!

– Займи своих людей – «наберутся»! – предупредил я начальника службы. – Пусть транспортникам помогут с похоронами.

– Тем самим делать нечего! Разве для «массовки»? – хохотнул тот.

Я что-то ему буркнул для порядка, отметив про себя: «Вот поперечный парень!»

В четыре часа, не дождавшись вертолета, начали вынос тела. При этом возникла какая-то заминка, поднялся было ропот: оказывается, вынесли гроб не так, и поселковый прорицатель, угрюмый, медведеподобный плотник, напророчил: «Еще будет утопленник!» Меня аж жаром обдало: «Накаркает ведь. Предрассудки! – успокаивал я себя. – Какая может быть причинно-следственная связь между тем, как вынесли, и пророчеством? Не прослеживается...» На кладбище начальник отдела кадров, она же секретарь парторганизации, представительная женщина с перманентом и ярко-красными губами, произнесла назидательную речь. После краткой биографии усопшего она сказала: «Погиб молодой, красивый, в расцвете сил молодой человек, надежда и гордость родителей, защитник страны! И погиб не потому, что случайный собутыльник схватил его мертвой хваткой! Нет, не хант его увлек за собой в воду, водка – она поссорила их, это «зеленый змий» схватил их обоих мертвой хваткой! Благодаря ей, водке, нарушился закон гостеприимства, моральный кодекс, наконец. И мы должны принять на себя часть вины за уход из жизни молодого

человека, классного специалиста, на подготовку которого государство потратило много сил и средств; мы отстранились от организации досуга, от воспитательной работы...» И закончила по традиции: «Пусть будет земля пухом».

Она у нас первый год работала, во всем пыталась внедрить «высокий стиль» – во всех мероприятиях, будь то партсобрания или похороны...

Да, конечно, виновата была водка. Но и не одна она. И не мы. А весь наш образ жизни. По крайней мере в нашем, отдельно взятом мире...

Хандиканин работал в вышкомонтажной бригаде. Всю весну они «таскали» на летние и осенние «точки» буровые установки, оборудование, материалы – до тех пор, пока держала мерзлота и трактора не начали тонуть в оттаявших болотах. По возвращеньи на базу, после баньки, они принимались «культурно» отдыхать: чередовать просто пьянки с пьянками на рыбалке или охоте. Хандиканин со своей компанией на рыбалке встретился с местными хантами и: «руси-ханты пхай-пхай!» Продолжили в общаге. Потом на берегу – «на посошок!». Хандиканин – шутя-нарочно? – забрался в лодку (проводить хотел?) и, как Стенька княжну, приподнял друга любезного, – а тот шутки не понял, вцепился мертвой хваткой в шутника, и оба вывалились за борт в желтоватую «набежавшую» волну... Немало сожгли бензина дежурные моторки, пока одного из них – Хандиканина – не обнаружили через полмесяца далеко от поселка.

Поселку экспедиции лет пятнадцать. Живет в нем около тысячи душ «мужского и женского пола». На кладбище – младенцы и зрелые мужики. Младенцев – Бог прибрал. Взрослые – по пьянке, по безалаберности, по безграмотности... безответственности... – сами пришли.

Грусть грустью, а жить надо! После похорон – разнарядка, связь, текучка... Женщины заглянули: «На поминки бы... Неудобно!» Столовая рядом – пошли всей разнарядкой. Кутья. Лапша. Гуляш. Блины. Кисель. И водка – полграненого стакана. Некоторые по второму заходу: разговорчивые. Бог с ними – поминают.

Домой пришел усталый. На веранде помыл ноги и весь окатился. Растерся и спать. Жена удивилась: «Десяти ж еще нет!» Но я уже вырубился.

Показалось мне, что я только закрыл глаза, а уже будят.

– Чего вам? – раздраженно спросил я бурильщика Корякина: было около полуночи. Тот невнятно что-то начал бормотать. И тут я сообразил, что он пьян в стельку. Чуть позже, скорее интуитивно понял, – что сбылось уже пророчество местного прорицателя – утонул дизелист Прокопыч...

Вертолет пришел уже поздно, вахту на буровую не увез, рассказывал на ходу Корякин. («Ах ты, поперечный! – вспомнил я начальника РИТС. – Предупреждал ведь тебя: попаси!») Вахта на похороны не пошла: подались на рыбалку. Поставили сети. Пока обустраивались на ночь, кое-что попало. Организовали уху. Как поспела, решили похлебать ее на воде: гнусу к вечеру вывалило. Прокопыч в лодку – последним. Пока возился с мотором – снесло. Дернул стартер – мотор схватил, а был на скорости: перевернулись!.. Как обычно. А уж «поддатые». Кинулись кто куда: на тот, на этот берег. Пока лодку поймали, сошлись вместе – много времени прошло. Пересчитались – Прокопыча не хватает! Поискать бы надо... на катере – с прожектором...

Ох, и чесались у меня кулаки: начистить морду этому черному вестнику!.. В неостывшем состоянии появился я на пирсе, где швартовались наши катера. Рядом, под крутояром, на террасе берега, кучковались, как мальки, десятки моторных лодок, хотя зарегистрированы были и выписывали бензин – единицы. Собралось уже много зевак и хозяев лодок; предлагая услуги в поисках. В запале я сказал: «У кого лодки зарегистрированы – пусть отведут, по остальным – прогнать АТТ!» Что началось!.. «Произвол!», «Не имеете права!». – «А тонуть вы имеете право, а?!! Так вас перетак! Не экспедиция, а похоронное бюро! Лодки – подавлю! Водку – ...»

Прокричавшись, спросил врача: взяли ли простыни, спирт. «Все есть, все!»

Прожектор высвечивал черную, сонную гладь коварной реки, шарил по причудливым – новым и неузнаваемым, неприветливым – берегам. Включали ревун. Стоповали дизеля. Прислушивались... Слышимость удивительная: «кап-кап-кап...» – на катере. «Чмок-чмок...» – ветка топляка под напором течения. Кричали: «Проко-опы-ыч!..» Ответа нет! Надежда гасла, но мы все курсировали вверх-вниз: в обед еще видел человека живым... Живым!

Даже утром надежда еще теплилась: вдруг выбрался на

берег и забылся, уснул. Или подобрал кто: катер, лодка – мало ли людей плавает!..

Но чудеса бывают редко. Пришлось снова организовывать крейсирование дежурных лодок. Мимоходом обратил внимание, что угроза, хоть и неосуществимая, подействовала на некоторых: моторок поубавилось. «По укромным местечкам попрятали! Проток, ручьев, урьев вокруг поселка достаточно».

В этот же день стал уговаривать начальника ОРСа: «Давай спиртное прижмем». Ну хотя бы по запискам: ты, я, зам? Профком еще. Дадут по шапке – прекратим. Лишат прогрессивки – компенсируем. Да, даже из своих готов за такое дело».

Прозондировал у «старосты»: «Как советская власть на такое дело посмотрит?» А староста: «Народ пожалуется – выдам постановление! На сессию вызову. Чтоб без обиды, лады?»

Лады! Проводим «социологический эксперимент»!

Но, как шутили поселковые остряки, «не долго тешилась старушка»!

Если при свободной торговле я знал: от кого что ждать, то при «эксперименте» начались непредсказуемые выкидоны: краса и гордость экспедиции, орденоносец – не то что с похмелюги, лыка не вяжет! «В чем дело?!» – «Впрок достали да не выдержали – все вчера «выкушали»!» – «Где «достали»? – «Да – в одном месте...» Начальник ОРСа ни при чем: «достают «в соседних» портах», целыми флотилиями плавают...

Решили ослабить «гайки»: в банные дни по водке и сухому. Показалось: нашли златую середину! Озлобленность и тихая тоска у многих исчезли из глаз («Сами-то – сколь хош жрут!»). Женщины в открытую благодарят: «Мой раньше на отгулах – не просыхал! Деньги – ладно, дети отца не видели! Тепереча – мило дело: и по грибы, и на рыбалку, и по дому – мужик появился! Спасибочки!»

Но многих это не устраивало: стали гнать самогон. И приказ разгромный пришел: нарушение правил торговли! А окончательный крест на нашей противоалькогольной компании поставил очередной утопленник... Это был молодой, красивый парень, геофизик, хороший знакомый: тоже поехали в верховья за «керосином», набрали полную лодку, на каждом «песке» останавливались, и – результат как с Прокопычем: опрокинулись и огрузший Витек не выплыл...

Я очень переживал этот случай: не вмешайся я в устояв-

шийся поселковый быт, в ход его жизни, в исторический, так сказать, процесс, – не потащился бы Витек за «моря-океаны» за «огненной водой», был бы жив...Косвенно, опосредованно, но вина в гибели сероглазого увальня лежит на моей совести: благими намерениями устлана дорога в ад...

В это же время в семи километрах от нас, но за двумя часовыми поясами, появился вахтовый поселок нефтедобытчиков. Открытое нашей экспедицией месторождение было отдано в разработку соседнему «генерал-губернаторству». С организациями, работавшими там, мы установили, презрев границы, «горизонтальные» связи, крепкие и плодотворные. Дружбе немало способствовал тот факт, что там проводился эксперимент, подобный нашему, только в более широком масштабе: генерал-губернатором от КПСС в том крае был будущий иерарх антиалкогольной компании. С его подачи город нефтяников рекламировался в средствах массовой информации как прообраз города будущего: кино, теле, фото... Книги, журналы, газеты, буклеты... Заметки, очерки, романы... Взахлеб: «Будущее – здравствуй!..»

А по «горизонтали»: «Татра» песка – бутылка... «Плав-кран» на сутки – ящик... «Ключ АКБ» – полдюжины шампанского.

Сделки, конечно, были законные: с соответствующим оформлением, но в основе их «сто грамм и пирожок»!

О, как шерстили они своего областного радетеля о их нравственном и физическом здоровье! Хорошо, что мы делились с ними: день рожденья, праздник или еще что – к нам... По «горизонтали» – шерстили, а по «вертикали» – наверняка шли восторженные: «Давно бы так! Спасибо партии!»

Откуда нам было знать, что готовила всему народу – значит, и нам – судьба-злодейка! Невозможно было представить, что через какие-то четыре-пять лет явится самозваный «мессия» и, пуча партийно-честные глаза, скажет народу правду-матку: «Народ! Ты не прав! Кончай пить!»

Но это было позже... А тогда, принимая гостей из почти коммунистического, отдельно взятого района за бутылкой «Дойны» или «Столичной» ишимского разлива, выражали им глубокое соболезнование и успокаивали, основываясь на собственном опыте, что и у них это пройдет: дотумкают ваши губернаторы, что не тем занялись! На время устанавливать

«сухой закон»! Хуже может быть: самогон, наркомания! (Про токсикоманию и знать не знали тогда!).

«Ведь русский пьет не по историческому обычаю, не по привычке, а когда душа не спокойна...»

«Не русский – советский! Я – азербайджанец! Мама говорит: стали пить, как перед войной. Меньше петь, больше пить. И не вина, а водки, коньяка! Другие – в религию подались... Наш народ доверчивый, искренний: верил в партию! Не смейтесь: как в Аллаха, верил! Теперь – разуверился... Замена Аллаха коммунизмом, апостолы и пророки от партии разрушали мечети и гробницы, оскверняли кладбища, не давая взамен ничего...»

«Себе-то – рай обетовали!»

«А нам – соцсоревнование и моральный кодекс!..»

«Нет, не горилка нас губит... Не она вцепилась в нас мертвой хваткой и тянет в омут: идея выдохлась! Безверье! Личная несвобода: кто-то решает за меня – пить мне или не пить? Да какое его свинячье дело до моего желания?! Хочу – пью! Нарушу общественный порядок – тогда посягай на мою свободу! На работу опоздаю, с похмелья буду – выгоняй! Но не моги за меня решать! Не моги за меня думать! Сам хочу решать, делать, отвечать, пить, любить!»

И тысячу раз прав мой собутыльник и партнер по «горизонтальным связям»: только обретя веру и получив право выбора, мы станем людьми, которым не страшна «мертвая хватка» ни «зеленого змия», ни «змия-искусителя»!

1981–1985 гг.
Ваховск–Мегион

СМЕНА ВРЕМЕНИ

Когда на минутную стрелку – не говоря уж про часовую! – неотрывно смотришь, не замечаешь их движения: стоят будто они, и все! Чуть отвернешься или сморгнешь, глядь – передвинулись! Идет время, меняется... Так и жизнь: день за днем, день за днем, а будто и не движется... Потом, словно отворачивался или глаза прикрывал, в какой-то день, час, минуту, миг замечаешь: е-мое, весна ведь уже... лето... осень... зима...

Удивляешься: ведь взрослый совсем!.. Ужасаешься: стареем, брат... стареем...

Смену минут, секунд, часов определяем мы по вздрагиванию тоненькой стрелки, мельтешению черточек жидких кристаллов, движению тени, солнца, луны, звезд...

Смену времени года – по запаху воздуха, набухающим почкам, по утробной влажности оттепели, по жаркой истоме полудня, по цвету неба, воды, движению облаков, по вою ветра, крику птиц, раскраске крон... Есть множество тонких, малозаметных, но верных примет, предвещающих смену времени года...

У житейских времен – тоже свои приметы... Новые времена – новые приметы, новые нравы...

Какая-то мелочь, вроде паутинки в росе – в предосенье, напоминают, говорят: а времена-то – сменились...

Так и в жизни...

С детства я привык обходиться малым: в еде, одежде, обстановке... Голод, жажду утоляю – и отлично! Одежда чистая, удобная, теплая – и хорошо. Сварить еду есть на чем, поставить ее – для трапезы – есть куда, постель раскинуть для отдохновения есть где – жить можно. Ну и чтоб было где руки приложить – с пользой для себя и для страны. Заработка на такую жизнь хватало и даже оставалось, чтобы помочь родным, съездить в отпуск к ним и на юг – и ладно...

То, что копейка должна быть ЗАРАБОТАНА – твердо въелось в меня и в большинство нормальных, считавших себя четными людей. Были нормы, тарифы, расценки... Сколько сделал – столько получил. Ничего не сделал не по своей вине – получи за простой, но самый мизер. С этим я сталкивался во второй половине пятидесятых годов на практике, на сельхозработах, в топоотряде, при разгрузке барж и вагонов... Правда, и тогда наблюдал перекосы вроде гарантированной оплаты на «целине», куда съезжались по комсомольским путевкам: в преферанс режемся, а «гарантия» идет. Или на скирдовке соломы – нам, при той же выработке, червонец, а совхозным девчатам – три с полтиной, хотя все трудились на совесть. Ясно, что расценки не соответствовали количеству вложенного труда. Но все же количество труда учитывалось, и зарплата была заработанной. Поэтому вполне естественно я принял «голый тариф» в первый год работы после института, когда наша партия глубокого

бурения перебиралась на новые площади – в Усть-Балык. Кроме того, что у нас был «голый тариф», не было жилья, продуктов, спецодежды... Даже адреса и прописки не было! Потом еще год, и еще... Потом инженером на окладе сто пятьдесят и при «северных» – через два года, и поясном коэффициенте один и три... (Это уж позже, лет через шесть, когда наехали нефтяники-добытчики, «северные» пошли через год, и коэффициент сделали один и пять.) И на частных квартирах... По углам пришлось помыкаться, пока получил «четвертушку» в деревянном доме. И отпуск через три года, и работа без выходных месяцами, да и рабочий день-то не восьмичасовой ...

Все это переносилось легко, без тягостного чувства ущемленности прав, свободы, потребностей. И в этом – примета времени, и мы были его дети. Безмятежный период стабильности длился для меня все шестидесятые годы.

На грани шестидесятых – семидесятых выпала моя очередь вести курсы прорабов вышкостроения нашего управления. И вот как-то, при разговоре на вольную тему, один из прорабов заметил: «За тариф-то? Да у меня за тариф ни один, самый вшивый монтажник кувалду не поднимет, лом не подберет... Наряд «рисовать» приходится...»

После этого мне неудобно стало упоминать при случае, что мы за «голый тариф» работали... Видимо, тарифная сетка стала отставать от незаметной глазу инфляции... Цены-то, под благовидными предлогами, растут! Чего уж тут лукавить нашим правителям?.. Объяснил я себе и стал жить дальше в «своем» времени...

И еще примета моего времени: уважительное отношение к корке хлеба, способность поделиться ею. Я уж не буду вспоминать, как в сорок восьмом, в Малышовке, в Башкирии, летом, задыхаясь от черной желчи, когда тошнило от так называемого хлеба из лебеды, напоминавшего засохшую коровью лепеху, я мечтал об этой самой ржаной корке или ложке рассыпчатой, крутой пшенной каши или, на худой конец, о вареной картохе... Мне припомнился разговор во время производственной практики с механиком, моим наставником: «Ты хлеб-то, чтоб зря не сох, заверни в газету или тряпицу чистую да в чемоданчик положи...» Питались мы тогда в основном хлебом да супом и были довольны: хлеб – он и есть хлеб, ешь его, не приестся! Но об этом я тоже не вспоминал, когда буровики грозились забастовкой при задержке завоза мяса.

Все эти годы, и студентом, и холостяком я снимался с насиженного места и ехал, услышав: «Надо, Витя!» – за считанные часы-минуты. И даже после двух лет семейной жизни, когда перевели меня в город, все добро уместилось в нескольких ящиках из-под папирос, в том числе детские игрушки и книги. И в городской квартире долгое время у нас было просторно. Лишь незадолго до второго исхода на Север появились у нас спальный и гостиный гарнитуры.

Середину и вторую половину семидесятых годов я жил с семьей в небольшом поселке – на базе экспедиции, где я семь лет работал главным инженером. Занимали половину бревенчатого дома. Из города привез я пару кресел и несколько стульев от мягкого гарнитура, остальная обстановка досталась от предшественника: круглый раздвижной стол, пара фанерных шкафов местного промкомбината, ученический стол, кухонные шкафчики и полки, стеллажи для книг. Плита из кирпича с духовкой и газовая плита с баллоном. Холодильник «ЗИЛ». Несколько надкроватных ковриков, палас в «зале» (местное выражение) или гостиной комнате. «Спидола». Телефон (местный!). Последние три года – телевизор.

В подполье – картошка, яблоки, тушонка, капуста, грибы, варенье, НЗ спиртного... В сарае – дрова, рыба «колодочкой», клюква, мясо (зимой) и прочие припасы. На стол было что подать. Стульев хватало. В «зале», как в «кабинете», можно было засидеться и за беседой, и за работой, и за стаканом – кроме него были еще две крохотные, но отдельные комнатки и кухонка. И я искренне полагал, что живу комфортно. Да так оно и было в сравнении с бытом на буровых!

По должности мне приходилось курировать молодых специалистов. Работа эта была отлажена. Работник отдела кадров, непосредственно этим занимавшийся, напоминал, что нужно составить заявку по специальностям, провести конференцию, встречу, совет молодых специалистов, заслушать отчеты о стажировке и т.п. И наконец, в августе–сентябре встретиться с вновь прибывшими и распределить их по рабочим местам... Встречи проходили шаблонно: важность работ, проводимых экспедицией, характеристика района деятельности, история экспедиции, знатные люди... Чем им предстоит заниматься. Оплата. Жилье. Перспективы карьеры. «Отеческие» наставления по образу жизни. Иногда попадали

выпускники из «альма матер», – ностальгически расспрашивал: кто, что, как?..

Большинство молодых спецов, отработав пару лет сверх обязаловки, уезжали в родные края. Те же, кто женился на дочерях старожилов или на таких же молодых специалистах, надолго застревали в поселке.

Впервые не выполнили заявку на молодых специалистов в восьмидесятом году: прибыли только геологи, а механиков и буровиков – ни одного...

«Отказываются ехать в вашу дыру», – доверительно сказали в объединении.

И вдруг, где-то в первых числах октября, нарисовались трое. Спрашиваю, отчего такая задержка? Объясняется тем, отвечают, что там, куда их направляли, им предлагали должности не по специальности. Пытаюсь растолковать, что специальности у них, по сути, нет еще, что они только сейчас будут приобретать ее и что я им тоже на первое время – на полгода точно! – предложу только рабочие места, чтобы они своими руками «пощупали» и поняли, «с чем едят» технологию бурения скважин... Обнадежил их возможностью служебного роста... Разговор был без сюсюканья, жесткий. Дошли до оплаты и жилья. Узнав про заработки, они скисли: «А нам в объединении говорили...»

В последнее время зарплата – больной вопрос. Основной показатель, от которого крутится заработок буровиков и прибыль экспедиции – плановая скорость бурения – с каждым годом зажимают и зажимают – стена, не пробьешься! Рядом, в соседней области, в тех же горно-геологических и климатических условиях этот показатель в два раза занижен. У нас на аналогичную скважину нормативное время, к примеру, сорок суток, а у них – более шестидесяти... Как двадцать лет назад мы начали на энтузиазме, так и продолжаем на «голом тарифе»! Мне говорят сверху: «Рисуй», как другие делают, а зарплату поднимай!» Я возражаю: «Не буду, не так воспитан. И вам не советую!» На каком-то совещании в главке поднял этот вопрос: нормативную базу надо установить справедливую! А они авансов «цэка и правительству» надавали, встречных планов напринимали – как на попятную пойдешь? Так что промолчал я; не станешь молодым об этом рассказывать...

Тут и черед жилья настал...

Пригласил инженера по быту, и утрясли проблему: одного,

холостяка, в итээровское общежитие, на подселение, вторым в комнату, к прошлогоднему выпускнику этого же вуза, а женатикам – «пенал» в двухэтажке.

– Ну, кажется, все? – заключил я. – Всего доброго! Оформляйтесь. На днях встретимся, план составим, руководителя подберем.

Наутро, едва я появился в кабинете, вошли мои подопечные: «Мы к вам...»

– Заходите... Как устроились?

– По этому вопросу и пришли, – молодой спец, муж, выступил вперед и с сарказмом произнес: – Мы оценили ваш юмор – насчет пенала. Именно: не квартира, а пенал! Но мы ведь не школьные принадлежности, чтобы там размещаться. Как там жить?

Я был шокирован, присмотрелся: парень как парень, не один десяток молодоженов прошел через такие «пеналы», и ничего. Конечно, там не потанцуешь, при ссоре не исчезнешь с глаз супруги, но жить вдвоем можно. Бездетные пары и не по одному году живут.

Эти соображения я и высказал. «Кроме того, я же пообещал, что при явном намеке на «демографический взрыв», будет отдельная квартира...»

– Это само собой! – парень поморщился от моей непонятливости. – Я говорю про теперешнюю ситуацию. В этом пенале – что в тюремной одиночке! Узкая, длинная... Неполномерное окно... Печное отопление... Нет! Там даже мебель не поставишь...

– Ну уж позвольте не согласиться! – возразил я. – Кровать, стол, шкаф, два-три стула вполне... Человек пять разместятся. В гости будете ходить – народ у нас гостеприимный...

– Это уж нам позвольте решать: ходить в гости или принимать гостей. У нас в контейнере идет мебель... Что ж, по-вашему, ее из одного контейнера в другой, а сами где?

По инерции я посоветовал им мебель не продавать: в нашем ОРСе с мебелью плоховато, да и спроса не было, – а сдать ее пока на склад. Что-то я им еще автоматически говорил, увещевал, а сам твердил одно: «Это уже не «паутинка»... Нет, это крепкий утренник... Заморозок... Времена сменились, завтра листья уже будут золотые и багряные...»

Молодые специалисты так и уехали, даже холостяк. Я их не удерживал. А я той же осенью купил большой ковер, пару

кресел, диван-кровать, хрусталь и много всякого шмотья. Но к новым временам был у меня непонятный какой-то аллерген...

Прошло семнадцать лет. Много новых примет – что времена меняются. Только порой такое впечатление, что стрелки часов то вперед переводят, то пружина ломается, то батарейки садятся...

ТЕЩИНО ПОДВОРЬЕ

Прознав, что я собираюсь к осени привезти семью, соседка посоветовала:

– Ты-эт, Миколаич, заранее забей очередь к теще Головкиной за молоком-т, желающих-т к ней – мильон!

В первый свободный вечер я пошел договариваться...

Бурильщик Юрий Гермогенович Головкин жил в брусчатом, серебристо-сером доме на два хозяина, построенном лет пятнадцать назад – ровеснике экспедиции. Приусадебный участок полого спускался к ручью под названием Бардаковка. Подворье его было огорожено штакетником с улицы, а от соседей – пряслами. Пряслами же огорожен и загон вокруг коровника, по-местному, стайка; на коровнике вместо крыши – сено, укрытое автопологом.

Пахнуло забытым коровьим духом: свежим навозом и парным молоком. «Смотри-ка! Другая жизнь под боком, а не только буровые, буровые...»

В просторных сенях на длинном столе разнокалиберная посуда: банки, бидончики, бутылки, фляжки, пустые и с молоком.

«Неужто столько клиентов, – подивился я. – Тогда мне не светит...»

Тут и теща Юры Головкина впорхнула: подбористая, живая. Я поздоровался со всей любезностью.

– Здравствуешь, здравствуешь... – отозвалась она. – Нащет молочка? Слыхала, слыхала... Много не дам, а и без молока ребятенка не оставлю... Так! – она поджала тонкие губы гузкой и задумалась: – Так... – повторила она, – пока литру выкрою, а посля, как малых привезешь, – може, еще добавлю чуток...

Так беззаботно, несколько лет, по сути, за символическую

плату имели мы к столу регулярную «литру», а то и две, натурального, густого, как сливки, молока.

В благодарность за это я раз-другой участвовал в заготовке сена, когда устраивалась «помочь», без проволочки выделял технику, если было нужно, материалы. И, когда слышал разговоры вроде: «Чо бы не держать ей три «головы»; «чуть чо – экспедиция помогат!» – то не одергивал завистников: «А что ж сами не попробуете хоть одну «голову» завести? То-то!» Значит, и сам считал: что тут особенного?..

А на «тещином» подворье каждый год в зиму шел под нож бычок двухгодовалый. Мясо сдавалось в потребкооперацию по высоким приемочным ценам, затем часть его приобреталась хозяином же, но уже по цене почти в два раза более низкой. Такие сделки были общеприняты и не считались аморальными.

Так вот они и жили. Юра работал на буровой, на выходных временами пил по нескольку дней и гонял тещу: «Подкулачница! Задолбала ты меня своей скотиной! Другие культурно отдыхают, а я? Сена заготовить – зять! Привезти – зять! Стайку чистить – зять! Навоз убирать – зять! Денежки только – теще! А зять выпил рюмку – алкаш! Всю шею перепилят!» Но, выдув с похмелья трехлитровку парного молока, на работу он являлся, как стеклышко, поводов для проработок не было. Жена его, Нина, кочегаром работала в котельной поселка, была постоянным депутатом, членом профкома и т.п., короче, была, как тогда говорили, активисткой. Дети росли, в школе-восьмилетке учились. Не каждый год, но частенько зять с семьей выезжал с детьми на Большую землю в отпуск, но дела на мясомолочной ферме, как сейчас бы сказали, не стопорились: теща управлялась...

Катилась бы жизнь чередом да катилась, ан нет: возникают порой обстоятельства такие, что хочешь не хочешь, распорядок жизни менять приходится. Вот и у Головкиных наступил такой поворот: закончила старшая восьмилетку – куда податься? В интернат отдать? Можно бы, да ведь жалко: собственное дитя, родимое! И крутанули свою жизнь сибирские старожилы: потрясли мошну, купили на окраине Свердловска дом и отправили туда бабку с внучкой: одну – уму-разуму дальше набираться, другую – хозяйство городское вести, внучку обихаживать и блюсти... «А тут мы и сами управимся! Невелика хитрость!» – так порешили.

...Что у тещи получалось незаметно, походя, играючи – через пень колодой пошло у дочки с зятем!

Не прошло и полгода, как порушилось без тещи «фермерское» хозяйство: одну «голову» продали, другая пошла под нож... А вскоре они и сами уехали к дому поближе.

И когда сейчас слышу шапкозакидательское: «А! Дали бы только в собственность фермерам землю, завалят они нас мясом, зальют молоком», привожу в пример эту историю. «Нет, дорогие, – говорю я, – крестьянство – это призвание, подвижничество, ему за день-два, по приказу, не научишься и даже в ПТУ или в колледже не выучишься, в дальних загранкомандировках не натаскаешься, в него, как в йогу, надо входить с желанием, любовью и постепенно, чтобы не навредить себе и земле...»

«Тещино подворье!..» Да оживет пусть оно и возродится.

1991 г.
Мегион

ВАЛЕНТИН КАДЕЕВ
ИЗ РОДА ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

Темным вьюжным вечером 75-го года, по только что промятому зимнику, я приехал к вышкомонтажникам на Северо-Сиктор-скую площадь. В тот год мы вели поисково-разведочные работы на четырех площадях и выходили на две новые. Балков и техники не хватало. На лесистых «точках» монтажники строили бревенчатые балки, больше похожие на охотничьи избушки на санях.

Заходим в ближний. В балке людно, жарко. У сварной толстостенной «буржуйки» румяные бока. Яркий свет лампочки двухсотки рассеивается в молочно-голубых слоях табачного дыма.

Монтажники сидят группами: по интересам. Одни чаи гоняют, другие в карты режутся. Есть и пескари-одиночки: один в углу, у входа, бензопильную цепь правит, другой – чай пьет с домашней постряпушкой: хотя и за общим столом, но как бы на хуторе.

У «хуторянина» миниатюрная фигура, лицо небольшое,

гладко-розовое, кудельный чубчик повлажнел, из-под коротеньких бровок поглядывают живые темно-синие глаза. Прикончив одну витушку, он, как фокусник, откуда-то из-под себя, достает другую и так же сосредоточенно, аккуратно, не уронив ни крошки, съедает ее.

Я сидел у дальнего края стола, разговаривал с прорабом, прихлебывал из кружки «купеческий» чаек и угловым зрением наблюдал за «хуторянином». Когда он извлек еще одну свежую, словно из духовки, я не выдержал и рассмеялся: «Вы... булочки...печете под столом, что ли?»

– Он их высиживает! – хохотнул кто-то из монтажников. - Как цыплят! Так ведь, Валентин?

Тот, кого назвали Валентином, дожевал витую, похожую на послевоенную венскую сдобу, булочку, запил чаем и только после этого негромко, чуть на «о», с узнаваемым чувашским акцентом, ответил:

– Это я на ведре сижу.

Монтажники дружно гоготнули. Даже бензопильщик прекратил заточку цепи и улыбнулся. Но Валентин не смутился. Обращаясь ко мне (до чего знакомый взгляд!), доброжелательно произнес:

– А! Им смеяться – палец покажи! Сижу: на чем еще сидеть? Не на чем: все занято. А сидеть надо – чай поспел. Места ждать – чай не достанется. Вот и сел ведро. А ведре – подорожники, жена дорогу стряпала. Ведре хорошо: не сохнут и не мнутся. Они, – кивок в сторону монтажников, – что понимают? Им пожрать – мяса нада! Пожрать да поржать... Э-э-э! Шалапуды! – И, махнув рукой неопределенно-презрительно, заулыбался вдруг, глаза лукаво сощурил: – Эээ Николаич! Не узнал меня... Совсем близко не узнал! – весело-укоризненно сказал. Вздохнул огорченно-сочувственно: – Как узнашь?.. Столько воды утек! 63-й год была. Партия Сашка Баянов. Охтеурье тогда стоял.

– Валя дает! К главинжу в знакомые набивается!

– Хоть бы булочной угостил для начала... Жмотит!

– Чо неправда-то говорить! – гневно обратился Валентин к насмешникам. Он привстал, выставил ведро на стол, громыхнул крышкой: – Вот! Кто желанье есть – кушай. А то человек правда подумат: жмот! Зачем, мужики, неправду врете?..

«Шалапуды» довольны: завели Валентина. Он понимает это и «глохнет».

– Э-э-э... Шалапуды – молчать с вами не хочу!

– Кадеев? Валентин? – вдруг осенило меня. – На бурстанке работал? У Баянова? Ну да: экспедиция ж рядом... Партию ликвидировали, ты – сюда?..

Валентин доволен: узнали его. И мне приятно: мы не так уж много общались с ним, а, выходит, чем-то запомнились друг другу, если через «столько воды утек» он узнал меня, а я – его! И в этом было нечто: балок показался уютнее, ночь – не такой затяжной и мрачной, неподъемные планы с встречными довесками – более выполнимыми...

– Вот... – сказал Валентин Кадеев, – экспедиция бульдозерю. Куда поставят, все делаю: механизатор широкого профиля...

Почти семь лет после этого встречались мы и на буровых, и на зимниках, и как односельчане – в поселке. Но неизменно – тепло, с шуткой, с подначкой. У каждого из нас были свои проблемы, но мы их не касались. Трений, насколько помню, у нас не было. Затем меня перевели в Мегион, а он остался в экспедиции – «бульдозерить».

И вот в начале этого десятилетия, последнего в двадцатом веке, встретился мне в Мегионе Валентин Кадеев – чистенький, гладенький, нарядный и крепенький, как осенний, третьего слоя, красноголовик...

– Валентин Иванович! – восклицаю. – Ты ли это? Молодеешь!

Валентин Иванович улыбнулся экономно, глазами больше, и стал суеверно открещиваться:

– Куды нам, депкам, замуж – так бы уж как-нибудь! Пенсию отправили – а ты: «молотеешь»!

– Да на тебе еще пахать да пахать! – дружески толкаю его налитое плечо, плотно обтянутое светло-голубой джинсовой курточкой.

– Так оно: силенка еще далеко не убег! – охотно соглашается он. – Список ветеран, кто 25 лет экспедиция работал, попал на квартира. И ай-да-инды Мегион! А работать – работаю... – хоть голос у него и резковат, но напевность интонации смягчает речь. – Одна пенсия не больна проживешь! Работать надо.

С механизаторами, особенно с теми, кто на «железном коне», – с трактористами, судьба сталкивала меня с раннего

детства. На Алтае, в Косихе, видел Фордзоны и НАТИки, в малышовке – Универсалы и ДТэтшки. На сельхозработах, во время учебы в институте, сталинцы, ХТЗ и ДТэ... На Севере С-80, С-100, позже Т-100, Т-130... МТЗ... ДЭТ-250, импортные «катерпиллеры», «камацу»...

Разная какая техника, а вот те, кто ею управляют, все они напоминают мне двоюродного дядьку Никиту. Танкиста-фронтовика, пришедшего с войны только в 49-м году.

Сравниваю я их всех, моих знакомцев трактористов, и дядьку Никиту, и Валентина Кадеева, и Якуба, и другого своего дядьку Павла, и многих других, – все они фигурой и обличьем очень разные: Никита, Валентин и Якуб – с моего нынешнего соседа-третьеклассника. Павел – хоть самого вместо трактора цепляй. Так что же их роднит?

Роднит их, безусловно, недюжинная сила, какая-то двужильность и другие физические качества, необходимые им при опасной и в то же время монотонной работе – в стужу, в зной, в дождь, в снег; в степи и в тундре, в горах и в тайге, в селе и в городе. И конечно, способность одухотворять конкретное железо, называя его конем, кормильцем, трудягой и заботливо с ним обращаясь – как с живым.

Мне они интересны: в каждом из них есть золотинка-неблескучка, незаметка-самоцветинка!

И вот – июль 96-го. Встреча с Валентином Кадеевым. С Валентином-нестареющим.

Махнул я на свои дела, и мы сидим с ним на какой-то чурбашке в тени берез, напротив бывшей моей шараги. Березки эти – были они с удилище толщиной – сажали мы весной 81-го года густо, обильно поливая, и они прижились и размахнулись ввысь и вширь. Под их сенью жара не жара.

– Госплан нашел! Когда это был? Царе Горох! Все знал да десять раз забыл! – Валентин взбрыкивает, быстро, без акцента, будто галечки обкатанные, матерки выплевывает. Но я продолжаю выспрашивать его въедливо и дотошно и узнаю много интересного...

Род Кадеевых своими корнями связан с деревней Резяпкино, что на севере Куйбышевской, ныне Самарской области, на левобережье Волги. Места там хорошие, возвышенные, водораздельные, лесистые. И земледельем поселяне занимались, и

животноводством, и лесным промыслом и промыслом по дереву. Деревни были людные. В той же деревне Резяпкино в 1934 году, когда родился Валентин, было дворов четыреста.

Деда Павла Валентин хорошо помнит, бабку хуже:

– Бабка трубку курил. Зато вино не пил. 90 лет и прожил зато. Бражка ставил, ставил... Как же: кислушка! Вкусно... Медовуха! Бортничал дед. Как же: даданы делал. Бочата...

Дед Павел... У-у! Краснодеревшык! Инструмента было... Какой струмент: у-у! Скрипка делал! Не каждый дерево брал: осина, черемуха... Делает – дерево чистый-чистый, как бумага! Сухой, ровный... Звук сильно отдает! Скрипка, говорю! Какой балалайка? Балалайка не делал: скрипка! Сам видел, помню. Торговал скрипка. Город ездил, ресторан скрипка играл, во, едрит корень!

Все же странно: скрипка... Где и у кого Павел Кадеев выучился этому мастерству, какой поволжский Страдивари научил его своему искусству? Какой Паганини обучил игре? Ничего не мог вспомнить его потомок Валентин Кадеев. И мне осталось предположить, что это – результат благоприятного влияния культуры поволжских немцев: для них скрипка – привычный инструмент. Хотя должен заметить, что все чуваши, с которыми меня жизнь сводила, с деревом были на «ты»: ладили резные комоды, кухонные шкафы с витыми, прорезными и рельефными орнаментами, некоторые и балалайки клеили, гитары. А вот про скрипки – не ведал...

Дедовская способность создавать скрипки в поколениях, со слов Валентина, не проявилась.

Родители Валентина, по деревенским понятиям, жили хорошо. Достаток, естественно, являлся не сам, а трудом, разумением и сметкой. Держать во дворе четырех коней мог крепкий хозяин! Пусть не стал, как дед, отец Валентина деревенским Страдивари, но зато твардовским «моргунком» – стал! Когда задавили налогами на тягло и хозяйство, сдал Иван Павлович Кадеев лошадей, но в колхоз – не вступил! И вот трагическая ситуация: один брат – председатель сельсовета, другой брат – единоличник! Трагедия деревни в действии и развитии... Что за разговоры вели братья? Ведь наверняка просчитывали возможные последствия, которые и не заставили себя долго ждать: вскоре «вытекли»! Мать отцу соответствова-

ла: как злостные кулаки и убежденные противники коллективного хозяйствования в 1936 году попали они в тюрьмы...

Остался двухлетний Валентин со старшим братом в своем доме, остальное – пашня, огород, сельхозинвентарь и все запасы – было конфисковано в ненасытную общественную прорву... Жили дети своим домом, а питаться бегали к деду... Почти десять лет!

– Какой школа! Э-э-э... Пожрать, одеть – обуть надо? Сирота – бедный Ванюшка, бить, везде капат, везде камушка! Вся и причина: два класса, третий коридор! Учился бы школа, не дурак был, да не мог.

Но пришел и на их улицу праздник: после Победы, живы-здоровы, почти одновременно, сначала мать, через неделю отец, – вернулись в Резяпкино. Мать – из тюрьмы, в телогрейке. Отец – с войны, вся грудь в орденах.

– О!.. Возвращенье его помню... – Валентин даже сейчас блаженно щурился. – Как счас... Старший сержант! Стройный мужик тогда был отец, у-у! Тюрьма добровольцем фронт – Рокоссовскому – пошел. Армия Рокоссовского весь путь делал. Весь Берлин взял! Встреча на Эльбе американцами участвовал. У-у, какой отец! Я сравнении отцом – пацан...

...Да можно представить его тогдашнего и мальчишескую радость, коли и сейчас она освещает его голубые глаза лучистым огнем.

С прибытием родителей веселее стало на сердце, а вся непомерная тяжесть крестьянской работе в колхозе и дома как была, так и осталась на детских плечах. Тяжелы были послевоенные годы в Поволжье!

В семнадцать лет Валентин уже на тракторе, хоть и без «корочек», а пашет уже вовсю!

В восемнадцать с половиной закончил школу механизации в Сызрани. По дороге домой узнал о смерти Сталина: плакал! После школы механизации немного поработал и снова на учебу: в Лениногорск, недалеко, на курсы помощников экскаваторщиков...

– Не трудно было после «третьего коридора»?

– Не-е! – Валентин-нестареющий, Валентин-хитрован, привстал от возмущения. – Читать-писать умел? Умел! А остальное – во! – Он постукал жменькой по темечку, прикрытому мягкой сединой: – Тяма! Тяма есть – все поймешь. И вот! – он

выкинул перед собой небольшие кулаки и с кастаньетным щелком распрямил пальцы: – Руки! Тяма и руки есть – остальное все твой! Начальник тогда еще был – во! Ты, говорит, парень тяму имеешь, поезжай – учись!

Выучился Валентин и стал работать в Лениногорске у нефтяников. А тут и повестка: в армию! Доехал Валентин до Сызрани и – отбой, досрочно в дембеля!

– Обидно было? Ведь, поди, и под Котовского пострижен был?

– У-у! Обидно – слов нет!

– Из-за роста? Помнишь, тогда была в моде песня: «Я много в жизни потерял, все потому, что ростом мал...

– Не-е... Рост не мешала... Совсем другой мешал: сотрясение была. Когда школа механизация Сызрани учился. Это дело нашлась, из-за нее и комиссовали армия.

– Как же тебя угораздило – в аварию попадал, что ли?

– Какой авария? Говорю: бедным Ванюшка и у депкам камушка! Женский общага вечером мужик выгонял. Я холостой – ое-ей был! Не смотри: маленький! Двухпудовку вот так кидал: трактор же работал! Без сила – какой тракторист? Сила нет – трактор не садись. Я был тогда сильный, веселый! Договорился девушка, полез пожарный лестница. Пятиэтажка! Лестница ржавый – сорвался, два этажа падал. Такой глупый сотрясенье! Такой причина и армия не служил. Обидно было, как же!

Многие татарские нефтяники, в том числе и лениногорцы, в середине семидесятых годов подались в нефтяную Сибирь. Почти на десять лет обставил своих коллег Валентин-хитрован: создавал для них фронт работ!

На исходе лета 1957 года однажды на обеде услыхал Валентин Кадеев слово «вербовщик», но не подал вида, что оно его заинтересовало. Из отрывочных разговоров он понял что к чему и вышел на представителя геологоуправления, уже решившись...

Поездом до Тюмени, с озера Андреевского на гидросамолете до Березово... Березовская экспедиция... Отдел кадров... Заявление... Виза начальника экспедиции: «ОК! Оформить т. Кадеева В.И. сменным бурмастером на станок УШБТ в с/п. Подпись. И дата: 18.VIII.57 г.».

...Что послужило северным «пускачом» в судьбе Валентина Ивановича Кадеева, толком он мне и не объяснил, но вот уже сорок лет работает его житейский «трактор» в северном режиме: не глушась!

Первую свою «десятку» от и до оттрубил Валентин Кадеев у сейсморазведчиков Главтюменьгеологии.

Памятна и незабываема первая сейсмическая зима в партии Алексея Багаевского. Хоть и Сибирь, а край свободный и вольный! Ни прописки тебе, ни учета!

Зимой Валентин, по тайге, по болотам и сорам, на профилях. Летом, в навигацию – в речной сейсморазведке. В межсезонье – на ремонте техники...

Елбанья, Казым, Шухтунгорт. Сартынья... Базы партий! На картах многих стотысячных городов – на Большой земле – нету, а здесь – хоть одна семья всего живет, зимовье обозначено! Вот он – простор!

– А в водных партиях – кем работал? – спрашиваю Валентина.

–Кем работал? – удивленно переспрашивает Кадеев и, будто поражаясь моей недогадливости, укоризненно держит паузу и затем с гордостью говорит: – Водомет плавал... Старшина катера! У-у! Деньгу и от флота, и от экспедиция получал, едрит корень! Сосьва... Малый Сосьва... Обь ходил. Березово, речпорту, Тамару свою «заякорил»! Они сами Украина. Житомира. Отец рыбозавода директор был.

– Из ссыльных, что ли?

– Не-е! Сама по себе Север ездил. Солидный мужчина, у-у! Теща тоже. Тамара моя знаете – ихний порода! Охтеурье приезжали, как же, гостевали!

– Я все же считал, что ты свою Тамару где-то бульдозером откопал, а ты, получается, «закапитанил»? В речпорту она работала или как?

Смеется Валентин-старшина, улыбается Валентин-мариман – экономно, жменисто – и смешок рассыпает мелконький, жемчужный:

– Так, так... получается у меня в жизни, все – получается! Мы тогда Ванзетур стояли: аккурат 60 кэмэ Березова. Березово часто бывал. Тамара речпорту столовой работала. Поваром. Смотрю: хороший женщина!..

Улыбаюсь и я:

– Ясненько! Вот откуда у тебя такое здоровьице: с Тамариных постряпушек-подорожничков!..

Тускнеет вдруг Валентин-нестареющий:

– Десять лет старше была... Старше был, а хозяин доме – я! Жалко! Хороший баба был. Все умела. Дети любила. Хозяйство. Дом. Легкий человек был. Жалко: счас жил бы да жил...

Иван Павлович Кадеев «весь Берлин прошел», работал в колхозе, на заводе, сейчас ему уже за девяносто, живет с внуками в Тольятти. Да и другие родичи Валентина Кадеева – долгожители, много чего полезного и нужного людям они сработали. Сам Валентин Иванович Кадеев за свою жизнь конкретного продукта не производил: таскал по профилям сейсмостанции, взрывпункты, балки, бурил взрывные скважины, буксировал по малым рекам брандвахты и сейсмобоны, расчищал трассы под вышки, площадки под буровые, рыл котлованы под шламосборники, перевозил оборудование, блоки, трелевал лес, ремонтировал технику... С обществом, людьми, с природой – не конфликтовал, но и себя не давал в обиду. Считал, что в жизни у него все получается. Да и сейчас в Мегионе особо не сетует на жизнь: квартира есть (живет с сыном), пенсия «под потолок», дачу построил сам, все свободное время ей отдает, а вот съездить куда – «это, едрит корень, проблема! Тамара – баба экономный был, я, сам знашь, ведомость подписывал когда, хорошо деньгу монтаже зашибал. Сберкнижка Кадеев деньги имел! Кум королю бы жил счас, кабы не перестройка, едрит корень! Ничего-о... Не на того попал! Жить буду – пока свою денежку не получу: хоть ста лет». Ишь, хитрый – шок, да не на того попал!»

...И правильно, Валентин Иванович! Пусть не на Канары, так хоть в Тольятти съездишь, хоть в Резяпкино наведаешься, хоть Сызрань проведаешь – заслужил ты это, ей-Богу, если не больше.

Июль 1996 г. – апрель 1997 г.
Мегион

В САДУ КАЛИНА ВЫЗРЕЛА

Что-то всеми на век утрачено.
Май мой синий! Июнь голубой!

С.Есенин

Иван Алексеевич Жданов и его жена Людмила Михайловна вышли проводить меня.

Они живут на берегу Максимки на старой улице в деревянном доме, построенном еще при мне, т.е. чуть не поколение назад.

Во дворе черемуха.

«Чудо – как цвела! Запах. А цвет. Как невеста была!» – это Людмила Михайловна.

«Цвела сильно! Толк будет или нет – поглядим, – это Иван Алексеевич. – А в прошлом году, – он говорит со своим обычным скептическим смешком, – ведро черемухи нарвали. Вот такие кисти были. Черный виноград. Целое ведро! Да и так пацаны ели».

Людмиле Михайловне не нравится его практицизм.

«При чем здесь урожай?.. У нас вот это, – показывает она на особенно темную на фоне серебристо-чешуйчатой Максимки купину, – рябина. А там, пониже, калина. Сейчас доцветает. Прислушайтесь, какой аромат! Нет, разве можно от этого уехать? Конечно, эта тварь, комары и мошка, мешают. И двуногие есть – почище. Но ведь я столько здесь всего пережила. Вот с ним, – кивает она на Ивана Алексеевича. – Нет... Босой ногой ступаю, и кажется, что остановись – корни пущу в эту землю. Дети выросли. Внуков, не поверите, люблю еще больше за то, что здесь растут».

У Ивана Алексеевича, а значит, и у семьи судьба сложилась. Бурильщик Иван Алексеевич Жданов старожил Ваховска, ветеран Вахской экспедиции, участник открытия всех в Ваховском регионе месторождений нефти и газа, не обойден наградами, славой и вниманием. «Стрижи» – речь о нефтяниках Томской области из Стрежевого – недавно праздновали юбилей...»

Иван привычно, чуть кривясь, играет белесыми бровями и как бы неохотно (но чувствую, не без приятности) сообщает: «Телевизор вот подарили. В президиум приглашали. То да се говорили. Вот фотография».

Фотография на стене: Иван Алексеевич при галстуке. Шесть правительственных наград. Взгляд официальный – в будущее.

– В дедовском роду, – говорит Иван Алексеевич, – все под два метра были. Я один середненький вышел. А дед был, у!.. Охотник, рыбак. 90 лет прожил. Еще в первую мировую воевал. В 70 лет босой по лесу ходил. Сейчас вот: Иванов, Иванов! Школа выживания, ученики. А мой дед просто, безо всякой школы и учеников ходил, не выкобенивался. И пережил многих.

Следом за Иваном Алексееевичем перебираю снимки.

– Во-от, вот он – Николай Спиридонович! – Иван показывает мне фотокарточку, добросовестно сделанную старинным профессионалом на хорошей фотобумаге (полароидные снимки сохранятся ли столько?). – Помню! Как же деда забыть. Все демьянские. Да! Там сейчас Правдинское. Салманов в честь «Правды» назвал. Наши родичи в Петуховке жили. А сельсовет в Демьянском. По селу Петуховка текла, от нее и деревня. Петуховка в Малую Демьянку, та – в Демьянку, а Демьянка уж – в Иртыш. Как жизнь: ручейком, ручейком, а потом глыбким омутом. По матери родня местная, демьянская. По матери дед Василий в колхоз не пошел – раскулачили. Дом описали, самого – в трудармию. Да! Забрали – и с концом. Сгинул. Бабушек и не помню, заболели от такой жизни и померли.

У деда Николая Спиридоновича четверо сыновей было и дочь. Отец был самый младший. Ото всех братьев отличался: они русые, он – чернявый. Погиб. Один дядька, что в Мурманске воевал, в тяжелой береговой артиллерии, жив пока...

Отец что же? Призвали его в 38-м, и не видели больше. А мать... О! Дед Василий строгий был. Жестокий. Да и времена-то тогда, и нравы были еще те! На меня вот обижаются иногда: тоже, мол, крутой, в деда. Но ведь нельзя же совсем распускаться. Конечно, раз на раз не приходится. Да ведь в чужую душу не влезешь. Выгнал, короче, дед Василий свою дочь, мать мою, Лукерью Васильевну Узину. Не обвенчались раз – неси свой крест как Господь сподобит».

Я держу фотокарточку, молчу и думаю, сколько раз мы встречались с Ваней Ждановым. Бывало, в нерабочей обстановке, но все разговоры вели про работу, про разные наши технологические тонкости. Случалось, о кино, книгах, фото. Он же фотографировал слегка. Да и кто в молодости если уж стихов не

писал, то не пробовал фотографировать? Хочешь разорить родителей – проси фотоаппарат, – ходовая присказка была.

Кто же ты, Ваня, если коснулся тебя с этой стороны? Поэт? Фотохудожник? Или буровик до мозга костей? Строгий, как дед Василий, наставник, моралист, дед? Или все же нераскрывшийся лирик, как на этой фотографии с гитарой, так похожий улыбкой, обаянием на Сергея Есенина? Русское лицо, и таких по Руси тьма и тьма. Но несут они свет и свет.

...Помню, приехал на практику после ГПТУ некий Шевченко. Этакий, с сизоватым отливом, саженец кукурузы. Белые ночи нравятся, а заморозки по утрам – нет.

И вскоре примчалась его мамаша: не климат мальчику! Справки всякие предъявляет. Вызвал парня с буровой. В моем кабинете встреча: в чем дело? Будущий буровик извиняется: погорячился!

«Это я, мама, по первым впечатлениям жаловался. А сейчас я в вахте бурильщика Ивана Алексеевича и мне работа нравится. Жданов строгий, но справедливый и настоящий мастер!»

Мамаша успокоилась, а сын доработал до окончания практики у Жданова.

Держу я фотокарточку, на которой улыбчивый молодой Ваня Жданов с гитарой, и удивляюсь: «Не ожидал! Когда ж ты на гитаре-то намастрякался? Чувствуется: не для виду держишь».

Встряхивает чубом Иван Жданов, совсем по-молодому. Щурит жесткие с кошачьей крапинкой серые глаза в белесых ресницах. Чуть пыхтит: нравится, чувствую, ему рыться в архиве, искать дедову фотокарточку.

«Ей-бо, была. Помню. Люда, а не в зеленом ли альбоме? Ну, точно. Вот, дед с усами. Похож на Сталина? Усы не усы, а брови точно. Да дело не в этом. Строгий был дед, но справедливый».

И, как бы подводя итог разговору, негромко, но веско говорит: «Если на одном месте жить, куда он денется, родовой корень. Тут будет, возле дома. А что Демьянское, что Ваховск – на одной широте, жить можно. Все растет, все цветет. Урожай дает. Не скажи бы нам в школе, что Сибирь, и не знали б. Знаем одно – родина! Родина наша, детей наших, внуков. И правнуков – может, и до них доживем».

РОМА-ВОДОВОЗ

Рамазиль Зуфарович Ганиев. Кто сейчас узнает в нем Ромуводовоза? Заматерел Ромка-водовоз, семейством крепким обзавелся, движимостью и недвижимостью. Да и должность сейчас приличная – заместитель главного инженера по технике безопасности и охране труда.

И все же кое-что от Ромы-водовоза осталось у него: легкость общения, непредвзятость (водички-то надо всем!) и истинно башкирский, с необидным подтруниванием юмор.

Познакомился я с Ромой в марте 75-го в ваховском «Белом доме». Был тогда Рома совсем юным и стеснительным, как девушка.

В самом деле. Родился он 16 августа 52-го года, шел ему, следовательно, двадцать третий год. Вот что значит воспитание в многодетной семье. Тем более в семье, где, по национальному обычаю, уважение к старшим воспитывается на утробном – генном – уровне.

Появился Рома на свет в деревне Салихово Аургазинского района Башкирии средним сыном. Трое братьев старше, две сестренки и брат – младше. Отец, ровесник «боевого» 18-го года, воевал в Великую Отечественную, стал инвалидом, умер в 91-м. Мать, с 24-го года, жива-здорова; они с отцом всю жизнь прожили в колхозе «Уршак».

Во время ли голода в Поволжье, по какой ли другой причине, рвались, словно канат талевый из-за жучков, иголок, смятия сердцевины, рушились родственные связи. Из-за смерти ли родителей, из-за отказа ли от них, но – рвались! И снова понятное для разведчиков сравнение с талевым канатом: переехал трактор через новенький, в заводской смазке канат, смял сердечник, сплющил трень. Вроде и цел канат, а нагрузку не держит, рвется. Вот и во времена ленинского призыва, великого перелома, в стахановские и иные времена не так ли рвались родственные связи, гибли родовые корни, прерывалось течение времен. Сын за отца не отвечает, отец – за сына. Нет уже отцов и сыновей. Есть только винтики машины, строящей счастливое будущее. Рушатся семейные традиции, национальные тоже. Пропадает понятие «честь имею». Теряется смысл честного слова. Имеет вес бумажка: анкета, справка, характеристика, бегунок, представление, объективка и, как следствие, приказ.

Так или иначе, у потомков Ромы-водовоза, если они будут строить родовое древо, на бабке Камал Сабагутдиновне оборвется ветвь, нисходящая в одно из чувств, где обретает сердце пищу.

«Так оно обидно, если внуки забудут, как звали моего отца. Только и будут знать, что Рома-водовоз. К матери приезжаешь – она всех помнит. Этот, говорит, такой-то твой брат, дядя, это – такая-то сестра, тетя, племянница. Запутаешься. А ведь правда: надо знать. Кровь-то близкая. Даже похож бывает так: удивляешься».

Ну что еще сказать про Рому-водовоза. В почетной должности начальника транспортного цеха увела его молодая специалистка-педагог с холостяцкой тропы.

Про работу бывшего Ромы-водовоза ничего говорить не буду. Приведу просто некоторые его биографические данные. Школу он окончил в 69-м году. Кстати, в Турумбетовской школе, где он учился, занятия велись на башкирском языке. И, насколько я знаю, в каждом райцентре Башкирии такие школы-десятилетки были. В них, наряду с иностранным, по нынешним понятиям, дальнозарубежным языком – изучался и русский. И надо сказать, что некоторые выпускники этих школ, я сужу по своим институтским однокашникам, знали русский язык почище иных исконно русских. Но при поступлении в Уфимский нефтяной институт в мое время проходная сумма балов была на два пункта ниже. Видимо, скидка на то, что экзамены, в том числе сочинение, они писали по-русски.

После школы поступил Рома в Уфимский автодорожный техникум. Потом служил в вооруженных силах. После армии брат его, Рафик Зуфарович, работавший у нас в экспедиции старшим механиком, привез его в Ваховск, и с 10 октября 74-го года в поселке появился Рома-водовоз.

Летом поселок снабжался водой по протянутому поверху водоводу: подавала воду плавучая центробежка из Ваха. А месяцев семь в году, по расписанию, развозила воду по поселку водовозка.

Вода для человека по значимости – вроде воздуха и пищи.

Рома-Рома. Если что, плюнь на все и дай людям чистой воды. В жару, в духоту атмосферную и моральную – это будет самым лучшим благом для человека. Будь, Рома, до конца Ромой-водовозом.

НЕШУТОЧНЫЕ ИГРЫ

Рабочий день закончился, а солнце чуть не в зените. Я собрался было домой, но тут меня позвали на рацию: 42-я буровая вызывает срочно. «В неурочное время – не авария ли?»

Связь, как обычно в ясную погоду, была отвратительная. Сквозь верезг эфира лишь с помощью радиста я понял, что буровой мастер просит вывезти вахту на базу для медобследования. «В чем дело? Отравились? Несчастный случай?» – прошу объяснить.

«Прилечу, все объясню!» – только и можно разобрать.

Сикторская площадь, по сибирским понятиям, рядом: четверть часа вертолетом. И я послал МИ-4 на буровую.

«Валерий Викторович – мужик серьезный, зря шум поднимать не будет!» – рассудил я. Позвонил в медпункт, попросил заведующую задержаться.

Встретив вертолет, я удивился: вахта выглядела здоровой и...трезвой. Буровой мастер тем не менее настаивал, чтобы их в медпункте заставили «дыхнуть в трубку», проверили на алкоголь. Буровики не возражали, но, в свою очередь, требовали, чтобы и мастер вместе с ними исповедался. «Он тоже пил – Славик его бутылкой пива угостил!»

– Меня бы лучше угостили: забыл вкус пива! – пошутил я и отправил их в медпункт: – Как подышите, тоже зайдите! – сказал ребятам, а мастера, едва мы остались одни, укорил. – Мы так разоримся, если по любому поводу будем гонять вертолеты. Дал бы им поспать и в третью смену направил...

– Николаич! Да не в том дело! Я утром, как прилетели, сказал по-доброму: «Отдыхайте, сынки!» Славик, дизелист, из отпуска, пивом угостил. Я бутылку прямо на вертолетке оприходовал. Вы бы любоваться стали? Жарища ж! А теперь бичары ею еще и попрекают! Ну не подлянка ли это? Они вместо отдыха слоняться стали. Похоже, на старые дрожжи добавили. Все, говорю, мужики, пойдете в ночь. Они – в бутылку! Славик и практикант, студент этот: «Пойдем в свою вахту, с четырех! Мы – как стеклышко, не пьянее тебя!» Бурильщик им: «Ребята, отдыхаем!» Ноль внимания: собираются на вахту. А все Славик! Не первый раз ведь, овца паршивая, бузит... Сейчас, ежели что, гнать надо!» – У Валерия Викторовича алые

пятна по загорелому лицу, голубые глаза в покрасневших веках молнии мечут: горяч мастер!

– Вот так поступим, – подвожу я итог разговору. – Если трубки будут за них – стоимость прогона вертолета за счет мастера, если против – за счет вахты, а сегодняшний день – прогул. Ускорение за скважину делать будете, тоже можно снять. Идет?»

Звоню в здравпункт: «Как там – «трубочники»?»

Заведующая отчиталась: «Да с ними и без трубки было все ясно: за метр разит! Заключения пишу...»

– Ну что-с, господа-воители? Каков результат? – спрашиваю усевшихся в рядок «трубочников».

Сидят, лыбятся: молодые, светлолицые, крепкие, один другого басче, будто в клуб пришли на танцы.

– Есть немножко, товарищ начальник, прокол получился... – Славик щурит настырные глаза, улыбается широко, демонстрируя доброжелательность.

– Точно, мужики, – сочувствую я, – прокол вышел! Но это вам не «сочинка»! В нешуточные игры играем: на буровой я пьянства и опохмелки не терплю, знаете же. За такое дело и «права» кое-кому можно потерять, а кое-кто – из института может вылететь, а потом под «нуль» и на плац: «Ать-два! Левой!..»

Посмеялись. Славик практиканта в бок:

– Не боись! Начальник шутит.

Тот довольно безразлично шевельнул накачанными плечами, нахмурил выгоревшие брови. Остальные помбуры кисло улыбались.

– Да, пока шучу, – говорю я. – А как перестану, скажу вот что: вертолет – солидарно – за ваш счет, сегодня – прогул, ускорение – на усмотрение совета бригады и мастера. Завтра утром, до вылета, подойдете сюда – завизируете приказ, что согласны со взысканием. До встречи, пока!

Интересно было наблюдать за сменой выражений их лиц...

– Ниче, корефаны, не боись! – первым пришел в себя Славик. Встал, поправил стрелки на брюках. – Только – никаких виз! Пусть высчитывают – дядька-прокурор потом разберется, гегемона не даст в обиду! Пошли, гегемоны!

В правомочности своих действий я был уверен: докладная мастера, объяснительные, заключение медиков – достаточные основания для принятия мер. Я подготовил приказ, попросил

дежурного отпечатать. И пошел наконец домой. Солнце, огромное, золотистое, только подкатилось к заречной гриве и раздумывало: нырять за горизонт или еще полюбоваться на притихший охоложенный вечерней прохладой мир.

Утро было свежее, безросное, ослепительное. Невыгоревшая голубизна неба еще больше выкругляла его купол, приближая горизонт, и он казался огромным. В такое утро совсем не хотелось конфликтов, и я с неудовольствием вспомнил о предстоящей встрече с провинившимися.

Они уже ждали.

– Ну, начальник, где там – расписываться? – первым шагнул ко мне Славик. Расписавшись, широко, по-вчерашнему приветливо улыбнулся. – Без «лапы» вы нас оставили! И мы решили карты бросить: ваши козыри!

Остальные хоть и были снулые, но не чувствовалось в них вчерашней злости, агрессии.

– Семь «бубен» не играем, – отшутился я. – Ничего, мужики, бывает: какие ваши годы, отыграетесь!

«Надо Славика на курсы бурильщиков при случае послать, – подумалось мне. – У него в вахте выступать никто не будет...»

2 ноября 1993 г.
Мегион

НЕУДАВШИЙСЯ ДАНТИСТ

Меня немного задело, что этот «фрайер», как я его назвал, жил в одноместной – «люксовой» – комнате экспедиционной гостиницы, а я, первый заместитель начальника, кантовался в трехместной. Ко мне, конечно, никого не подселяли, но самолюбие – пусть чуть-чуть – все же было задето. «Фрайер» был чрезвычайно вежлив, неназойлив, но я полагал, что, будь у него чувство такта, он бы предложил мне махнуться местами. Я бы, естественно, отказался: моя комната просторнее, рядом с кухней и раздевалкой, умывальник и самовар – под рукой, а в «люкс» надо идти через многолюдную «залу». Впрочем, все это забывалось, едва я уходил на работу.

Так и жили мы – настороженно-вежливо – около месяца. По весне, когда я вошел в курс дела, познакомился с коллегами, ко мне стали заглядывать на огонек главные специалисты, командиры-вертолетчики. Поводом чаще всего была ушица. Свежую рыбу поставлял мой зам по тэбэ: когда была возможность, я ходил с ним проверять сетки.

Мой сосед, если появлялся во время застолья, вежливо желал приятного аппетита и, сославшись на усталость, запирался в «нумере».

Я мимоходом узнал, что он врач-стоматолог, хирург. Приехал по вызову из Усть-Каменогорска. Что ему выделена квартира где-то возле библиотеки, сейчас там ремонт, и после окончания оного он привезет семью.

Был он невысок ростом, строен и хорошо сложен. Всегда тщательно, до синевы выбрит. Густые, чуть вьющиеся волосы аккуратно подстрижены. Большие светлые, с зеленцой, глаза постоянно за модными дымчатыми очками. Голос негромкий, с хрипотой, разной тональности, в зависимости от характера разговора. Вежлив порой до приторности. Замечания его бывали весьма едки; сам при этом он сохранял невозмутимость англичанина.

Еще до того, как мы с ним сошлись в конце концов поближе, я пару раз обращал внимание на странности в его поведении: несколько раз я заставал его в наполеоновской позе, когда он, не снимая очков, подолгу смотрел в ночное окно, и загадочная улыбка блуждала по его побледневшим губам. И я, грешным делом, думал: уж не наркоман ли он? Позже я спросил его об этом. Он укоризненно покачал головой:

– Ну, Николаич, даете! – и заговорил о себе в третьем лице: – Дожил. Юрь Иваныч, дожил! За наркомана тебя уже принимают! Оставил трехкомнатную кооперативную квартиру, погнался за длинным северным рублем, чтоб с долгами расплатиться. Оставил престижную работу в клинике... И ради чего? Ради четвертинки в деревянном доме, которую уже третий месяц ремонтируют, чтобы смог привезти жену с младенцем? Не себе оклад, выколачиваю еще деньги на оборудование для стоматологического кабинета, но все усилия разбиваются о железобетонного начальника... И ради чего? Чтобы потом тебя обозвали наркоманом?.. – Улыбнулся извинительно: – От кого-кого, а от вас – не ожидал! Надо же: тоску, депрессию принять за наркотическое опьянение!

Но это было позже.

А разрушили мы стенку отчужденности после Дня геолога.

Накануне, после банкета, я поугощался у начальника и вернулся в гостиницу поздно и, как говаривала моя мама, вспоминая отца, «нетверезый». А в таком состоянии я более коммуникабельный. Пока я шумно ставил самовар, из «люкса» прошмыгнула в сени гибкая, сутуловатая, с тяжелым узлом черных волос, молодая женщина, чем-то вызвавшая у меня образ однократного интеграла. Следом вышел Юрий Иванович. С раскрытия этого «интеграла», собственно, и прояснились наши отношения. Утром он совсем по-свойски постучал ко мне и вкрадчиво сказал: «Николаич! Разнарядка! Не пойдешь?..» Не взглянув на часы, я стал быстро собираться. И, только войдя за чем-то в «залу», где стояли по стенам серванты с посудой, шифоньеры с бельем, я увидел накрытый стол с шампанским. «С профессиональным вас праздником!» – с ослепительной улыбкой поздравил меня Юрий Иванович.

Шампанское живительным прибоем освежило все мои шарики и шарниры, успокоило совестливо-тревожную по утрам похмельную душу, и я дал себе зарок – устроить до Первомая каникулы.

Юрий Иванович подтрунивал над моей вчерашней «нетверезостью», а я грозил «открыть интеграл» его жене, «буде она приеде». С тех пор у нас в общении преобладал иронически-шутливый тон...

Я часто летал на буровые, иногда задерживался там дня по два-три. А тут как-то застрял на неделю: сначала дела, потом непогода. Юрь Иванович мне выговор:

– Николаич! Предупреждать надо: все жданки съел, а такой закусон пришлось выкинуть! У хантов на стойбище был. Ну, должен сказать, не экзотика – дикость! Какие библейские времена?.. Непонятно, где все пятьдесят восемь лет советская власть была, куда смотрела? Зубы... Разве можно это назвать зубами? Что у взрослых, что у детей – сплошь кариес! Кстати, не смейтесь, у вас – тоже, зашли бы как-нибудь, по-соседски, без очереди обработаю... Да. На обратном пути завезли на метеостанцию. Начальнику станции удалил больной зуб. Не поверите, он чуть не плакал от радости, благодарил: «Совершенно безболезненно, – говорит, – ну, будто комар куснул, и все!» Угостил он меня всевозможной рыбкой и дал с собой – не поверите? – живой стер-

лядки! Поза-позавчера сходил на рацию – сказали, что вы должны прилететь. Такой стол приготовил! Пождали-пождали – не пропадать же добру, позвал летунов... Такая стерлядочка!..

– Заливаешь, Юрь Иваныч! Стерлядка к нам не заходит. Тебе ершей, видно, презентовали: они вот у нас здесь действительно царские – что твоя стерлядочка, только колючки подлиннее...

Юрий Иванович задохнулся было от возмущения:

– Да что уж я стерляди не видел? В Усть-Каменогорске в фирменном магазине... – И рассмеялся: – А хоть и ерши, – вкусные были!»

За ужином поделился сокровенной новостью:

– Ну, Николаич, на днях с вами распрощаюсь! Ремонт у меня закончили. Чтоб не везти из Усть-Каменогорска, даже кое-что из обстановки купил. Не поверите – даже дров привез! Печку топить чем-то надо? Киномеханика нанял: сегодня обещал «Дружбой» раскрежевать хлысты. Завтра «помочь» устраиваю – придете? Заодно и квартиру обмоем. Квартиру посмотрите. А уж когда Стеллу с дочкой привезу, тогда милости просим на новоселье и крестины!

– Дочь-то – как назвали?

С выбором имени Юрий Иванович сам измучился и меня задолбал: все, кажется, выбрал! На почту уже пошел – телеграмму дать, нет, возвращается: разонравилось имя... «Арина Юрьевна! Марина Юрьевна! Чем плохо? Или: Вера Юрьевна! Истинно русское, символическое имя, – советую. – Кругом безверье, а у тебя дома – Вера! Не нравится? Ну тогда – Сарра Юрьевна! Рахиль...»

Юрий Иванович обиделся: «Ну, Николаич, вы меня... То наркоман я, то теперь еврей...»

«А чо стесняться-то? Не те времена! Вон, Мельцер наш... Анекдоты про евреев шпарит, магнитофон на всю мощь и: «Евреи, кругом одни евреи...»

– Назвали-то – как же? – переспрашиваю.

Юрий Иванович замялся:

– Без имени свидетельство о рождении не выдают... предварительно назвали... Геленой, может, так и оставим...

– Что ж, Гелена так Гелена, хорошее имя. Певица есть – Гелена Великанова. Может, и твоя дочь распоется.

Хоть и воскресенье было, а освободился я только к обеду: поздно пришел на «помочь». Но Юрий Иванович доволен:

– О, нашего полку прибыло! – Они трудились вдвоем с киномехаником, вот и вся «помочь»!

– Нич-чо, – зубоскалил киномеханик, обрусевший хант, – магарыч зато весь наш будет!

Скептически повертев хлипкий топор, я сходил к пекарне за колуном.

Погода была прекрасная. После мартовской потайки в апреле установилась ровная морозная погода. В купоросной синеве ни облачка. Воздух не шелохнется – свежий, осязаемо-густой, продышливый. Солнце – как оладышек в тарелке голубой! На ослепительном снегу четкие ультрамариновые тени. И тонкий аромат свежераспластанной березовой плоти...

Сложили дрова в поленницу, и Юрий Иванович повел в свои хоромы...

Сени с кладовкой... В многослойной обивке (по числу прежних хозяев?) дверь в жилую часть дома, коридорчик: прямо – в комнату, налево – в кухонку...

– Ну что ж, у меня первая «фатера» была тика-в-тику! Да и здесь пока шабашники сладят нам с главным геологом «коттедж», тоже в такой придется летом пожить. Завязывай, Юрь Иваныч, с холостяцкой жизнью, вези семью: поинтегралил! – не удержавшись, подкалываю хозяина.

Киномеханик ничего не понял:

– Чистенько побелил. Да и полы... Щелей нет, краска лаковая... Печка – не протапливал, дымит, нет? – деловито интересуется.

– Ищи кошку! – серьезно советую я. – Только не забудь символически заплатить. Как будешь вселяться, пусти ее впереди себя. На новоселье обязательно надо будет выпить за все углы. Тако же за каждую дверь, окно и форточку, за трубу и вьюшку...

– Николаич, да я ж разорюсь!..

–...За печку, за духовку, за каждый замок...шпингалет, калитку... за каждую грядку в палисаднике...»

– За каждое полено... – подсказывает киномеханик, и все смеемся: хорошо сказал! Намахались колуном хорошо, можно и горло промочить.

Венгерское вино было из НЗ начальника – Юрий Иванович с орсовскими женщинами дружил. Таким вином можно было не такую хибару обмывать, а воздушные замки!

Вскоре привез Юрий Иванович семью...

Жену свою, Стеллу, Юрий Иванович расписывал в превосход-

ных степенях: «Жена у меня – что внешне, что по характеру – лучше не надо!»

Ростом она оказалась выше его, безбровая, кожа розоватая, как при аллергии... Не блондинка, не шатенка... Да и характер, показалось, не ангельский: на Юрь Иваныча покрикивала не шутя-любя-нарочно, а только так! «Да Бог с ними! – сказал себе. – Муж да жена – одна сатана!»

И зажил Юрий Иванович своим домом...

Видеться мы с ним стали редко. По финансовым делам и снабжению он имел дело с начальником экспедиции. Медпункт был напротив конторы, и он появлялся раздетым: в ослепительно белом халате, в дымчатых очках, с белозубой улыбкой смотрелся он великолепно. Иногда он заглядывал и ко мне в кабинет. После шутливых перепалок он обычно просил: «Николаич, повлиял бы на начальника...» Вопросы были разнообразные, но один стал повторяться: «Я же зубной врач. Хирург! Ты же видел: удаляю ювелирно! А протезированием без специализации не имею права заниматься. Осенью в Тюмени специализация по протезированию... повлияй, Николаич, объясни начальству, путь подпишет заявку в главк. Разве плохо будет: свой, экспедиционный, протезист. Тебе первому вставлю протезы. Какие захочешь!..» Я смеялся: «Нет уж... Начальнику вставь, а как руку набьешь – мне».

Как-то, при случае, поговорил с начальником – он упираться не стал: «Нехай едет. Обратил внимание – к нему с зубами даже районное начальство прилетает? Да. Но ведь жук он, я его сразу понял. Дергать зубы – одно, а вставлять – другое, разумеешь? То-то».

Еще за месяц до специализации стал Юрий Иванович закидывать удочки – чтоб во время учебы поквартировать у меня.

Дело в том, что в августе я привез семью, и тюменская квартира моя пустовала. И он об этом знал: познакомились мы семьями, девчонки мои, в преддверии школы, тютюкались с Гелей, одарили игрушками. Жены пожаловались друг другу на мужей. Юрь Иваныч, с подачи жены, посетовал на тесноту и неудобство квартиры и традиционно попросил: «Квартира побольше освобождается... Николаич, повлиял бы?..»

Сначала он крутил вокруг да около: «Дадут место в какой-нибудь общаге или служебной гостинице: человек шесть в ком-

нате... Ни тебе отдохнуть, ни позаниматься... Да и обокрасть могут...»

Потом уже открытым текстом: «Николаич, пустил бы ты меня к себе, а? Сохранность... Порядок... Да ты ж меня знаешь: ни пылиночки... чистота будет стерильная!»

Я решительно отказал ему. Он обиделся: «Николаич! Вот хочешь – дам тебе ключ от своей кооперативной в Усть-Каменогорске? Если тебе надо было бы и я бы тебе не дал? Да разрази Господь! На хоть сейчас», – и полез в карман за ключом будто бы, но вытащил сигареты и закурил. Жена, однако, меня укорила: «Чего уж ты – неудобно!»

Обиделся Юрий Иванович, обиделся... Ну и Бог с ним!

Беда с этой квартирой! Сколько вдруг у меня хороших знакомых появилось, надо же! Когда мне надо было, никого, а тут – тьма! Не по «моральному кодексу»? Ну и пусть!

По разуму было решение, не по сердцу...

Удивительно мягкая стояла осень. После затяжного августовского ненастья природа одарила нас спокойным солнцем, легковейным ветерком. Ни слепней, ни гнуса. Летишь – тайга многоцветным ковром внизу.

В конце сентября, прилетев с буровой, я пошел по вертолетке в сторону грузовой площадки – проверить, как подготовили подвески под тяжелый вертолет, который мы ожидали со дня на день. И вдруг услыхал с опушки, конца взлетной полосы, знакомый голос, звавший меня.

В зарослях таволги, этакими патрициями, полулежали Юрий Иванович и полноватый незнакомый мужчина. Между ними стояла бутылка «Плиски» и на газетке колбаса, хлеб и огурцы.

– К нашему шалашу – ласково просимо! – сказал, благодушно улыбаясь, Юрий Иванович, привставая на колени и здороваясь. – Проводины! – Он кивнул на стоявшие поодаль портфели: – Я в Тюмень, на специализацию, а он... познакомься, Николаич, зам главврача района по лечебной части, – к себе домой... У нас с проверкой был. Как я вам зубки подправил, а? – обратился Юрий Иванович к коллеге. Тот демонстративно откусил хороший кусок жесткой копченой колбасы и, улыбаясь сомкнутыми губами, стал тщательно жевать; проглотив, подтвердил известную репутацию нашего стоматолога:

– Комар больнее кусает! Берегите Юрь Иваныча, уведут! Легкая у него рука, как специалист говорю, а это – редкость!

– Оценят, как же! – с иронией отозвался на комплимент Юрий Иванович. – С начальником сколько воевал по поводу нового кресла, инструментария, материалов? А специализация? Сколько крови попортил из-за этих курсов? Спасибо Николаичу: помог! А вот ключи от квартиры не дал: не доверяет! Думает, я как бич какой-нибудь...

Таким обиженным херувимчиком он мне показался! Жальливое сердце мое и так уж испереживалось за свою жестокость и черствость, а подогретое «Плиской» и вообще взбунтовалось против разума.

– Ан-2-то – когда обещают? С аэропортом связывались? – спросил я.

– Да через час-полтора должен быть, – одновременно взглянув на часы, хором ответили коллеги.

Я сходил в контору, отозвал жену, в слабой надежде, что она будет возражать против моего неожиданного решения, но тут же получил одобрение.

– Межгород – только по талонам, в кредит – ни-ни! Я телефон столько пробивал, если отключат, худо будет! Книги – из квартиры ни одну не выносить! – вручая ключи, наставлял я Юрия Ивановича. – Сборищ и пьянок не устраивать, соседей не беспокоить!

Юрий Иванович, не слушая, уверял меня: «Да я... Да чтобы я!.. Да...»

Появился в поселке Юрий Иванович после Нового года. Был он жизнерадостен, светел, полон планов. Отдавая ключ, рассыпался в благодарностях: «В долгу, Николаич, у вас. Рассчитаюсь, только погодите. Развернусь! Контакты у меня уже кое-какие появились. Друзья-коллеги на первое время обещали поделиться: подкинут материалы и инструментарий... Я вам такие зубы вставлю – век не сносятся!»

Он несколько раз уезжал в командировки, побывал дома в Усть-Каменогорске. Зазвал как-то меня к себе в кабинет, показывал какие-то формы, прессы, слитки, порошки, первые образцы протезов. Хвастался, что уже несколько человек поставил «на корм», то есть дал людям возможность «тщательно пережевывать» пищу.

На этот я раз поддался его уговорам, сел в кресло и открыл рот...

Юрий Иванович мог торжествовать: я был беззащитен!

Тщательно простукивая зубы, обследуя десны, он укоризненно и серьезно читал мне нотацию:

– Зря, зря, Николаич, раньше не доверился... За один прием не получается! Сегодня удалим корешки... Завтра вот эту каверяночку запломбируем, десны подлечим, камни почистим... А к Дню геолога, край – к Первомаю, мостик поставим: мне должен приличный материальчик поступить...

– Золото, что ли? – косноязычно спросил я (анестезия еще не прошла).

«Дантист» – так я стал про себя с некоторых пор звать Юрия Ивановича – загадочно хмыкнул:

– Посмотрите...

На следующий день он поставил мне пломбу, хотя зубной боли у меня еще не было, и стал удалять камни, – однако от этой неприятной процедуры я отказался, сославшись на занятость, что в общем-то было правдой.

Ранняя весна кому-то в радость, только не нам: зимники садятся, рушатся, а у нас еще столько дел: перетащить буровые станки на летние точки, завезти массовые грузы и прочее, у нефтеразведчиков весенний день второе полугодие кормит! В конце апреля, когда обстановка разрядилась, я вспомнил про пломбы: не временную ли Юрий Иванович поставил? И решил зайти к нему.

У дверей его кабинета всегда был народ, а в этот раз смотрю: никого. Торкнулся – дверь заперта. В командировке или опять по национальным поселкам разъезжает? Выглянувшая на шум процедурная медсестра все разъяснила: «Уехал зубник... Временная пломба? Теперь в город или в Ларьяк надо будет лететь...»

Я был шокирован:

– У него что-то дома стряслось? Куда он – в Усть-Каменогорск уехал?

Медсестра, добродушная полная татарка, замялась:

– Не домой... Куда-то севернее... С заведующей у него не сложились отношения. Да и кому понравится? И так к нему народ со всего района приезжал, а как зубы помаленьку стал вставлять, совсем база стал... просил он пристрой, что к гостинице сделали, начальник не дал. Юрий Иваныч, скромный ведь такой, вцепился в начальника, как клещ... Начальник

послал его подальше. Юрий Иванцы улетел... А недавно приехал на машине и забрал семью...

Начальник все объяснил: «Нехай! Он криминальное дело хотел развернуть: с золотишком работать! Он загремит, а нам скажут: пригрели в экспедиционном медпункте махинатора! Не переживай, я уже пригласил – женщина-стоматолог едет...»

Логика была железная, но у меня от нее разболелся зуб.

И еще раз меня так же внезапно настигла зубная боль – когда я приехал в командировку в главк и вошел в свою квартиру...

27 – 29 ноября 1992 г.
Мегион

КОЧЕНЬ С ВЕРХНЕЙ ТОЛЬКИ

На Верхнетолькинской площади с 15 декабря 1976 года по 18 марта следующего морозы были за сорок: не буренье, а борьба за выживание! А в крещенскую ночь спиртовые – до минус пятидесяти – термометры зашкалило, на металлических было под шестьдесят...

Своими экстремальными условиями Верхняя Толька высветила многих. В том, что мы все-таки закончили бурением первую поисковую скважину, была заслуга вахты Кочнева. Только она двигала дело, остальные или едва поддерживали жизнь буровой, или, хуже того, отбрасывали назад, замораживали циркуляционную систему, выводили из строя оборудование. Естественно, не по злому умыслу, а из-за недостатка, я бы сказал, куража, который кто-то назвал умильно «огоньком».

Семнадцать с половиной лет прошло с той поры...

Вчера в Охтеурье повстречался мне Володя Кочнев, поизящнее своего отца в молодости, сам уже отец двух сыновей, но такой же стремительный, резковато-добродушный и отзывчивый на «надо», как и его мосластый, поджарый от житейских забот отец – Геннадий Илларионович Кочнев. Родился Володя в Ваховске в ноябре 1966 года. А его сыновья – третье поколение Кочневых. Династия пошла!

Большинство из тех, кого я просил поделиться воспоминаниями о своих предках, пращурах, кто, откуда они, к сожалению, далее деда с бабкой не помнили. Вот оно, следствие отлучения от своих родовых корней: сын за отца не ответчик. Не отсюда ли и многие наши беды?

Вот и у старшего Кочнева такая же ситуация с генеалогическим древом.

Голос у Геннадия Илларионовича Кочнева нутряной: бу-бу-бу...

«Бабку Марину по матери – помню, – бубнил Кочнев. – По отцу, говорят, умерла в ночь, как я родился».

Хоть голос у него нутряной, но говор чуток на «о», быстр, переливчат, внятен, словно у ручья, почти речки, сбегающей по камням, округлым, сглаженным.

Село Борок в Татарии, в 12 километрах от Нижнекамска, – родина Геннадия Кочнева и его отца Иллариона Степановича. Там же его родитель встретил свою половину – Анну Васильевну. Но, нажив с ней четверых детей, метнулся к другой и с нею нажил еще четверых. А когда прибрал ее Господь – вернулся с детьми к первой семье, и стали приемные дети звать Анну Васильевну кто мамкой, а кто – бабушкой.

«Ниччо!.. Жили и тогда по-братски, и сейчас дружно живем. Младший, который бабушкой звал мать нашу, ездит к ней и поныне».

Драматическая, казалось бы, ситуация, но в голосе обиды нет.

«Ниччо! Выжили. Родни было много – помогали. Да сами, как себя помню, сложа руки не сиживали. Я росточком чуть поболе кнутовища был, когда стал скотину пасти. Как время пришло, в школу пошел, в Борокскую семилетку. Хорошая была школа: после пятого класса из других деревень учеников принимала.

Школу окончил, работать стал. Так бы чо?.. Может, и дальше пошел бы учиться, да старшего брата в армию забрали, среднего – в ФЗУ. Тоже желанья больно-то не спрашивали, по разнарядке посылали, а иначе принудработы. Вот и пришлось до армии кнут, невод да лопату обымать. А проще – куда пошлют. И натурально и словесно. Оттель у меня и грубоватость, сызмальства впитывал, вот оно и аукает. Счас что? Можно и покаяться. Но ведь и до сих пор оно, это крепкое слово русское, помогает. Чего бы, когда вот понадобилось на

прорыв, сызнова про Генку Кочня вспомнили. Вишь, зовут. Приходили вот: «Помастери». Как быть? Согласился.

Да ладно. Чего уж. А про жизнь, коли интересно, так было дальше. Осенью 59-го в армию взяли: матушка-пехота. В Казанских лагерях учебку прошли, двинули – солдатское радио говорило – в Германию. Только на Польшу въехали – поворот. В Брест. Чо уж там у них, в верхах, произошло, Бог знает. В Беларуси, словом, стал служить. А в 61-м – сокращенье. Ну, когда Никита на миллион двести жахнул. А нас из пехоты – в стройбат. Вот и сокращенье! Три года два месяца семь дней служба продлилась.

А после чо? Опять в Борок, только работать стал на производстве в Волголесосплаве. Плоты с Белой, с Камы перевязывали. До 40 тысяч кубов в ином плоту доходило. До самой Астрахани спускали иные. Это дело, вязка плотов, тож не просто: тож ума и здоровья требует.

Вскоре и оженился. Марию вот взял. Стала у нас с ней своя семья, своя планида. И подались в 64-м на Север. В Нефтеюганск сначала. Квартеру снимали, как воробьи под застрехой. А после работы балок себе рубил. И так всю жизнь. Вот эту квартеру тоже все сам. Считается, что дали. А чо? Одни стены голимы. Вот материалы – где за бутылку, а где и... Другие всю жизнь на готовенькое, а мы – вот так, своим горбом. Но ниччо, есть еще на мослах кое-что. Да и клешни, – он потряс своими широкими ладонями, – ухватисты пока. А вот ей... – кивнул в сторону жены, – тяжельше пришлось: баба все ж. От надсады в Нефтеюганске-т первенца схоронили. Это-т короед, – вторяк, уж здесь, в Ваховске, родился...»

Геннадий Илларионович (обычно «Ларионыч» или «Кочень») чувствительно и звучно хлопнул сына по плечу с татуировкой, прославляющей Тихоокеанский флот, и сказал: «А дальше... Ваховскую жизнь ты мою знашь».

Как не знать? Не зря я начал рассказ про него с Верхней Тольки:

На таких мужиках, простоватых,
некрасивых, чумных, рябоватых,
чуть поддатых, заросших, кудлатых,
в кирзачах, телогрейках, бушлатах,
на угрюмых, сноровистых, хватких,
на любителях правды несладкой,

молчаливых, пытливых, смешливых,
совестливых до рези в глазах,
на святых! – еще держатся нивы
и заводы в больших городах.

«НЕ ЗРЯ ЛЬ ВАМ «СЕВЕРНЫЕ» ПЛАТИМ?..»

В январе 64-го года, на Святки, прилетело впервые в Сургут такое высокое начальство, что местное, на украинский манер, называло подобострастно каждого из них торжественным шепотом «они»: «сами «NN» прилетели». А с «ними» и «сами» «А», и «сами «В», и «сами «С»! А с «ними» – «а», «б», «с»»... А уж «х», «у» – и не упомнишь.

Выйдя из самолета, NN., осадистый, брыластый, скрипя кожей мехового пальто, хлопнул массивного, под стать ему, спутника:

– Смотри-ка! На Украйне морские порты позамерзали, а тут...

– Семнадцать градусов... – подсказал услужливо кто-то из встречавших аборигенов: партийных, советских и хозяйственных руководителей районного и окружного масштабов.

– Ну вот! А за каким... мы вам тогда «северные» платим, а?.. – захохотал NN. Все оценили его остроумие: смех – раскатисто – пошел по свите, и – пожиже – по клину встречающих. Зеваки – кто хохотнул, кто матюкнулся: «Давай, сымай! Кто работать-то будет...»

И в самом деле! У людей еще свежи воспоминания об «упорядочении» зарплаты, и в том числе северных льгот, проведенном в 59-м году: были снижены «потолки», в два раза увеличены сроки для их получения и пр. (хотя, надо признаться, к тем, кто имел «льготы», отнеслись по-божески: «северные» им «заморозили» по состоянию на момент упорядочения, а инфляции тогда не было).

Явлению высоких гостей предшествовали нефтяные и газовые фонтаны, победные рапорты и реляции. Убедившись собственными глазами в «фактическом наличии открытия века», они должны были внести личный вклад в его осуществ-

ление, подготовив «исторические решения»... Для принявших эстафету из их рук, затасканно-крылатые выражения звучали тогда со свежестью первородства!

В конторе экспедиции от прибывших стало тесно, и нас турнули по домам, предупредив в то же время, что, если понадобимся, чтоб были тут как тут!

В то время в Сургуте у всех, кого я знал, удобства были во дворе. И вот, наутро, ноги – в валенки, руки – в шубейку... В сенках, руки – крючком заняты, глаза – термометром: сколько там нынче?.. Чудеса! Что с термометром? Где красный шнурочек?.. Про все забыл: скребу иней. Весь спирт в шарик собрался. Батюшки! Да это же за пятьдесят! Первый раз вижу – чтоб с термометром такое.

Вышел на улицу: жмет, но не сильнее, чем прошлый раз, в Тайлаково, тогда – дышать нельзя было, дух перехватывало, да еще чуть сифонило... А тут – терпимо.

Вода в умывальнике замерзла. В ведрах, возле печки, покрылась льдом. Развел огонь, кое-как нагрел воды, побрился и, разбудив жену, побежал на работу.

На широком крыльце конторы оживленная толпа: хлопки, гуканье... Меховые костюмы, полушубки, унты, валенки... У многих, чувствуется, с чужого плеча. Фотокоры, видимо, жалуются друг другу: «Даже «японка» не тянет!..» – «За пазуху! А то затвор не работает!»

Погоду «дали» только где-то в полдень. Гости, двумя группами, улетели в Мегион и Усть-Балык: в Сургут уже не вернулись, даже Госплан спасовал перед погодой и синоптиками!

Как сановные гости кантовались в неустроенных тогда базах новых экспедиций, – вспоминали ли юность комсомольскую свою, – не знаю, хотя слухи ходили разные, – но нашу итээровскую общагу они наверняка вспоминали добрым словом, а уж райкомовскую «заезжую» – тем паче...

На следующий день стоял такой же морозный туман. Синоптики выпустили их по трассе – сразу в Тюмень... Представляю и сочувствую – как они намерзлись в грузопассажирских дюралевых «лайнерах»!

Рассказывали очевидцы: когда NN вышел в аэропорту Плеханово, то произнес вторую крылатую фразу одервеневшими губами: «Н-не зря все же «с-северные», платим...» Но в этот раз никто не хохотал...

...Ну а если бы природа нарушила свой ход, и Крещенские морозы задержались бы на юге «Украйны» на пару дней?.. Не урезали бы в очередной раз нам северные льготы?.. Кто знает... Видно, судьба! Поневоле станешь фаталистом: вскоре, в виду предстоящего потока даровых нефтедолларов, были нам даны дополнительные «льготы» – словно кость собачья, сейчас-то это многие понимают, – и поясные коэффициенты повышены, и сроки для зашибания «северных» сокращены, – и хлынул на Север людской поток (с мутью и пеной, какой же поток – без этого!)...

А задержись тогда морозы?.. Ну, пусть не урезали бы, оставили бы, как было?.. Может, и бума не было бы? Я бы уехал, ты бы... Глядишь, «вчера» потише «поехали», а «сегодня» – и дальше были бы, а?..

«Но, судеб повинуясь закону, все, что мог, ты...» опять совершил: отдал Северу все, что у тебя было, – душевный порыв, силы, здоровье, наконец! Заработал льготную пенсию, накопил, рублевого длинноты: аж, казалось тебе, до спокойного угла с удобствами на Большой земле...

Но достойные преемники «того» начальства достали тебя: не мытьем так катаньем... вернее, инфляцией: накопленья – «блыснули», а на пенсию – и в один конец не долетишь...

«Заморозили» нас. Как мамонтов – «заморозили»!!

Что-то ирреальное появляется в жизни, как на языческом празднике! Как на Святках: ряженые кругом, ряженые!

Видимо, был глубокий смысл в том, что на святочной неделе приезжали в тот високосный год САМИ!

В Сургуте тогда они оставили по себе разноречивые воспоминания. Из всего спектра их приведу крайние: те, кто жил в общаге, – весьма тепло (выпивка и закусон, приготовленные для САМИХ, как уже списанное, достались им), а те, у кого «улетели» унты и шубы, – матюками, остальные – кто как...

И только вот ближайшие потомки – уже под одну гребенку (т.е. и тебя, и меня с N!) – вспоминают всех нас недобрым словом.

А что будет дальше?.. Что скажут дальние потомки? Если они будут.

5 ноября 1993 г. – 19 октября 1995 г.
Мегион

«НЕТ, ДУША ЧЕЛОВЕКА – НЕ СЕРДЕЧНАЯ МЫШЦА!..»

Я знаю – солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!
В.Маяковский

Первый день на новом месте долог, а в больнице – особенно...

Свободной оказалась койка вдоль окна, у батареи: жар и хлад одновременно. Постельное белье серое, в пятнах, подросткового размера. Панцирная сетка продавленная: на боку не полежишь, только как в гамаке. Тумбочка – развалюха... Свет в глаза... Неудобное место!

Ни соседей, ни медперсонала... Понедельник – из увольнительной не вернулись? Или на процедурах?.. Ни книжки, ни ручки с блокнотом. Деликатно просмотрел газеты и журналы на тумбочках соседей: макулатура сплошная. Пластмассовая коробочка радио молчит, изредка издавая тараканий шорох...

Скучно лежать в неказистой палате одному, да еще в первый день: невольно погружаешься в свои боли и беды.

И наконец, ближе к вечеру, появился сосед, моложавый кореец, потом другой, с выговором на «о», всеми недовольный, призывного возраста юноша. Я повеселел.

Дней через десять молодой максималист, безбожный нарушитель режима, перешел в другое отделение, и оставшийся сосед, Владимир Иванович, предложил мне перебраться на освободившуюся койку.

Я отказался: «Как говорят в парламенте: «На переправе коней не меняют!» Выпишусь, поди, через недельку!»

С Владимиром Ивановичем мы еще не прискучили друг другу, помимо прочих точек соприкосновения интересов у нас оказалась общей и беда – опухшие суставы. А общий диагноз сближает людей посильней иного хобби: сравнивая коллекцию своих болевых ощущений с соседской, ищешь новые способы избавления от них...

И в этот момент в палате появился он, герой этого рассказа.

Он приветливо, как со старыми знакомыми, поздоровался с нами и, как бывалый охотник у костра, сноровисто расположился

на новом месте. Накинув внапашку спортивную курточку, с улыбкой и доброжелательностью в глазах, представился:

– Николай Андреич. Да! Просто Николай. Николай да и все. Не велика шишка: электриком... мастером в КБО. В бывшем. Сейчас не поймешь: булга у нас как везде...

Поздоровался с каждым за руку, поинтересовался, что привело нас сюда. Слушал внимательно, сочувственно. Полюбопытствовали и мы:

– А вы?..

– А я – на очередное обследование. На «подпитку»: укольчики попринимать. Как это? Смена времен года! – простодушно ответил он.

Владимир Иванович работал главным энергетиком какой-то организации, видимо, соскучился по работе и с новым соседом оживленно заговорил на «электротему». Выяснилось, что они имеют много общих знакомых, потом – что работали вместе в одной шараге, а чуть позже – и вообще вспомнили друг друга...

Я между тем томительно ломал голову: «Я-то откуда его знаю?» Ну знакомая личность, и все! Тускло-фиалковые глаза в набрякших веках. Голубоватые, блестящие глазные яблоки. Ершистые брови. Взгляд мягок, внимателен, даже прилипчив. Крупные улыбчивые губы. Густые, впроседь, жесткие волосы: враспад, как страницы раскрытой книги. Выше среднего. Костист, угловат. Голос... А-а... Вспомнил: похож на моего старого, к сожалению, ныне покойного сургутского друга, Николая Ивановича Ездакова, прости его Господи за хриплый, басовитый матерщинный язык... Голос-то вот у моего нового соседа и не похож на ездаковский: мягкий, задушевный, наивный... Но в остальном – копия. И от этого Николай Андреевич, тезка моего друга, становится, благодаря своему облику, близок мне и интересен.

Очередной обход врач, солидная смуглая женщина, начала с Николая Андреевича:

– Ну-с, давай послушаем, как там твой клапан стучит...

Он ловко, одним движением, снял куртку и «бобочку» и подставился под стетоскоп...

...На худощавой грудной клетке – почти в пол-охвата! – синевато-розовый рубец...

Врач долго обследовала его, потом спросила:

– Все нормально?

– Хоккей! Как часы! Режим соблюдаю.

После ухода врача я спросил осторожно:

– Что это у вас? Врач, смотрю, к вам по-семейному...

– Я ж у них два раза в год лежу на обследовании. Как предписано в послеоперационном заключении. Вот выписка. Хотите глянуть? Да чего неудобного? Желание есть – смотрите...

Не без смущения я взял конверт из плотного, как слюда, целлофана и, не вынимая бумаг, стал читать сквозь пленку:

«...ист/бол № 1867.

...ов Ник. Андр., 31, НИИПК. Жалобы на одышку, сердцебиение при умерен. ф/н. Ревматизм с 11 лет. Митр. порок в 15 лет. ухудш. сост. 1978 г. ...» И в таком же духе – четыре страницы.

Но, самое главное: «29 ноября 79 г. выполнена операция – протезирование митрального клапана МКЧ-2, полушар в условиях искусственного кровообращения...»

– Так это ж... – начал я вслух арифметикой заниматься.

– Тринадцатый год – как у Господа занял! – перебил меня Николай Андреевич. – Честное слово. Врач – и я ему верю! – сказал мне тогда: пугать, мол, не хочу, но, если не согласишься на операцию, Новый год, 80-й, не встретишь. Так и сказал. Пугать, говорит, не хочу, но и сильно обнадеживать тоже. После операции бегать, мол, будешь. А если все наказы соблюдать, то, мол, 30 – 40 лет – все твои. Вот так врач меня предупредил, и я решился на операцию. Там, в Новосибирске, где оперировали, не больница – институт. Обследование – о-о! – до последней косточки, до зубного корешка, – чтоб инфекцию в организм не занес... Что-то я не так? Вы уж извините: как попсихую, бывает, что и не так скажу, а сам не замечу. Так вот. Такие там врачи, надо сказать: асы! Вот мой врач, к слову. Хирург... С большой буквы! Врач. Он оперировал, и он же выхаживал: буквально не отходил от меня. Апельсины носил! А ведь получают они... Вот, не поверите? Медсестры рассказывали... Обидно даже... Вот я, электрик... Пусть высокого разряда, но рабочий... А получал выше его! И сейчас... Он мне недавно письмо прислал – ничего не изменилось! Ну разве так можно?.. Вот я... Скажите мне: разве моя работа может с его работой – ответственной, ювелирной... ну, я не знаю... с его искусством! – разве может сравниться?.. Жена вот у нефтяников работает. Бартер там всякий... то...се... У меня квартира, японский

телевизор... А он – до сих пор вчетвером в однокомнатной, с черно-белым телеком! Ну так же нельзя!..

Николай Андреевич завышагивал по комнате. Темно-фиалковые глаза засинели, на щеках заалел румянец.

– Не-ет, врачи... Что бы про них не говорили – люди! Да еще какие!

– Успокойся! – остановил его Владимир Иванович. – Знаешь ведь, что электрику нельзя волноваться. Это я тебе говорю как электрик с более высокой группой допуска. Сядь! Сейчас время такое: что врачи, что мы, энергетики, хоть небо рушься, свою работу бросить не можем. Николаичу вон – можно. Они наоткрывали нефти на сто лет вперед, теперь и тормознуться не грех, отдохнуть пяток лет... – Он спрятал усмешку в черном прищуре глаз, но я-то чувствую, что доволен: «достал» меня.

И я «завожусь» тоже:

– Вот такие, как ты, сажали уже однажды нас в калошу: сократили поиски нефти, а потом спохватились – и опять на нашем горбу, на нашем энтузиазме наверстывали упущенное! Нет ничего хуже, чем ждать да догонять: муторно! Я вот несколько раз по три года в отпуске не бывал: не отпускали, если даже нужда была. «План! Какой отпуск?» Сейчас вот, перед пенсией, этот энтузиазм и дает себя знать. И что же? Кто-то спасибо сказал? Да ни одна сволочь профсоюзная даже не вспомнила! А самое смешное, сейчас только появлюсь – молодые «суслики» попросят съездить на какую-нибудь угробленную буровую: «Николаич, может, у вас получится?» Мне бы послать их подальше, сказать: «Да, у меня все получится! А вот тот, кто угробил скважину, тот пусть и расхлебывается». И – не поехать! Другой раз и скажу так, да одумаюсь: скважина-то при чем? И поеду...

– Вот, Николаич, истинно говоришь! – Николай Андреевич вновь вскочил с койки. – Всегда задним умом живем! Я вот маленький человек, но понимаю многое. Вижу: не так живем! По расчету надо жить, это я понимаю, но ведь надо и по совести! А у нас что?.. Это вы правильно сказали, я понял: «суслики!» Вот у нас на работе... Не поверите? Прихожу с вызова... Даже когда не за мастера, а сам за себя, – все шмырк – разбежались. Понятно! Кто-то кого-то угостил! Ну вы же взрослые мужики: пейте на здоровье! Но учеников-то, пацанов, можно сказать, – зачем приучаете? Да и вообще... Ну, сколымили. Ну, деньга шальная появилась. Так употребите ее в дело! Цветов жене купите. Или подарок какой... Нет, сидят, пьют, балабонят. Не понимаю...

А вообще-то оказался он оптимистом, любознательным и добросердечным, очень предусмотрительным человеком – другой раз даже неудобно становилось от его обходительности: утром лекарства принесет, очередь в столовой займет, палату проветрит, даже уборку без очереди норовит сделать. И все это с улыбкой доброжелательной, с теплотой в глазах, с заботой в голосе... Удивительно! Ведь в груди его, в самой сокровенной части – в сердце! – вместо сердечной мышцы – пусть ее части! – работает нечто совсем прозаическое, как в насосе, – механический клапан.

– Хотите послушать? – предложил как-то он, усмехаясь. – Послушайте, не стесняйтесь, – все любопытствуют...

Послушал – оторопно стало! А ему – хоть бы что!

Это же какую силу духа надо иметь! Живет полнокровной жизнью: работает, дачку какую-никакую построил, участок обихаживает, двоих детей ростит, людей уважает, беспокоится за них.

– Все бы ничего, да вот лекарства надо глотать регулярно. Как на вызов идти, переодеваюсь, ребята мне напоминают: «Лекарства не забудь переложить!»

– А если забудешь?..

– Не-ет, нельзя пока забывать: детей надо на ноги поставить. Да и других дел еще много. И вообще – жить интересно...

Несколько раз на дню его вызывают: посетитель пришел!

Иногда он возвращается быстро, другой раз задерживается надолго.

«С работы... Сын... Жена... Дочка приходила...» – непременно отчитается он. Изредка то тот, то другой и в палату наведываются. Дети – симпатичные. Добрые слова о детях воспринимает с гордостью. «Дочка – умница, аквариумом увлекается, сын – спортсмен, биатлонист!»

Идиллия, даже завидки берут!

И вдруг все рушится...

В последний день марта, около шести утра, пришла его дочка, светловолосая, тоненькая, легкая, как из сновидения, неслышная. Разбудила отца, шепотом что-то сказала. Звякнула связка ключей, и она неслышно вышла. Отец полежал, повздыхал, потом оделся и встал у окна, обхватив себя руками...

– Случилось что-то? – через некоторое время спросил я его тихо.

– Сын дома не ночевал, – помедлив, ответил он. – Дочь у подруги была. Приходит вечером – закрыто. Подождала да к

няньке – тетку свою, мою сестру, так зовет. Переночевала у нее, домой – а его так и нет. Ей на занятия надо собраться, вот за ключами и прибежала: мать-то в ночь работает сегодня. Дружки с панталыку сбивают его. А такой парнишка был! Спорт забросил, биатлон... Просил его: «Пересиль себя, не бросай: самому радостно будет! Вспомни: как прекрасно в лесу, особенно зимой!» Нет, отцовские слова ему что горох. Вот что тот «дылда» скажет или «барон» какой-то – это в душу впитывает...

Николай Андреевич сел напротив меня и вполголоса продолжил:

– Не поверите, Николаич, ведь он уже один раз сбегал из дома. Мать чуть с ума не сошла. Ну как так можно? Отца не жалеешь – ладно. Хотя я вот себе не могу представить: будь у меня отец как я, разве бы я чем его расстроил? А уж мать... Мы ему не авторитет! Вот сродный брат – он авторитет! Как же, герой! В армию призвали, повезли, а он в Сургуте с поезда драпанул и второй год болтается. Все знают: присягу не принимал, ничо не будет! Я его предупредил: «К нам ни ногой, сына оставь в покое!» А сейчас самое время: жена на работе, я в больнице... Наверняка пришел и подбил моего: «Тебе вот-вот восемнадцать, могут в армию забрать, давай смотаемся, как в тот раз...» Они ведь хитрющие! Детективов начитались, такие сценарии составляют... Одного спрашиваешь, другого: «Только что видели... У того-то ночевал... На рыбалке, наверно, да мотор забарахлил...» А через две недели из Татарии телеграмма: у бабки живут... мой-то с паспортом, а тот балбес – как бродяга. Так и прикидывались: обокрали, мол, их, когда обратно добирались. С тех пор и пасу: паспорт отобрал, когда они во второй раз намылились драпануть. Да тогда мне как сердце подсказало: на вокзал и там в последний момент увидел его, вернул. Сейчас вроде за ум взялся: поступил на курсы у нас, экзамены по теории уже сдал; хвалили его: ведь светлая голова; сейчас вот практика заканчивается, зачет сдать – и удостоверение о квалификации на руках... И на тебе: все псу под хвост может пойти! Это все тот... Сам курсы водителей заканчивал, а перед выпуском – в бега ...

Я стал успокаивать его: погоди, мол, заночевал у кого, объявится.

– Не-ет, уехал, точно! – горестно произнес Николай Андреевич. – Это я во всем виноват со своей мягкотелостью: не надо было паспорт ему отдавать! Какой я наивный... Он ведь сообразил,

затаился: «пай-мальчик!» А я уши развесил: сберкнижку разрешил завести, паспорт перед тем, как лечь в больницу, отдал... Жена сейчас придет с работы, расстроится... Нет, я виноват во всем!

– Да не горюй так! – говорю ему. – Перебесится, за ум возьмется! Не он первый, не он последний. Вон, на Западе, как еще бегали!..

Но он, будто не услыхав моей реплики, продолжал казниться:

– Виноват во всем я. Ведь какой он был ответственный в детстве! Помню, в первом классе опаздывает на урок, плачет, а я успокаиваю: «Хочешь, я пойду с тобой, объясню, что я виноват: не разбудил тебя?» И так всегда: чуть что – «я виноват». Так вот полегоньку всю ответственность и перенимал на себя. А они, дети, хоть маленькие, а на ус мотают. Вот сейчас и расхлебывай, папаша!

Он вздохнул и стал доставать верхнюю одежду из тайников: из-под матраса, из тумбочки.

– Схожу, узнаю, что там. Да и жену встречу... Успокою...

И он ушел.

Я выглянул в окно. Город прояснялся в пасмурном мареве, только дальние шестнадцатиэтажки призрачно голубели дымными столбами. Николай Андреевич, по мере удаления от подъезда, увеличивался в росте, вот его стройная фигура скрылась в дальней арке...

Нет, душа человека – не сердечная мышца!

Часто ли я, со здоровым сердцем, забывая свою боль, пытался отвести ее от близких? Или меня захлестывали собственные переживания, своя нужда? Ах, Николай Андреевич, Николай Андреевич, разбередил ты мою душу!

А в твоей душе появилось ли недовольство собой после знакомства с Николаем Андреевичем, мой читатель, мой сосед? Спроси ее!

P.S.

«Общая нужда тяжелее частной нужды отдельного человека, – сказал Демокрит. – Ибо в случае общей нужды не остается никакой надежды на помощь».

Дай Бог, чтобы мы не дожили до общей нужды.

И я думаю, что все же не дойдем мы до крайней всеобщей нужды – пока есть на Руси Стецковы Николаи Андреевичи: остановят они нас, ободрят и укрепят наш дух.

1993 г.
Нижневартовск – Мегион

ДОРОГА НА ХАРАМПУР

Это рассказ о конкретном человеке, Афанасии Дмитриевиче Бондаре, о мегионском топографе, которому недавно от имени главы областной администрации, в связи с пятидесятилетием Тюменской области, было выслано Благодарственное письмо, – но я посвящаю его всем моим знакомым и незнакомым «топикам» и геодезистам, с которыми сводила меня судьба на юго-западе Башкирии, под Сургутом и Усть-Балыком, под Надымом и Газ-Сале, под Ваховском и Мегионом... И – под другими широтами и долготами этого полушария! Короче, всем «топикам»! Геодезистам! Картографам!

I

Ах, топографы, топики!
Кругом тайга –
ни дороги, ни тропки.
Трудно шагать.
Болотная кашица
хлюпает, тинится...
Зато под елью –
ресторан и гостиница.

Ветви пихтовые
нежны, пахучи,
орехи кедровые
вкусны – нет лучше.

Болота топки,
тайга густа...
Идут топики,
чертовски устав.

Теодолит, как винтовка,
плечо натер.
Скоро палатка:
ночевка, костер.

Сидят. Отдыхают.
Со смаком жуют.
Костер полыхает,
создает уют.

Задумчивы. Строги.
Простор им брат.
Не топики – боги
со мной говорят.

Июнь 1962 г.
Сургут, СКГРЭ

II

В кабине «Урала» тесновато: Афанасий Дмитриевич Бондарь, в шубе, грузный, как осенний медведь, только залегший в берлогу, посапывает громко, сладко, по-домашнему, с причмокиванием: только что лапу не сосет, – временами тяжко приваливается... Устанешь, двинешь плечом: отвали! – невнятно пробормочет: «Прости, дорогой... Не придавил?»

Дыша натужно, наш «Урал»
вперед тащился понемногу.
Пушистый иней опадал
с деревьев ближних на дорогу –
как снег! – от тряски иль от гула?
Дорога в гривах спину гнула
и – на стиральную доску,
в желудке наводя тоску, –
она местами походила...

Что ж, не впервой: сибирский «зимник»! «Урал» ничего: комфортабелен! «Воленс-неволенс»! Всякая ерунда лезет в голову: водителю легче – работает! А тут: размышляй! Размышлять-то что? Ввязался... Надо мне это было? Завтра бы на вертолете: часполтора и – обратно. Не-ет, В.Н., ищешь приключений на этсамое... На штабе зам сказал: на Бахиловку – новый Самотлор! – дорогу проложили. «Ударно», сказал, потрудились дорожники. Так-то оно так! Зимник вроде ничего... Но почему – по сторонам, с набега и уплыва, – старые, осыпавшиеся, смытые дождями и обветренные корневища, побелевшие, словно кости, сучья, поеденные короедом стволы в завалах?.. «Миль пардон!» Это ж старая дорога! Вот так всю жизнь! Новую дорогу построим, а едем по старой! Боже ж ты мой!

«Дмитрич! Афанасий! – толкаю в бок попутчика. – Почему так? Рамазанов говорил, что – новый! – зимник они построили!»

«А! – хрипит со сна мой попутчик. – Не обращай внимания, правильно едем: на Харампур, а потом – на Бахиловку свернем. Там у дорожников заночуем. Ты дальше поедешь, а я – на лыжах – бахиловские «точки» привязывать. Ни-ч-чо-о... кимарь!»

Справа, слева – таежная неописуемая ночнаяяя... краааасотищааа!

Зимник пошел узкий, тряский. Чтобы не набить шишек, я растер лицо и стряхнул остатки сна. Афанасий Дмитрич тоже расшевелился, и мы незаметно разговорились. Вернее, говорил Бондарь, а я вопросы да реплики кидал.

«Кончилась дорога на Харампур, на Бахиловский отвивок вышли, поэтому и затрясло. Та дорога – почти тракт: сколько по ней груза завезли! Цемент, емкости, трубы, солярку, керосин, оборудование... Шуму тогда вокруг Харампура было! Второй Самотлор ожидали! Между северными экспедициями, с Ямала, и приобскими – за него драчка была. И достался он мегионским. «Даешь дорогу на Харампур!» – лозунг был. Газеты постоянно писали об этом. Мне пришлось тогда покрутиться: за двадцать дней двести сорок километров визирки пробил! Дорожники – следом, и я с ними. Да... Все в мыле были! На следующий сезон уже грузы пошли. Награждали тогда, и я орден получил. Дорогу до сих пор с закрытыми глазами помню: каждый поворот, каждый мосточек, взгорок, ручеек и болотину. Да и не только эту трассу: многие, как у перелетной птицы, где-то тут, – он пальцем ткнул в густую шевелюру, – в подкорку, верно западают... – он хрипловато и одышливо хохотнул, – если лететь бы, как птица, пришлось, хоть ночью, хоть в тумане – не сбился бы».

Темнела прозелень неба над черно-мглистой кромкой тайги, выше брызгами белил появились первые звезды. Впереди слабенько, голубичными ягодами замерцали огоньки дорожников.

III

Афанасий Дмитрич – свой человек и у дорожников: разместили нас в «гостевом» балке, уделили от щедрот своих продуктов, посуду.

Свет в балке резкий: свежий аккумулятор. От печурки саунный жар. Афанасий Дмитрич готовит курицу, попутно наставляет: «Сначала надо сковородку раскалить. Потом

чуток постного маслица. Как оно заверещит – курицу можно класть или мясцо... Вот так... Чем-нибудь придавить: вот так. Огонь лучше убавить: жар отгрести. Во!.. А как застреляет, заверезжит, перевернуть. Снова заскворчит – сготовилось! Снимать надо и кушать, пока горячо...»

Кругом тайга, жесткая поземистая метель... А в балке... Сатир не сатир, но напоминающий какой-то персонаж из древнегреческих вакханалий: дородный, с гривой волос, распаренный, до завидок наслаждающийся жизнью. Презрев этикет, Афана-сий Дмитрич берет с затихающей сковороды кусок птицы мощной рукой, которая недавно безжалостно «выравнивала» тушку на раскаленном чугуне, и, чуть помедлив, подносит его к блестящим от масла губам, вонзает в разомлевшее мясо белые, хоть и подношенные, но крепкие зубы, отрывает мясо и начинает жевать... Пока язык ворочает, прокатывает нежное мясо по защечью, поднёбью и, сдобрив его слюной и ферментами, отправляет в алчущий желудок, Афанасий Дмитрич от удовольствия жмурит глаза... О, какое наслаждение испытывает при этом понимающий толк в еде человек! Он стонет от удовольствия, он длит наслаждение, он задерживает глоток, он тянется к новому куску – чтобы повторить удивительный миг насыщения, одну из немногих радостей жизни.

О, как обделяют себя те, кто и не в походных условиях, а из-за элементарной лености жуют холодную котлету и черствый бутерброд! Плюй, Афанасий Дмитрич, на этикет, лови – шумно, смачно – каплю сока, стекающую с мяса, подбирай корочкой хлеба остатки подлива, обсасывай косточки, как ты это делал в прошлый раз: аппетитно, естественно это у тебя получается, даже завидки берут! Не только в чертеже, в карте, в расчетах, но и в еде должна быть точность и завершенность.

IV

Вдали от милого порога
трястись мне вдоволь довелось
по «пьяным» северным дорогам,
тайгу секущим вкривь и вкось;
пилось и елось понемногу,
но так, как дома, не спалось...

«Не-ет, – приглушенно и одышливо посмеиваясь, возражает

Афанасий Дмитрич, – лучше тряская езда, чем хорошая ходьба. Оно, когда верст двадцать да на лыжах, ничего, а когда за сотню – уволь, так ухайдакаешься, что даже есть не хочется: упадешь и спишь без задних ног. Кто-кто, а я-то уж действительно и находился, и наездился: с 52-го в топиках! Да, с августа».

Бондарь шумно вздыхает, ворочается на нарах, подтыкая шубу, наброшенную поверх байкового одеяла. Свет выключен. «Буржуйка», потрескивая, остывает. Было бы электричество, как на буровых, включили бы «козла», и спи без забот. Ан нет: печурку подпитывать надо дровишками.

«Слушай, Дмитрич, – говорю я, – давно хотел спросить: откуда ты родом? Не из цыган? Больно уж ты на Будулая – кино, помнишь? – похож».

«Во-во! – оживился А.Д. – Меня и всю родню либо за молдаван, либо за цыган принимают. Да ради Бога! Между прочим, Пушкин писал своих «Цыган» в тех краях, откуда наш род идет. Но дело в том, что мы – болгары! Да. И фамилия моя по предкам не Бондарь, а Волчев, а точнее, по-болгарски, ВЛЪЧЕВ. То есть, Волков. Мой дед, Влъчев, родился за два года до смерти Пушкина. Сто шесть лет прожил. Я его застал и хорошо помню.

Был дед не только хорошим виноградарем, но и бондарем известным, и вино разливал в бочки, изготовленные своими руками. Предки мастерами на все руки были! Да и к потомкам кое-что перешло...Помнишь, как-то в Мегионе виноград, прихваченный морозцем, по тридцать копеек продавали? Смеялись еще все: чего это Бондарь ящиками его берет? А Бондарь ванную целую того винограда намял, посуду раздобыл – разлил, такое вино получилось! Не пробовал, что ли? Все ходили да нахваливали: «Ай, да Бондарь!» Мелочь, а приятно. Верно, с генами что-то да и передается! Да. Теперь про деда. Около 1860 года, при Александре-освободителе, в Санкт-Петербурге выставка-дегустация вин проводилась. Дед-то, Влъчев, – а жил он в селе Табаки Дунайской тогда губернии, нынче то ли Измайловская, то ли Одесская область, – взял да и отправил на эту выставку бочку своего вина. Вот каков дед был! И что? Понравилось петербургским дегустаторам его вино: сам губернатор Дунайский привез ему медаль! Но выписана она была Ивану Ильичу... Бондарю! Нет чтобы

Влъчеву-Бондарю – как, к примеру, Потемкину-Таврическому... – смеется Афанасий Дмитрич, – а то просто: Бондарю. С тех пор мы Бондари. Да...

Высокий был дед, худощавый, сутуловатый, но сильный, жилистый. Как помню, сам седой, а брови черные, глаза карие, веселые, нос с горбинкой. Голос интересный: как бы волнами, переливами, но строгий, голос-то. Два раза дед не повторял: скажет, и все. Но не попрекал. Набедокуришь, он знает, а молчит. Поругал бы лучше! Не-ет, вида не показывает. Повздыхаешь, помаешься и – боком-боком – к нему: «Дедуся, прости!» А он: «За что?» Выложишь ему свои бедокуры... «А-а! – скажет, – вон что! Тогда ладно. Ну так-то больше не делай (или: не бери без спросу, не обманывай)», – и вся недолга. Видишь как: давал «созреть» до понимания вины и осуждения своего проступка. Мудрый был дед!

Любил он, когда в помощники ему набиваешься: «Дедусь, дай работу!» Найдет что-нибудь по твоим силенкам. А как закончишь урок, обязательно похвалит и даст два лея на газировку. Буза так называлась. Шипучка вроде кваса, из проса делалась: пьешь ее, в нос приятно-приятно шибает. Подавали бузу в чульмеках: в глиняных, с женской талией, кувшинчиках. Эх и хороша она с похмелья! Частенько на Севере вспоминал ее.

А умер дед после освобождения Бессарабии от румын: от инфаркта, испугался, что в Сибирь сошлют. Не думал, что внучата в Сибири всю жизнь проработают, и ничего...»

Афанасий Дмитрич помолчал; покряхтывая, встал, подбросил дров в «буржуйку». Я похвалил его за память о предках, высказал свою точку зрения на эту проблему, посетовав на то, что в большинстве своем, за последние три четверти века, стали мы Иванами, не помнящими родства...

Воодушевленный моим вниманием, Афанасий Дмитрич продолжил свой рассказ: «А дед по матери – Александр Петрович Турчен – был священником. Обрати внимание: фамилия-то какая! Турчен! То есть из турок. Так или нет, но в детстве слыхал, что, когда они жили в Крыму, до переезда в Табаки, был он мусульманином. Деталей и мотивов не знаю – когда и как он перешел в христианскую веру, но известно, что на священника учился он в Петербурге. И матушка моя, Екатерина Александровна, говорила, что в детстве была другой веры (родилась она в 1894 году, почила христианкой в Табаках в 1968-м). В Табаки переехали они во время февраль-

ской революции. Вскоре отец мой, Дмитрий Иванович, – а было ему тогда уже двадцать восемь лет, – выкрал будущую мать нашу, «турчанку», и женился на ней... Дедам и бабкам (ни одну, к сожалению, не помню!) пришлось смириться: «крестины» пора было справлять (благо, священник свой!). Восемь детишек вскоре возле матери, Екатерины Александровны, словно вокруг клушки, гомонились, попискивали, голоса молодые пробовали.

Отец, Дмитрий Иванович, с 24-го года, поле подавления восстания, жил нелегально; из подполья вышел в 40-м, после освобождения от «румынского ига». (А веселым помнится это «освобождение»! Десантники пели: «Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход!» Мальчишки бегали за ними и тоже горланили...) Недолго пожил отец на свободе: война началась, эвакуировался в Одессу, а там – румыны уже, снова тюрьма. Отец – садовод милостью Божьей, вот и выкупил его за крупную взятку один румынский боярин, и стал отец на него работать. Прожил он гораздо меньше деда: скончался восьмидесяти пяти лет. А вот мы... Было нас три брата и пять сестер. Я – третий снизу. Сейчас поредел наш выводок: вслед за матушкой три сестры ушли в мир иной. Братья, и старший, и младший, работают до сих пор, сибиряки, как и я: старший в Якутии, в Мирном, в алмазной разведке, кимберлитовые трубки ищет; младший – в Якутске, в институте ФАНа, электронщик. Сестры в родных краях...

А я... что – я?.. В школе учился при трех режимах. Закончил Киевское топографическое училище. После него по сей день – полевая жизнь, с августа 52-го года – в Тюменской области. С кем только и в каких экспедициях не работал!..»

(Чтобы проверить его, называю знакомые мне фамилии геологов, геофизиков, буровиков: «А этого знаешь?» – «Знаю! – отвечает. – Там-то и тогда-то работал у него или встречался с ним». – «Этого?» – «Да!» – «Конечно». И вообще... про Мегион и говорить нечего: приехал в 64-м году с Модестом Синуюткиным из Нарыкар; в Мегионнефтегазгеологии и он всех знает, и его узнают и помнят многие.)

«С супругой на Севере познакомился... Сорок лет назад! На танцах... (А танцует Афанасий Дмитриевич до сих пор легко, непринужденно, красиво!) Я пригласил ее, потом она – на «белый вальс»... Вот и «танцуем» с тех пор по северам. А тогда

работала она учителем начальных классов. Судьба у нее нелегко сложилась. Она ленинградка. Ее отца, дивизионного комиссара, в 37-м расстреляли. Мать в блокаду умерла от голода. Вывезли ее из Ленинграда, попала она в детдом в селе Ситниково. После педучилища направили в Березово на работу... У меня родни много, а у нее, как у многих блокадников, никого... хоть она и шутит: все ленинградцы, мол, моя родня... Вот «такие делы»! Народили мы с ней троих детей, вырастили, да вот один, после армии уже, погиб на Севере. Несчастный случай... Старшая дочь сейчас в Москве, сын – в Мегионе... Внуки есть. Как же! Род продолжается...

Каждый отпуск мы с родней сговариваемся: встретится у сестер, на родине. Прежде проблем не было, а сейчас... – Афанасий Дмитриевич ностальгически вздохнул. – Попробуй, из Якутска слетай! Да и от нас – тоже... А тянет ведь: хоть взглянуть одним глазом, воздух детства хоть одной ноздрей вздохнуть! Табаки... Старинное село! Раскинулось оно на берегу Ял-Пуга. Реки не реки, моря не моря, – на берегу лимана, впадающего в Дунай в низовьях. В семи километрах от города Болграда, основанного в 1821 году генералом Инзовым, при котором Пушкин служил. Знаменит Болград своим храмом: знатоки уверяют, что он красивее, боголепнее Харьковского. По преданию, этот храм построили, вместо Белграда, в Болграде... Купол – чистого золота. Краса такая, что даже немцы и румыны в оккупацию не тронули. При советской власти были потуги раздербанить его, на народ не дал...Красивый город – Болград! Дуб там есть многовековой. А вокруг дуба, как у Пушкина, в «Руслане и Людмиле», – цепь. Городской парк имени Пушкина. При спуске в него на камне выбиты стихи, посвященные Чаадаеву... Там еще такие строки:

...Пока свободою горим,
пока сердца для чести живы,
мой друг, Отчизне посвятим
души прекрасные порывы!

Хорошо сказано, хоть и давно, – с детства запали мне в душу эти строки в славном городе Болграде!»

V

...Сколько трудов пропало втуне! Завезенный по «дороге на Харампур» цемент превратился в камень; ладно, что хоть солярку и керосин «высосали» тарко-салинцы и не вытекли нефтепродукты из проржавевших емкостей. А в ударном темпе построенная дорога оказалась «мертвой», и только часть ее использовали сейчас дорожники при прокладке нового зимника (а если и включили ее в свой «объем», Бог с ними, дело их совести).

Господи! Да впервой, что ли, пробивать нам «мертвые» дороги! Вспомним хотя бы самую грандиозную дорогу – в КОММУНИЗМ!.. Что в сравнении с ней дорога на Харампур и даже 501-я стройка – железная дорога на Норильск?.. Да и сейчас, на пути к РЫНКУ, по привычке ломимся мы через непроходимые завалы и буреломы. Не окажется ли это очередной «дорогой на Харампур»? Дело-то ведь в том, что одни сидят в мягких креслах, а другие – Афанасии Дмитриевичи да Викторы Николаевичи трясутся по ухабам, готовые ради отчизны вынести все...

VI

– Порывы-то в душе остались еще? – спрашиваю Афанасия Дмитриевича, прощаясь.

– Есть еще, есть! – поправляя крепления лыж, и оттого с натугой, ответил он. – Какие мои годы! Я ж Афанасий! Значит, по-гречески, бессмертный!

Закинув за спину рюкзак с теодолитом, Афанасий Дмитриевич стал прокладывать лыжню по снежной целине, чтобы «отбить» новые «точки» в натуре и «привязать» их к реперу.

Декабрь 1994 г. – январь 1995 г.
Мегион

«ГУСАР»

Прежде я наверняка встречался с ним, но не обращал внимания: таких у нас пол-экспедиции. Рост – чуть выше среднего, комплекция – плотная, голос – сипловатый от разного табака, плохой водки и мороза. Летом – в энцефалитке и подвернутых болотниках, зимой – в унтах, ватнике или радикулитке.

Обратил же я внимание на него при посадке в вертолет. Было это после длинных майских праздников. Народу – уйма, грузов – под завязку. Накопитель – битком, словно после амнистии.

– А я вам говорю: отойдите! Нахальничать будете – милицию вызову! – резким голосом выговаривала представительница Аэрофлота загорелому полевику с огромным рюкзаком на правом плече.

Он, обаятельно, как ему, наверное, казалось, улыбался ей, поблескивая обольстительно золотой коронкой, и сипло увещевал:

– Ма-а-адм, сильву пле... Старые дрожжи... Праздники ж: три дня гусарили!

Появилась наша дебелая диспетчерша, потянулась к ушку представительницы Аэрофлота, пошептались, похихикали, но под конец та отрицательно завертела коричнево-сиреневой головкой: нет! И наша, полуобняв, повела штрафника в зал ожидания, по-матерински ласково приговаривая: «Завтра, Костик, улетишь. Отдохни, похмелись в меру и баиньки...»

– Ты что, мать! – притормозил Костик. – Сегодня надо: завтра – съедят! Вот так: пожуют и выплюнут. Кому я тогда, жеваный, нужен? Не...»

Где-то, оказывается, террористы угнали вертолет с золотом, потому и бдительность: аэрофлотовская дежурная «пасла» нас до вылета. Но как ни старалась – напрасно! Через несколько минут вертолет плюхнулся на грузовую площадку, бортмеханик открыл дверцу, и рюкзаком вперед, как парашютист, подталкиваемый сзади такелажниками, в салон ввалился «штрафник», судя по всему, уже «принявший на грудь»: сивушный дух подавил запах авиакеросина. «Видимо, такелажник – на подбазу», – подумал я. Тот сразу уснул. Когда я выходил на нужной мне буровой, он, обняв рюкзак, безмятежно дрых.

Каково же было мое удивление, когда он ввалился в «Тай-

гу» – в вагончик, где я, освоившись, обговаривал с мастером план работ, ради которых и прибыл на буровую.

– Михалыч! – сипло-восторженно потянулся он к мастеру. – А вот он – я!

У мастера Михалыча желваки вспухли, будто карамельки кислые зажал, взгляд опал. Постукивая мосластым кулаком по дюралевой бортовке стола, он, не отвечая на приветствие, стал мерно и жестоко выговаривать:

– Вот что... друг ситный. Алкашей у меня своих хватает. Керн отобрали. Каротажники уехали. На хрен ты-то мне сдался? Прилетел с будуна отсыпаться? А «гусей» погонишь – опять мне нянькаться? Не-е... Вали отсюда!

– Да ты что, Михалыч?! Да ты... Будть спок: я на бок... На полку лег – и все! Лады?

– Перегаром твоим дышать? Нет! И не думай. Да и место уже занято: человек прилетел. – И тут же отмяк. – Ладно. Вертолета один хрен уж не будет: иди к итэровцам, у них должно быть место свободное...

Когда он ушел, чудом удерживаясь на играющих дощатых переходах, мастер махнул рукой: «Хороший, в общем, парень, геолог. Давно работает. Крепится, крепится, а как загусарит – месяцами удержку нет. Дотянет до последнего, когда уж статья светит, за ум возьмется. И тогда – в руках все горит! Всюду успевает: на работе, на охоте, на рыбалке и на прочих мужских промыслах... Все потерял: семью, квартиру, карьеру... Но выпендривается: «Гу-са-ар»!»

Двое суток Гусар не показывался на глаза. Романовна, повариха, спросила как-то итэровца, электрика: «Ну, чо там ваш... растоптанный... не погнал еще «гусей»? Чаи гоняет?.. Ясно... Жор нападет: ко мне заявится!»

Через день, припозднившись на буровой, я застал его в котлопункте за обильной трапезой. Романовна, как я знал, сама любительница «погусарить» в длительных отгулах, добродушно подкидывала ему котлопунктовские дефициты: болгарские томаты, венгерские фрикадельки и перцы, голубцы и лососевые «концервы». И Гусар стал питаться регулярно, с прихватом – на ночь.

Стояли длинные майские дни с землегрейным солнышком, с исходящим на нет в потаенных – запазушных – впадинках снегом, с закисающим на ночь березовым соком и густеющим

к утру изумрудно-винным туманом на опушках и в березовых колках. Истому в теле испытывало все живое, а разумное, вдобавок, еще и томление духа.

Гусар ходил в столовую в многоцветном – клинописью – американском спортивном костюме, загорал потом с тампонажниками на крыше балка, заигрывал с коллекторшами. Смугловатая кожа его хорошо принимала загар, коричневела под майским ультрафиолетом, расправлялась, молодела. Костик – так неофициально звали Гусара – уже начинал похлопывать себя по упругому животу и прихохатывать: «Майорскую масоль порастрясти... Турную кровь сокнать, а?»

На отошедших болотах подсыхала клюква. Небогато ее было, но кто желал, набирал банку-другую. А кто и берестяной туес. Мастер не раз пенял геологу: «Ягод бы пособирал, чем «шланговать»!» Тот отмахивался: «Да разве это – клюква? Одно название...» – «Да все едино, – не унимался мастер. – Хоть банку собери для женщин из отдела: приятно им будет. Не раз же они тебя спасали». – «Будь спок! Гусара не проймешь! Осенью, все женщины, после охоты, авансом получили – до двухтысячного года. Вот так!»

Стремительна северная весна! Я по нескольку раз в день – хоть на пяток минут! – заглядывал в тайгу, забредал в болота.

Болота полнились полой водой, по промерзшим краям было трудно заходить: глубоко, а на самом болоте, в середине, – по щиколотку.

На профилях, в густой – сексуальной щетиной – березовой поросли, – еще вчера вечером были почки: эдакие шеломовидные, с кольчужными шеями и спинками, а утром, на восходе, вместо них – зеленокрылые липкие птенчики! Вывернулось через несколько часов солнышко в створ профиля, и заструилась по лесному коридору зеленобликая тихая ароматная речка...

...Сколько мне было? Больше семи. Или около этого. Но запомнилось: еще лист не опал, а под ним уже березовые почки. Форма их врезалась: гладкая, остроконечная, с особым блеском. Чуть ниже как бы шея кольчужная. Я ж тогда не знал: ни про «луковицы» церквей (не от этих ли березовых почек их форма? Не отсюда ли слово «харалужные» – булаты?). Ныне многое знаю, еще более – не ведаю. Когда впервые читал «Слово о полку Игореве» и увидел к нему рисунок: строй русичей в шеломах и кольчугах – я тотчас же вспомнил березовую осень!

Острошеломье березовых почек.Опадем мы, опадем под осенними харалужными мечами – сложим свои головы к подножию древа-матери. Но она-то, мать-природа, мудра: из-под павшего и еще не опавшего листа маковки новых почек наклевываются.

Понадобились мне для работы кое-какие геологические данные. «Хорошо, что здесь Гусар», – впервые с приязнью отметил я. Прошу его, а он мне данные по соседней скважине сует.

– Ты мне по этой дай! – настаиваю.

А он в ответ с неподдельным возмущением:

– Чудак человек! Где ж я их возьму? Вместе ж прилетели: каротажников-то уже было – тю-тю!..

О том, что он мог бы и слетать за ними, я не стал говорить: это его дело. У геологов с буровиками вечная вражда.

– Ну, что ж, – сказал я. – Воистину, самый лучшей геолог – долото. (На геолога этот буровицкий афоризм – что красный плащ тореадора на быка.)

Слово за слово – родилась антипатия.

После этого, как назло, куда ни приеду – Костик уже там. Хоть под занавес, да появится! Часто в одном балке кантоваться приходилось. Делать нечего: нет-нет, да словом житейским, не только ж по работе, перебросимся, о том о сем порассуждаем, взгляды свои сверим: натура и начинает сквозь «случайные черты» высвечивать.

В конце августа я попал на отдаленную буровую. Переговорив с бурильщиком, спрашиваю:

– Мастер где?

– Та у контору вызвали. Гусара за себи оставил: не знав, що вы пожалуете...

В культбудке за рацией – Костик-гусар! Деловой: продолжая сотрясать мембрану, словно для поцелуя, руку протянул. Пожатие вялое. Барским движением руки в сторону: кофейник! «Шайищабыс, мол, или коф?» Мы с ним оказались по Башкирии земляками и в разговоре между собой употребляли ходовые русско-башкирские выражения.

В тот день я устал, да и нездоровилось в последние дни: я решил выспаться и ушел в гостевой балок. Однако вскоре меня подняли: в скважине возникли осложнения.

– Я ж не официально: на выходных. Идите к мастеру.

– Та были. Вин послав... Ну, подалее...

Технолог по натуре что врач: скважина «заболела», разве откажешь ей в помощи?..

Под утро захожу в мастерский балок – Гусар из-под полога смотрит ночную программу: изображение – одни силуэты, но звук сносный. Я уселся в когда-то зеленое, теперь автолового отлива кресло-колымагу.

– Что же ты от руководства отлыниваешь, а? – начал я выяснять отношения. – Трубку... Анекдот знаешь?.. Трубку и «мишка» может держать.

– Николаич?! Да пошли они... Задолбали, не поверишь? Я когда в колонковом бурения помбурил, не то что мастера, бурильщика по пустякам не беспокоил! А эти, лётные хохлы, чуть что – к мастеру! Боятся: «Абы що не вышло...» Не надо: это –должны знать! Получают-то они«грошив» поболе меня и вас. От так!

Вскипел чай.

– Угощайтесь! – кивнул Костик на кассету с сырыми яйцами и тарелку с печеньем. – Чай охотничий, с багульничком!

Вошел тракторист, добродушный, стриженный под «нуль» рыжеватый парень.

– Ну, ще? – поздоровавшись, спросил он Гусара: – Айда инды? Пекет уже: мин спекся. А?

– Не вовремя, ты, Рома... – отмахнулся Костик. – Погоди! Кончится связь... Там посмотрим.

– О чем это вы? – полюбопытствовал я.

– Лес у меня на корню выписан. Тут друг с бензопилой подвернулся, вывалил тридцать шесть лесин. К дороге теперь надо трелевать: трубовозы с обсадкой сюда пойдут, а обратными рейсами лес можно вывезти. Я с мужиками уже столковался. С Ромкой тоже вот сговорился: к дороге стрелевать. Усек?

– А для чего тебе – лес?

– Да на «фазенду»! На баню! На погреб! Да куда хотите! А что – и так продать можно! Знаете сколько сейчас куб хорошего дерева стоит?..

– Пошли, пошли! – потянул его тракторист. – Айда – на связь Николаич выйдет.

– Иди! – поддержал я тракториста. – Иди, пока комаров нету. Мне на связь все равно надо, заодно и сводку вашу передам, заказы...

– Не!.. – Костик решительно отстранился от тракториста. – Не хо-чу! После обеда – может быть. А сейчас – настроения нету.

Я засмеялся.

– Кому из вас лес нужен? Костик, у тебя – дача есть? Держите меня!

– Ну! Мне квартиру когда пообещали... Я и сообразил: участок не помешает! Да все прахом пошло. Дача – бар, квартира – йок! Трепачи все! Вот такие, как Ромка, – он хлопнул тракториста по плечу, – вот они – люди! А гнилая интеллигенция да нарождающаяся буржуазия только стонут да между делом народ обманывают... Мне бы сейчас плетку в руки или маузер, и пошел бы новую революцию делать. Интеллигент Плюев! Вот о чем дума. А вы: айда инды лес трелевать...

– Инти... лиге... – мелким, гортанным смешком зашелся тракторист Рома. – Да ты... Лодырь, вот кто ты! В геологи выущился – лентяйнищать! Помбур был бы – мастер тебя живо под зад мешалка: гуляй! Последний раз говорю: айда!

После связи разговор продолжился. Вернее, монолог Гусара.

– Когда на защите диплома был, встречался со всяким людом. И по пьяне, и так. Рассказал про наши завалы... У нас как? Лес на каждой буровой растолкали в стороны, и хорош: пусть гниет! Один друг загорелся: а что, если открыть малое предприятие по переработке этой древесины!? Представляешь? Оборудование в контейнерах. Завез, распаковал: пили – строгай. Стандартные детали. Компактно. По зимнику вези куда хочешь: под Москву, Уфу или Ташкент, и собирай фурнитуру. Законно и, главное, полезно! Вот на пробу я выписал на корню: дешевле, да и экспедиции польза, хоть копейка, а в приход. И мне бы прибыль! Доведи дело до ума. Нет, сорвался! Понимаешь, я – раб обстоятельств! Убедился: планирование мне противопоказано. Что поделаешь – люблю импровизацию! Где-то ведь мог бы найти применение этой своей способности? Так? Нет, я серьезно. Ведь жить надо интересно, правда? А что может быть интереснее, когда не знаешь, что с тобой случится в самый ближайший момент, какая озарит идея в следующий миг... Ждешь, а оно – скукота, серость, обывательщина, бухгалтерия: это можно, это нельзя... Сальдо-бульдо...

– Ну ты, прям, Ассоль! Алые паруса не высматриваешь? Нет, дорогуша, я тут на Ромкиной стороне: «трелевать» надо! Тем более если уже наготовил «хлыстов»...

– Да понимаю я все это, Николаич, умом. А ведь в человеке

есть что-то, что выше ума, сильнее... Думал вот: у меня душа, по всему, дедовская. Душа там или натура. Дед рассказывал: тоже беспокойно жил, как я, маялся. Когда началась коллективизация, он понял, что наган легче косы или топора, что раскулачивать веселее, чем косить, пахать, лес валить, хотя и рискованнее! И подался в комбед, потом в совет, а там уж и в чекисты... Раньше я жил, не задумывался, а сейчас время пошло какое-то... Смутное, как в дедовскую пору, и душа его во мне зашевелилась, засвербила – проснулась, одним словом. Чувствую: начнись сейчас заваруха, ведь точно окажусь среди тех, с кем был дед... Предчувствие имею, ей-Богу! Хоть в «горячую» точку подавайся!

Признаться, я был обескуражен его откровенностью. И все же возразил:

– Если ты и «дед», то наоборот: он занимался коллективизацией, национализацией, ты будешь де-коллективизацией, де-национализацией... Зачем тебе геология? Сейчас в обществе происходят геологические процессы: сдвиги, надвиги, сбросы, взбросы... Структурообразовательные процессы идут! Со скалодробительными деформациями: осадочные породы вздымаются ввысь, горы – на дно морское опускаются... Как когда-то в недрах земли формировались «ловушки» для нефти, сейчас в обществе создаются структуры для накопления капитала! Ищи свою, как говорят, нишу! Иди в брокеры, дилеры, бизнесмены... Или куда там еще, где можно импровизировать и рисковать? Ты ж молод! Ну!

Гусар встал, встряхнулся и со стоном потянулся. Пощипал усики, широко улыбнулся:

– Это точно – геологические процессы! Кого-то в «гармошку», кто – в «осадок», а кто и гейзером в небо пшикает! А мы нефтяным фонтанчиком загудим, а! – Он звучно всадил кулак в раскрытую ладошку, замер на миг и тут же скис:

– Так нас и подпустят к «фонтанчику»! Там «генералы» с приспешниками давно уже круговую оборону заняли, на выстрел не подпустят. Мы будем вкалывать, а они купоны с акций стричь как учредители! Обрати внимание, зайдешь в кабинет, сразу затыкаются! Секретов – как в чека! Сколько получают – не узнаешь, в общей ведомости их нет. Глядя на них, и бунтует «дедовская» душа.

– При таком раскладе тем более не сиди: иди «трелевать»!

Будешь собственником – успокоится в тебе бунтарь! Стройся: подворье чтоб, рысаки сил в шестьсот, а?..

На этом и разошлись: Гусар – в лес, я – на вертолетку.

Был тихий октябрьский день, чудом выделившийся из череды мрачных, зябких, все укорачивающихся антрактов между сырыми беспокойными ночами.

В поисках хлеба я забрел в новую девятиэтажную часть города. И почти лоб в лоб столкнулся с Гусаром. Выглядел он бодро. Поздоровались.

– Как душа, – спрашиваю, – не свербит? Давно тебя не видно. «Нишу» свою ищешь или уже нашел?

Усмехнулся в аккуратные усики, закурил сигарету, затянулся со смаком. И, пустив колечко, на выдохе, сипловато, почти шепотом, сказал:

– Николаич, все путем! Мин сикрит блям! Знаем-знаем, да не скажем. – Подмигнул плутовато кошачьим, в крапинках, глазом и повторил: – Будь спок: все «по путю»!

Март 1992 г.
Мегион

Я САМ ТАКОЙ

С Серегой Клюсовым – так его звали и друзья-каротажники, и заказчики-буровики – встретился я на аварийной скважине.

Когда я прилетел на буровую, там находился мастер по сложным работам Восточно-Мегионской экспедиции Сергей Долгушин, эдакий васнецовский Алеша Попович, и мягкообходительный сменный буровой мастер по имени Петр Иванович: он очень обходительно и мило отпросился на базу по семейным обстоятельствам.

Авария в скважине была серьезная: прихват бурильного инструмента. Аварию «восточники», как обычно, поначалу скрыли, пытаясь ликвидировать ее своими силами. Наконец, убедив-шись, что не получается, сообщили в объединение.

Я привез с собой новинку: возбудитель упругих колебаний – ВУК, устройство, разработанное в одном из академических

институтов, и решил опробовать его на этой скважине. Но для успешного его применения необходимо было по возможности точно знать длину свободной части бурильных труб, т.е. глубину верхней границы прихвата.

С помощью серии замеров вытяжки колонны бурильных труб под различными нагрузками по многократно опробованной методике я вычислил глубину прихвата – около 1680 метров. Но мне было приказано ждать геофизиков: их метод надежнее...

«Клюсов бы прилетел! – вздохнул Долгушин. – Серега, тезка мой. Уж он-то определит, точно!»

Меня это обижает. Как можно спокойнее, доходчивее объясняю, что и по вытяжке можно достаточно точно вычислить свободную часть колонны труб, если знать компоновку и провести серию замеров тщательно, аккуратно. Долгушин не возражает, чувствую, только из-за природной деликатности, а может, ошибаюсь: вычисления доступны ученику средней школы.

Наконец прилетел отряд. С вертолетки идут сразу к своей технике. Галдят. Похоже, что с будуна: в выходной подняли! Кто же из них начальник отряда Серега Клюсов? Неужели вон тот невысокий крепыш, покрикивающий резковато, излишне громко. Похоже, он! Типично славянское лицо. Большие, добрые – даже бесхитростные! – глаза незабудковой голубизны. Рот полногубый, незлой. И все же, при всей мягкости линий, чувствуется в нем колючесть, а в репликах – безапелляционность. Не понравилось это мне. И то: на Руси не все караси – есть и ерши! – чувствую, из этой породы Серега Клюсов.

Стали работать: четко, слаженно. Каротажники – свое дело, буровики – свое. Пошли на запись – стали поднимать прихватомер. Захожу к Сереге, знакомлюсь. Станция старенькая, осциллографная. Пока диаграмма проявляется, сохнет, говорю, на какой глубине магнитные метки должны исчезнуть. «А, все ваши расчеты – фигня на постном масле! – кричит он мне в ответ. – Вон... – называет фамилию одного специалиста по прозвищу «академик», – уж на что ака-де-емик, а ни разу близко не совпало!»

Берем подсохшую ленту, начинаем изучать: совпадение полное! «А! Случайность!» – равнодушно бросает Серега.

Мы отвернули на необходимой глубине инструмент, взяли привезенный мною ВУК, спустили его в скважину, соединились с прихваченным инструментом и начали «работать»: выбивать его вверх.

Мощность удара можно было регулировать. Начали с минимальной, постепенно довели до предельной. И хотя удары производились на глубине более 1 600 метров, буровая вздрагивала, как наковальня. Толчки ощущались и в каротажной станции. После цикла ударов я определил по своей методике, что длина свободной части увеличилась на сотню метров, – исходя из этого произвели отворот инструмента и начали подъем.

Когда подняли четыре освобожденные свечи (как раз сто метров), словно обрезиненные, – в вязкой сине-зеленой глине, Серега уважительно похмыкал: «Ну-ну! Поздравляю!» Расстались уже тепло: каротажники больше были не нужны.

После этого стали встречаться с Серегой эпизодически: либо на аварийных скважинах, либо на осложненных – когда приборы по стволу не «ходили» даже у Сереги Клюсова, и требовалось мое, как шутил Борис Сергеевич Хохряков, «шаманское» вмешательство.

Первопричиной непрохождения геофизических приборов являлось грубое нарушение технологии бурения, в результате чего ствол скважины искривлялся, а стенки в интервалах набухающих опор рушились, образуя огромные каверны; в этих кавернах приборы свешивались на кабеле отвесом и не попадали в сместившийся из-за кривизны ствол, зачастую заваленный шламом и осыпью.

Серега эту первопричину понимал, не в пример руководителям наших экспедиций, следовавших принципу «давай-давай»: «Пятилетку – за четыре года, скважину – с ускорением!» Экономили часы, сутки, тысячи, нарушая технологию, теряли – сутки, недели, миллионы... Главное – вал, т.е. метраж. Сколько было скважин загублено и списано потом по «техпричинам»! А сколько было потеряно геофизической информации из-за невозможности проведения полного комплекса исследований (не все приборы проходят внутри бурильных труб) или вообще – неполучено?

Не секрет, что у многих каротажных отрядов есть свои хитрости, ноу-хау, есть любимые и неудачливые, «поперечные», методы каротажа. Комплект каротажного оборудования (станция, подъемник), как правило, завозится на каждую буровую, а работать на них залетают разные отряды. С собой они привозят только зонды (скважинные приборы) да кое-какие запасные панели. Одни каждый метод пишут с первой

«ходки», для других скважину приходится то и дело готовить: то у них зонд «задавит» давлением раствора, то «сигнал» исчезнет и т.п. Не понос, так золотуха, как любил говорить Серега. Его самого Бог миловал. Везенье тому было залогом или уменье? Ясно, что уменье на грани искусства! Уменье, добросовестность, надежность – качества, необходимые для всего отряда. А искусство (пусть – мастерство!) – необходимо оператору и машинисту подъемника, они – тандем. Не просто два специалиста, связанные между собой микрофоном, показаниями приборов, они – нечто единое, общее. Скважина, зонд и они – не только электрическая и механическая связь между живыми и неодушевленными субстанциями, но, возможно, связь более высокого уровня, которая и определяет такие понятия, как везение, интуиция, мастерство, искусство, талант...

«Це?.. – голос у Сереги резкий, он чуть подается ухом к говорящему, извинительно улыбаясь, да и дикция с прицекиваньем: – Громце! Я ж на ухо туговат. Талант? Да вы це! Талант – Божий дар, а тут – яицница!»

Это я попытался подпустить ему «леща», а он разговор свел к шутке. И вообще, он ироничен, на слово скор, на шутку отзывчив; когда в ударе, речь афористична. В работе безотказен – приходилось встречать его в самые распраздничные дни и на вертолетке с рюкзаком, в болотниках, и на буровых (както с Лесной площади 31 декабря, несмотря на снежную завируху, счастливо вместе вылетели).

По материнской линии Серега Клюсов – сибиряк, тюменский северянин. Родился в селе Ярково под Тюменью в сентябре 54-го года, с белорусскими, по батьке, генами. А осознал себя впервые в Тобольске, откуда мать его родом и бабушка, в районе тобольского кремля, на взвозе. В те времена был ясен окоем, а воздух – благоухан... «Нефтехимией – близко не пахло! Не снилось даже», – замечает Сергей.

Тобольск помнится... Но и малолетнее детство, и школьные годы прошли на Крайнем Севере, в поселке Тазовском, на целый градус севернее Полярного круга, там, где река Таз впадает в ее имени губу.

Цвет тундры – бело-голубой, в зависимости от времени года. И солнце – то не сходит с неба, выписывая кренделя, то прячется надолго за горизонт, помаргивая в полдень плазменными ресницами. Полгода зима, остальные полгода – весна,

лето и осень. Быстротечна их смена. Стремительно расцветает и плодоносит природа, быстро и человек взрослеет на Севере: в унисон с ней.

Красива, но сурова природа на Севере. Не знаю, как Серега подростком, но я, бывая в тех краях в зрелом возрасте, на пределе возможного переносил пронзительные ветры при морозе под сорок и летнюю парилку с гнусом (жара за тридцать градусов и влажность под сто процентов!).

У матери Сергея, Нины Дмитриевны, было два образования: зоотехническое и культпросветовское. Поэтому, когда она с сыном и его отчимом переехала в 65-м году в поселок Мегион, стала работать в библиотеке. Заведующей библиотекой Нина Дмитриевна трудилась долго, пока в 78-м году не переехала в Нижневартовск. Многие мегионцы должны помнить эту невысокую приветливую женщину. Двухэтажное здание библиотеки на Ленина сохранилось, но, похоже, доживает остатние денечки.

Так что мегионцем Серега Клюсов стал давным-давно!

В 91-м году, после отпуска, вышел я на работу 2 сентября. В стране большие перемены, в нашей шараге тоже. И только бабье лето – как всегда! Прозрачный, как ключевая вода, и такой же прохладный и свежий воздух. Разноголосое многоцветье тайги... Летающие паутинки... высокое с тающими льдинками небо...

«Вовремя прилетел, Николаич! – радуется моему возвращению новое мое начальство. – На 294-й Мохтиковой проблемы: каротаж не идет. Там такое дело. После аварии забурили вторым стволом. Через некоторое время стали попадать в первый. Короче, сейчас там два ствола. Да, натуральные «штаны». Каротаж, может, отменят – объединение запросило разрешение у главка. Но колонну надо спускать обязательно: керн нефтяной! Пошамань, может, что получится?..»

Многое хотелось сказать в ответ, облитое «горечью и злостью», да послеотпускное благодушие и старое – советское! – воспитание не позволили: «Не на вас – на государство работаю!»

На буровой – ни бурового мастера, ни технолога, за всех про всех – мастер по сложным работам Стюров.

– О, смена прилетела! – обрадовался он мне. – Как, Николаич, отпускаешь?

– А каротажники – кто?

– Да Серега ж Клюсов!

– Тогда лети! Люблю, когда на буровой один остаюсь! В этом случае и с ответственностью все ясно, но и с дележом славы – тоже нет проблем! – смеюсь.

Обошел буровую, поговорил с бурильщиками: мужики знакомые, информацию дали честную, хотя и субъективную. После этого – к каротажникам.

– Ну це? – после приветствия спрашивает меня Серега. – Будет сквазына или нам удоцки сматывать? Нам тоже денежку надо зарабатывать!

– Как только – так сразу! – в тон ему отвечаю. Потом серьезно: – Буровой раствор до ума доведем, и буду устанавливать «псевдоствол»... Как на Чумпасской – помнишь? – попробуем. Не получится, другое дело. К полуночи готовьтесь!

– Мы, как пионеры, – всегда готовы! – смеются каротажники, продолжая прерванную «пульку».

Обработав раствор химреагентами, я добился необходимых параметров, произведя все нужные расчеты, приступил к созданию «псевдоствола» в районе «мотни штанов», если пользоваться портняжьей терминологией. Проведя эту технологическую операцию, дал команду на подъем бурильного инструмента, а сам пошел на вечернюю радиосвязь.

Едва я назвал позывные буровой, начальник смены радостно возвестил: «Все, Николаич! Отменили! Каротаж отменили. Готовьтесь к спуску колонны!» И, не выслушав моих объяснений, ушел со связи.

«Дернуло же меня выйти на связь!» – ругал я себя. Мне не только было жаль труда по подготовке ствола к каротажу, он не пропал: проведенные работы необходимы и для спуска колонны, мне было жаль потерянной информации, тех новых знаний о месторождении, которые, я был уверен, можно получить. Знал я и о том, что за невыполнение комплекса геофизических исследований банк ощутимо снижает смету по скважине.

«Что делать? Сказать Сереге или не сказать? Попытаться разделить ответственность с ним или все взять на себя?» – я кругами ходил по вертолетке. И решил: путь Серега ничего не ведает!

Были уже сумерки на нашем взлобке, раменье же вокруг нас и вовсе было залито дымчато-синей тьмой. Буровики закончили подъем инструмента и установили на роторе блок-

баланс под кабель, т.е. подготовили скважину к каротажу. Я заполнил бланки и пошел на станцию: будить геофизиков...

А они – в карты режутся!

– Что же не отдыхали?! – корю их. – Ведь сейчас работать!

– За нас не боись! – воскликнул Серега. – Отоспимся!

И каротажники занялись своим делом.

– Только аккуратнее! – прошу Клюсова. – Чуть посадка – сразу на вира, и шабаш!

– Добре, добре! – ответил Серега механически, занимаясь станцией.

Чтобы отвлечься, я решил сходить в баньку: в этой бригаде была хорошая, на ТЭНах, банька. Хотя ТЭНы и не сильно калили каменку, но и сполоснуться, и чуток веничком пихтовым помахать можно было каждодневно. Да хотя бы просто порелаксировать на истомном горячем полке.

С полотенцем из банки двинулся к каротажникам: каротажный кабель тугой струной поблескивает в свете прожектора. Аппаратура на сей раз у Сереги компактная, современная. В станции свободно. Чуть погодя, осмотревшись, спрашиваю:

– Как там, прошли?

– Прошли, прошли! – отвечает Серега буднично, не оборачиваясь – все внимание на приборы. Негромкие команды в микрофон.

– Посадки были?

– Так: цуть-цуть...

В шесть утра передаю сводку по скважине: «Каротаж. Записали СПАК. Наутро РК». В ответ чуть ли не матюки: «Срываете работу! Вывоз каротажников запланирован первым рейсом...»

Когда закончили каротаж, признался я Сереге во всем, повинился. «Нам-то це? Нам – нице! А вот вы бы – промеж двух жерновов оказались, если бы це, – только и сказал Клюсов. И тут же с сарказмом добавил: – Теперь медаль ждите!» – И улетел.

А мне еще предстояло так же успешно спустить эксплуатационную колонну и зацементировать ее. Я работал с удовольствием, вдохновением, и все у меня получалось. (Разве можно было предположить, что эта скважина когда-нибудь будет работать на конкретных людей, а не на государство!)

И с буровой я прилетел 11 августа с хорошим настроением.

В Мегион тоже пришла осень: березы позолотели, рябины запылали. Ранние улицы стали гулкими, воздух посвежел.

И даже то, что мне не только медаль не дали, но даже элементарного спасиба не сказали, не нарушало моего душевного равновесия: уж больно светлые, морозно-ясные, перспективы открывались перед страной после пресловутого путча, и свои проблемы поэтому казались мизерными.

С Серегой на буровых судьба нас больше не сводила. Встречались изредка на мегионских улицах, обменивались шутливыми репликами. Да один-два раза передавал ему от тещи гостинчики, если бывал на тех буровых, где она работала поваром.

Последняя встреча случилась сравнительно недавно: в сентябре 96-го.

– Ну, как, – громко спрашиваю, – приборы нормально ходят?

Смеется:

– Я сцас по другим «приборам». Геофизицеские – отставил.

– Что так?..

– Жизнь такая пошла! Сцас деньги – все! А у них глаз нету: идут к кому попало! Как говорится: не рад хрен терке, да по ней боками пляшет! Крутимся помаленьку. Живем! Мне ведь немного надо: мир цтоб в семье, здоровье да цтоб голова на плечах. И не пропадем!

В таком духе разговор...

На прощанье спрашиваю:

– Не против, если о тебе напишу в цикле «Мегионцы – это мы!»?

– Це писать-то? – Смеется искренне. – В передовиках не ходил. В начальниках... в руководителях – тоже! Велосипеда не изобрел...

– Самое главное – чтобы ты мегионцем себя чувствовал! Мегионец – это честный работяга, добрый, справедливый, патриот... мастер на все руки... Ты ведь такой?

– Раньше был поцти такой. А какой сцас – разбираться надо...

...Что ж, Серега, и у меня те же проблемы, тоже пытаюсь разобраться и в себе, и в окружающем мире.

1–3 августа 1997 г.
Мегион

ПОДКОНТРОЛЬНЫЙ РЕЙС

Из Пургая позвонили: к вам Мамалыгов. На Ми-8. Бортовой номер такой-то. Встречайте.

– Может, я не поеду? – спрашиваю своего шефа. – А, Борис Петрович? У меня встреча...

– А у меня? Не отлынивай: субординация требует! – обрывает меня «генерал».

Вообще-то, он – главный инженер, а обязанности «генерала» исполняет, а я – его обязанности.

Выехали на двух «уазиках» да еще «рафик» прихватили: какая у Мамалыгова свита сегодня? Может и не разместиться!

Старая вертолетка в пойме реки, рядом с промбазой и складами. Когда-то здесь первый «десант» высадился, и начали сразу же строиться без достаточных изысканий. А местность оказалась периодически затапливаемой. Да и без этого каждой весной – проблемы. Вместо того чтобы перебазироваться, трубную базу строим. Ладно бы грузы, как прежде, только по воде шли – большая часть идет по «железке», а железнодорожный тупик совсем в другой стороне! Новый вертодром тоже у черта на куличках...

Диспетчерская и зал ожидания – в полуразвалившейся, вросшей в землю халупе. «Зато на новом вертодроме – из импортных модулей!» – авиацию курирует главный инженер, поэтому «оправдательные» аргументы автоматически проигрываются. Взглянул на «генерала»: не вслух ли рассуждаю? Но он, возможно, сам «репетирует»: сосредоточенно, прищурив небольшие карие глаза, смотрит в серебристо-серую, белесую даль – туда, где сливаются небо и речная гладь...

Сказав диспетчеру, чтобы ближнюю площадку держали свободной, мы расположились в тени.

«Генерал» по радиотелефону предупредил начальников экспедиций, чтоб были наготове: мало ли к кому изъявит желание заглянуть Мамалыге.

Курим... Вспоминаем – с пятого на десятое, скорее для себя – прошлый его приезд...

Было это в начале марта. Приказал он собрать на совещание первых и вторых руководителей всех подчиненных главку

организаций и главных специалистов объединения. Народу набралось – прилично!

Совещание началось в два часа и продолжалось до одиннадцати часов вечера! Измочалил всех... Поднимет одного, другого... Накидает неожиданных вопросов, не выслушает, наорет: «Человеческий фактор надо учитывать! Работать с людьми!..» Тут же звонит в Москву по прямому проводу, в главк... Духота. Все в поту. Оторвется, еще одного поднимет и опять к трубке: северного «генерала» воспитывает: «Ти зачем этого подлеца из-под суда витащил? Опять допустил его к кормушке? Его не вигонишь – тебя уволю!» И с полчаса в таком духе! А мужики – стоят, ноздри раздувают, губы в кровь кусают, а стоят!.. Как кролики под взглядом удава!.. Времена пошли...

Я-то у него двадцать пять лет назад молодым специалистом начинал, знаю его: совсем не изменился! Сейчас грозит: «Уволю!», а тогда орал: «Вигоню без выходного пособия!» Правда, и сейчас прорывается: «Уволю без права работы даже сторожем в нашей системе!»

Вот такого джигита и встречаем мы сейчас... Хоть мне и терять нечего, а невольно проигрываю варианты... и сержусь на себя за это.

Подошла молочно-розовая (кустодиевская!) блондинка – диспетчер. Улыбнулась: «Отбой! Вертолет – неисправен, передали».

Облегченно вздохнули. Помчались в объединение. А там начальник конторы связи: «Вылетают. Другой борт дали!»

Снова ждем. Дело осложняется: приедет злой, задержек не любит.

Рядом с нами остановился новенький, только что с конвейера, «УАЗ». Борис Петрович вдруг стал вылезать из машины. «Пошли! – позвал меня. – Рублев. Второй секретарь горкома. По промышленности. Надо представиться».

Подошли. Назвались. Секретарь пригласил в машину. Меня удивила его информированность в наших делах. Видимо, заключил я, у него есть и наш план-график и «ковер бурения»...

Потом, когда он удовлетворил любознательность и показал свою компетентность, сдержанно-почтительным голосом, подбирая губы, словно боясь случайно выронить лишнее слово, стал его расспрашивать о делах районного масштаба «генерал»...

Перво-наперво он поинтересовался: не Мамалыгов ли попросил товарища секретаря подъехать? Нет, ответил тот, просто рейс подконтрольный: авиаторы его проинформировали. Мамалыгов не один. С ним наш республиканский министр. Член правительства России все же. «Правительство! Вчера, например, звонят... – секретарь скромно сделал паузу, – просят поработать с эксплуатационниками: что, им нужно, чтобы дополнительно к повышенным обязательствам дали еще сто тысяч тонн? Очень нужно! Пойдет прямиком в N-скую республику. Там к власти пришло ориентированное на Союз правительство. Запад их блокирует. Нефть сейчас для них – вопрос жизни и смерти! Вот что кроется за дополнительными обязательствами: большая политика! Жаль, что не все это понимают... К вам это, разумеется, не относится: план по приросту запасов вы значительно превышаете постоянно...»

Дождавшись достаточно продолжительной паузы, Борис Петрович поинтересовался у Рублева судьбой предыдущего первого секретаря.

Рублев значительно пожевал губы, почесал волосатую родинку на пухлой щеке, поиграл густыми короткими бровями и только после этого, глубоко вздохнув, сказал:

– Понимаете, сложное дело... Да, сделал он много... Себя не щадил и с других спрашивал. При нем была максимальная добыча нефти в сутки. У него громадный опыт... Я, помню, инструктором работал... На своей шкуре его нрав и методу испытал: круто!.. – и прервался, увидев улыбающуюся блондинку.

– Все! Улетел ваш Мамалыгов домой... Ой, что там, говорят, было! Первый вертолет оказался неисправным. Дали второй – что-то с экипажем... Министр ничего, а он – на пилотов: «Уволю!.. Вигоню!..» Вызвал свой персональный ЯК-40 и – фюйть!..

Заметив, что «генерал» недоволен, замолкла на полуслове.

– Не везет мне на «подконтрольные» рейсы! – шутливо заметил я. – Второй раз в жизни представилась возможность, и опять неудачно. Когда-то дежурил я по главку. Начальник, уходя, предупредил: «С Севера, спецрейсом, летит академик N. Обязательно встреть. Отвезешь в малую гостиницу». – «Будь сделано!» – говорю. Дежурю. Позваниваю в аэропорт. Отвечают: там... потом – там... там-то... дозаправка. И вдруг – потерялся... Дежурство кончилось. Звоню тому, другому...

Наконец, самому... Телефоны не отвечают: воскресенье ж! Еду в аэропорт. Говорят, вылет задерживается из-за академика: с местными властями общается. Когда вылетит, неизвестно. А уже восьмой час вечера. Шофер ноет: «Тринадцать часов за баранкой!» Отпустил его: в случае чего, такси возьму. Жду. В АДП диспетчера сменились. Надоел я им, что ли: отбой, говорят, борт дает ночевку. Со спокойной совестью уехал домой. Утром только пришел на работу – селектор затрезвонил: «Зайди!» – начальник главка. Захожу. Отчитываюсь. Тот матюкнулся: «Сам в обком звони: объясняйся! Мне-то уже пришлось...»

– Так что, – говорю я спутникам, – может, подождем: вдруг «подконтрольный рейс» объявится?.. А то придется потом объясняться...

Мои товарищи-встречающие, как в стоп-кадре, на секунду замирают в раздумье, «прогоняют» ситуацию и одновременно усмехаются:

– Хочешь – жди!

Да... Не боятся уже люди обкома! А Мамалыгова? Будем посмотреть! – как говорят в Одессе...

90-я ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ

«...Назначение параметрических скважин – изучение глубинного строения возможных зон нефтегазонакопления».

Параметрическая скважина № 90 на Тагринском нефтяном месторождении должна осветить интервал 3 000 – 5 000 метров. Скважин такой глубины в Среднем Приобье еще не бурили. На случай возможных осложнений предусмотрена тяжелая конструкция: ствол будет укреплен четырьмя телескопически входящих одна в другую колоннами труб. Но до того еще далеко...

Любая скважина – сооружение капитальное. И как любое фундаментальное сооружение строится в несколько этапов. Сначала разрабатывается геологический проект, на его основе – технический проект и смета. После длинной канители согласований, экспертизы выдается точка на местности. На эту точку

надо завезти оборудование, материалы. Буровая –это самостоятельно функционирующий комплекс со своим электропаро-водоснабжением, жилым поселком, столовой, вертолетной, культбудкой, со своей радиостанцией.

Для изучения строения нижней части разреза предусмотрен большой объем отбора керна – образцов породы. Скважина «простукивается» всеми мыслимыми геофизическими методами.

Покорение земной глубины имеет аналогии с альпинизмом: чем выше, тем труднее – там, и чем глубже – у нас. Есть нечто схожее и с освоением космоса – неизвестность и трудности.

На долото, что поднято с забоя,
с достигнутой впервые глубины,
с волнением смотрю само собою;
с каким-то ощущением вины
вращаю облысевшие шарошки, –
на них тускнеют, подсыхая, крошки,
глубинных,
нутряных
земных пород...

Казалось бы, чем сложнее программа, тем основательнее должна быть подготовка, тщательнее подобран состав участников. На самом деле – все наоборот. Параметрическое бурение для экспедиций, благополучие которых определяет господин «метр проходки», невыгодно. Подумайте сами: бурение 90-й займет более года. За это время бригада на обычных скважинах набурит раза в четыре больше. Дело усугубляется еще и тем, что наше объединение в последние три года и без того хронически не выполняет план.

Буровой станок для этой скважины поступал частями, некоторые узлы утеряны, поэтому монтаж велся с перерывами, разными бригадами. Обычно я не касался монтажных работ, а в тот год, когда свалились на меня обязанности главного инженера, волей-неволей пришлось столкнуться со злополучной параметрической. Вопросы посыпались как из рога изобилия: этого нет, то не сделано. И крайних нет! Кто-то из главка, будучи на буровой, предписал: приподнять основание на один метр, под вышкой. Одно потянуло другое: соответственно встало на цыпочки и остальное оборудование. Неудобно, хлипко...

Жарко, солнечно, вольготно: гнус затаился в тени, в пойме... Заказчик, подрядчик и «вышестоящее начальство» сидят у балков вышкарей и, похваливая ключевую воду, мирно беседуют. Заказчик – начальник Восточно-Мегионской экспедиции. Подрядчик – директор вышкомонтажной конторы – ВМК. И наконец, начальство – главный инженер объединения, в данный момент и.о. «генерала».

Все плотные, густоволосые. Друг друга знают не первый год.

Подрядчик уверяет, что ничего страшного: «Все образуется». Его позиция ясна и понятна: сдать объект, и дело с концом. Заказчик смирился с тем, что на него «повесили» эту 90-ю; он уже сбросил с баланса одну бригаду. «С нее, как с козла молока, ни метров, ни прироста запасов», – усмехается он. Для него сейчас главное: побыстрее забурить ее, чтобы отстали...

Позиция и.о. «генерала» Хохрякова, в общем, тоже понятна: сроки все прошли. Главк давит всерьез, поэтому надо сделать все, чтобы как можно быстрее забурить, и в то же время – на недоделки нельзя закрыть глаза.

Я – в меньшинстве.

– Как же «ничего страшного»! – взываю я к Хохрякову. – Борис Сергеевич! Бурить-то нам с вами придется! А как бурить? Посмотрите! Это же самолет Можайского! Как только запустим оборудование, весь блок завибрирует, консоли войдут в резонанс и замашут, словно крылья... Взлететь буровая не взлетит, но работать на ней будет невозможно. Насосы запрыгают, как лягушки. Манифольды будут «сыпаться» постоянно... Давайте решать принципиально: опускать вышку и все остальное. И монтировать по-людски!

– Так это ж полный демонтаж! – возмущенный подрядчик приподнимается. – Вы отдаете себе отчет? Кто нам разрешит?..

– Да что уж теперь? – поддерживает его заказчик. – Пусть устраняют огрехи живее, и начнем бурить. Б.С., я и бригаду, как вы говорили, уже завез. Что ж, еще год канителиться будем? Вот и мастер... Кащий! – окликнул он неспешного коротконогого мужчину в белой каске и светлой, стираной куртке. – Ярослав Дмитриевич. Дмитрич, как? Если скважину дать – забуришь?

Мастер по-пионерски отвечает:

– Дак хоть счас! Будет команда – закрутимся в ночь!

«Ну, наглец! – думаю я. – «Закрутятся»!»

– В.Н., – обращается вдруг ко мне Хохряков, – вы на горах

не бывали? Там ведь до вершины в несколько этапов добираются. Давай и мы так!

И Хохряков принимает волевое, как он говорит, решение и дает мне команду: составить график устранения замечаний и готовиться к забурке...

У «восточников» – так зовут работников Восточно-Мегионской экспедиции – бригады «летные». Они не любят заниматься подготовительными и ремонтными работами. Случись какая-нибудь поломка, сразу принимают «северную стойку» – голову в плечи, руки в рукава, – «нехай начальство думае, шо дальше робить». Видя, что большими премиальными не пахнет, явно не горели энтузиазмом и монтажники.

Я только что заставил прокрутить трансмиссию. Что тут началось! За поручни нельзя взяться – вибрируют, войдя в резонанс, так, что боязно притронуться: покалечат! Все оборудование, особенно компрессора, словно в секту трясунов записались: дрожат и вихляются... Спросил главного инженера ВМК напрямую: «Диплом куплен или заработан?» И в тот же вечер, на буровой, написал докладную о его отстранении от должности. Хохряков согласился, завизировал радиограмму. Но «партайгеноссе» потом его как «генерала» отговорил, и «чулочник», как их звали с подачи заезжего остряка, вместо наказания укатил за границу. Завидую иногда таким лицам, ей-богу!..

Истомно. Хвойный аромат.

– Курорт у тебя, Дмитрич! – сочувствую Кащию. – Не работать здесь хочется – отдыхать!

Жилой поселок Кащий разместил рядом с вертолеткой, на опушке вырубки, среди сосенок. Белки расставил в два ряда. Красиво... Жаль, что от родничка вдалеке.

– Кто чай обожает, нехай прогуляется! – сказал мастер.

Наконец установку привели в более-менее рабочее состояние и «закрутили». Первая колонна хоть и короткая: сто метров всего, да диаметр трубы более полуметра, а сама скважина в поперечнике – под метр. Долото с расширителем – словно огромная связка ананасов со стальными шипами. Пробурить такую скважину не проблема, а вот спустить колонну труднее, уж больно капризна мелкая резьба у труб, постоянно «закусывает». Весь мир давно на трапецеидальной,

крупной резьбе, а наши монополисты все мелкую гонят. Как бы то ни было – закрепим устье. Можно будет двигаться выше... то бишь глубже.

Следующая колонна подлиннее: тысячу сто метров. Здесь уже технология посложнее. И требования к трубам жестче, вес колонны за сотню тонн, и внутреннее давление больше. «Восточников» я предупредил, чтобы проверку резьбы, толщин и гидравлические испытания произвели на совесть. Ребята постарались: 70 процентов труб выбраковали. Снабженцы застонали: «Пустите по миру...» – «Ведите приемку труб по ГОСТу», – ответили мы.

Когда спустили и зацементировали эту колонну, появилась возможность перевести дух, накопить силы для следующего штурма. Говоря языком альпинистов, мы оборудовали промежуточный лагерь.

Следующий бросок – до 3 800 метров. Он труден во всех отношениях. Во-первых, на такую глубину в Приобье еще не бурили. Во-вторых, колонну такого диаметра и такой длины и близко не спускали. И в-третьих, зима! То, что летом делается само собой, в морозы превращается в неразрешимую проблему!

Во всяком случае у меня, как перед спуском с незнакомой горки, похолаживало под ложечкой. А ну как под снежком пенечек или ямка запорошена – так подкинет, что и на ногах не устоишь, шею свернешь. Но боишься – не катайся!

Главное – работать на «зеленый»!

У меня на этот счет своя теория. Все ситуации в бурении я разделил на три условные категории: «зеленый» – работай, «желтый» – работай только в случае крайней необходимости и держи ушки на макушке, «красный» – понятно, запретительный. Вот на «желтых» ситуациях и проверяются все: и начальство, и мастера, и работяги. «Желтый» – это работа с риском. Пресловутый тезис «риск – благородное дело!» оборачивается авариями и в конечном счете срывом плана, меньшими заработками. Работу на «зеленый» пропагандировал я на всех уровнях, особенно среди непосредственных исполнителей – ведь они денно и нощно стоят у пультов управления. Со мной все соглашались: бурильщики, мастера, главные инженеры, но пока не доходило до «желтого». Характерна в этом отношении и 90-я: запустили ее с заведомо неустойчивой работой бурового оборудования из-за просчетов при монтаже основания.

В январе 84-го возвращался я с Бахиловской площади на попутном Урале и завернул на 90-ю. Было раннее утро. Кащий уже на ногах. Да и Кащий ли это? Свежевыбритый, возбужденный... Меховая курточка, на брюках стрелочки, ботинки сверкают лаком. По сравнению со мной, измотанным семичасовой тряской, он словно парубок, собравшийся на вечорку...

– «Перехватка», – поясняет он, – вертолет вот-вот будет...

– А как же скважина? – спрашиваю я. – Без надзора?

– Получается, что так, – беззаботно соглашается Кащий. – Но присматриваем... – поправляется тут же, – хоть на ходу, но вахту передаем. А как же?

– Как же! – передразниваю его с огорчением. – Можно сдвинуть график, чтобы по одной вахте менять, а не обе сразу?..

А пока работа на «красный свет». Загудел вертолет – все побросали, гадают: «Наш чи не наш?» Практически безнадзорно молотят мощные польские дизеля – «полячки», чухают уралмашевские «бегемоты» – буровые насосы. Полшага до аварии: не «пошевелил» вовремя бурильную колонну, не проверил работу насосов, – вот и «прихват», попробуй тогда вытащи залипшую многокилометровую плеть труб!

Наконец прилетела смена – вторая половина бригады, которая заступает на вахту. Через некоторое время мастеру Назирову, напарнику Кащия, поступают доклады: один дизель неисправен, в коробке передач уровень масла ниже нормы, индикатор веса «грубит». Принимаем решение: поднять долото, произвести ремонт. Вот она «экономия»: потеряно минимум станко-сутки, а это подороже рейса вертолета! Назиров тоже за скользящий график.

– Иначе, клянусь, загубим скважину! – горячится он. – Вот так прилетаешь – и как кота в мешке приходится принимать! А вдруг на забое металл или с инструментом что – доказывай, что это не твоя вина. Вот и поднимаем другой раз неотработанное долото. Вай, сколько теряем из-за этого!

В середине марта долото достигло глубины 3 800 метров... Но до «привала» было еще далеко: каротаж, подготовка ствола к спуску колонны и сам спуск – не простой, а двумя секциями в два приема. Очень ответственная работа!

Скважина вела себя отлично. Каротажные приборы «ходили» по стволу без «затяжек». Однако каждые двое суток требовалось спускать инструмент и промывать скважину:

температура на забое приближалась к ста пятидесяти градусам и раствор, как говорят, «заваривался». Как только забойная «пачка» выходила на устье, буровая начинала куриться, словно Ключевская сопка.

Бригадный технолог Супрунов Степан Ефимыч, по прозвищу «Тагринский генерал», ходил гоголем! Его прямая заслуга как технолога, что ствол скважины в прекрасном состоянии. Месяцами, бывало, не вылезал Ефимыч с буровой, постоянно занимался раствором, «химичил».

Отношения между ним и мастерами сложные: Кащий – не нахвалится, Назиров то так, то так. Я Ефимыча тоже не до конца понял. Дело в том, что дурная слава впереди него ходила. Виноваты в этом в немалой степени его подозрительно-веселые, бесшабашные коричневые глазки да французская невнятность грассирующей его скороговорки. У меня с ним были столкновения: один раз подумал, что он навеселе, – пришлось извиниться, второй раз на бюрократической почве: безобразно вел технологическую документацию. Донятый моими нотациями, вскипел: «Вам скважина нужна или гроссбух?.. Все, что надо, у меня вот тут!» – постучал по лысеющему темени с желтоватыми кудерьками. Был он какой-то неустроенный с непонятным семейным положением. Ко всему прочему, прилипла к нему какая-то кожная болезнь, что-то вроде нервной экземы, которую он безуспешно лечил то у врачей, то у целителей. На буровой, в его балке, в тамбуре, стоит бочка, в которой он заваривает березовые листья, тальниковую кору, хвою, багульник, и в этом настое – как он шутит, в чалдонском чае – он правит свою болезнь. Эту же смесь, с добавкой грузинского чая, варит в «люминевой» кастрюльке на электроплитке и радушно потчует всех: «Чайку! Чай чалдонский пр-ротив хвор-рей замор-рских!..»

Свое неумение петь рекламирует с гусарской бравадой. Вылетел на день-два в Мегион. Вечером зашел в гости к знакомым. Посидели, выпили малость. Остаться бы ночевать, нет потащился Ефимыч в общагу. На дворе темно. Моросно. Да и идти-то рукой подать. Нет, тормознул проходивший мимо «уазик»: «Не подвезете?» – «Садись!» – «уазик» милицейский, – повезли, естественно, в вытрезвитель. Он сержанту: «Не могете Тагринского генерала забирать!» Наутро майор дал расписаться в постановлении на штраф: «Только из уважения к «гене-

ральскому званию» вашему да к начальнику экспедиции – беспокоится! – и отпускаем. А то бы, учитывая антиалкогольную кампанию, дали на полную катушку».

Во время бурения форма ствола скважины, несмотря на все старание, получается какой угодно, только не цилиндрической. Причин тут много и не буду на них останавливаться. Главное, что для успешного прохождения обсадной колонны по стволу, когда зазор между ней и стенкой скважины невелик, все неровности, уступы, а где и глинистая корка должны быть сняты. Для этого дважды проработали скважину с жесткой компоновкой.

Вместо третьей проработки, как того требовал техпроект, под мою ответственность, Хохряков разрешил прошаблонировать ствол «коленом» из четырех обсадных труб, – как и ожидалось, не было ни «посадок», ни «затяжек», и занялись раствором: обработали стабилизаторами и ввели для смазки нефть и серебристый графит.

Наконец – торжественный момент, начали сборку низа колонны. На вахте бурильщик Фарзалиев и главный технолог экспедиции Анкудинов. Пошла монотонная, рутинная работа, требующая, однако, максимума внимательности и аккуратности. Вот взяли с мостков уже шестую трубу, на элеваторе бурильщик стал поднимать ее вверх и... оплошал: когда на излете, маятником, труба была возле ротора, резко дернул ее, она задела предохранительным кольцом за ручку клинового захвата, держащего «низ», тот на мгновенье приподнялся – и этого мига хватило, чтобы 45-метровая колонна отправилась в почти четырехкилометровый самостоятельный полет.

Начались, мягко говоря, «охи» и «ахи», выяснения, кто больше виноват. Прения прекратили, и – вдогонку за «беглецом»! Когда его «поймали», он пошел легко, без сопротивления. Вот что значит хорошая подготовка ствола и раствор со смазочной добавкой. Спуск колонны продолжился.

Как-то после очередного дежурства и всех треволнений я прилег, не раздеваясь, в гостевом балке и провалился в беспокойный сон. Стукали кружки, хлопали двери – кто-то приходил греться, хлебнуть чайку. Колокольным гулом отзывалась буровая – затаскивали трубы по гулким на морозе мосткам. Привычные звуки, при которых обычно хорошо спится.

Вдруг сквозь дрему показалось, что кто-то сел на соседнюю койку, вроде послышалось: «Николаич, а, Николаич?» Потом настойчивее. Вот меня подергали за плечо. Различил при тусклом свете склоненного ко мне главного инженера экспедиции.

Я мгновенно встряхнулся: четвертый час, самое разбойное время.

– Пренеприятнейшее... известие... – И скороговоркой: – Заглушка с квадрата упала в колонну.

– Рисуй: размеры, форма... Эмоции потом.

...На нижний конец квадрата, чтоб он не замерзал в шурфе, наворачивают обычно заглушку. Резьбу заело. Ничего не помогало, даже адмиральская кувалда. Тогда решили прогреть резьбу. Бурильщик Иван Яцив чуть приподнял талевую систему; вывешенный, как маятник, квадрат качнулся, легонько задел несчастной заглушкой за муфту трубы, резьба «раскусилась», и железяка упала в колонну...

Главный инженер экспедиции предлагает рискнуть и не обращать внимания на железяку. Соблазнительно, но я отвергаю его авантюру: «Нет, в скважине я уверен. Сейчас самое худшее, что может случиться, потеряем двое суток. А если как ты говоришь – рискуем всей скважиной! Спустим на бурильных трубах внутрь колонны магнит или «паука».

Попробовали магнит, – неудачно. «Паук» тоже не взял, пришлось поднимать всю колонну – тысячу метров! Буровики, хотя и сами виноваты, обозлены на весь свет. И вот при очередном отвороте «свечи» помбуры «забыли»» застегнуть «юбку», охватывающую место рассоединения. Сами они успели спрятаться, а мы с главным инженером, ничего не подозревая, рассматривали, как сработал «паук». И вдруг – ледяной душ Шарко! Я прикрылся воротником, рванулся было в дизельную – не тут-то было! Сначала подумал, что зацепился за что-то. А когда парашют сифона стал опадать, выяснил, что это мой коллега молодой загораживался мною от раствора. Посмеялись: инстинктивно действовал парень, не нарочно ж.

Но вот нижнюю секцию обсадных труб длиной 2 100 метров собрали. Теперь предстояло спустить ее на бурильных трубах с помощью специального транспортировочного переводника до забоя – 3 800 метров.

Около двух часов ночи достигли забоя. Встали на промывку. Теперь удачного цементажа! Погода как по заказу: минус 38 по Цельсию (вот он, северный апрель!) и жгучий ветер...

А на забое – как в паровом котле! С учетом этой температуры у меня подобрана соответствующая рецептура тампонажной смеси, позволяющая располагать временем до трех часов с начала затворения. За это время нужно замесить восемьдесят тонн цемента, скачать его в колонну и вытеснить в затрубье. Затем провести еще ряд технологических операций. И все – до начала схватывания. Иначе – «козел»!

Как медленно внедряется технический прогресс в бурение. На практике, в Альметьевске, цементирование велось с использованием специальной станции контроля: весь процесс перед глазами, команды – по ларингофону. Красота! А тут – через четверть века! – порхай, как глухарь, с агрегата на агрегат: плюсуй, вноси поправки и держи всю картину, в динамике, в памяти – объем, давление, вес, характер циркуляции раствора.

Наконец – «стоп!» – можно расслабиться. Стал разуваться, портянки и примерзли. Кащий сверкает улыбкой: «Стопочку горилки и под кожух, га? З перчиком, га?» Обычно отрубаешься, а тут перенапряжение, простуда берут свое: сон не шел, я чувствовал себя разбитым. Кое-как ночь перемаялся. И погода, как на грех, оказалась нелетной.

Решили выбираться на попутных. До бетонки на цемагрегате. В холодной кабине еще и тряско; опустил уши, поднял воротник, затянулся поясом, – все равно кажется, что под одеждой гуляет знойно-зябкий ветер. Поясница разболелась. Совсем расклеился.

Часа два голосовали на бетонке. Около семи вечера полупустая «северянка» тормознула, как в прежние времена: «Вам куда, мужики?..» Доехали до мегионской дороги. Снова надо голосовать. Глухая заполночь. Дорога как вымерла. Темень. Время тянется бесконечно долго. Наконец полоснули фары: грузовик. Но берет одного. Попутчики, заметив мое состояние, уступили место мне.

Верхнюю секцию доспустили без меня. Таким образом достигли «второго промежуточного лагеря»: можно было пополнить «рюкзаки», перемотать, как говорится, портянки. Другие дела отвлекали, и на 90-ю я попал только в начале сентября...

К тому времени углубились уже на четыре с половиной километра, и в скважине вдруг перестали работать даже турбобуры новой марки. Сменили несколько комплектов – не работают! 90-я, видимо, попала снова в поле зрения верхов, и «генерал» грозил всем крупными неприятностями.

Буровики заканчивали спуск инструментов за полночь. Я сидел у газокаротажников и следил за показанием счетчика глубины. Операторы размещаются в двух кунгах, соединенных тесовым тамбуром. В одном «спальня» из двух мест: диван перед приборной доской и ниша за перегородкой, оклеенной обложками «Чехословацкого фото». Уютно, как в отсеке подлодки. В другом кунге разместилась станция контроля бурения – здесь рабочее, круглосуточное, место операторов. Я чаще всего заставал Юру, худощавого по-юношески, веснушчатого паренька. Он недавно из армии. Как ни зайдешь, все блестит, у порожка мокрая тряпка. Сам что-то настраивает, обрабатывает диаграммы. Чуть слышно мурлычет магнитофон. Реже сталкивался с его напарником Иваном Васильевичем – статным, степенным мужчиной в офицерской гимнастерке. Он днем и ночью сверлит, роется в схемах, швыркает надфилем, паяет. Оказывается, создается еще один усовершенствованный блок. Его больше занимает сама аппаратура, чем то, что она контролирует. В свободное время Иван Васильевич играет в шахматы, чаще всего с Ефимычем. Играет вдумчиво, неудачные ходы переживает, но не перехаживает, как его противник –Тагринский генерал. Начальник отряда у них – Рэм.

«Ну-ка, – попросил я Рэма, заступившего на дежурство с полуночи, – продемонстрируй связь с бурильщиком: передай, чтоб брали квадрат и к забою подходили с промывкой и проработкой».

Щелкает реле, бегают по направляющим печатающие устройства. Весь ход работы как на ладони: на диаграммах, на цифровых табло. Еще бы экран дисплея – и совсем современное производство!

Вздрогнула и побежала дремавшая каретка расходомера, клюнула диаграмму – выронила из зоба зернышко-цифирьку, замерла. Перо регистратора давления вычертило высокую пику. «Грубо насосы запустили. Спроси, Рэм, пусковая задвижка у них исправна?..»

Уточнил цену деления на индикаторе расхода промывочной жидкости, прикинул литраж: 18 литров в секунду. Мало! Неужели на таком расходе и бурят? Юра оторвался от шахмат, подтвердил: «Точно восемнадцать. Я Назирову говорил. И другим. Да вот диаграммы, посмотрите».

Чтобы не впадать в технологические сложности, скажу лишь то, что мастера и бурильщики зря грешили на турбобуры (думаю, не по злому умыслу): ротором бурить спокойнее (благо, импортный бурильный инструмент позволял это), а при турбинном бурении большая нагрузка на буровые насосы. Стоило изменить режим работы насосов, и турбобуры заработали.

К утру долбление закончили (а ротором бы пару суток крутили!). Когда я освободился, стояло раннее сентябрьское утро с дымкой и изморозью. Хотелось спать, я было задремал в станции, но вышел на вольный воздух, и сонливость как рукой сняло. Грибы стали попадаться, едва отошел от буровой. Скоро накомарник отяжелел. Чтобы грибы не мялись, я ставил свою «корзину» на видное место, а сам строчил вокруг по спирали. Возвращаясь в очередной раз с полной пригоршней грибов, увидел около накомарника... рыжехвостую белочку. Затаил дыхание. Раз – грибок схватила и на дерево. Ну, думаю, берешь с меня дань или как? Стал наблюдать. Нет, свои собирает. Те, которые я просмотрел.

Ах, какая белочка
прыгнула с пригорочка!
Хвост пушистый буквой «с».
Белка видит все окрест.
Вот, как фокусник, волнушку
сорвала и впрок, на сушку,
вверх, на елку унесла.
И пошла мелькать, пошла...
Повернулся я неловко –
прекратилась заготовка...
За нечаянный подгляд
я оставлю ей груздят!

Возвращался я в начале восьмого, до завтрака. Перед жилпоселком, среди невысоких сосен, скамейки. На одной из них пожилой помбур, в могучих «крабах» держит маленькую гармошку. Выражение лица не разобрать – солнце с его

стороны. Несколько человек сидят на крылечках балков, кто курит, кто обувается. Я встал за сосенку и послушал странный концерт. Вот гармонист резко оборвал «гопака» и зашел в балок. Остальные тоже молча разошлись.

– Вай! Когда же вы успели? – воскликнул Назиров, увидев меня с полным накомарником грибов. – Не зря говорят: ранняя пташечка клюв очищает, а поздняя...

– Что это у вас за странные посиделки – с утра? – перебил я его.

– О-о! Другой раз такой концерт закатывают – пыль столбом! Домой потянуло – потому и с утра, послезавтра пересменка...

Приказ о состоянии дел на 90-й параметрической скважине подписал «генерал», оказывается, в последний день своего правления: в очередной раз, несмотря на принятые «пожарные» меры, месячный план был провален и терпенье начальника главка истощилось. Особого огорчения или радости я не испытывал. Новый «генерал» был той же школы, только более жесткий, иезуитски-увертливый, без «академизма» и культуры предшественника. Правда, он был выдвиженцем нового начальника главка, и можно было рассчитывать, что условия «благоприятствования» в планировании и снабжении нам будут обеспечены. Но это когда-нибудь, а пока забурки «нулевок» любой ценой! Новая метла должна доказать, что она чище метет...

В последний раз я попал на 90-ю из-за аварии.

17 октября 85-го года вахта Фарзалиева (опять Валах Фарзалиев!) заклинила долото, сломала бурильные трубы. При авариях особо ощущаешь, как несовершенна буровая техника! Взять хотя бы роторный моментомер – чего бы проще? Не выпускается! Ведешь работу вслепую, только опыт и интуиция выручают, ориентируешься по нагрузке на дизеля да по биению роторной цепи. А ведь инструменту, при его почти пятикилометровой длине, даешь не малую закрутку – пружина до 25 оборотов! Или индикаторы веса. Цена деления плавает по шкале. Зачастую «дубят», а при ликвидации аварий приходится работать на пределах допустимых нагрузок! Хорошо, что итальянские трубы, которыми здесь работают, имеют большой запас прочности.

Приехали каротажники. Недовольны: скважина не готова. Вместо спасибо – авария ликвидирована! – разворачиваются уезжать. Они недавно выделились из объединения и козыряют своим суверенитетом. Хорошо, что начальником отряда оказался знакомый, Борис Высочинский, его я знаю еще по Сургуту – с пацанов. Его отец выращивал в палисаднике георгины – редкость для Севера. Однажды я экспроприировал багряного красавца для своей будущей жены и запечатлел его на нескольких фотокадрах. В течение двадцати лет, при каждой встрече, его отец пеняет мне: «Такой георгинище!..» И я на него не в обиде: лишний раз вспоминаются те счастливые дни, когда душа была беззаботно-возвышенна.

Так вот, Борис смилостивился и предложил: «Хорошо, тогда поехали, пока идет подъем инструмента, на рыбалку. Снасть найдется!»

Ехали долго и тряско. Остановились. «Урал» для маскировки загнали в ельничек и пошли пешком. На мне все с чужого плеча и с чужой ноги. Икры в ватных брюках заклиниваются в валенках, и я иду почти на цыпочках. Шагов через полтораста ноги мои побриты, и каждое движение штанин против шерсти причиняет нестерпимую боль...

Еще минут двадцать мучительной, как на протезах, ходьбы, и мы на заболоченной поляне с небольшими зеркально-блестящими окнами, опушенными стылой осокой. Это и есть место рыбалки. Никогда б не подумал.

Мне дали снасть и несколько червячков в спичечном коробке. Лед тонкий, черно-прозрачный, двух взмахов топорика хватает, чтобы вырубить лунку. Поплавок еще не успел лечь на воду, а уже поклевка. Подсечка – и у ног трепыхается аккуратный, с десертную ложку, красноперый красавчик! С десяток лет не был на подледном лове, а не разучился еще так подсекать, чтобы рыбка, вылетев из лунки, сама срывалась с крючка. Иногда попадаются продолговатые чебачки. Как их? Мохтики! Радость от рыбацкого везенья переполняла меня. Вдруг машинист подъемника, ходивший проведать машину, присвистнул: «Николаич! Да кто ж на мохтиковом озере окуней ловит? Этого добра... – он пренебрежительно двинул унтом мою добычу, – на каждом озере навалом...»

Я был обескуражен. Подошел к Борису. Он сидел на льду по-хантыйски – вытянув ноги. Лунка была у него между ног. Справа возвышалась приличная серебристая кучка, слева, поменьше, латунно-зеленоватая с красным. Борис посоветовал мне перейти на другое место.

Вскоре и у меня пошел мохтик, плотный, крепенький, широкоспинный. А ведро окуней я отдал потом на котлопункт.

...Очистив забой от металла после аварии, отдали скважину под каротаж – пусть «освещают» пласты всеми известными методами. Керна – образцов породы – отобрали очень много, весь он был представлен крепкими кристаллическими образованиями. Без запаха нефти... Может, геофизика промысловая что уточнит? Увы, даже самые изощренные современные методы бессильны, если в земных пластах отсутствует нефть. Впрочем, в геологии и «пусто» – тоже результат.

Мне 90-я параметрическая не принесла удовлетворения. Забот и казусов с ней было предостаточно, а вот открытиями она не порадовала. В то же время она позволила мне познакомиться с новыми людьми, узнать поглубже старых знакомых, окунуться еще раз в сложную глубину человеческих отношений. Что-то я понял, что-то осмыслил и преломил через себя, а другое – так и осталось для меня загадкой, которую мне гадать и гадать.

В марте 98-го года, почти через пятнадцать лет после забурки 90-й параметрической, в беседе с главой администрации Нижневартовского района Борисом Сергеевичем Хохряковым мы вспомнили наши злоключения, связанные с ней. «А все же заметь, – сказал он, – она до сих пор в Среднем Приобье – самая сложная и самая глубокая да, видимо, и до конца тысячелетия останется таковой. По крайней мере, лицензию под строительство чего-то подобного мы еще никому не выдавали...» – и улыбнулся, как когда-то, сдержанно-задорно.

КОЛЬЦА ЖИЗНИ

Затянувшееся бабье лето... Тепло, тихо, покойно, как у матери на коленях.

Работы по скважине закончили под утро. Пока бумаги оформляли, на связь выходили, то да се, завтрак поспел, а там уж и на вертолетку пора – первый рейс обещали.

Полудремотное состояние: между сном и явью.

Голубая, сосущая даль... Темно-зеленое, с золотом и глянцем, ближнее окоемье...

Совсем близко – засохшая, искромсанная гусянками, распаханная железом суглинистая земля. На ней, тут и там, как поверженные роботы пришельцев, чернеют трактора, агрегаты, буровое оборудование, контейнеры, сани, емкости, трубы, искореженные перила, ограждения, бухты каната. Все это приготовлено «навзлет», но часть наверняка останется «на зиму».

Пониже, крепостным валом, засекой – искромсанные стволы деревьев, пни, корни, кустарник, торф, глина.

На буровую можно попасть, без риска сломать ноги, только по двум взвозам. Эти завалы – да на окраину бы Дикого поля: ни печенеги, ни половцы, ни батыевские тумены не сунулись бы! Что и говорить, как в кошмарном сне!

В сторонке – кимарнул, видать, не заметил, как подошли – бурмастер с женой. Он остается на заключительные работы, она улетает. В бригаде она – мать-командирша. Семейный разговор. Голос у мастера глухой, осенним дождиком – не разобрать; ее – чистый, дробный – летний капельник: кап-кап, кап, – проникает сквозь дремоту. «...Я тебе точно говорю: медведь или рысь! Глаза блестели. Вон оттуда, из завала... Цементаж закончили – я пробы в балок понесла... а то я не знаю! Собаки под балок спрятались... Обратно иду – уже огоньков не видно. Медведь или рысь... местные говорят, самый медвежий угол – здесь! Еще бы! Лога, осинники, ручьи: зайцы, лоси, дичь... Да и шиповника, смородины, другой ягоды – море...»

О семейных делах заговорили – я ушел подалее, в сторону завала.

Оглянулся, жилые балки, буровые сооружения – слились с пятнисто-крапчатым фоном, и только вышка, словно потяги-

ваясь после многотрудных перегрузок, молчаливо впечатала свой силуэт в купоросно-синюю, блекнущую к северу высь.

Отгремела буровая... Тишина! Надолго ли? Ведь вскрыли несколько нефтяных пластов – значит, жди вскоре нефтедобытчиков, нынче они шустро, по пятам, идут за нефтеразведчиками: «самотлоры» и «федоровки» истощаются.

Сон одолевает: на ходу сплю. Может, завалиться на солнышке, на взгорочке? Или в мастерском балке, в кровати, – дремануть минут шестьсот? Да... «Укатали Сивку горки»! Прежде и по трое суток крутился, да так не морило... Годы, годы... сегодня у меня юбилей – полста! По мнению пифагорийцев – в последний цикл вступаю! Как они мало жили! Или рано взрослели? Младенец. Отрок. Юноша. Молодой человек. Мужчина. Пожилой мужчина. А после пятидесяти – старик! Ну не жестоко ли? «Старик...»

Громадный высокий пень... Значит, зимой площадку готовили. Могучий был кедр, не сразу дался: с трех сторон опиливали. У бензопилы полотно едва до сердцевины доставало: торчит из пня охапка золотистой лучины.

Как в баре на стул, забрался на пень, прислонился спиной к упругой, занозистой сердцевине – лучинки прогнулись, мелодично затенькали.

Подрезал одну отщепинку. Как перышко лебединое – легка и шелковиста на ощупь, толщиной – в один годовой слой. Постругал – режется приятно, чисто: ромбик получился... Взял ручку, пейзажик набросал. Край вертолетки, «взлет»... Ближний лес, просека... В гривах, между лесного разномастья, вроде раскрытой ладони, с притоками-пальцами, пойма ручья... Дальний кудреватый темно-синий лес... прояснившаяся кромка горизонта и два – тонюсеньких, в волосок, в нашу сторону и вверх, – набухающих дымных веретешка: факела горят. А ведь месторождение открыли, можно сказать, на днях! Вот он, «технический прогресс», – рядышком. Задымит и здесь.

Вернулся к рисунку, стрелками для памяти пометил: изумрудно-зеленая (как озимь)... кобальт фиолетовый с умброй... окись хрома... охра золотистая...

Дома раскрашу и подарю дочери: в качестве книжной закладки.

Сколько ж лет лучинушке? Ведь она – из сердцевины почти.

Спрыгнул. Стал считать кольца жизни кедра...

Срез, от солнца и дождей, платинового цвета; годовые кольца выделяются четко – в виде сглаженной пятиконечной звезды. Пять мощных корней, крепких, смолистых, плавно возвышаясь, по гиперболоиде, подходят к стволу своеобразными ребрами жесткости. Без сопромата и термеха природа находит наилучшие инженерные решения!

Считал-считал кольца, сбивался, снова считал, наконец дошел до заветной сердцевинки: сто сорок шесть колец! Сто сорок шесть лет. А если сердцевинка считается, то сто сорок семь!

Какой же это год? 1842-й? 1841-й? Бог ты мой!

...Почти полтора века назад кедровка или белка бросили здесь кедровую недошелушенную шишку. А еще через год-два из набухшего, присыпанного хвоей и палым листом орешка появился любопытный корешок, ставший за полтора столетия могучим кедром, который, судя по срезу, еще стоял бы и стоял, если бы не зло ревущая бензопила с кощунственным названием «Дружба»...

А моей закладке – сколько? Сто тридцать два. Времен обороны Крыма моя закладка!

На «взлете» ящики керна. Вот кружочек аргиллита. Тонюсенькие, некоторые с волосок, пропласточки. Серые, сероватоголубые, мышиного цвета, светлые, кремовые... Это своеобразные «годовые» кольца жизни Земли. Только каждое «колечко» хранит в себе миллионы и миллионы земных круговращений...

Что в сравнении с этим – наша жизнь?

Полвека – пятьдесят годовых колец... Пошел отсчет пятьдесят первого...

Свалюсь или свалят – кто посчитает их, мои «кольца жизни»? Да и как их считать? Что они из себя представляют – подписи на «бумагах» о строительстве скважин? Или строчки стихов и рассказов, разлетевшиеся на волнах эфира, осевшие на листы бумаги и, может быть, в памяти немногих людей? Или – дети? Или – посаженные деревья: березы, клены, рябины и – пусть один! – медленно растущий кедр? Бог весть...

А вот и вертолет: маленький, стрекозино-глазастый МИ-2.

Летим низко. Под нами, как на ладони, сентябрьская тайга.

Гривы, болота, тайга... На старых вырубках – густые, волосяными щетками, осинники и березняки. Бобровыми шкурами, проседью – в опушке сквозистых берез – хвойные массивы. И – там, там и там – словно охряной кистью побрыз-

гали по зеленой грунтовке; на юг все же спускаемся. А вот и рдяные брызги появляются...

Пятнисто крапчата тайга –
в манере импрессионистов...
Как паутина, в небе мглистом, –
не на лосиных ли рогах? –
мерцает легкий алюминий...
«Железка» узкою лыжней
блестит на солнце, к гривам льнет
и пропадает в дымке синей...
В душе томленье и печаль.
Сомненья сердце рвут на части.
Не обернется ль это счастьем,
едва-едва ушедши в даль, –
иль будет просто приземленьем
в мир тишины – без сожаленья?..

1988 г.
Мегион

«ОСТАВЬ В ПОКОЕ «А-КА-ЭМ»...»

В конце дня у нас в отделе, как обычно, собрались все «производственники» нашей шараги. Разговор – полуделовой, полутреп. Из старинного, на ножках, радиокомбайна – тихая музыка. Во время очередной паузы тихим, задушевным голосом диктор оповестил о митинге демократов в поддержку Ельцина.

Кто-то бросил реплику про «неловкого танцора». Посмеялись. Еще пару шуток подкинули. А молодой специалист Саша, прерывавший учебу, не по своей воле – для службы в ВДВ, горячо воскликнул:

– Честно: надоели эти демороссы! Дали бы сейчас мне в руки «акаэм» и скомандовал – полоснул бы на весь рожок! Бардак кругом развели... Сталина на них нет! Ёська живо бы порядок навел.

– Ну уж не скажи: Сталина подавай! Его – не надо: строгий больно, – возразил кто-то слабо. – А вот «застой», до Лигачева который, с колбасой и водкой дешевой, – это бы можно!..

Ностальгически посмеялись, повздыхали: все помнили те времена.

Саша – горячий, завелся:

– Нет, честно, мужики! При Сталине не только порядок был, а и вообще! Батяня у меня говорит: житуха была – во!

Тут уж завелся я...

Прежде я не имел привычки вспоминать «те» времена: себе спокойнее! Но на сей раз не выдержал... речь-то до «акаэма» дошла!

– Саша, послушай, что скажу я про «ту» житуху: не со слов «батяни» знаю или из книжек и газет – на собственной шкуре испытал. При Сталине в колхозах «счастливо» жили две трети советского народа. И эти две трети, как сейчас я себе представляю, жили хуже, чем при крепостном праве. То, что питались они порою хуже, чем в лагерях, ходили в латаной-перелатаной одежке, в рванье, в лаптях, одна сторона. Они ж были беспаспортными! Крепостными, натуральными невольниками!

И вот это-то – самое страшное!

Хотя и в городах, это уж со слов, не больно свободными люди были, но в деревне – особенно бесправны!

У меня «батяня» погиб в феврале сорок третьего, под Великими Луками, под деревней Ивановкой. Из сибирских был. Мы в это время на Алтае, скажу честно, особо не голодали; хоть я малой был, но помню: картошка, хлеб, соленья, молоко – было. А вот после победы мать уехала с нами к себе на родину – в солнечную Башкирию, в деревню Малышовку. Хоть и малограмотная она была, но догадалась не вступить формально в колхоз и документы ни свои, ни старших – брата и сестры – не отдала, – это-то нас потом и спасло.

Формально-то не одела хомут, а фактически – впряглась в «счастливую» колхозную жизнь: от зари до зари, за трудодни, на колхоз ишачила, а все остальное – чем и жили-то – на нас легло, на пацанят... А ты знаешь, что это такое? Вскопать пятнадцать – двадцать соток под картошку – меньше нельзя: сдохнешь с голоду. Засадить их. Прополоть. Потом окучить. Ну, выкапывать – это уж одно удовольствие, не в счет, если еще и картошка-кормилица уродилась. А параллельно с этим: заготовить сено, дрова, мочало, лыко, ну и ягодок набрать, конечно. И еще уйму мелких работ сделать. Причем тебе – десять – двенадцать лет, а живот у тебя или к хребту прилип, или, наоборот, от пустой зелени рахитично вспух (а жрать при

этом сильнее хочется!). В помощниках у тебя – сестренка, на три года младше. А взрослые – там, в колхозе, трудодни зарабатывают! «Свободный труд свободно собравшихся людей»! Кто это сказал? Ну ладно: неважно. И вот, «свободно» оттрудившись, мать и брат получают за свои шестьсот трудодней... меньше пуда. Сейчас вот встало перед глазами! Брат притащил отцовскую вещь – мешок-котомку, мать развязала шнурок и заплакала, перемешивая рукой плохо провеянную пшеницу с викой и мякиной... Это сорок седьмой год! Кстати, год денежной реформы и отмены карточек. В городе карточки отменили, и это – хорошо! А вот в Малышовке – по двадцать грамм на трудодень! Как на них жить? Нам за отца платили пенсию, как за старшего лейтенанта, в банке, насколько помню, четыреста пятьдесят рублей. Да и военкомат какие-то разовые, к праздникам, видимо, подачки делал: то кукурузной американской муки кулек, то – союзнического же – жмыха или овса. Хотя и мало, но все же поддержка! А вот как выжить молодой солдатке, – от нас третий дворик, – если работала одна, имела двоих малолетних девчушек, солдатская пенсия, которую приносил почтарь, была равноценна понюшке табака... На нашу-то – офицерскую – хоть буханку хлеба в городе можно было купить!

Сейчас вот задумаешься о тех временах, и дурно становится: неужели так было? Может, сон? Нормальному человеку такого ни в каком кошмаре не приснится! – требовать с этой солдатки, с Нюрки Анчутиной, налог деньгами, молоком, яйцами, мясом, шерстью...

– И шкуру... Шкуру еще надо было сдавать, – подсказал кто-то.

Сашка стоял у стола и, казалось, рассматривал утреннюю водку...

– Когда Некрасова «проходили», я уже в городе был, – продолжил я. – Так вот, для городских моих одноклассников «недоимка» было непонятное слово. Помните, нам учителя еще подчеркивали: как при царе было плохо! Грабили богатые народ, а потом измывались, давали подачки: недоимки дарили!

– И спаивали еще: «...Бочку вина выставляю и – недоимки дарю!»

Все оживились, зашевелились, на часы повзглядывали и стали расходиться...

Я сидел на краешке стола растревоженный, раздвоившийся: видел коллег, рассыпавшихся по благоустроенным квартирам, напичканным множеством нужных и ненужных – бартерных! – вещей, из-за которых столько потрачено нервов, перекачено по трубам земной – углеводородной – крови, и видел ту, послевоенную, Малышовку...

...Еще ни свет ни заря, а в единственное окошечко нашей хибары стучит кнутовищем, не слезая с коня, краснорожий бригадир: дает задание... Кто кружку браги, а не то самогонки стакашек поднесет, на опохмелку, тот и по хозяйской нужде отпросится, в крайнем случае – работенку получит непыльную да выгодную... Малышовка название оправдывала: дворов тридцать в ней было: две улицы, в виде креста: длинная – вдоль речки, короткая – поперек, по сторонам дороги; мы жили как бы в основании креста, и бригадир подъезжал к нам «на взводе», с оставшейся самой неблагодарной работой...

...Летом сорок шестого то ли бодливая корова, то ли злой человек пырнули в пах нашу Петрушку, она стала чахнуть, и ее прирезали. Колхоз в виде милости, чуть не задарма, в обмен на несколько пудов пшеницы, взял часть мяса; остальное, в том числе шкура, рога и копыта, – пошли в казну, в счет недоимок. Хорошо, что от Пеструшки осталась золотисто-рыжая телочка Зорька, но ждать от нее молочка пришлось чуть не год... Длинным же каким он показался! Тем более что лето оказалось засушливым. Следующее – тоже. Не помогли ни крестные ходы, ни молитвы, ни стенания. И осенью пришлось запасать семя лебеды, желуди. Все это вместе с сушеными картофельными очистками мололось на ручных самодельных мельницах, а из полученной муки пеклись «хлеба»: натуральные коровьи «лепешки»! Когда с них тошнило, такая жгучая черная слюна сплевывалась... Бр-р!.. В тот год, как говорится, я чуть «копыта не откинул»...

И что ведь интересно: осенью подчистую, до зернышка, зерно из амбаров сдавалось в «закрома родины», а весной, в непролазную грязь с котомками за плечами, шли вереницы людей на станцию Карламан, за двадцать пять верст – за семенами! По весенней распутице!.. И это все при Сталине! Которого и сейчас некоторые вспоминают добрым словом. И тоскуют о нем! А вот другим-то, как мне, – как его вспоминать?

Позже, в Уфе, в шестом классе, читал я книжку «Мост»,

автора не помню уже. О том, как наши войска мост в Германии строили и подкармливали немецких жителей, особенно пацанов, хлебом, тушенкой, кашей... Я не жадный, но и мне стало так обидно: что же вы, солдатики родимые, про меня-то не вспомните, когда я мечтал в июне сорок восьмого всего-навсего о ложке пшенной каши? Мерещилась она мне, эта рассыпчатая, без масла, в деревянной ложке, бугорком, золотисто-солнечная пшенная каша! Пшенная каша...

Когда стала наливаться рожь, стручковаться горох, потянуло нас в поля... Несмотря на смертные запреты!

Жаркий полдень... Скулящий кутенок...
Рожь белесая выше меня.
Где-то рядом спешит жеребенок,
колокольчиком школьным звеня.
Это едет угрюмый объездчик
с сыромятным кнутом у луки.
И сердечно тревожно трепещет –
под рубахой шуршат колоски...

Поймают – малолеток кнутом до крови исполосуют, а подростков – в правление, а оттуда, если «уполномоченный» суров, – в каталажку...

Сажали не только за колоски или другие «хищения» социалистической собственности. Жениха двоюродной сестры упекли за то, что после ФЗУ, куда его тоже силком поместили, он сбежал в деревню к невесте. Нашли и упрятали в тюрягу – аж в Уфу! Мария потом приезжала, и мы ходили к Антону на свиданку. Вот когда у меня второй раз сердце резануло! «Но ведь Антон хороший! За что его, как тигра в зверинце (а я успел уже подивоваться на передвижной зверинец), в клетку железную? Он же только с Машей пожениться хотел! А его за это – за решетку!» А старшая сестра... В три смены работала на хлопчатобумажном комбинате. И вот в ночную один раз опоздала на двадцать минут – судили! Год принудиловки! Работала, конечно, там же, как работала, но двадцать процентов высчитывали – государству! За каждую минутку... Вредительница! Покусилась на государственные – сталинские! – устои!..

А деревня что, она – на земле! Как только деревне чуть послабку дали, за год-два она стала оживать! Запахло в деревне свежим навозом, огуречные рядки пошли, горшки обливные на плетнях да тынах вечернего надоя стали дожидаться,

самотканые льняные да шерстяные полотнища пораскатались на солнцепеках, у пацанов проблем с овечьими да телячьими бабками не стало... Так бы оно и совсем, может, хорошо получилось – кабы не это расшибилобное поднятие целины! По крыльцо распахали пресловутую эту целину! Ни царские сатрапы, ни сталинские нагульновы не посягнули на эти общественные – общинные! – испокон веков выпасы, а хрущевские твердолобые задолизы – решились! И пошла скотинушка под нож... и начали рушиться уцелевшие даже при Сталине деревенские устои: сам подыхай, а корову или телушку – выходи, а землю – засей... И на веру, начавшуюся было возрождаться со времен войны, каток близящегося коммунизма пустили... Вот и пожинаем плоды сейчас в виде «акаэмов»...

– А при Сталине, Саша, в самом деле некоторые жили неплохо. Один год я за партой сидел с новеньким, Юркой его звали. Хороший был парень! Пригласил он меня как-то к себе – книжку интересную пообещал: в школьной библиотеке не оказалось. И был я поражен: жил он как в кино! У них с сестрой было по комнате, у отца – кабинет-библиотека! И прихожая, и столовая, и гостиная! А у нас на четверых, в закутке, было две железные кровати, тумбочка и сундук, в котором, в планшетке, похоронка. А Юркин отец был полковником НКВД... Так что – оставь в покое «акаэм», Саша!

КОНКУРС

Первые каникулы выдались мне после четвертого курса. До этого – добровольно-обязательный колхоз: уборочная! Битва за хлеб! Странным покажется: за шамовку и проезд в общем вагоне – с вокзала на трамвай другой раз не было тридцати копеек! – батрачили на совесть, без подначки деревенских девчат. И вот – каникулы! Ну, отдохну!..

Недели не прошло – надоело. Может, устроиться куда? Подзаработать? Оч-чинно не помешало бы! Посмотрел объявления: «Требуются...» Звоню туда, сюда... На постоянную работу – пожалуйста, а так... Неужели опять на пристань: корье

грузить с беспаспортными? Наконец в проектном институте предлагают: работа в поле на месяц-полтора, подробности – лично... Еду. Подробности таковы. В Кигинском районе произвести съемку центральной усадьбы совхоза – для генплана, идет укрупнение хозяйства! Начальником отряда – пенсионер, им только что разрешили подрабатывать. Познакомился: вроде ничего дядька. Согласился! Я буровик, но геодезию нам в УФНИ крепко вбивали: и теорию, и практика была, попотели три недели!

Поехал я и не пожалел: с удовольствием и тщанием провели мы съемку, так, что полевые материалы у нас приняли на «отлично». Заплатили нам не очень, но на выходной костюм хватило и на карманные расходы кое-что осталось.

На занятия я немного опоздал, но на это не обратили внимания: дипломник!

Жил я тогда второй год в бывшей Черниковке, в так называемом «соцгороде», окруженном бывшими «лагерями», а на выходные и на праздники ездил в старую Уфу – к школьным друзьям. Была у меня тогда и подружка, студентка университета, – кузина одноклассника, или, как он ее звал, сродная сестренка.

И вот сижу я в келье у сродной сестренки, пью густой чай, почти чифирь, выпендриваюсь: в поле только такой пьют... А у самого нет-нет да промелькнет мысль: на дежурных трамваях добираться придется – опять «на мели» сижу... а тут еще и в театр пригласил: где гроши брать? И вдруг на газете, что под чайником, неожиданно, словно письмена на небе, проявились четко слова: «Редколлегия газеты «Советская Башкирия» продлила конкурс на лучший очерк... конца года. Условия ко... Первая премия в сумме... вторая пре... третья пр...» Меня словно жаром обдало: вот же – деньги! Я засобирался домой...

Домой я добрался во втором часу ночи. Спать после «полевого» чая не хотелось. Я вытащил из дипломной папки три атласно-белых листа и начал писать о профессии геодезиста, о тихой золотой осени на Южном Урале, говорливой речке Ай и людях, живущих на ее берегах. Но больше всего – о своем «шефе», грустном пожилом башкире с серыми глазами и любимой приговоркой: «Хорош-шо!» Я писал не спеша, выверяя слова, примеряясь: как бы сказал Паустовский? Я бил наверняка: мне нужны были деньги; но писал я только правду, только о том, что видел сам, и так, как видел; рассказывал я о людях, которые жили скученно, ели

скудную пищу, не имели драгоценностей, кроме своих зо-ло-тых сердец, и я искренне ими восхищался. И это было поистине так! Поэтому уже следующей ночью я с полным основанием примастрячил под заголовком мелким шпаргалочным почерком эпиграф из Маяковского: «Я знаю – солнце померкло б, увидев наших душ золотые россыпи!»

После весело проведенных ноябрьских праздников я, не заходя домой, направился прямо в институт. Около главного корпуса в стендах, за стеклом, вывешивались центральные и республиканские газеты. Скользнув взглядом по праздничным выпускам газет («А! Везде одно и то же...»), я чуть не прошел мимо «Советской Башкирии», но что-то заставило меня тормознуться в последний момент, и не зря: там на два «подвала» разместился мой очерк... Я верил и не верил: неужто не сон?.. Прочел... раз-другой: я писал! Только вот откуда фотография моего «хоро-шиста»?.. Батюшки! Значит, его разыскали!.. И новый штрих добавили: коммунист он, оказывается. А я даже и не поинтересовался, а он – тоже не вспоминал. Да... вот о том, как он водочку выбирал – по выстойке, – я написал, а о самом главном – забыл! Редактор – спасибо – поправил...

Об очерке в институте я – ни слова, и мне – никто. Жду гонорара – не шлют. В декабре, на безденежье, решился: пошел сам. Только заикнулся – кто я, шум поднялся в отделе культуры и искусства (были тогда такие отделы в редакциях): меня чуть не щупали! Хвалили меня – за очерк, себя – за то, что листки мои в урну не выкинули: «Почерк – ужасный! И на обеих сторонах листа! Удивительно...»

Заплатили мне почти столько же, что и за полтора месяца поля... Только я успел их потратить, грянула денежная реформа...

....Денежная реформа 1961 года грянула неожиданно. Необходимость ее проведения Хрущев обосновал кратко и доходчиво: чтоб уважали, в кузькину вас мать, рубль, гривенник и копейку, а то, понимаешь, гривенник в трамвае валяется, и никто не подберет... Да и считать легче...

От той реформы мои родные и знакомые не пострадали, а вот я все же пострадал... Впрочем, все по порядку.

В то время наша семья выписывала только одну газету: «Комсомолку», информацию черпали, по привычке, в основном из радиопередач. А мой школьный товарищ, который «сродный брат» подруги, – тот был молодым коммунистом –

идейным! – и выписывал и «Правду», и «Советскую Башкирию», и Бог знает еще что.

Вот у него я и наткнулся на один из январских, послереформенных, номеров «Советской Башкирии», где черным по белому было написано, что первая премия за лучший очерк в сумме тысячи рублей присуждается... мне! Показываю другу. «Опечатка, – говорю, – наверное. Уж насчет суммы – точно опечатка. В старых, должно быть, деньгах...» Идейный братец моей девушки берет очки, внимательно, чуть не по слогам читает текст, пофыркивая в нос (такая уж у него привычка!), смотрит число, выходные данные газеты, потом укоряет меня: «Ты что, пнимаешь... (носом: пфы-пфы...) ... орган обкома, пнимаешь... какие могут быть опечатки (пфы-пфы)? Поздравляю, Витек! – долго трясет руку, щурит по-ленински глаза и мелко, бисером, смеется: – Утер, понимаешь, нос Лизаветушке (пфы-пфы): на пятерку сочинил!»

...Когда через день-два нас пытались образумить его старшие кузины – сродные сестры – хватит, мол, фуковать, – он вразумлял их: «Да Витька ж премию получил! Во, – тряс потрепанную уже газету, – смотрите: премия тыщу рублей! Десять тысяч старыми! А премия на то и премия, чтоб запомнилась на всю жизнь! До следующей!» Он снимал деньги со сберкнижки и продолжал знакомить со своей родней (и, как полагал, с моей будущей): «Свояк... тетка... шуряк...» и т.п.

Наконец мы благополучно закруглились и пошли получать премию. Я был прав... Премия «похудела» в десять раз, и получил я... сто рубликов, за вычетом подоходного налога и налога на холостяков, жесткими, желтоватыми, подслеповатыми «хрустиками»...

А со школьным другом рассчитывался я уже с Севера – из Сургутской экспедиции.

Прошло тридцать с лишним лет. И снова я, как студент, и даже хуже: куда нынешней моей зарплате по покупательной способности до той стипендии (да с приработком!). Денежной реформы сейчас не было: был натуральный грабеж! На все свои сбережения я теперь могу купить один ботинок! (На стипендию мог купить пару чешских или югославских зимних ботинок!) Да ладно. Дело не в этом: жизнь сейчас зато – сплошной конкурс! Жаль – года не те, укатали Сивку горки: тут болит, там скрипит, а то бы – поучаствовал! Но молодым-то – сам Бог велел: творите, ребята, созидайте!

ПОЛЧАСА У «АЛЕШИ»

Стою у «Алеши». Жду: должен же кто-то тормознуть?..

Вспоминаю прежние времена.

Впервые я оказался здесь в год 60-летия советской власти поздним осенним вечером.

Первый же автобус приветливо распахнул дверцы: «До Мегиона! Желающие есть?» И потом развез по домам за «спасибо».

И через пару лет после этого водитель водовозки доставил меня, поплутав немного, до самого крыльца моего пристанища. Когда я предложил водителю трояк «на сигареты», он меня обложил приятной бранью...

Год начала перестройки... Года три я не вылезал из Ваховска.

Тормознул частный «Москвич». Водитель приветлив, разговорчив. В Мегионе спрашивает: «Куда вас?..» – «У «Юбилейного», – говорю, – высади». Даю пятерку: ругаться будет или как?.. Чувствую: не поняли друг друга. Оскорбил?.. Пятерку назад – перехватывает! «Ты, что мужик, – сквозь зубы, – таксы не знаешь? «Чирик» гони!» – «Влип, – думаю, – «шо цэ такэ – «чирик»?» Но понял: нужно добавить. Хоп-хоп по карманам: мелких нет. «Может, это возьмешь?» – шутя сунул ему коробочку с самописка, выпущенной в какому-то юбилею, стоимостью восемнадцать рублей. Просто так...

А он – взял!..

Вышел я из машины, сгорая от стыда. И понял: за три года произошли в «алешиных» землях большие перемены...

Собственно, и у нас, на работе, чувствовалось, что случилось что-то в «нашем королевстве»: началась текучка! Снимались кадровые рабочие и уезжали в Нижневартовск, Ноябрьск да в тот же Мегион: заработки выше и не такая глухомань! «Обеспечь заработок!» – советовали мне «сверху». «А как?» – «Это ваши проблемы!» (Модное выраженьице!) В других местах, я знал как это делается: за счет различного рода приписок. Пересилить себя я не смог, поэтому ушел с должности: занялся чисто технологическими вопросами. И чего добился? Никто и не заметил демарша. Но я таков. В этом весь я. Натура. Характер. Упрямство... (Не зря ж – фамилия!)

Я не голосую на дороге,
до получки денег не прошу...

Прошлым летом окучивал картошку, вышел на бетонку...

Заходящее солнце светит прожектором: лучи параллельно земле, как при штурме Зееловских высот, – слепят...

Мимо проносятся черные и белые «Волги»...

Горкомовские...

Генеральские...

Парткомовские...

Главинжевские...

«Жигули», «Москвичи», «Фавориты»...

Нитцевские...

Ритцевские...

Соседские...

Неизвестные...

«Может, голосонуть?.. Дождь совсем осенний...»

...Скрип тормозов: ГАЗ-53. Голос сбоку, из кабины: «Садись, что ли!»

Поехали.

«Что ж вы так: не голосуете?»

Смеюсь: «По-американски: кому скучно – остановятся!»

Взгыркнул: «Го-го! по-американски! То-то – мокрый! Каб не я... Еще загорал бы!..»

«Так я тебя и ждал, может!»

«Х-хы-хы... Хохмач!.. Мужик один рассказывал. У клумбы зимой один водила посадил, значица, всех. Потом, по микрофону: «Водилы есть с атэпэ? На секунду выйдите!» Двое вышли. Он двери – хлоп! – и газанул. Народ зашумел. Он им: «Тихо, граждане! Я у «Алеши» недавно пару часов сопли морозил ночью, голосовал, а ихние автобусы только фарами помигали. Пусть на своей шкуре почувствуют!»

Август 91-го. Только что с Большой земли – отпуск! После перелета проснулся поздно. На кухне по радио – классика. Включил телевизор – «Лебединое озеро»...

Путч!

На лестнице, соседка: «Давно надо бы! Порядка нет!..»

За хлебом – очередь. Хлеба нет еще. «Несерьезные путчисты! – говорю. – Уж хлеб-то могли бы предусмотреть! Да и колбаски... Не-ет, балаган!»

Очередь угрюмо молчит.

Домой.

По радио передали заявление «Сыкыр-куяна», потом – новоявленных «спасителей отечества»...

Подозрительный «форосский пленник»!

Я вчера породил перестройку,
но она изменять стала мне,
эй, ямщик, подавай-ка мне тройку
удалых пуго-язых коней!
Ой вы кони, застойные кони!..

Опять Чайковский...

Кого хороним или что?..

Нет, сердце – не камень!..

В лес! На природу!..

Пешком до «клумбы».

Первая же машина: «Тпру-ру... Садись, мужик! Куда тебе?.. Слыхал?.. Как их? И не выговоришь спросонья. Гэканечисты?.. Попроще бы чего – может, и ничего, а? Так оно, конечно... Из-за власти дерутся, а нам – что? Мы – работяги: работать-то надо при всякой власти...»

Прошел год...

Мимо: частные... личные... демократические... совместные... малые... большие... японские... американские... немецкие... и те же: генеральские... исполнительские... представительские... – все мимо!

Начинает бусить, моросить...

Но... через полчаса, словно я его ждал, точно около меня останавливается автокран (на дверце: «перевозка пассажиров запрещена»), и Эдик Захаров (первый раз вижу его) молча открывает дверцу, а потом трогает... Куда, кого, зачем?.. Эх, Русь!..

Август 1992 г.

«ПОПЛАЧЕМ О ДРУГЕ, ПОПЛАЧЕМ...»

«Не русский я, но – россиянин!» – эпиграф хотел написать, а перед глазами сразу добродушно-мудрое лицо Мустая Карима – давних-давних лет, времен «хрущевской оттепели».

Вот у меня всегда так: о чем-то подумаю, и какая-нибудь ассоциация, аналогия из детства тут как тут!

В Уфу я приехал из деревни Малышовки. Как из другого мира. Со своим мироощущением, жизненным опытом.

В последнее лето пастухом у нас нанялся Гильмей. Детей у него – как вешенок в колоде! По весне, из черемшин, сплел он, словно огромную корзину, округлую юрту, обмазал глиной, нары сделал и стал жить в ней со своим шумным кагалом. И пасти стадо. «Малайки» его коров сосут!» – судачили одни бабы. Другие заступались: «Чо уж: удойно пасет, слово, чай-бай, знат!»

Нашу корову колхозный бык забодал: с грехом пополам сдали на мясо и купили другую. Новая оказалась с норовом: не захотела идти в чужое стадо посреди сезона. И я пас ее рядом с Гильмеем и незаметно сдружился с ним и его многочисленным семейством, а к осени и чуть-чуть стал «башкорт блям»...

Как вспомнишь нынешние «стенания», смешно становится: при теперешней-то жизни – плакать? Да побойтесь Бога! Зависть и уныние – страшнейший грех, и беды наши – кажущиеся...

Гильмей сухорукий: одна рука у него, не то что у Сталина, вообще не шевелится, висит как огуречная плеть. Мы с ним при первой возможности рыбачим.

Жаркий полдень. Стадо в тени под вязами. Часть – в старице, в воде, от паутов подальше. Липы медом исходят. Пчелы жужжат. Шуршат стрекозы. В сладкий сон тянет. А мы с Гильмеем – стадо он, я Зорьку – на старшего «малайку» оставили и – в Малышовку: у него кукан побольше, но и у меня – улов!

Рыбу, грибы, а то и ягод (малину, крупенику) – сестренке, «зеленого» супчика похлебал и забегаю за Гильмеем: «Гильмей! – кричу. – Айда инды!»

«Малайки» и «кызымки» облепили его: висят на руках, шее, сидят на ногах... визг, хохот, трескотня слов. Гильмей, как

циркач, рукой, ногами шевелит: качает отпрысков! Темное, широкое лицо его в морщинках и складках, глаз не видно: радуется человек. «Кызы-кызы-кызъен!» – напевает.

Мои «знаком» летят на меня, орут. «Кышкырма! – отбиваюсь я от них. – Китталя! Мин корову пасти надо».

Старшая «кызымка» Амина стоит в сторонке, смешливая, быстроглазая, колокольчиком заливается: «Ай, Викт-тор-р-рка! Сапсим пр-ропал, Виктор-р-ры-ка!..»

По первому снегу они уехали. «Син минеке бер, Виктор-рыка!» – на прощание крикнула Амина. А впервые это выражение я услыхал от нее еще летом.

Безымянная наша река...
Листья лип глянцеваты от меда.
Нет ни облачка, ни ве-тер-ка...
Уходя на ту сторону бродом,
Амина мне, смеясь, говорила:
«До сви-да-ни-я, Вик-тор-ры-ка,
ты сап-сим ба-льшой ду-ра-ка!
Хоть тебя я мал-мал обдурила,
син минеке бе-э-эр-р!..»
Ах, как солнце тогда калило:
недород и голод сулило.
Но – прекрасным казался мир!
(Я жалел, что я не башкир.)
Детство мое! «Син минеке бер!»

(Син минеке бер – ты у меня один по-башкирски.)

В нашем классе в Уфе были русские, башкиры, татары, евреи, украинцы, белорусы, чуваши и даже немец... Но делились мы не по национальностям, а по другим признакам: на «актив» и «пассив», «примерных» и «шпану». На «городских» и «деревню», на «сытых» и «голодных»... На «спортсменов» и «тюфяков», на «артистов» и «зрителей».

И наконец, на «счастливых» и «невезучих».

Другое дело – в раннеутренних очередях за французскими сайками и венскими витушками, за крупой и макаронами! «А вы за кем?» – «Вон за той националочкой»... Услыхав такое, скиснешь: как откроют магазин, пол-Уфы впереди тебя встанет! «Это ведь мы, русские, – простодырые: отца родного, если очереди не занимал, не пустим!» – посетуют тетки, хотя и сами, при случае, тоже поставят «товарку» перед собой.

Да еще при поступлении в институт (в наш УНИ, по крайней мере) – проходной балл у «националов» был тогда на несколько пунктов ниже...

А в остальном – «новая формация – советский народ»!

В нашей группе при переписи 59-го года двое из Средней Азии записались «русскими» (один настаивал, что «советский»). Зато заведующий одной из кафедр, собиравшийся защищать докторскую диссертацию, из казаха превратился в башкира...

А «простой» народ в сибирской глубинке смотрел на проблему национальности лапидарно.

1961 год. На песчаном берегу Оби, рядом с поселком геологов ПИМ, ждем катер, чтобы добраться до Усть-Балыка (в будущем Нефтеюганска).

Обь широка и чиста. Зеленоватые, с тусклым серебристым отливом, продолговатые, словно листья ивы, мельтешат на ее глади волны, мелкими дюнами передвигают песок у ног. В густых прибрежных тальниках и смородинниках, под комариный звон по-хозяйски шастают медведи, обсекая когтистыми лапами верхушки шиповника, красной и черной смородины...

Два помбура – «самарец» и «татарин» – наговорились: про рыбалку и охоту, про баб и политику – и теперь подначивают друг друга по «пятому пункту».

«Ты, татарин, чо ты здесь потерял? Мало вас тут Ермак гонял по Сибири?»

«Щья бы крищала, а твоя молцала: Батыя забыл?»

«Тю! Батый – был, не был ли, а Ермак Тимофеич – точно был!»

«Не был! А ще у тебя тогда глаза узкий?..»

(Шутя-шутя идет подначка, а в глазах уже искорки нехорошие – злые! – мелькают. Самое время появиться интеллигенту – спасителю «угнетенной» нации, мягко, ненавязчиво сделать экскурс в историю, укрепить национальный дух. А то, что четыре года спустя, когда «татарин» обгорел при возгорании нефти, а «самарец» в числе других кровь ему напрямую откачал – одной группы оказалась, кровь-то, у них! – это рабочий, не исторический эпизод.)

Шло время... Таких открытых перепалок я уже не слыхал, но они, затаясь, шли. И как ни странно, особая натянутость чувствовалась с «западэнцами». Когда я пытался с ними заговорить на эту тему, они уходили от ее обсуждения.

Но когда общаешься с людьми не один год, начинаешь, как говорится, читать между строк.

И наконец, прорезалось: СНГ!.. Самостийность! Незалэжность!.. «Вековая мечта» осуществилась! С захлебом – разговоры о своей денежной системе!

По первости – эйфория: «А пошел-ка бы ты, «старший брат»! – сначала «большие» народы, а глядя на них – и «малочисленные», – до обидности...

«Не русский я, но – россиянин!» наряду со знаменитым «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» стало чуть ли не ругательным выражением. Пресловутая «историческая родина» востребовала своих потомков, открещиваясь от пришельцев – «русскоязычных». Сплошь и рядом, как во время оно, отрекались от своего сословия и своих родовитых предков, принимая пролетарское вероисповедание, эти потомки, бывшие номенклатурщики в первую очередь, с такой же легкостью меняют его. Нынче потомков кулаков, баев, дворян и прочих сословий, кажется, уже больше, чем до революции...

И тем не менее...

Конечно, плохо, когда человек не знает своего «исторического» языка, и только «русскоязычный». Плохо, я считаю, когда «русскоязычный» не знает хотя бы чуть-чуть языка народа, на исторической родине которого он живет. И все же, считаю, это не является основанием для ограничения его права в свободе выбора места работы и жительства.

Посмотрите, в природе – упало семечко, проросло, если условия подходящи, и живет – травинка ли деревце – где кому пришлось по нраву...

Как люблю я берез белоствольe!
Словно в шумном девичнике
там
сердце полнится сладкою болью,
отдается забытым мечтам...
Мне по нраву, признаюсь, открытость
сосняков на песчаных буграх,
островерхая ельников крыша
и приволье широких дубрав...
Но всего мне милей перелески!
Жизни в них полнокровнее ток:
спор вершин уважительно-веский,
разномастной листвы лопоток...
Не ведется там счета обидам
у заросших траншей и трясин...

Не имея на жительство вида,
там березы растут средь осин...
Подосиновик из-под березы
красной шапкой призывно махнет.
По весне сок березы тверезый
муравей безбоязненно пьет...
А как весело там в водополье!
Птичий грай всех разбудит окрест!
Хоть люблю я берез белоствольe,
но милее мне
смешанный лес...

И «простой» народ – россиянин или ближнезарубежец – это понимает! Вершистые деревья сильны лесом, а лес – подлеском. После бездумного прореживания – и от легкого бриза даже – не лес, бурелом будет!

Нет, никому не удастся кордонами прервать «горизонтальные», «корневые» – а им несть числа! – связи народов. «Железные» занавесы рухнули, неужели «националистические» будут крепче?.. У каждого жителя Мальшовки в соседних башкирских деревнях, будь то Кысынды, Карламан, Шафроново, были свои друзья («знаком», говорили они) среди «сапсим» плохо говоривших по-русски башкир. Но, бывая в гостях или по делам, изъяснялись они на русско-башкирском и прекрасно понимали друг дружку. «Рахмат», знаком!» – «Будь здоров, знаком!»

«Ярар, знаком!» – только и слышится при беседе.

С вахтовиками, летавшими с Украины, Белоруссии, из Башкирии, Азербайджана, я имел дело почти полтора десятка лет; со многими душевно подружился.

«Доброго ранку, Мирослав!», «Дзякую, Славко!», «Богдан, будь ласка...», «Щоб не було морщин на лице, идайте сальце, у нем витамин «це»!», «Та вин «наркотику» принял: шмоток сальца, то и балдеет...»

Шутки, подначки, песни (от них точно забалдеешь!)...

Знаю летающих с 78-го года. И новая «хата» построена, и «колеса» уже есть, летает! У иного и вахтовый «роман», и сибиряк-наследник... И еще бы летал, да ведь...

Ах, казачонок какой, надо ж: вылитый я!
Что ты, роднуля, да разве б я стал отпираться?
Вы же с ним для меня
как родная семья,

жалко мне: не могу разорваться!
Ну, ей-Бог, не могу разорваться...
Вспомни, сэрдэнько, как встретились мы на «кусте»:
были тогда времена золотые, ей-Богу!
Жаль сейчас уж не те...
Я ведь что? Прилетел
попрощаться: закрыли дорогу...
К вам границы закрыли дорогу...
Что ты, коханная, да все образуется – как
в лучших домах и семействах Парижа – Лондона!
Подрастет сибиряк,
и, как вольный казак,
он подастся до батькина дома,
за границу – до батькина дома...

О, друзья-вахтовики! С болью прощаемся мы с вами... Думаем, временно, и поэтому: «до побаченя!»

О, друзья мои, оказавшиеся «русскоязычными» в обихоженной вами земле, ставшей вдруг «зарубежьем»! Вам еще труднее, и при мысли об этом туга одолевает меня...

И все же! Испокон Сибирь принимала всех, кто понимал язык природы, земли, тайги, вод и недр, птицы и зверя, кто уважал свой труд и чужой, кто, уходя из зимовья, оставлял смолье, спички, хлеб и соль; кто был преисполнен человеческих страстей: любви и ненависти – и оставался тот, в ком любовь к новообретенной родине пересиливала все остальные чувства, и он становился СИБИРЯКОМ и, значит, РОССИЯНИНОМ.

Хозяином и насельником.

А «русским» или «нерусским», «православным» или «мусульманином» – не важно.

...Того, кто способен глубоко чувствовать, историческая или новоприобретенная родина все равно когда-нибудь взволнует сухим ли «пучком емшана», зеленой ли «веткой кедра» – и он вернется к ней!

...Не занеся с собой микроба
наживы, рвачества и злобы!
– с миром и любовью.

А пока: «поплачем о друге, поплачем», слезы облегчают душу и просветляют разум.

КРАСИВЫ ЖЕНЩИНЫ ВЕЗДЕ

Эти гордые лбы винчианских мадонн
Я встречал не однажды у русских
крестьянок...
Дм. Кедрин

«Октябрь уж наступил... уж роща отряхает...»

А ведь и в самом деле: октябрь уж наступил! 7 октября... Да! Бывшая знаменательная дата... «БэЗэДэ»! (Что делать: привыкли к аббревиатурам!). Бывшая брежневская – единодушно и всенародно – принятая. После обсуждения и внесения поправок. Конституция, в которой народ признался в вечной любви к КПСС.

«Октябрь уж наступил...» Какая красота вокруг! А красота – она мир перестроит... Октябрь уж наступил: погода испортилась на глазах.

Может, зря я ушел: дома так тепло, светло, уютно...

Здесь: мрачно, прохладно, моросно...

Раскрыл громадный черный зонт. Застегнул куртку на замок. Сел на скамью у обрыва...

Прямо – мрачная Мега. Тусклая, цвета умбры, вода. Тальники, сора, подсвеченные издали промышленными огнями Вартовска. Слева – почти то же самое, со звуковым сопровождением автострады. Зато справа...

Справа подмываются не только посаженные когда-то геологами березы, не только модель буровой вышки и ограда, – справа подмывается весь смысл моей жизни. Да и только ли моей?

Двадцать лет назад мы из Сургута – с «графика» – рано утром пришли на катере, поднялись по длиннющей деревянной лестнице... До конторы Мегионской экспедиции от обрыва было целое футбольное поле! Степан Каталкин шел вразвалочку, Модест Синюткин – глядя в землю, грузно, отдышливо – Афанасий Бондарь, характерной походкой капитан катера Дмитрич... Иных уж нет, другие далече... Сменилось поколение!

Идеология меняется!

Мой взгляд все это время – прямо, влево, вправо, не оборачиваясь назад на город, – скользил по горизонту.

Поэтому и весь мир я воспринимал в удалении, масштабно, в общем виде... и красота его или серость воспринимались мною вообще: как будто я был у основания первородного хаоса, из которого мне необходимо сотворить что-то конкретное: яблоню, змия, женщину... Сотворить ли мужчину другого или ограничиться тем, что уж есть, – мной? Начать новую жизнь или ограничиться той, в которой – я и осень?!

Взгляд мой устал витать по облакам и горизонтам и опустился долу – к урезу Меги... И я увидел пред собою речное судно типа «Костромич»...

«Сик транзит глориа мунди!»

Свинцово-радужно и равнодушно плюхалась у глинистого берега вода. Не оборачиваясь, я чувствовал, как угнетающе нависла надо мной громадная темь стоящего за спиной города – вдали, и рядом – нависшей надо мной березы, ограды и неигрушечных размеров модели вышки, готовых в любую минуту обрушиться – как перестройка! – на меня...

Ощущение – будто читаю впервые Александра Грина: символические даты, цифры, атмосфера, предчувствие неотвратимого...

«Подать трап! – сказал я появившемуся на палубе «Костромича» человеку в партикулярном платье. И спокойно поднялся на палубу, когда он опустил узкий вихляющий трап, как будто это было давно обговорено.

«Мне надо взглянуть на Мегион с нескольких ракурсов: с Меги и Оби. Хочу знать – что видели те, кто в Мегион приезжали по воде...»

Берег высился черной стеною. Над ним, разновысокими столбами, горной грядой, вставали девятиэтажки. Между ними волосяными лесками силовые и телефонные кабели. Кошачьими взблесками ранние люстры.

Капитан назвался Ильей...

Без колебания он запустил дизель (мое: «Один-то справишься ли?» – пропустил мимо ушей), вышел на стрежень и стал выполнять мои просьбы: стоповать машину, держать катер на месте, менять диспозицию... И даже позировать! Молча крутился в рубке, сбегал в машинное отделение, следил за мной, слушал мои сентенции и отвечал на конкретные вопросы.

...Он – Илья Анатольевич Бельмесов. Родился под знаком Девы в 1973 году в поселке Покур...

Вот оно в чем дело: Покур! Впервые в Покуре я был в феврале 1962 года! Там тогда базировалась сейсмопартия Владимира Кочнева. В отряде Александра Беляева я бывал со своим «изобретением»: погружателем зарядов в скважины. Потом с механиком Мациевским на ГАЗ-47 мы ехали по оленьим дорогам в Старо-Вартовск... Синим мартовским днем я впервые был в Мегионе: ночевал у однокашника Зеравшана Абдуллина, снимавшего койку в горнице одного из деревянных домиков на берегу Меги, под кедрами.

В записной книжке тех лет – только даты и фамилии, номера буровых и названия населенных пунктов... Радиограммно-краткие строки. В памяти расплывчато-акварельная сумять голосов и шорохов...

Патриархально-сибирское село – Покур-62. Санная дорога посреди улицы. Обочь – клочья сена. Эскалаторными ступеньками – межполозные выбоины. Витые батоны лошадиных пекарен. Небрежные коровьи лепехи. И весенний галдеж воробьиных торговых инспекций... Среди всего этого переливчатый голос, изумрудный взгляд и серебряный смех!

Покур, Покур...

Как глухо и сухо звучишь ты сейчас! Где они, те звуковые волны, которые сотрясали твой морозный воздух в 62-м году?

Недавно плавал я на «Заре» в Покур: за грибами на «куст»... На обратном пути, в ожидании теплохода, прошелся по Покуру. За осевшими палисадниками, рядом с некоторыми гаражи появились, смех девичий слышится тоже. Но это – другой смех! Время огрубило и опрагматило девичий смех. В нем больше сарказма и иронии, нежели прежней радости бытия и насмешки над обыденностью. Нет, скорее дело в желании услышать то, что осталось только в памяти! Или – в мечтах.

Илья на вид мрачный. Немногословен.

Лицо у него продолговатое, поморского типа. Он смугловат, но это скорее от солнца и ветра. Небольшой рот. Улыбка сдержанная, полная достоинства – капитанская улыбка.

Хотя сам Илья – покурец по рождению, корни родовые – пермяцкие. То есть предуральские, прикамские. (Может,

ермаковские: в Сибирь, в Югорию, казаки без женок, чать, шли! То-то у потомков сибирских казаков и овалы лица, и разрезы глаз на особинку!)

В тихом Покуре ходил Илья в детсад, ел манную кашу и строганину, патанку и невзбитую икру, хрустел огурчиками и «корешками»... Рыбачил, шишковал, собирал грибы, ягоды... Плавал на обласе, на моторке... В дозволенной совестью мере браконьерничал, ощущал отдачу приклада, радовался мягкотяжелому, шмякающему столкновению падающей дичи с землей. Познал тяжесть уловистой сетки и легкую радость удочки при поклевке...

Не чурался занимательной книги, гипнотизирующих чар музыки и конвульсий ритуального ритма. Испробовал горький туман наркотика, обжигающий ток спирта. Не так много времени понадобилось, чтобы все соблазны века, известные со страниц СМИ, телеэкранов, из динамиков кассетников и плееров, докатились до Покура, оказавшегося в окружении «кустов» и ДНС и обслуживающего их «вахтового» персонала еще со времен СССР.

После школы – куда еще как не в Нижневартовск! Техучилище № 41.

Поступил. В марте 1991 года у Ильи Анатольевича Бельмесова уже были «корочки» оператора по добыче нефти и газа.

И стал он работать оператором на Ватинском месторождении...

(Ватинская площадь... Структура, до того как станет месторождением, пребывает «площадью»! Так вот. Эта Ватинская площадь запомнилась мне в 62-м году своими тальниками, поймами, сорами, круговертью тракторных следов возле прямолинейных профилей, где работали Саша Беляев и его напарник и тезка – Калинин.)

Только разработался Илья оператором, повестка из военкомата: призыв! Армия!

Все же есть нечто в этом слове – «призыв». Обязательная пригодность к службе в армии и сама служба – это как бы подтверждение обязательности и способности служения идеалам, обществу, стране, отчизне и – родным и близким – что ты мужчина, защитник, воин!

Что ни говорите: красавец-раскрасавец, удалец-молодец, а если не пригоден к армейской службе, то – в мирное время! даже

самая непривередливая женка – а найдет повод попрекнуть такого мужа: притулившимся у бабьего подола назовет.

Илье это не грозит: отслужил свое!

Учебка – в Ярославле. Служба – на Дальнем Востоке. В самых что ни на есть знаменитых городах-приамурцах: Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре.

Не удержался я, спросил: не было ль дедовщины? Ведь поглядишь, послушаешь СМИ: не армия у нас, а сплошная «зэка» со своими паханами, шестерками, петухами и прочими неуставными званьями. Поэтому я всех своих молодых знакомцев спрашиваю – на счет дедовщины.

«Нет, – сказал Илья. – Чего не было, того не было! Служили дружно. Честно. Общались по-товарищески. С земляками – по-братски! Не-ет! Дружба была – армейская! Надо послужить, чтобы узнать: что это такое! Ни унижений, ни заискивания. Да и вообще: про дедовщину – болтают больше. Кому выгодно. Как говорят: на воре и шапка горит.

Между тем вышли на то место, где Мега и Обская Мега свивают свои пряди в один стрежень. Дул паветер, бурун после кормы захлебывался, дробился, превращался в паволну. На палубе стоять было невозможно, я спрятался за рубку, в заустенье.

«Это разве падера! – Илья открыл термос с кофе. – Вот когда сосульки нарастают, такие вот: вкривь и вкось, а на лице – ледяная корка, вот тогда – падера!»

После армии вернулся Илья в Покур. Вновь стал работать оператором. А что? Там ведь, под землей, тоже море: нефтяное!

Работал бы Илья по сию пору оператором, да уговорил его знакомый капитан Николай Тимофеев стать мариманом!

Мне кажется, уговорить стать мариманом невозможно, если нет к этому генетического предрасположения... И в самом деле: настоящий покурец испокон – или рыбак, или судоходец! По крови он – романтик и оптимист! По суше и воде – землепроходец. Не бедокур, а жизнеустроитель.

Основательность человека, его жизнеустроительность, его порядочность – я определял с детства по его отношению к женщине: любого возраста, национальности, общественного ранга...

«Илья, ты женат?» – «Нет, не женат».

У основания «игрека», который образовали Мега и Обская Мега, мы развернулись. И – против течения! За нами взвился бурун.

В тучах, на западе, словно из невзрачной дыни желтую дольку острым ножом вынули, прорез показался, и оттуда золотым соком – струями! – брызнуло солнце!

Чтобы плыть и плыть навстречу свету!

Нет!

Есть чувство долга.

Оно – в малом.

16 румбов.

Сер и грозен – Север.

Черный размах берега. Темный, с золотинками, каменный пояс города.

Темно-синее, серое в своей синеве мрачное небо.

«Илья! Давай, навстречу солнцу! Ну и пусть: на запад! Сейчас все стороны нам открыты».

Илья молчит. Он – капитан. У него – свои планы. Я – сник! Сделал фотоснимки, которые жаждал сделать много лет.

«Илья! – продолжаю я разговор. – Годы-то – семью пора! Все выбираешь? Сына бы... Или дочку?..»

Молчит Илья. В обскую обстановку устремлен его взор: мариман!

Закончив разворот на стрежне, оставив безнадзорным штурвал, Илья ныряет в машинное отделение, делает многократные перегазовки и, возвратившись, отвечает: «Нет! Не женат. Все как-то...»

Ах, Илья – Илья... Или Покур уж не тот?.. Какие были тогда девушки!

«Где-то в топких болотах
база партии вашей...»

Самые красивые женщины – в Сибири!

Илья, здесь ищи жену свою!

Поверь: за свою жизнь я много поездил! И – прости! – первым делом смотрел не на памятники старины и прочее, а на то, какие в этих краях они, совратительницы и вдохновительницы! В Москве – да, кра-асивейшие женщины! Спасибо царям: со всей земли свозили на смотрины «царской невесты»

красавиц – нынешние конкурсы «мисс» – жалкие подобия царских смотрин!

А Сибирь – это естественная, противоборческая, боголюбческая, любви проверочная страна... Соответственно – страна прекрасных женщин!

Молчит Илья...

Орудует рычагом реверса, штурвалом: поставил нос катера в ту же выбоину в суглинистом берегу, где он был час назад. И, заглушив двигатель, через некоторое время возразил мне:

«Я с Вами не согласен! Женщины – красивы везде! Просто – кому как! Вам, к примеру, одне нравятся. Мне – другие!»

И – спустил трап...

Забыв свой огромный зонт, я спустился по трапу на подножие высокого суглинистого берега.

...Тому, кто как бы вырезал из нашей серой дыни узенький ломтик, проба, видимо, пришлась по вкусу: он принялся за ломтик пошире и подлинней, так, что внутрь нашей осенне-мрачной дыни хлынул поток солнечного света и остатняя мякоть ее наполнилась медовой желтизной и сластью, – так, что и сладкий и отчаянный страх появился: как бы и тебя не вытащили из этого тягучего мрака куда-то далеко – в светлые библейские выси. Туда – где женщины красивы, как в Покуре и в Мегионе.

...Я согласен с тобою, Илья!

Женщины становятся еще красивее, когда их любят мужчины!

Любимая женщина – красива всегда!

4 февраля 1997 г.
Мегион

Из книги
«КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ»
Из экспедиционных буден

ДВЕ ИПОСТАСИ

Боря В. (не хочу называть фамилию) работал в экспедиции задолго до моего прихода. Несмотря на зрелый возраст, холостяковал и жил в общаге.

Осадистой фигурой, круглой головой, посаженной на округлые покатые плечи, а самое главное, безобидными глазами, доверчивыми, ласковыми щеками и толстыми, по-матерински добрыми губами, готовыми каждому хорошему человеку улыбаться, до блазнения напоминал он мне известного артиста. Даже голос его то бухтел по-гномовски, то брезготал, как у водяного. В экспедиции к этому сходству присмотрелись, а я удивлялся. Однако и я привык к тому, что у нас есть помбур, похожий на артиста Евгения Леонова. Но только внешне.

Через год или больше иду на вертолетку, закрываясь от сиверка. Вывернул из-за пекарни и тормознулся.

Возле детсадика, на мостике-переходе через теплотрассу, стоит некто с фигурой командарма Фрунзе. В длинном, серого шинельного сукна, осеннем пальто. Фуражку бы еще, с тульей, со звездой, командармскую. Да на пальто алые «разговоры».

Одна рука на перилах мостика. Другая – по-ленински, навскидку ладошкой, у серого – блином – беретика. Глаза вприщурку. Розовощек. Ветерок полу пальто распахнул – одет празднично: в костюм-тройку.

Присматриваюсь: кто бы это?

Неужели Боря В.?

Похоже – он! Бог ты мой: плакать или смеяться?

Вот она – жизнь.

Комедия. Драма. Трагедия. Все вместе.

«Командарм» между тем подает команды.

Детишки из садика, как рыбья мелкотня, у забора толкутся: глазенками зырят, не моргнут. Рты пооткрывали: интересно!

Да что они – я замер. Смеяться или плакать?

Боря между тем посуровел, напряг ладонь у беретика, локоть на уровень плеча вывел и хорошо поставленным командирским голосом пропел команду:

– Для прохождения-я церемониа-альным ма-а-аршем... па-а-а-абаталь-о-о-о-онно!.. а-агом! а-арш! – снова, разлыбясь, развернув ладонь в штатском приветствии, до чего ж он стал похож на воспето-перепетого вождя. Хорошо, мол, идете, товарищи! И я невольно подтянулся: загипнотизировал меня Боря В.!

– «Перекушал» Боря! – сказал кто-то из старожилов, остановившийся рядом. – Кто-то «гонит гусей», а Боря – парадом командует. – И, предупреждая вопрос, успокоил: – Да он тихий...»

Самое интересное, что на следующий день вечером на далекой буровой Боря В. попался на глаза мне снова. Гляжу: чуть враскарячку, ни шатко ни валко, играючи, то есть профессионально, управляется Боря со своими помбуровскими железными причиндалами.

– Как он? – интересуюсь вполголоса у бурильщика. – Не того?

– Ништяк! – отмахнулся бурильщик. – Теперь до Дня Победы в рот не возьмет, выступать не будет.

Проходя мимо Бори В., я с любопытством глянул на него. Но он, благоточиво и уютно сопя, полностью был поглощен своей тяжелой работой и не удостоил меня взглядом.

И я был не в обиде, хотя в памяти прозвучала эхом команда: па-а-а-а-а-батальонно!

Я задумался... Ах ты, экспедиционная наша жизнь! По себе заметил: как завел огородик, тепличку – спокойнее стал. Почему? Разрядка! Поковыряюсь в земле, оборву лишние побеги, сниму какой-никакой урожай. Вот и сброшу отрицательные эмоции. А Боря-то – тоже человек, со своими страстями-эмоциями, ему-то да и другим Борям – как их сбрасывать? Видимо, и остается – парады принимать...

ПАРТИЙНЫЙ ПОДХОД

Осенью 64-го года бюро Сургутского райкома КПСС решило заслушать отчет о работе группы народного контроля нашей экспедиции. Руководил группой Петр Васильевич Г., периодически исполнявший обязанности то главного инженера, то начальника ПТО. Я был у него заместителем: проводил рейды и выпускал «Комсомольский прожектор».

Худо-бедно, но работа была проведена, много фактов явной бесхозяйственности, халатности, некомпетентности и просто натурального бардака было вскрыто группой и привлеченными к проверкам специалистами. Выступивший следом председатель районного комитета положительно оценил нашу работу, доложил бюро райкома о работе комитета в целом.

С заключительным словом стал выступать Василий Васильевич Б., по всему чувствовалось, опытный, видавший виды партийный функционер, владеющий приемами ораторского искусства, в частности интонацией, мимикой удлиненного, крупнозубого, широкоротого лица лошадиного типа и жестами крупных, но безмозольных ладоней. В какой-то части слова-импровизации он тепло отозвался обо мне как о достойном представителе армии молодых специалистов, приехавших в Сибирь для покорения ее недр и приращения богатств российских... и т.п.

И тут Борис Власович С., начальник экспедиции, недавний главный геолог, импульсивный и косноязычный, перебил Василь Васильевича репликой.

– Вы мне так, В.В., кадры испортите: перехваливаете!

– В чем дело? – тормознулся В.В.

– Еду, понимаете, на днях по Черному Мысу. Вижу: в частном секторе его прораб, – указывает на меня, – да, подчиненный Козлову прораб Баранов бурит, понимаете, на государственном станке водную скважину... И конечно, с его разрешения... Это безобразие, понимаете... Других проверяете – начинайте с себя...

– Это он по-родственному разрешил! – прыснул сидевший рядом Петр Васильевич Г., мой старший соратник по народному контролю.

И вот тут начался партийный подход к рассматриваемому вопросу: была проявлена «принципиальность»!

– Не сме-ш-но, товарищ Г.! – загромыхал В.В. – Не смешно! Вы нам тут, получается, пыль в глаза пускали? Правильно, принципиально поступил коммунист Борис Власович С., что поднял этот вопрос. Молодой специалист. Инженер. Комсомолец. Зам председателя группы народного контроля. Проверяет других... Воспитывает. Наказывает. А что у себя под носом делается – не видит! Безобразие! Разберитесь, Борис Савельич, если с разрешения – вычтите понесенные экспедицией убытки. Чему вас в институте учили? Государство не жалело средств на ваше обучение, а вы... и т.д., и т.п.

Я пытаюсь встать, возразить – какое: обвинить Савельева за бездушное отношение к людям! «Вам бы, Борис Савельевич, поднять свой зад с сиденья да зайти к этому прорабу Баранову, не вылезавшему всю зиму с поля, да поинтересоваться: как он живет?

А живет прораб Баранов хреново: снимает он частную комнатушку, а у него годовалые близнецы да шестилетняя дочка. Да неработающая жена. А воду возят только для питья, а для стирки да кипячения пеленок жена без него надрывно таскает воду от рыбзавода.

Узнал бы да и сказал: «Ай да молодец, прораб Баранов! Пробури-ка ты и у других бедолаг во дворах скважины – одну на проулок, а я тебе – премию выпишу да благодарность к 7 ноября объявлю перед всем народом».

Петр Васильевич Г., как тертый старший товарищ, меня осаживает да со смехом на ухо шепчет: «Да брось ты! Впервые на таком сборище? Ну тогда привыкай: в будущем пригодится! Там начальство трепаться – тоже мастаки... Да и поздно: после драки кулаками не машут. Да и слова не дадут: резюме подводится. А Боря, конечно, подложил свинью! Тянули его за язык...»

Я прислушался к совету Петра Васильевича Г. и успокоился. Но решил, что все изложу в письменной форме и передам В.В.

Все же я не удержался и после бюро задержал начальника и подвернувшегося председателя районного народного контроля и выразил свое возмущение проявленными бездушием и формализмом. Но они слушали невнимательно, озирались и искали глазами кого-то. Не дослушав, заторопились: «Да что расстраиваешься? Похвалили же, работу в целом оценили положительно! Работайте!» – и направились в сторону кабинета политпросвета.

«Сто грамм выпить и пирожком закусить, – мелко хохотнул Петр Васильевич. – Поехали домой, проверим – как там супруги, по-хозяйски ли управляются? Есть хоцца!»

«ЛАСЭТЭ»

В августе 65-го года мы с женой случайно оказались в Риге. Вообще-то мы рассчитывали, на сколько денег хватит, пожить в Ленинграде: он влюбил в себя, очаровал, восхитил. Устроились мы в прекрасной, по сургутским понятиям, гостинице «Россия» в двухместном номере. Но... в Ленинграде проводился всемирный конгресс гидрогеологов, места были забронированы, и нас поселили с условием, что – «как только, так сразу...».

Прошли девять дней восторга, на десятый мы пошли в Эрмитаж, а после его закрытия – на Рижский вокзал и в ночь выехали в столицу Латвии.

Это было наше второе путешествие: год назад мы в бархатный сезон отдыхали в Абхазии, и, хотя объясняться порой приходилось чуть не на пальцах, взаимоотношение с местным населением было прекрасное. Это казалось естественным: в одной стране живем – в великом СССР!

С таким настроением приехали мы и в Ригу. Прямо на привокзальную площадь смотрели подъезды нескольких гостиниц, но двери у них заперты: мы приехали слишком рано, нужно ждать семи утра: это было первое не «как в СССР».

С грехом пополам устроились в последней по кругу гостинице, в огромном неуютном номере («Только «люкс», простите?..» – «Давайте «люкс»). Переодевшись, умывшись – в город! «Первым делом – в Домский собор!!! – заявила жена. – Хоть снаружи посмотрим пока. Но орган послушаем обязательно».

«Извините, к Домскому собору как пройти?» – обращались мы к прохожим. Одни пожимали плечами, замедлив шаг, другие вообще не реагировали, третьи буркали что-то вроде «не понимаю». Мы были шокированы: в Ленинграде первый же, к кому обратишься, подробно объяснит дорогу, а если есть время, то и проводит вас. Это было второе не «как в СССР».

Впрочем, много было и хорошего не «как в СССР»: пивные автоматы с «темным» и «светлым» напитком за двадцатчик и пятиалтынный на каждом углу. Чистота брусчаток и асфальта (урны на каждом шагу!), отсутствие очередей в магазинах и, наоборот, очередность при посадке в транспорт (как в Ленинграде!). Магазины-ателье, где сегодня вам полуфабрикат одежды подгонят под фигуру, а завтра вы ее можете получить. Много модных товаров-новинок.

Всего понемножку: и «как» и «не как...». В республиканской молодежной газете – знаменитое фото «Нефть пошла» (в пригоршне нефти отражается буровая вышка, тайга и облака...), а в агентстве Аэрофлота долго ищут в каком-то талмуде пункт моего назначения: «Тумэн... Тумэн... Тьюмэнь...»

И наконец, накануне отъезда еще и заблудились. Жена в новых туфлях сбила ноги, я отправил ее в гостиницу на такси, а сам решил, ориентируясь по мглистому солнышку, выбраться самостоятельно. Долго я блуждал, крутился вокруг солнышка по спиральным улочкам и наконец вышел на железнодорожные линии, а вдоль них – к вокзалу...

На радостях решил купить какую-нибудь выпивку и отпраздновать это. Вошел в подвернувшийся полуподвальчик. Покупателей не было, не считая женщины, занятой разговором с дебелой тонкобровой продавщицей. Изучив витрины и заставленные разнокалиберной посудой полки, я решил взять плоскую стеклянную фляжку емкостью треть литра за три с полтиной с напитком «Ласэтэ»...

Не дождавшись, когда на меня обратят внимание, я со всей вежливостью, на какую был способен, попросил подать мне «Ласэтэ»...

Неохотно прекратив разговор со знакомой, продавец произнесла для начала: «Прости-те? Не понимаю. Что вам угодно?» И началась «игра в непонимайку»: я называл цену, показывал пальцем на злосчастную фляжку, чуть не скандировал по слогам: «ЛА-СЭ-ТЭ!» В ответ мне было: «Не понимаю!», «Это?..», «Простите?» или недоумевающее пожимание плечами и даже растерянная улыбка. Я готов был, как в том анекдоте про заику, махнуть рукой: «Х-хрен с ним, дайте колбасы!» – и тут меня осенило. Я рассмеялся и сказал: «Фрау, битте айне «Ласэтэ»!

Женщина улыбнулась: «О, я, я,«Ласэтэ», – сделав ударение на первом слоге, подала мне плоскую бутылку с темной, цвета йода, жидкостью, как оказалось, «Охотничьей настойкой» градусов под шестьдесят крепостью.

...Если бы мне пришлось жить в Риге, выучил бы я латышский: себе «дешевше», как говорит мой старший зять, полиглот на бытовом уровне (изъясняется бегло на украинском, белорусском, грузинском, башкирском: там жил, там учился, служил, тут работает). «Оне любят все, когда по-ихнему балакаешь», – поясняет он.

И я этому свидетель. Как-то были мы в отпуске в Уфе, послали меня за помидорами на салат. Стою в очереди: хорошие помидоры! Женщины выбирают. Дошла очередь до меня – продавец, башкирка, весь отсев мне! Отказываюсь, хочу уходить – зять чудом тут и – «тю-тю-тю...» по-башкирски. Смеются оба. И та же продавщица в ту же сумку, за те же деньги – кладет отборные красноорожие плоды!

ИНТИМНЫЕ СТОРОНЫ ЖИЗНИ

Начальник ПТО приехал к нам по вызову, познакомился с работой, условиями жизни и решил остаться. Предлагаю ему семью везти незамедлительно, говорит, что дети взрослые, своими семьями живут, жена – директор школы, сейчас не может: только после окончания учебного года. Ну, дело хозяйское, решил я и больше разговоров на эту тему не начинал.

В.В. оказался знающим специалистом, был интеллигентен, высок, еще «вполне в соку», с женщинами – сама любезность. Идейный: член КПСС. Принимать принимал, но в меру, даже (или только?) на халяву. Отработал год, съездил в отпуск, вернулся без жены. Я ему: «В.В. – это не дело! Окрутят тебя тут девки, смотри...» Он в ответ: «Жену роно не отпускает...», то да се и т.п. «Ладно, – говорю, – дело твое». И на время забыл об этом.

В один из праздников пришлось В.В. дежурить по экспедиции. Одна из обязанностей дежурного – отправить вертолеты по буровым с заказами и людьми. При этом часто возникают неординарные ситуации, и обычно я для подстраховки всегда заглядываю на вертолетку. Пришел и в этот раз. Дежурного нету! Звоню на рацию, в приемную – не отвечают. Пришлось самому заняться. Растолкал вертолеты по точкам, иду на связь. Потом заглянул в приемную... И что же? В.В. собственной персоной! Ноги – циркулем, руками уперся в стол, глазами – в раскрытый тонкий журнал. Взял журнал, глянул на обложку – «Здоровье». В.В. не возмутился, прошелся по мне невидящим отрешенным взглядом и вышел, как сомнамбула, из приемной...

«Что с ним?» – подумал я обеспокоенно и стал просматривать статью, которую читал В.В. и которая, видимо, так на него подействовала.

Это была статья о сексе для пожилых людей! Старше пятидесяти! То есть для той категории мужчин, которую представлял В.В. А там черным по белому многократно подчеркивалась необходимость, хоть раз в неделю, регулярного секса...

Прошла зима, наступила ранняя весна. Я возвращался из командировки. В Нижневартовском аэропорту были уже лужи. В диспетчерской службе мне сказали, что вот-вот должен быть «наш» вертолет.

Первым из вертолета, как-то боком, вывалился почти В.В. Произнеся что-то невнятное, махнув портфелем, мимо меня он почти пробежал. «Да он в дупель пьян!» – сказали мне. А уже на базе конфиденциально пояснили: «В.В. прихватил на... Колоться в Вартовск полетел».

Через месяц он уволился – поехал к жене.

ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА

Таежная речка сильно меандрировала среди кедровых грив и темных высокорослых ельников. Чтобы уменьшить вырубку леса, буровую расположили в основании, а жилой поселок и вертолетную площадку – на перешейке и оконечности полуострова. И для подлетов к вертодрому лес не пришлось вываливать: справа и слева, по-над речкой простору было достаточно для любых вертолетов.

Скважину забурили в конце сентября, еще по теплу; смену вахт и завоз оперативных грузов осуществляли средние вертолеты МИ-8. Но на буровой оставалось несколько подвесок вышкомонтажников, которые увезти могли только тяжелые вертолеты МИ-8 или МИ-10. Располагались эти грузы в самой узкой части (метров тридцать – сорок) перешейка.

И вот, гудя, чуфыкая, как трактор на малых оборотах, издалека оповестил о своем приближении тяжелый, зелено-

вато-черный, как копченый окунь, МИ-шестой. Стропаль монтажников, дежуривший уже несколько дней, по-обезьяньи взлетел на верх контейнера-слесарки, затянул все вязки энцефалитки и стал ждать, распластавшись по крышке. Нижний край воздушной подушки, на которую опирался этот гигантский грохочущий железный сарай, как в сердцах звали заказчики вертолет МИ-6, коснулся земли и, расплющиваясь, погнал в сторону, с завихрениями все, что можно было сорвать, унести и опрокинуть. Вот он наконец завис над слесаркой, стропаль ловко накинул петли тросов на крюк и сполз на землю, потом, закрыв лицо, подгоняемый воздушным потоком, упрыгал к балкам тройными прыжками.

Или машина была слабенькая, с последним ресурсом, или командир выбирал курс повыгодней, чтоб взлетать навстречу ветру – началось таскание подвески по взлетной площадке. Гул, грохот, ветер-самум!.. Вот оторвал уже на метр-полтора – лететь бы, нет, боком-боком пятится назад. Бум! – подвеской о землю. Еще и еще... Вот уж крайний балок задрожал, дверь чуть не вылетела, хлопнула пушечно. Где-то лист железа сорвало: унесло в реку. Два обласка, лежавшие под берегом, крутятся как бумажные кораблики в прогнувшемся водовороте маленьких Бермуд... Вот опрокинулась и покатилась тесовая будка туалета на два очка... Ну, наконец-то, выжимая с брызгами из-под себя речку, словно судно на воздушной подушке, воздушный трактор ушел по своей светлой колее.

Напряжение спало, и, хоть гудела буровая, установилась, казалось, абсолютная тишина. И вдруг в этой тишине раздался женский голос: «Помогите!» Звучал он глухо и доносился из... туалетной будки, задержавшейся у мощного кедрового пня. Когда ее поставили так, чтоб можно было открыть дверь, из нее выползла перепуганная техничка тетя Клава.

– Нечистый дух! – ругалась она. – Надо же! Чуть по второму разу в штаны не сходила... Смотрю: будто рак, пятится, выйти – не могу, дверь ветром так прижало, что не открыть. Господи! А коли в воду бы? Смертенька бы тоды...

«ПИТИЧКА ЖЮ-ЖЮ»

На излете октября приехали к нам в экспедицию двое молодых специалистов–буровиков по специальности – выпускников Тбилисского политеха.

Что ж так поздно, спрашиваю. Тот, что повыше, с фамилией на «швили» и мягкими, округлыми чертами, мнется, на друга косит девичьим глазом. Однокашник его, на «идзе», тонкогубый, остроносый, прямобровый, чуть причмокивая, тщательно подбирая слова, пояснил: приехали нормально, но из-за «плехого» русского языка («Не языка, наверное, а – плохого знания языка!» – поправил я) уже в двух экспедициях от них отказались. И неудивительно: русский они изучали наравне с английским! Не исключаю, что заявления на «инглише» были бы более «грамотны». Подписывая документы, я поставил им условие: вот вам по амбарной книге, пишите что угодно: технические тексты, газетные статьи, анекдоты, но чтобы к Новому году – были заполнены мелким почерком.

Через четыре года первый, Валериан, мастерил, а Абессалом – Бесик – был начальником группы крепления скважин. Служебные документы они оформляли на уровне, а вот в разговорной речи... Акцент – дело тонкое, он придает речи определенный шарм, и не об акценте я, а о словотворчестве их.

В годовщину их приезда, в октябре, случилось у Бесика при спуске обсадной колонны осложнение, и мне пришлось прилететь на буровую. Монтаж и обустройство было в летнем варианте – без котельной, жилых балков не хватало, столовая под навесом, обтянута бельтингом. Намерзшись, мы постоянно гоняли чаи. К чаю, в качестве деликатеса, был... кукурузный мед, до приторности сладкий, но – эрзац-продукт! Вот об этом как-то и Бесик решил высказаться...

Облизав ложку острым языком, по-медвежьи, в трубочку, сложив губы, он с сожалением произнес: «Вкюсно, но все же – не то! Мед, да не тот! Не как... этот... – Бесик вскинул брови, подвигал ладонью; он ожидал подсказки, но все молчали: интересно было, как он вывернется? И он «вывернулся»: – Ну – тот, который питичка жю-жю собирает».

...Что Бесик! Сколько вождей за всю жизнь не могли русскому языку обучиться.

О ВРЕДЕ БРОСАНИЯ

В ожидании вертолета сидели в пустом, разбитом при попытке перевезти его на подвеске, длинном балке. Вахта буровиков, тампонажники и еще несколько человек, в том числе плотник Федя Н., прилетевший для осмотра балка: подлежит ли ремонту и что нужно для этого. Федя здоров, как бугай, и краснорож, как кустодиевский монах или купец. Он молчун, знаток всяких примет и знамений: говорит редко, да метко. Но помнятся его мрачные сбывшиеся пророчества. Я был свидетелем одного из них. Хоронили утопленника и вынесли его из клуба вперед головой. Федя при этом изрек утробным басом: «Ну, быть еще одному». И точно. В этот момент будущий новый утопленник варил ушицу и уже планировал «со товарищи» откушать ее на стрежне реки, где не было гнуса, а лодка со стоявшим на скорости с подвесным мотором снуло болталась под берегом. Когда в столовой справлялась тризна по покойному, сообщили, что пророчество – сбылось: при запуске мотор схватил на скорости, и лодка, как всегда в этом случае, перевернулась – одного не досчитались.

Помимо мрачного прорицательства Федя страдал алкоголизмом: дважды лечился в ЛТП и безуспешно. «Там еще хуже, – делился он впечатлениями. – Пить – пьешь тоже, но дороже. Дома – дешевле!»

Вертолета все не было. Разговоры – и кулуарные, и общие – смолкли. В балке сумеречно стало – видимо, снег пошел или запуржило. Федя все сидел в сторонке на корточках и участия в разговоре не принимал. А тут вдруг зашевелился, запокряхтывал. Некоторые опасливо переглянулись: как бы не сморозил чего, вроде: вертолет разбился или «разобьется». Да если скажет: «Погода нелетная, шабаш, пошли чай пить» – тоже ничего хорошего, домой всем хочется, на выходной.

И вот в абсолютной тишине Федя крякнул могуче, прокашлялся и изрек с паузами такие слова, ставшие в экспедиции афоризмом: «Да! Курил. Бросил – начнешь. Пил. Бросил – начнешь. Баб любил. Бросил – хрен начнешь».

Тишина стала еще суше. Как после разряда молнии в дерево, под которым стоишь...

«ЭЙ, ВЫПИТЬ ХОЧЕШЬ?»

Едва заморозки сменились ядреными морозцами, Валерий Агапов, исполнявший обязанности зама, пристал с ножом к горлу.

– Шеф! Для поднятия духа в коллективе надо свозить рыбаков на Окуневое озеро на подледный лов. Делов-то – не разоримся: двадцать минут лета! На призы – унтята со склада выпишем. Всем сестрам по серьгам: за самый большой улов и самый маленький, за самую большую рыбину и наименьшую... Ну и за самый острый анекдот. Список рыбаков, инструктаж – беру на себя. Шеф, лады?

Уговорил: дал я добро на мероприятие по поднятию духа.

– Только чтоб выпивки брали – меру! – строго предупредил его.

Наступило воскресенье. Рыбаки уже на вертолетке, пилотов торопят. В последний момент Валера мне говорит:

– Шеф, полетели? Я на тебя все, вплоть до ватных штанов прихватил. Сделай себе выходной: айда!

На грифельносверкающем льду озера разноцветными буковками, иероглифами, шахматными фигурками рассыпались рыбаки, подвигались, надолго замерли. Только радостные крики временами нарушали тишину: «Есть! Сёмый!» – с одной стороны. «Дюжина! На ушицу надергал!» – с противоположной. Азарт вступил в свои права. Валера уже несколько яркоперых, шустрых, как он сам, окуней поймал, а я – ни одного. Поменял лунку и тут же – поклевка! Первый окунь – невеликий, даже маленький, но такой дорогой – свой! Незаметно отошел от рюкзака метров на тридцать. Часа через два Валера спрашивает: «Старик! Выпить хочешь? Кубинский ром есть!» – «Не против!» – отвечаю. «Сходи, притащи рюкзак». Я хмыкаю: «Нашел дурака!» Время незаметно идет! Небо белесой пеленой затянуло. Глянул – третий час пополудни. Напряжение в атмосфере над озером спадает – словно легкий ветерок подул... Появились первые праздношатающиеся. Одного из них Валера останавливает: «Выпить хочешь? Тогда налей прежде нам!» Выпили, закусили... Хорошо! Еще чуть подергали окуньков – и Валера объявил: шабаш! Награждение победите-

лей прошло весело, шумно. Воздух ли, ясный свет ли, улов ли повлиял – все были благостно возбуждены, добросердечны друг к другу, в вертолет не лезли по-московски, а пропускали по-питерски: подсаживали, рюкзаки поддерживали. Чувствовалась приподнятость духа. Славное занятие – ужение рыбы!

«ЭТО ЧТО ЗА ЧЕРТОВЩИНА?!»

Начальник управления разведочного бурения главка в нашей экспедиции впервые. До этого работал у эксплуатационников, по решению обкома переведен к нефтеразведчикам – для придания импульса. На все он смотрит глазами нефтяника, у которого – дороги, снабжение, постоянное благоустроенное жилье и хорошая база. И финансы, конечно. И самое главное – заработки! Изучает затребованные справки, возмущается: «Да вы что – все это с точки на точку возите? И это, и то?.. Да мы вот это барахло давно повыбрасывали, каждый бурстанок оснастили тем, тем и тем. И оно все двигается со станком». И далее в таком духе.

В это время в систему отопления пустили пар... Сначала – стрельба, потом – скрежет (что делать? При резком нагревании тела быстро расширяются: закон физики!) в стороне и наконец над ним – он даже пригнулся. «Это что за чертовщина у вас?» – воскликнул, опасливо обернувшись. Выслушав объяснение, дал ЦУ: «На водяное переходите!»

«Бу сделано! Как только оборудование выделите, так сразу!» – принял я ЦУ для исполнения. По всему, на госбюджете он не сидел: где сядешь, там и слезешь... Однако вскоре понял.

«СЕГРЕГАЦИЯ, СЭ-ЭР?»

«На Север тогда еще на ощупь выходили... Но шеф наш – мужик решительный, крутой, базы для экспедиций сам выбирал. Как возьмет с собой – налетаешься до тошноты. Встречался он с местными властями, не чурался с аборигенами общения. Орогидрографию района работ в натуре, так сказать, изучал, сопоставлял с геологическими картами: откуда выгоднее, главное, быстрее сделать очередной бросок для расширения границ «открытия века».

В этих поездках всякое случалось – трагическое и курьезное.

Заночевали как-то на недавно выбранной базе новой экспедиции, расположенной рядом со стойбищем ненцев. «Заезжая» – комната в свежесрубленном бараке. Удобства во дворе. Отопление на дровах. Освещение – от передвижки, напряжение дергается. Съездили в райком, на бурящуюся скважину, поужинали в гостях, возвращаемся – шеф мне: «Где мои тренировочные брюки!» А мне откуда знать? Он расшумелся: «Мне переодеваться надо – найди брюки!» Пришлось поднять начальника, тот – местных пинкертонов... Нашли: один пьяный ненец днем в них прогуливался по местному Бродвею. Горничная выстирала их, выгладила, потом – сам, с лица и с изнанки, прожарил – и не надел все же! Выбросил! «Сегрегацией это попахивает!» – подначиваю его. А он мне: «Да и после тебя – тоже не надел бы!»

«ЭЙ, КОМАНДИР, ВЫКЛЮЧИ ВЫСОКОЕ!»

Николай Алексеевич С., старший инженер ПТО, совмещал свою работу с обязанностями «маршала авиации»: давал задания экипажам вертолетов, командовал такелажниками, обслужива-ющими вертолетку, контролировал отправку грузов и людей на буровые. Был он по-американски грубоват и коммуникабелен, со всеми экипажами у него сложились фамильярно-дружественные отношения. И лишь с командиром

МИ-4 – Ефимычем – фамильярно-напряженные: был Ефимыч въедливым, желчным и непредсказуемым человеком, по мнению не только «маршала авиации», от него можно было ожидать чего угодно. (С его капризами не единожды приходилось и мне иметь дело.) Как-то раз Ефимыч должен был после обеда взять груз на подвеску. Такелажники задерживались, и Ефимыч психовал. Тогда Н.А. решил сам подцепить стропы груза...

Я не думаю, что Н.А. не знал про электростатическое напряжение, коим обладает любой летательный аппарат, и что при соединении оного с землей происходит стекание заряда, т.е. разрядка, – знал теоретически, наверняка, более того, говорил о нем тем же такелажникам при инструктаже по технике безопасности! «Нужно сначала разрядить аппарат, а потом касаться его рукой или другой частью тела, если стоишь на земле».

Знал Н.А., знал, а на практике – не применил!

Держит Н.А. одной рукой строп, а другой – ловит крюк подвески. Только ухватил его: бац – искры из глаз. Ну, думает, это происки Ефимыча. Возмутился и кричит:

– Ты!.. Наверху! Шутки у тебя дурацкие: выключи высокое напряжение.

Ефимыч его не понял: грохот, воздушная подушка все звуки от вертолета вниз и по сторонам выжимает, – но на всякий случай крюк чуть еще приспустил... Н.А. попробовал еще раз – снова ударило: рука из локтя чуть не вылетела.

Тут появился такелажник, взял у Н.А. строп, коснулся им крюка – пробежала искра, и конфликт с высоким напряжением был исчерпан.

Капризный рынок, вроде вертолета Ефимыча, завис над нами, машет своими лопастями-законами, спасительный небесный аппарат, который, говорят, может вытащить наше народное хозяйство из болотины-стагнации, да вот только наши «маршалы», вроде Н.А., теоретически знают – как, а практически не могут с подвеской соединиться! Но искра, видимо, не их бьет, а – народ, тот все стерпит! А долбануло бы разок, хоть одного, по-настоящему – сами вспомнили бы или такелажника-практика позвали. Ефимыч повисит-повисит да и отлетит в сторону или к другому заказчику: въедливый командир.

ШВЫРКИ

Участок глубокого бурения, куда меня направили на работу, находился за тридевять земель от базы экспедиции. По заведенному порядку, свою карьеру я начал с должности помощника бурильщика. В работу я втянулся быстро, сдружился с буровой бригадой. Отношения на участке были уважительные: стар и млад величали друг друга по имени-отчеству, чаще всего – просто по отчеству. Приятно было, когда к тебе степенные мужики обращаются: «Николаич!..» Редко-редко кого звали по прозвищу.

Люди в бригаде подобрались не то чтоб богатырского сложения, но солидные: кряжистые, спокойные... И только двое – помбур Коля Б. и верховой рабочий Филипп П. – были исключением: ростом чуть поболее двух аршин. Коля Б. – чернявый, верткий, на слово скор, на поклон легок. Филипп П. – краснолиц, длиннонос, желтоволос, изъяснялся с растягом и гундосо. Вот у них было одно прозвище на двоих: «швырки».

Происхождение прозвища меня заинтересовало. Соседа нашего, к примеру, прозвали «выколоткой» за длинный нос с оттянутым кончиком. Тут все ясно. А их – за малый рост, что ли? Они хоть и низкорослы, но осадисты и сильны: хилому на «железной» буровицкой работе, словно в кузне, «делать неча»! Так что, за здорово живешь их не швырнешь. Гордеич, бурильщик, услыхав мои рассуждения, тихо засмеялся: «А вот, слышь, Николаич, нашелся такой человек, что их каждого, словно сухое полешко, за воротник – и швырнул... И смеются-то – што девка с имя, как со швырками, обошлась-то...

А дело было так. Стояла прошлой зимой на буровой газокаротажная лаборатория. Пробы газа отбирала. Нам от нее лишние хлопоты. Но надо, значит, надо. Располагалась она в маленькой будочке воинского манера. В любой мороз у них тепло. Вот ночью, при бурении, помбуры нет-нет да и заглянут к каротажникам – нос отогреть. Пока мужики газ ловили, тихо было. А тут прислали деваху молодую... Неля! Не деваха – красна девица!!! Кровь с молоком! Все при ней: и тут, и тут. Одна беда – ростом меня повыше! А я все ж в роте правофланговым был. Ага. И потянуло помбуров словно мух на мед: чуть что – они уже в каротажной будке. Неля терпела ихние ухажи-

вания терпела, а как терпежки съела – рукам волю ухажеры стали давать! – она одной рукой за воротник, другой – за мотню да кинула, словно швырка, в амбар с раствором. Сначала – Колю, а чуть погодя – Филю. Вот и пошло: «швырки» да «швырки»... Так имя и надо: неча не по себе ношу брать! Неля? Слышно, что так в каротажниках и ходит. Родители, говорила, в Сургуте работают. А так – деваха на все сто! Ростом вот только... не обидел Господь. Не война – проживет!»

Через несколько лет в Сургуте довелось мне прежде увидеть Нелиных родителей по фамилии Малых – оба друг другу под стать: атланты! Позже и Нелли лицезрел: сказочная Девица-богатырка!

«ЧАЙКУ – НЕ ЖЕЛАЕТЕ-С?»

При пуске буровой, будущей первооткрывательницы Северо-Хохряковского месторождения нефти, возникли проблемы с обеспечением ее водой, паром, топливом, и вызваны они были низкой температурой: стоял мороз под сорок с пронизывающим ветром. Пусковой комиссии пришлось включиться в практическую работу.

В очередной сеанс радиосвязи я пришел в культбудку, сразу же поставил электрочайник. Я еще вел радиоразговор с базой, когда в балок вошел буровой мастер с новыми заказами. Увидев закипающий чайник, он обрадовался: «А! Чаек? Хо-ро-ш-ш-о! Заварен?» Я отрицательно мотнул головой. «Тогда заварим-с! – он взял пачку цейлонского чая, распечатывая, спросил: – По-купечески?» Я пожал плечами: как хочешь, мол.

Вжимаясь с трубку ухом, пытаясь не потерять слабенький голос своего абонента среди урчания и писка, я боковым зрением заметил, что мастер, потряхивая пачку над чайником, замер на пару секунд, а потом решительно перевернул ее...

– Ты что? – прервал я разговор с базой. – Чифирнуть решил?

– Да нечаянно, ей-Богу, В.Н. – стал оправдываться он. – Руки ж с мороза, не гнутся. Тряс я ее полегоньку, тряс – она возьми да и сыпанись почти вся. Чего уж мелочиться? Высыпал и остаток. Наливайте, пока не настоялся .

Цейлонский чай, даже крепко заваренный, не очень густой цвет дает, особенно на хорошей воде.

Пьем мы с мастером крепкий цейлонский чай, греемся, вкусом, цветом, ароматом наслаждаемся. Тут в сизых клубах, заиндевелый весь, главный механик вваливается. «О! Игнатьич! – радушно встречает его мастер. Чайку – не желаете-с? Извольте: сколько кусочков рафинаду?»

Мастер налил в эмалированную кружку янтарного дымящегося чая, положил сахар, размешал и подал ее в короткопалые, сложенные ковшиком негнущиеся ладони главмеха... Потом, когда тот снял шапку и расстегнул меховое пальто, спросил: «Как чаек? Отогрелись? Может, еще кружечку?»

Главмех выставил обе руки: «Фе-фе! Пафиба! Ф эфой яфык фо фту фе фофофаефа!»

«ВАС ПОНЯЛ!»

Передаю по рации распоряжение начальнику ПТО:

– Побудьте на буровой еще пару дней, сделайте то-то и то-то!

Он в ответ:

– База! База! помехи: ни-и-ичего не понимаю.

Повторил еще пару раз, и все равно:

– Ни-и-и-чего не понимаю!

– Ладно! – говорю. – Вылетайте на базу...

– Вас понял! Вас понял!.. Вылетаю на базу!..

ПОДЕЛИСЬ С ДРУГОМ

«В нефтеразведке еще работали... Залетели раз с механиком на старую буровую посмотреть, как и что, и застряли: погода испортилась. Из жилья – один раздербаненный балок. Жрать хочется, но особенно – курить. Механик в дизельной несколько провонявших соляркой чинариков нашел – покурили. Курим, я его подначиваю: нарушают технику безопасности твои помазки. Он мне, в пику: под навесом, у пульта бурильщика,

полпачки «Примы» нашарил – твои буровики, злорадствует, не лучше. Это еще ничего не значит, успокаиваю его, курить-то они – во-он туда, в положенное место, уходили. Ну, ехидничает механик, верховой – тоже туда спускался, вот уж на полатях-то, кстати, курево должно быть! Слазали, точно: початая пачка «Беломора»... Уже легче!

Давим нары, изредка, когда уж невтерпеж, покуриваем. Анекдоты вспоминаем, всякие забавные случаи. На злобу дня поговорили. И, пока не уснули, про работу...

Встали рано, продрогшие, голодные, помятые, у механика – щетина вот такая: сексуальная, как нынче говорят. Выглянули: как там насчет погоды? Ничего утешительного! Ни по облачности, ни по видимости...

Слоняемся по балку. От нечего делать стал я передвигать шифоньер... Тяжелый: допотопный! Попыхтел, но передвинул и – чудо – увидел пряник. Аппетитный такой: в глазури! Слюнки потекли во рту... Но сдержался, великодушно протянул другу: «На! Кусай половину».

Друг взял пряник, «поел» его сначала глазами, а потом куснул... Да так куснул, что клык у него верхний скололся, – пряник-то засох – каменный стал! Почти что ископаемый!.. Сейчас чуть что друг мне: «Не-е, давай ты первый...»

МЕХАНИК-СЛОВЕСНИК,
или Не все на Руси караси – есть и ерши

Павел Алексеевич Г., механик-водитель, виртуозно водит по северному бездорожью армейские тягачи всех марок, порядком уже износившиеся; ремонтируя их в полевых условиях, шестерит своего тезку Пашу-мерседеса в хвост и в гриву: «...Куда из ЗГВ технику дели?.. Автогеном порезали!.. А тут... На морозе... старье меняй на старье получше. Его бы сюда...»

Как можно догадаться, Паша не только механик-водитель, ас, мастер своего дела, но и механик-словесник, любитель ненормативной лексики. Он невысок, напорист, кадыкаст,

сухопар и силен, одним словом, неказист, но обладает притягательной аурой, одним из магических компонентов которой, видимо, является изощренный мат, после первого шока потом не замечаемый. Узнав, что он недавно на собрании в присутствии высокого начальства навел шороху, спрашиваю:

– И не остановили? «Не выражаться» не попросили?

– Да не!.. А и сказали бы – я бы им!.. Не-е... Все по путю. Вышел я на сцену. «Так, говорю, и так. Вас, меня и членов правительства и моего тезку особенно». Да! По-своему! С многоточиями или как хочешь. Все меня знают – не обижаются! Потому как: у них – на уме, а у меня – на языке. На бумаге – многоточия, а со сцены – слова! Оно даже, может, и не слова – наречия, можно сказать, или чувства! Ведь простыми-то словами не выразишь, что у тебя вот тут. А я – выразил. Если бы не так, чтоб тогда мне хлопали как народному артисту? Да! Я – такой! Ка-анешно, сложный... Каждый человек сложный! Возьми вон машину: каждая сложна, но по-своему. И каждая новая модель – все сложнее, хитроумнее. Боюсь, что придут такие, на которые моего тяму уже не хватит. Тогда – на пенсию: огородом, поросятами займусь. А на счет этого... Нет, не дурачусь я, – жисть была такая и я стал такой: с детства сорные слова, как вентилятором, языком верчу. И что? Сын-то мой как девушка – ни одного слова не повторит. Во! А у другого, кто меня судит, дети толкового русского слова не скажут. Как Эллочка-людоедка выражаются. А чо? Думаешь, я уж ничего и не читал? Э-э, дорогой мой, ошибаешься глубоко... Выражаться этой лексикой выражаюсь, но когда в книгах печатают – не люблю! По телевизору – тоже... – он прервался, вслушиваясь в то, что говорил очередной кандидат, и через минуту воскликнул: – Были бы на экране стеклоочистители – плюнул бы я тебе сейчас в бесстыжие фары!..

Паша-словесник кратко выразил и мое отношение к этому человеку: мне бы пришлось для этого употребить гораздо больше обычных слов.

ОДА ЗИМНИКУ

Ах, наши зимники, зимники! Кто не ездил по вашей худой, в позвонках, ребрышках, худосочной, но скользкой спине? Кто ездил, тот знает. А кто не ездил – то ему не объяснишь и не покажешь. Что «русские», «чешские» или «американские» горки в сравнении с тобой! Сибирский зимник, «пьяная» дорога.

Ехал я в ноябре 75-го года в кабине «зилка» со скважины-первооткрывательницы Северо-Хохряковского месторождения нефти. Вел машину молодой автомеханик Роман. Наступили сумерки. Зимник петлял по буграм, поросшим крупным сосняком. Дорожники особо себя не утруждали (берегли тайгу!), и повороты поэтому были круты и опасны, на склонах – особо. Мотало и трясло пожестче, чем на упомянутых «горках».

И вот, когда уже замелькали в просветах между стволами далекие огоньки подбазы, мягко заглох движок нашего «зилка». Этого нам только не хватало!.. Роман полез под капот. Что-то пошурудил, похмыкал и – на стартер. Двигатель завелся было и тут же заглох. Роман снова в двигатель. «Топливо подкачай!» – посоветовал я. Роман что-то пробурчал. Я решил не мешать ему, вылез из кабины и прошел немного вперед. Возвратясь, стал обходить грузовик и – остолбенел, увидев одну раму... Кузова – не было! Что за мистика! Когда на буровой садился в кабину, кузов был? Был. Сейчас нету – значит, его сорвало. Это какой же нужен рывок, чтобы стремянки, которыми он крепится к раме, сорвать! Как же нас должно было трясти, чтобы мы не почувствовали рывок! Теперь понятно, почему мы заглохли, догадался я, – топливный бак, верно, тоже сорвало. Проверил: бак на месте, но топливопровод от бензобака к двигателю срезало.

Роман все метался от двигателя в кабину и обратно. Я окликнул его:

– Роман! Киль манда! Посмотри-ка...

– Ай-вай-вай! – расстроился он. – Как же так? Я и не почувствовал. А вы?

Мы приспособили ведро с бензином, закрепив его как следует и погрузив в него остаток бензопровода. Ехали мы «шагом», чтобы не расплескать бензин на косогорах, и только в пойме реки, перед подбазой, чуть газанули: здесь зимник был под стать европейскому автобану.

«ПИВНАЯ» НАДБАВКА

Тампонажник Гриша Д., приятно смугловатый, белозубый, с горячим взглядом, невозмутимо-меланхоличный в разговоре, женился на миловидной молодой геологине и летом поехал к теще «на блины» в Оренбуржье. Вернувшись, во время перекура рассказывает:

– Ага! То да се – погуляли как следует. С родней познакомился. В гости, само собой, походили по кругу. Своим стал, одним словом. Будни навалились. Ну, делаю там то се – по хозяйству, – теща довольна. Я не керосиню, но пивко попиваю. У них хоть и райцентр, а пиво пищекомбинат местное варит – во! Чтоб лишний раз не таскаться, я его по ящику брал. Да оно и выгодней: когда есть что вдоволь, не так тянет, так ведь? Попиваю я пивко да похваливаю: хорошее, говорю, мамо, у вас пивко, краснодарскому не уступает! Теща молча поддакивает, но, замечаю, в смущении. А как-то раз она осторожненько так, деликатно говорит: «А, дорогой зятек, не много ль ты пивка-то потребляешь? Оно, чать, и для здоровья не так уж гоже в таком количестве, не говоря об кармане. Денег больших – ящиками-то стоит, чать?..»

– Тю! – говорю ей. – Не беспокойтесь, мамо. За заботу о здоровье дякую, а на счет денег – говорить даже не надо. Мы же ж – з Северу! И в льготном отпуску. По договору в этом разе нам для укрепления организма витамином «Е» дрожжи положены пивные или пиво, потому на отпускные начисляется специальная – пивная – надбавка.

Теща замолкла, сомневаясь, покачала головой, но зато насчет пива больше не затевала разговора.

На проводинах подкольнула, правда: я, говорит, зятек, в дорогу положу вам гостинчик – подорожник: сухих дрожжей мешочек, чтоб на витамин «Е» тебе не тратиться...

«ДА ЭТО ЖЕ ЯД!»

При забурке скважины № 20 на Коттынской площади говорю буровому мастеру Сидорову:

– Николай Васильевич! Уберите спирт с глаз долой, не вводите людей в искушение и грех.

Н.В. всю жизнь проработал в Татарии, у нас бурит только вторую скважину.

– Да что вы, В.Н.! – отмахивается от моего предостережения он. – Куда денется? Технический спирт – яд! Технику безопасности все изучали. К тому же окрашен: сплошные чернила. Кто возьмет?

– Возьмут! Еще как возьмут! Знаете, как этот спирт зовут буровики? Как девушку, ласково: синеглазкой.

Глубокой ночью захожу в культбудку погреться.

Николай Васильевич, усталый, задерганный, постаревший, сидит у рации, горестно подперев рукой заросшую серой щетиной щеку. Увидев меня, восклицает трагическим шепотом:

– В.Н.! Вы были правы...

Для него это первая забурка сибирской зимой, и я во многом мог быть прав. Прошу уточнить: в чем?

– Да в отношении спирта! Взял кто-то. Отравиться ведь могут!..

– Не отравятся, – успокаиваю его. – Что другим яд – буровику в удовольствие. Вы не знаете – это еще те химики! Даже из ГКЖ – из химреагента для обработки раствора – добывают спирт, очищают и потребляют за милую душу. А ведь в ГКЖ – и щелочь, и другая отрава есть. Я, когда узнал об этом, тоже ужаснулся. Хоть в инструкции по применению ни слова про этиловый спирт, унюхали! Добыли, на алкаше-добровольце проверили, стали при нужде потреблять. Сведения из надежных агентурных источников. А этих – найдем! Погреюсь – пройдем по балкам, определим похитителя.

– Вы так думаете? Тогда ладно! – повеселел Н.В. и простил поклонников «синеглазки». – Если не отравятся, пусть уж отдыхают: время позднее.

Из книги
«О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ»

ТРОТЯ

Помотавшись по северам, я осел в Тюмени. Получил двухкомнатную квартиру, поначалу не верилось: неужто моя? Но быстро привык. Появились и другие привычки, одна из них – субботние поездки на базар. В тюменских магазинах в то время было изобилие продуктов и овощей, но на рынке – посвежее все да повыбористее. А тут и вовсе причина важная: дочери шесть лет исполнялось!

И вот, набрав всего, что глаз пожелал, тормознулся я на выходе. Закурил и по списку, выданному женой, проверил: все ли купил? Тут меня дернули за рукав, и я услышал веселый голос:

– Эй, дядя! Возьми, не покаешься!

Цыганисто-смуглый пацан, сидевший на ящике из-под вина, одной рукой вцепился в меня, другой показывал на нечто, похожее на половину небольшой желто-зеленой дыни...

– Бери, дядя, не раздумывай! Последний. Больше такой не увидишь!

– А что это?

– Эта?.. – голос пацана сел от удивления. – Это ж черепа-ах! Азиатский черепах! Я Тюмен сто штук привозил – момент расхватал! Последний остался. Бери – ха-ароший подарк ребенка будет! Дешево отдам...

Посмеявшись над торговцем, я подумал: «А почему бы и нет? В своей «квартир» живем! И спросил:

– А что она ест? И вообще...

Пацан понял: сделка состоится – и, приговаривая: «Он – все жрет! И одуванчик, и морковка, лук, редиска...» – стал заворачивать черепашку в бумажное гнездо.

Подарок мой вызвал сначала удивление, затем интерес.

Тротю – так, не сговариваясь, назвали мы черепашку – рассматривали с любопытством, оглаживали желто-коричнево-зеленую, будто тисненую округлую спинку, целлулоидно-гладкое, похожее на мыльницу, розовое днище панциря. Голова, ноги, хвост втянуты внутрь и прикрыты «бронещитами», да так плотно – не подковырнешь!

«Мудра природа! – восхитились мы. – Броня крепка! Не зря пернатые хищники, чтобы добраться до лакомого черепашьего мяса, бросают их с высоты...» Мы Троте также не внушали доверия: на контакт с нами она не шла.

– Уж не булыжник ли ты принес? – подначивала меня жена.

Положив в игрушечную посуду ломтики моркови, картошки, перья лука, а также налив воды и молока, пододвинули все к Троте и оставили ее в покое. Перед сном проверили – все целехонько. Тротя не шевельнулась. «Может, она еще в спячке?» – подумали.

Ночью я проснулся от давно забытого – детского, военных времен страха: будто к нам в дом, осторожно скребясь, лезут дезертиры, о которых ходила ужасная молва. Прислушался: точно, словно шпателем: скр-г...скр-г! – из-под кушетки. Взял фонарик, посветил...

По плинтусу, в наклон, греблась... четырехвесельная шлюпочка-скорлупочка! Короткие, в кожистых чехлах, будто механические, работали когтистые ноги-весла. По-змеиному плоская головка на морщинистой шее поблескивала черными бусинками глаз. И словно руль пошевеливался гребень хвоста...

Сообразив, в чем дело, я посмеялся своим страхам и пошел на кухню: испить водицы. Не сдержался и закурил заодно. Посасывая обмякшую сигарету, я заметил на паласе странный,в виде знака вопроса, черно-белый, непонятного («уж не инопланетного ли?») происхождения, искусно выполненный знак. Но обследование его я оставил до утра и лег спать. Утром меня подняла дочь:

– Вставай! Посмотри, что подарок твой наделал! Мама сказала, что это – его «работа»! А он кто – мальчик или девочка?

А я и сам не знал, забыл спросить у продавца. Но сообразил:

– Раз Тротя, значит, девочка. Тебе и убирать.

Дочь весело убежала за совком.

И стала Тротя у нас жить.

В еде она была непривередлива: ела все, что входит в наш винегрет. Любила свежее. Зимой мы выращивали для нее лук.

Особенно любила она батун. Но и магазинный зеленый лук жевала с удовольствием.

Любопытно было наблюдать за ней во время трапезы. Из пучка выберет сначала самое длинное перо, жевать начинает с верхушки. Мнет, мнет сочную зелень, изредка, по-коровьи, встряхивая головой. А у самой на глазах слезки аж наворачиваются! Горько – оно и черепахе горько! Жевков на пяток останется порой, не выдержит, слезы примется вытирать. Тянет к набухшим слезами глазам-бусинкам когтистые, бронированные ноги, да никак не дотянется! И смех, и грех!

Вот тут-то и придешь ей на помощь: веткой или бинтиком промокнешь глаза, а за неимением нужного материала – пальцем смахнешь слезинки. Все равно благодарна: и хоть не лизнет, как собака, лбом не пободается, как кошка, но доверчивее становится. Смахнешь с одного глаза, другой подставляет.

Тротю мы не мыли, но влажной тряпкой или губкой и панцирь, и кожу протирали, и это ей нравилось. Чувствовалось, что она к нам привыкла и днями, одна, возможно скучала. Только кто-нибудь из нас приходил домой, сразу, словно ногтями по стеклу: тюк-тюк-тик-тюк-тик – Тротя! На «цыпочки» – на коготки аж! – приподымется, голову вверх (чуть не по-лебединому изогнув) тянет, по-своему грациозная и красивая, вся – внимание и любопытство.

Спала она в «норе», сделанной в ящичке, но могла подремать где угодно: на солнышке, под батареей, в темном углу, за шкафом. Но стоило позвать: «Тротя, Тротя!» – как она вскоре выползала и озиралась: «Вот я! В чем дело? Что-то вкусное принесли?» – и была очень недовольна, когда ее вызывали только за тем, чтобы продемонстрировать гостям эту ее способность – откликаться.

Наш микрорайон располагался на окраине Тюмени, рядом с нами был заброшенный сад. «Яблочный», звали его дети. В этот сад, на первые травяные проталины, вынесли мы Тротю. Спрятавшаяся поначалу в «домик», Тротя освоилась не сразу. Сперва медленно, озираясь и принюхиваясь, выдвинула «перископ», ноги и начала исследовать землю и все растущее на ней в пределах досягаемости. Осторожно, как в замедленной съемке, шагнула... Еще, еще... Надолго замерла, подставив солнышку голову с задернутыми пленкой, как у птиц, глазами, и разом осела, раскинув ноги, и стала походить на большую божью коровку.

Пробыв в блаженном оцепенении некоторое время, Тротя начала питаться. Ела листики кашки, пырей, но больше всего ей нравился одуванчик: и листья, и молодые, собранными в жменьку соцветиями, стебли. Напитавшись, она снова млела под жарким майским солнышком.

В отпуск мы собирались в Крым, Тротю взяли бы непременно. Но судьба-злодейка распорядилась иначе: на югах случилась холера, и въезд в Крым запретили, пришлось сдать авиабилеты. Товарищ по северам ехал к своим родителям на Южный Урал и предложил составить компанию. В башкирской части Южного Урала мне приходилось бывать – красивейшие и благодатные места! – и мы приняли приглашение с удовольствием, поставив, правда, условие, что будем жить отдельно.

По красоте Южный Урал оказался выше всяческих ожиданий. Да и погода благоприятствовала. И быт – чистая горенка у жившей одиноко, несмотря на полдеревни детей, внуков и правнуков, приятной старушки, – все устраивало: мы даже заплатили за месяц вперед, но с питанием дело было дрянь. «Что случилось с деревней? – недоумевал я. – Даже во время войны за деньги можно было молока, яиц, масла купить, были бы только! Да и хлеба можно было достать. А тут ждут, пока из райцентра привезут! Вот она, хрущевская забота о крестьянке, каким боком вышла! «Молоко – от общественной коровы, хлеб – из общественной пекарни!» Конечно, нас поддерживали родственники друга, с нами и хозяйка столовалась. Но долго одалживаться было неудобно, и мы, дней через десять, с недолгой остановкой в дымном Магнитогорске, перелетели в Уфу, с сожалением расставшись с полюбившейся нам хозяйкой. Как она будет жить? Ведь за все время лишь один раз, и то по делу, забегалак ней правнучка. Чем она станет питаться? Святым духом?

Впрочем, не все было так плохо: мы рыбачили, собирали грибы, наслаждались природой, баловались выпив-кой (этого добра хватало). А Троте – вообще раздолье! Правда, хлопот своей маленькой хозяйке она доставляла немало: медленно, но верно выгребалась в какую-нибудь щель, зарывалась в песок... Глаз да глаз за ней был нужен!

Уфа показалась раем: все есть, что душе угодно, и – дешево.

В Уфе мы не были несколько лет, за это время у брата дочь родилась – этакая рассейская беляночка с японской раскосин-

кой в глазах незабудковых, недавно только лопотать начала. Как увидела черепашку, так и прилипла к ней: «Тьетя... Тьетя... Тьетя!»

А дочери моей двоюродная сестричка уж очень полюбилась: глаз с нее не сводит, Тротей единолично заниматься позволяет...

Все бы ничего, да отпуск пролетел: отъезжать пора. Ну, как? – спрашиваем дочь. Она чуть не плача: «Ну, а как еще?..»

И оставили мы «Тьетю» – так стали все звать Тротю – в Уфе... А осенью получили печальное известие: упала наша Тьетя с балкона и разбилась.

Дочь очень расстроилась, горько плакала. «Если бы не холера, – сказала потом со вздохом, – так и жила бы Тротя еще сто лет!»

По всему периметру нашей квартиры, над плинтусами, процарапала Тротя глубокую борозду, и при уборке мы всегда вспоминали ее. Потом сделали ремонт и вспоминали ее все реже. Только выходя с рынка, я останавливаюсь, словно жду, что меня снова кто-то окликнет: «Бери, дядя, не раздумывай! Последний такой черепах, больше не увидишь!»

И в самом деле: больше не видел, а то бы купил – у меня и в нынешней квартире балкона нет.

ВАНЬКА-КРЫС

Давнишняя наша знакомая по Сургуту не раз навяливала нам морскую свинку: «Ухода – а-абсолютно никакого! Самообслуживается. Неприхотлива: что сами, то и она будет есть. Вернее, он. Разве что клеточку почистить... А уж умница! Ласков, привязчив...»

Интуитивно я отказывался категорически.

Наконец она применила запрещенный прием: заговорила о морской свинке в присутствии дочери.

После привычных дифирамбов свинке, этому чуду природы и благодетелю человечества, она добавила: «Да и ребенку полезно общаться с животным во всех отношениях. Чувство долга, ответственности... Интерес»! И тэ дэ, и тэ пэ!

Дочь, так и не дождавшаяся новой тети-черепашки, доводы оценила. Заглядывая в глаза то матери, то мне, попросила: «Давайте возьмем, а? В школьном зооуголке я свинок видела.

Учительница сказала, что во втором классе и нам дозволят дежурить и ухаживать за животными. А пока я дома поучусь, ладно?»

Что тут скажешь? И вечером того же дня по-девичьи милый длинноволосый подросток принес птичью клетку с расхваленным чудо-животным. Весело и лукаво напутствовал он замершую от восхищения дочь: «Люби Ваньку и смотри за ним. А ты, Ванька, – постучал он по клетке, – не шали и слушайся новую хозяйку, она хорошая!»

Ванька, это странное красноглазое существо, покрытое белой жесткой шерстью-щетиной, встав на красные, как у гуся, лапки и опершись на голый, красный же, по-крысиному длинный хвост, просунув, насколько можно, свою мордочку наружу, чем-то в самом деле напоминающую свинячью, внимательно, казалось, слушал бывшего хозяина и соглашался с ним.

Признаться, если я и видел прежде морских свинок, то только издали, но и тогда они не представлялись мне симпатичными, действительность оказалась похлеще: Ванька настолько был, с моей точки зрения, омерзителен, что я содрогнулся... Дочь же была очарована и начала интенсивно «смотреть» за ним: чистить, кормить, поить. Брала его на руки, чуть не целовала, радостно визжала, когда Ванька бегал по ее рукам, взбирался на плечи и сновал вокруг шеи, тычась в нее холодной красной носопыркой. Жена с любопытством наблюдала за ними. Когда водворили Ваньку в клетку, дочь хотела даже поставить туда для него кукольную кроватку с постелью – так он ей понравился.

Я ни во что не вмешивался, но отношение свое к новому жильцу выразил тем, что стал его звать Ванька-крыс. Новая кликуха пристала к Ваньке, – как оказалось, она полностью соответствовала его разбойничьему нутру. Для начала, недельки уже через две, Ванька-крыс стал неохотно возвращаться в клетку на ночь или при нашем уходе: прятался, а когда ловили, огрызался, в клетке ворчал. Его янтарно-красные глазки начинали рубиново огниться.

Постепенно Ваньку-крыса перевели на мое попечение: дочь ходила в школу, в балетную студию. А тут еще и теплые весенние денечки наступили с девчоночьими соблазнами: классиками на теплом асфальте, подружкиными секретами, первыми цветочками... На Ваньку-крыса и оставалось времени –

чтоб поиграть лишь. Я понимал все и стоически нес полицейско-надзирательные функции, а также и функции коммунальные: чистил клетку, заботился о корме и воде, пас его во время прогулок (без надзора он мог совершить разорительные потравы в цветочных горшках, в сумках и кухонных коробках, на письменном столе – где угодно!).

Однажды, придя с работы, я был удивлен: клетка заперта, а Ваньки-крыса – нету! «Побег!» – констатировал я. Но как он мог выбраться? Раздвинуть можно только верхние проволочки – не в прыжке же! Даже на цыпочках ему не дотянуться: не на хвост же он встал!

С тех пор клетки для Ваньки-крыса как бы не существовало: покидал ее просто магически! По привычке, правда, в открытую заходил поесть и поспать. Потом и это стал считать большим одолжением: исчезал, как невидимка, ни слуху ни духу. Но стоило мне предположить, что он мог незаметно выскользнуть, на мое счастье, на улицу и его придавила первая же собака или кошка, как он тут же появлялся: не потеряли, мол, меня еще?

Жена и дочь покатывались со смеху, наблюдая за вынужденной моей игрой с ним в кошки-мышки.

При очередном исчезновении Ваньки-крыса, решившись найти его тайное убежище, я становился на колени, заглядывал под диван, под и за шкафы,прикроватные тумбочки. В комнатах, в кладовке, в ванной, в туалете, в прихожей – везде, веником, бельевыми щипцами, лыжной палкой, подсвечивая себе фонариком, прощупывал я возможные убежища Ваньки-крыса и каждый раз обнаруживал его... спокойно чистившим свою поросячью мордашку где-нибудь на видном месте: на паласе, коврике, диване, табуретке! Он, понурясь, давался в руки. Мордашка его становилась по-сайгачьи горбоносой, он безропотно выслушивал мои не отличавшиеся разнообразием сентенции...

Наконец игра «в прятки» надоела мне, и я укрепил клетку, переплетя слабый свод, как корзину, медным проводом: получилось и надежно, и небезобразно (сам я не без горделивости поглядывал на свою работу: не клетка, а пагода с позолоченной крышей!). Я торжествовал: Ванька-крыс сидел взаперти! А он, поняв, что проиграл, загрустил. Вспоминая о вольной жизни, ел вяло, не прыгал, услышав звонок. На прогулки я его выпускал, но буквально пас при закрытых в другие помещения дверях.

Женщины соболезновали Ваньке-крысу, подтрунивали надо мной.

А через неделю он снова совершил побег. Хотя и поздоровел он у нас и, кажется, подрос, но не мог же протиснуться сквозь туго оплетенную решетку, в этом я был уверен: без сообщником ему не сбежать!

После этого побега он не давался в руки никому и превратился в Ваньку-невидимку!

О том, что он жив-здоров, свидетельствовали не только шорохи по ночам и легкий топоток, но и превращение еды, которую сердобольные женщины оставляли на кухне дважды в день, в экскременты...

Повальные «облавы» на Ваньку-невидимку я уже не устраивал – так, эпизодически, заглядывал то в подоконный шкаф на кухне, то в антресоль, навел порядок под ванной, обследовал газовую плиту, плинтуса...

Потихоньку я начинал верить в мистику, но все разрешилось банально просто!

У нас в то время был маленький холодильник «Саратов». Был он без колесиков и регулировочных винтов, стоял на полу плотно – мне и в голову не пришло даже заглянуть под него. Однако, как позже выяснилось, Ванька-крыс нашел в его задней стенке лазейку и забирался под холодильник, становясь Ванькой-невидимкой.

Подвел Ваньку-крыса его длинный красный, сходящий на нет хвост.

Как-то, будучи без очков, заметил я возле холодильника что-то красное размером со спичку. Нагнулся, чтобы поднять это нечто, а оно... исчезло! И я все понял.

Остальное было делом техники, как говорится.

Вскоре я уехал в длительную командировку. А вернувшись, не обнаружил ни клетки, ни Ваньки-крыса: отнесли его, оказывается, мои женщины на станцию юннатов. Дочь иногда ходила к Ваньке-крысу в гости, хвалила его: шустрый, веселый!

Теперь и мне он не казался уже таким безобразным, и, признаться, я даже скучал без него.

«ЗАЙКА, ЗАЙКА, ПОТРУСИ!»

Как-то у нас появилась возможность облететь, в поисках дефицитной мелочовки, буровые прежних лет.

«Обязательно надо на Сабун слетать! – предложил старожил, начальник отдела снабжения. – Там вертолетный вариант был. Завозили МИ-шестым, а потом «восьмеркой» людей только вывезли. Добра там!..»

Залетели на Сабунскую буровую. Вертолетка большая, как на базе, под тяжелые вертолеты, но – далеко от буровой, на болотной чистине.

Идем по густо заросшей лежневке к буровой.

На буровой – жуткое ощущение: будто на Летучем голландце!

Почти комплектная установка: дизельный блок, насосный, вышка стоит. Даже талевая оснастка не снята! Ветер в талях и конструкциях вышки свистит – будто в корабельных снастях. Сквозь фермы оснований пробиваются кое-где осинки, березки... Приглядевшись, замечаю, что кое-какие узлы с оборудования сняты.

Идем в жилой поселок. С интересом рассматриваю маленькие, на двоих, балки-скворешники, сделанные из соснового брусасотки. Заходим в один из них... В дверь, между ног, как будто кутята или котята, неторопливо проскакивают... серые зайчата! Хлопаем в ладоши, гукаем – хоть бы что! Не боятся! «Зайка, зайка, потруси!» – запели с прихлопом. Малыши замерли, ушами водят, а взрослые вняли: потрусили под балки, то ли от греха подальше, то ли просто в холодок.

«Между прочим, – заметил мой наблюдательный сопровождающий, – зайчата второго помета. Хорошо устроились!»

«Идемте к шламбовым амбарам сходим, – чуть погодя предложил он. – Эта буровая долго бурилась, с авариями, в основном из-за плохого снабжения: с «винта» ведь все, так что песочку много намыли... А он здесь кварцевый, крупнозернистый – хоть стекольный завод строй!»

И в самом деле: за насосным сараем виднелись светло-опаловые, начавшие зарастать иван-чаем песчаные бугры... Но что это? Неужели глухари?!!

Да, по песчаным буграм степенно расхаживали высокородные «бояре» таежного царства – глухари! Их родовые корни, так же как и кедра, стерляди, осетра, уходят в глубь геологических эпох!

Как и подобает знатным особам, ходили они степенно, изредка наклонялись и, что-то взяв, задирали голову вверх, словно токуя, и глотали, как бы помогая себе подрагиванием приспущенных крыльев.

«Видишь, в сухомятку и глухарь «не того»! – намекнул мне прозрачно спутник.

Птицы, по всему, нас не боялись, но дистанцию, метров в двадцать, держали четко: береженого Бог бережет! Из-за постоянных перемещений сосчитать их не удавалось, но десятка два было – точно!

«Вот лет через «цадь» высосут люди всю нефть из сибирских недр, уйдут или улетят... и будет по всей Сибири вот такая картина... Лес-то останется: осинник тот же, березняк, тальник, на худой конец... А вот с живностью – как? Будет ли? Здесь-то – чо, а вот там, где Самотлор, Покачи? Как думаешь?» – уже в вертолете, под рев турбин, после стакана сухешника (до антиалкогольной кампании оставалось девять лет!) пытал меня мой попутчик.

Я взял у него несколько «галечек» в шоколаде, попытался их разжевать, но орешки скользили, не давались, и я решил проглотить их целиком – по-глухариному, но поперхнулся и запил вином, поданным мне лукаво усмехнувшимся другом...

Я задумался над его вопросом.

Но думать мешала тряска.

«Зайка, зайка потруси!» – орали турбины.

«Зайка, зайка, потруси!» – выговаривал мандражный пол, дюралевые переборки, сиденье...

«Зайка, зайка, потруси!» – выговаривала дефицитная мелочовка, найденная на старой буровой.

«Надо хоть вышку уронить, – подумал я, пытаясь отделаться от навязчивых «заек», – а то в самом деле – как Летучий голландец...»

МИШКА И МАШКА

В конце апреля на одной из буровых на Лабазной площади (ныне Пермяковское месторождение) увидел непорядок: сквозь крышу балка-сушилки «проросло» сучковастое дерево.

– Что это придумали, а?

– А гляньте! – хохотнул мастер.

– Ну и гляну!..

С весеннего солнца в сушилке я не сразу заметил пару шевелящихся, как мне показалось вначале, рукавиц-меховушек. «Да это ж медвежата!» – обомлел я. Не обращая на меня никакого внимания, они, как гуттаперчевые паучки, сновали по скамейкам и полкам сушилки, вылезали по дереву наружу, забавно ворча и посапывая.

Миниатюрность и подвижность их меня умилили, я решил приласкать сразу обеих сироток: погладить. Хорошо, что я поспешил с проявлением чувств и не снял кожаных перчаток.

Едва я коснулся пушистых спинок этих притягательных крошек, их гуттаперчевые лапки бритвенно острыми коготками мгновенно рассекли мои перчатки. (Это был подарок жены. Пришлось сказать, что потерял. И только сейчас признаюсь – какая судьба их постигла на самом деле!)

Вторично с одним из медвежат я встретился в июне. Буровая бригада к тому времени скважину закончила и перебиралась на другую точку. Пролетом с Кыс-Егана – я остался у них ненадолго. Замешкавшись, сел в доверху забитый имуществом бригады вертолет в последний момент. Когда приземлились на новой буровой, едва бортмеханик отодвинул дверь салона в сторону, из вертолета, не дожидаясь, пока навесят лесенку, вылетело наружу что-то наподобие черной молнии! (Мне так показалось!) Пару секунд спустя черная шаровая молния, прокатившись по торфянику, взмыла невесомо на одинокое сухое дерево, стоявшее на берегу небольшого круглого, словно блюдце из майолики, озерца.

«Ничего себе «рукавица-меховушка»!» – подивился я.

Да, это уже была не «меховая рукавица»! Это была, размером с привычного диванного плюшевого Мишку, Машка, симпатичная, забавная, всеобщая, до поры до времени, любимица. Оказалось, братца ее, Мишку, отдали капитану рейсового теплохода, а Машкиной хозяйкой стала повариха бригады.

Жила Машка вольно... И только когда навела однажды шмон в продуктовом складе, оказалась на цепи. Тросика, по которому скользит цепь, буровики не пожалели, и жизненного пространства у Машки было достаточно. Но все равно: на людских глазах не больно-то спрячешься! А люди – разные! Одни придут поглазеть на ее цирковые номера да подразнить. А другие зато – с баночкой сгущенки или концентрированного молока, сахарку кинут, рыбкой угостят, конфеткой, кедровым орешком... Но сгущенка – лучше ее нет: слаще материнской титьки! Поймает она банку, завалится на спину, вскроет донышко когтем и сосет и причмокивает до тех пор, пока банку в гармошку не сожмет.

По немецкой пословице вела себя с людьми Машка: «Ви цум мир, зо цум дир»! Одним позволяла чесать себя за ухом, а других подпускала только на длину цепи, у тех, кто забывался, штаны распускала на ленточки, да и мякоти порой прихватывала...

Осенью Машка стала агрессивной: даже с хозяйкой начала скандалить. После этого вывезли ее в поселок, а к холодам свели со свету: сало вытопили на лекарство, а мясо продали, раздали – как деликатес.

С Машкой – ясно, а что стало с Мишкой – полная неизвестность.

Грустный рассказ получился. Да и жизнь, даже звериная, в сиротстве да в неволе, веселая разве?..

РУСИК И МЯВКА

Однажды прилетел я с буровой мрачным, раздраженным. Углубленный в свои мысли, иду я мимо детсада. Размышления мои прервал дробный по деревянному тротуару топоток и следом радостный визг: младшая дочь бежала мне навстречу. Оранжево-коричневое в клетку пальтишко нараспашку, капюшон сбился, косички наружу. Глазки лукаво поблескивают, на румяных тугих щечках ямочки прыгают.

Я забыл про неурядицы, подхватил ее, поцеловал. Но она тут же вьюном выскользнула из рук и запрыгала, затараторила: «А-у-нас-что-то-есть!.. А-у-нас-кто-то-есть!.. Русик-и-Мявка!.. Русик – песик! кошечка – Мявка!.. Вот!» – и перевела дыхание.

И точно! Серый, с подпалиной, кутенок. Руслан. Русик.

Дымчато-белый котенок. Мявка. Кошечка. Вроде делов-то! А радости – целый короб.

Было предзимье. Для Русика я соорудил утепленную, «на вырост», конуру. Да куда – не позволили: замерзнет, мол. И всю зиму ночевал он в коридоре, на коврике. Мявка спала в кресле. Но зачастую они ели вместе и спали в обнимку. Остальное время играли, носились по комнатам. Даже мне нравилось наблюдать за ними, а уж дети и подавно были в восторге от «шкод» и трюков веселых друзей.

Вот говорят: живут как кошка с собакой. «Людям бы жить так, как Русик с Мявкой!» – говорила жена, глядя на резвящихся животных. К весне они заметно выросли. Русик превратился в красивого пушистого барбосика с чуткими острыми ушами, задорным пружинистым хвостом, умными золотистыми глазами и басовитым, звонким лаем, а Мявка – в игривую нежную кошечку, дымчато-белую, словно фарфоровую.

В мае Русик стал подолгу отлучаться со двора: играл и носился по поселку со своей родней, нахватал блох и, когда прибегал домой пожрать и поспать, нещадно чесался и яростно с подвыванием шарился в своей пушистой шубе и клацал зубами. Пришлось перевести его в сени (конуру он упорно игнорировал).

Дети решили избавить его от блох: замотали морду, обрызгали аэрозолем, завернули в целлофан, спеленали и держали так некоторое время, несмотря на его скулеж и трепыхание, а потом еще и «выстирали» с моющим порошком.

Когда вечером я пришел с работы, то увидел, как мне показалось, разостланную на коврике шкуру Русика: морда – прямо, лапы – симметрично в стороны, продолжением темной спинной полосы – хвост.

Узнав о его «санобработке», я уверенно сказал: «Отравился!»

Дочери расстроились, побежали проведать его. «Вроде дышит... Только тихо-тихо...» – говорят неуверенно.

Почти сутки дрых «отравленный» Русик, блаженно расслабившись. Мявка и за уши его покусывала, и мягкой лапкой по черной носопырке покалачивала – не реагировал ее друг, лежал как убитый.

Наступил июнь.

Поселок преобразился: грязь подсохла, проклюнулась травка, в палисадниках и в дальних чащобах словно зеленоватый туман осел и стал густеть не по дням, а по часам, конденсируясь в изумруды на веточках. Тут и черемуха зацвела, рябина... Из тайги

багульником запахло. Речка Максимка разлилась – берегов не видно, целые гривы затопила и все сора. Вах разошелся – хоть вдоль, хоть поперек плыви!

Радостная, солнечная пора наступила.

В один из таких дней Мявка решилась выйти за калитку.

На той стороне улицы, наискосок, на деревянном тротуаре грелись на солнышке собаки, среди них Русик. Это, видимо, и притупило бдительность Мявки, и она, принюхиваясь, стала удаляться от дома.

Вдруг одна из собак заметила ее и с истошным лаем рванулась к Мявке. За ней – остальные. И конечно, Русик.

Не сразу, но, все же инстинктивно оценив опасность, Мявка метнулась к ближайшему столбу... Взлетев на достаточную высоту, она испуганно прижалась к серой, шелковистой от времени древесине.

Собачья свора окружила столб и с остервенелым лаем прыгала на него, в злобе скребла его когтями.

Я шел на обед и был уже на крыльце конторы, когда услышал крик жены и резанувший по сердцу плач младшенькой своей – и все на фоне собачьего верезга. Бог знает что подумав, я кинулся на улицу... и увидел, как испуганная Мявка, попытавшись подняться повыше по одряхлевшему стволу, сорвалась на захлебывающиеся лаем и пеной пасти...

Когда пинками и штакетиной я разогнал собак, то увидел Мявку, жалкую, измусоленную, но живую. Я наклонился к ней. Она, слабо попискивая, потянулась ко мне, волоча странно развернутую заднюю часть... И я понял, что опоздал: какая-то псина, возможно и Русик, перекусила ей хребет.

Дочь, горько всхлипывая, уложила Мявку в картонку на самые мягкие перины, укрыла одеяльцем, но ее любимица жалобно попискивала и мелко дрожала. Чтобы не длить общих страданий, я взял ружье, коробку с Мявкой и ушел в лес...

Русик заявился в тот вечер тихо, поздно, поджав хвост, и впервые забрался в конуру сам, лежал там молча и не гавкал, как бывало, требуя кормежки...

Прошло уже много лет с тех пор, а мы нет-нет да и вспоминаем Русика и Мявку, их дружбу и ее печальный финал.

«Может, он защитить ее пытался все же? – сказала однажды добросердечная дочь. – Прикрывал ее: ведь жива она все-таки была. Может, ведь?»

Мы как раз смотрели теленовости, и я с горечью сказал: «Нет, моя хорошая, где уж! Смотри: люди в толпе что делают! Голову теряют, облик человеческий, а уж с собаки – какой спрос? Ей по собачьей природе простительно – жить по законам своры».

РУСИК

За лето Русик превратился в молодого веселого пса, в золотисто-карих глазах которого – смышленость и любопытство. Улыбчивая, розово-жаркая пасть: влажно-белые клыки, быстрый, шершаво-нежный язык. Пушистая с густым светлым подшерстком и жесткой чернявой снаружи остью «шуба», сторожкие уши; по спине – черная полоса, переходящая в задорно загнутый кралькой хвост, по-беличьи пушистый, с едва заметной рыжинкой.

При встрече, соскучившись, отрывисто, с нутряным подскулежем, гавкнет, припадет к земле, передними лапами, по-заячьи, побарабанит, закрутит хвостом так, что – того гляди! – как вертолет – взлетит! – и, отстраняйся не отстраняйся, кинется на тебя, лизнет в лицо, обдав жарким звериным дыхом.

В тайгу, на буровые, я его не возил.

Местные ханты жаловались, что собаки наших работников распугивают зверя, давят выводки и мешают оленям. Да и для вертолетов собаки – лишний груз. Поэтому с собачниками я вел длительную и безуспешную борьбу: собак все равно возили! Я добился того, что мною стали собак пугать! Стоило хозяину сказать, к примеру: «Пальма! Главинж!» – и та ныряла под сиденье и лежала тихо, как будто ее и нет... Чистопородных лаек у нас не наблюдалось, а те, что были, поражали сообразительностью: снимешь ее с рейса, а она потом, грузовыми, перелетая с буровой на буровую, все-таки прилетит к хозяину!

В суматошном августе выдался у меня как-то более-менее свободный денек, и я воспользовался приглашением старого знакомца, капитана катера «Ярославец», сходить на рыбалку. «Жор у них сейчас, у щук-эт. На люминевую ложку – зявают!» – пояснил он.

У старшей дочери каникулы заканчивались (у нас-то – восьмилетка! Вот и пришлось к бабке в Уфу отправить – оторвать

от родительского пригляда: бабка – хорошая, внучка – золотце, а без родителей все же: сирота не сирота, а кровиночка – как отдали, будто после сдачи крови – в чужом теле... хоть и у родни).

Промелькнули у меня мысли, выше в скобки взятые, и я решил: поехали!

Предложил дочерям: согласились.

«Только с Русиком!» – поставила условие младшая.

Стоял нежаркий солнечный день. Я отрешился от всяких забот; с интересом, свежим взглядом рассматривал поселок на взлобке, пирс, заваленный оборудованием, грузами, лесистые берега...

По особой прохладе и прозрачности воздуха, тонкому, пронзительно-пряному вкусу его, по холодно-серебристому тону солнечных бликов на воде я с грустью понял: осень дыхнула! Издалека, намеком, но – кому надо – поймет! И я понял.

Я понял – дело уже к осени. Но пока – владычествовало в безмятежной голубизне солнце, берега – зеленели, и не было в той зелени ни одной золотинки – осенней молнии! И солнце грело благостно и приполярно – без отдыха, хотя по всем часам был уже поздний вечер.

Палило солнце. Ослепительно и нежарко. Катер, взрезая желтовато-зеленые воды Ваха, шел навстречу солнечным бликам: они, расколотые, удалялись в самые глухие заводи, тревожили темные омуты, а в них – налимов...

Ко мне, на парково-вычурную скамейку, подсел капитан. Дмитрич. Мы выпили с ним мягкой омской водки, закусывая вялеными чебаками и запивая тюменской минеральной водой, и молча наблюдали за корабельной жизнью.

Старшая дочь в капитанской рубке, не слыша ничего, кроме команд чернявого капитан-механика, «рулила», судорожно вцепившись в полированные спицы дубового рулевого колеса-штурвала, вращала его в нужную сторону, помогая себе всем телом и мимикой лица.

Я посочувствовал ей: лестно, но – тяжело и жарко.

Младшая резвилась с Русиком на палубе.

Было время массового нашествия, как в мае, «майских» жуков, слепней, по местному прозванию – «матросиков». Носились они ошалело, стаями, будто слепые. Попадут в лоб – как хороший щелбан, а в глаз – взвоешь! Меня, например, ни разу не куснули, а в глаз – били. Впрочем, если ничем другим не заниматься, атаки их можно отбить. А так, стройные золотисто-шмелино полосатые, они – красавцы!

Это с человеческой точки зрения.

С точки зрения Русика – они еще и вкусны!

Сезон «матросиков», видимо, проходил, и человеку поймать жука не составляло труда. Этим и занималась моя младшая: она ловила, Русик их со смаком пожирал. Схватив крупного, изумрудноглазого красавца, дочь визжала от восторга, держа его, на излете руки, за звучные крылышки. Русик, оскалившись, сморщив влажно-черную носопырку, осторожно пытался взять «матросика». Иногда, во время «передачи», «матросик» взлетал, но – зря! Русик не зевал: клац! – проглотит и снова вопрос в преданных глазах: «Давай еще поиграем?»

Но бывали у него и проколы. Получив от хозяйки «матросика», он вдруг терял его в своей пасти. А тот, не будь дурак, вырвавшись на свободу, взмывал свечей вверх. Русик в таких случаях конфузился и, обнюхивая палубу, шел к борту и смотрел то ли в прибрежные леса, то ли на разбегавшиеся буруны.

Урей – старица реки на изгибе – для катера был мелковат. Пришвартовав его, пошли на место рыбалки.

Снасть нехитрая: тут же вырезанная талица, к ней – трехметровый кусок толстой жилки с блесной. Ходи по илистому берегу урья и бросай...

Раз – бульк! Два – бульк! Три – бульк!.. А на четвертый раз (а то и на третий. А на пятый – наверняка!) – дерг! За-це-пи-ла! Тут уж элементарно – уметь подсечь и выволочь!

Яркая, зубастая, злая! С глубинной темной зеленью в глазах и чешуе – щука!

Не подходи: укушу!

Русик сунулся – рыбина хлесть хвостом по мордасам! – и он баранку свою пушистую прижал, отошел. Неужели зубами – за черную носопырку? Посмотрел: вроде цела. Но тем не менее, пока щуки не уснули, к ним он больше не подходил. «Молодой...глупый пока!»

Берег урья был вязок, поэтому дочери малой я дал удочку с маленьким тройничком, на который был насажен живец, и оставил на бревнах у залома.

Мы наловили обусловленное количество щук и уже собирались сматываться (с капитаном мы после каждого удачного блеснения принимали по «четырнадцать капель» из бутылки, поставленной в воду), когда услыхали звонкий, призывный голос: «Па-па! Ой, сю-да! Помоги!..»

Оказалось, у дочери «кто-то поймался». Она не стала вытаскивать, чтобы добыча не сорвалась: ждала нас. Рыбка – вон она! Уже на катере, иронизируя над собой, она в который раз, чувствуя себя все же героиней – щука-то ее оказалась самой крупной! – вновь переживала потрясающие для нее ощущения.

«Рыбка-живец ходит – чуть-чуть дергает. Вдруг потом такой дерг – я испугалась прямо! «Папа! – кричу, – у меня щука удочку отнимает!» Папа помог, и вот, Русик, какая она – наша с тобой щучка...»

Дочь гладила Русика и заливалась радостным смехом.

Русик подхалимничал, повизгивал, крутил хвостом и заглядывал ей в глаза. «Матросиков» он не ловил и от пойманных отворачивался: перед этим он сначала боязливо попробовал, затем алчно сожрал брошенную ему сонную щуку. Уезжали мы в сумерки. Впереди – огоньки поселка, позади – золото заката.

Но рассказ-то этот у меня о Русике! Поэтому продолжаю о нем.

Осень, как я и предвидел, пришла. Сначала за вертолеткой, пробежавшись за грибами, я увидел малюсенькую в багрянце рябинку, рядом такого же росточка елочку, на которой было несколько жухлых иголок, и светло-желтый, ясеневого свечения, березовый листок, и шмыгнувшего из-под нее, совсем домашней расцветки, молодого рябчика...

И я вспомнил, что в первый год, как приехал, я бегал в эти леса с ружьем за рябчиками, а в устье Максимки – порыбачить до работы! И решил возобновить «допланерочные» пробежки, приобщив к ним и Русика. Русик принял их на «ура»! Но я впал в уныние: без него за час-полтора я одного–трех рябчиков снимал, с ним – ни одного, он всех распугивал веселым лаем, гонялся иной раз до обеда, приходил домой высунув язык!

И я решил нарушить свой принцип!

«Русик – умный, но – необученный. Все равно ж на буровые собаки летают... Умные! Обученные». Охотничьи! Поякшается он с ними, глядишь, и научится!»

Нарушил я принцип, и Бог наказал меня...

В октябре я полетел на дальнюю буровую, где, как я знал, работало несколько владельцев хороших собак, и прихватил с собой Русика. Полет для него оказался нелегким испытанием: впервые! Был бы он поменьше, за пазуху бы сунул, а так – зажал

сапогами, морду на колени положил: глажу, полами меховой куртки прикрываю. Сквозь грохот турбин успокаиваю. Чувствую и дрожь кожи, и буханье сердца.

И долетели бы, и все было бы «тип-топ»! Да дернуло же командира, при первой посадке, спросить меня о каких-то нюансах полетного задания.

На секунду я привстал, чтобы взглянуть на штурманский планшет. Ответив, тут же опустился на сиденье, однако теплой тесноты между голенищами сапог не ощутил. Поняв все, взглянул в блистер и... увидел мчавшегося по сору Русика. Бежал он в сторону тальниковой голой гривки, за которой, доживала последние дни буровая: заканчивались работы по исследованию скважины.

Осенний летний день короток: ни минуты я не мог потратить на возвращение Русика. И только прилетев на место, связался по рации с геологом, занимавшимся исследованием той скважины, и попросил его привезти Русика в поселок. По его словам, Русик в руки не давался, а потом – исчез. Но перед его исчезновением на буровой была Марфа-охотница, известная в тех краях владелица большого оленьего стада. И что, мол, Русик ей очень понравился и даже давался ей в руки. Не исключено, что она и забрала его с собой.

Дома у меня все расстроились, а младшая всплакнула:

– А вдруг она, Марфа эта, кормить его плохо будет или бить будет – длинной палкой, которой она оленей била, я видела. Она злая! Зачем вот ты увозил Русика? Не надо было!

Как мог, я успокаивал дочь:

– Да ему – по-собачьи-то! – у Марфы будет лучше! Он будет ей белок, соболей облаивать... Глухарей... Песцов. И оленей поможет пасти – их у Марфы много! Не пропадет Русик! А Марфа тебе за него шапку беличью сошьет... а то и соболью!..

– Жди, сошьет!.. После дождичка... – дочь сквозь слезы усмехнулась. – Марфа сюда и не приедет, я от Алогиных знаю...

Приезжавшие в поселок ханты останавливались у Алогиных, возле почты, это все знали.

Так и канул Русик в тайгу – как в воду.

ПУХИНЯ

Через некоторое время после гибели Мявки у нас появилась кошечка сибирской породы, без притязаний, ласково названная Пухиней. Была она пушиста, игрива, а мастью (окрасом) походила на Русика.

С тех пор, как Русик, с моей подачи, оказался у Марфы-охотницы (или вообще сгинул), Пухиня, смягчив горечь утрат, оказалась в центре внимания нашей семьи: взрослых и детей.

Держалась Пухиня с первых же дней независимо до дерзости: прыгнет на колени, размурлыкается, вьюнком крутится, шутя покусывает ладошку, кожу коготками щекотливо поцарапывает, и вдруг – ширли-мырли! – и нет ее!

Младшая дочь, главная ее радетельница, воспитательница и заботница, самолично ей связала кофту-мантию, выделила из игрушечного гарнитура кроватку с мягкой пуховой периной и беличьим салопом, а уж поесть – первым делом что вкусное: Пухине! Мурлыкает Пухиня, мурлыкает, а потом резко из цепких ручек молодой хозяйки выскочит – на кухню, в подполье, а там – ищи ветра в поле! И хотя у дочери не только руки в царапушках – бывает и личико! – она ждет Пухиню, зовет и лелеет.

Когда наступила зима, туго пришлось кошке: завалинки вокруг дома засыпали, отдушины из подполья позатыкали, без спроса – не выбраться!

Голос у Пухини тихий, нежный: сидит у двери, на двор просится, а никто не слышит.

Выйдя первый раз на снег, она долго принюхивалась, осматривалась по сторонам, глядела в небо, оборачивалась назад, только потом опустила лапу на неведомую белую поверхность. Ничего не случилось, и она проторила первую тропку. Снег ей, видимо, понравился: она с удовольствием справляла нужду, закапывая, поднимала настоящую пургу.

На лапах, между пушистыми метелками, у нее нежные розовые подушечки, в которых прятались коготочки-бритвочки. Однажды, прошмыгнув за кем-то незаметно, оказалась кошка на улице одна. Забраться на чердак или спрятаться в коробе теплотрассы она не сообразила. Когда я увидел ее, она, попискивая, переминаясь с ноги на ногу, сидела на крыльце. Лапки были ледяные и мокрая холодная носопырка. Я сунул ее

за пазуху и вошел в дом. Тут же дал теплого молока, укутал и положил возле обогревателя. К вечеру она оклемалась: подушечки на лапах чуть припухли и покраснели, – я думал, что этим дело и обойдется. Оказалось, нет: обморозила кончики ушей, стали они у Пухини по-соболиному округлые. Урок пошел впрок: на улицу втихаря больше не выбегала. А в остальном – благополучно дожила до лета.

А лето Пухиня встретила взрослой симпатичной кошечкой. Когда потягивалась, вздыбив шубку, казалась большой-пребольшой.

«Как моя шапка – когда на голове!» – восклицала дочка.

Летом Пухиня пропадала во дворе. Дочь жаловалась: «Есть плохо стала! Не заболела ли?»

Причина плохого аппетита скоро выяснилась.

Я сидел на деревянном тротуаре во дворе, у летнего водопровода, и чистил рыбу. Из картофельной ботвы неслышно вышла Пухиня и стала ласкаться. Интуиция у нее поразительная: когда мне было не до кошачьих нежностей, не подходила. Она потерлась о ногу, мяукнула. Я дал ей потрошеного чебака. Зимой она принималась за свежую рыбу с урчанием. А тут – лениво обнюхала чебака, взглянула на меня и только после этого принялась за еду, с явной неохотой, чуть ли не брезгливо.

Удивленный такой привередливостью, я внимательно присмотрелся к ней и заметил пуховое перышко, прилипшее к ее плутоватой мордашке. И тут до меня дошло... «Воробьев промышляет!»

В другой раз рано утром увидел, как она, лежа на крылечке, на солнышке играла с нежно-палевой мышкой-полевкой, еще довольно шустрой.

«Охотница Пухиня!» – похвалил я ее.

Но, оказалось, воробьев и мышей ей – мало!

Через несколько дней, когда я шел на обед, возле калитки окликнули меня соседские ребятишки: «Дядя Витя! Глите-ка, кошка-т чо делает!» – и показали наверх. Из-за карниза мне ничего не было видно, и я подошел к пацанам...

По-альпинистки, грамотно, на трех точках опоры: держась за шест и скворечник, свободной лапой Пухиня пыталась выудить истошно верещавших скворчат. «Пухиня, брысь! Брысь, Пухиня!» – закричал я, но она не отреагировала. Тогда я кинул в нее палку, и она, как белка-летяга, спланировала на крышу и скатилась с нее кубарем во двор. Тут и скворцы-родители

прилетели, погомозились малость и успокоились: видно, коротка оказалась у Пухини лапа. И я понял, почему онемел, обесптичил второй скворечник у сарая, хотя был по весне заселен.

Чесались руки высечь тальниковым прутиком разбойницу Пухиню, да все не попадала она мне: серой тенью прошмыгивала до тех пор, пока злость на нее не истаяла. А как истаяла злость – Пухиня тут как тут: «Му-мыр-рой...» – глаза разбойные хитро сощурила, лоб под ладошку сует, ласковой лапой пальцы перебирает, щекочется... Да и дочь просит, заступается: «Не будет больше Пухиня птичек обижать, сырое есть не будет: только вареное...»

Что делать, простил ее. До поры до времени.

ПУХИНЯ И ГРЕЙ

Однажды Пухиня окотилась. Всех котят раздали, с ней остались две разношерстки. Она их кормила, тщательно вылизывала и вскоре стала вытаскивать на улицу: погулять и погреться на солнышке. Мы волновались: что будет, если на них наскочит Грэй?

И вот мне довелось стать свидетелем этой встречи.

Был жаркий июльский день. Над нашим поселком стояла душная тишина. Только издалека доносился стрекот вертолета да глухой рокот речного теплохода. Войдя в прохладную тень подросших березок, густо посаженных мною вдоль штакетника, я остановился докурить сигарету. Облокотившись на прожилину забора, я бездумно смотрел в голубую высь неба сквозь зеленую мережу берез. «Красиво и естественно: зелень и голубизна... Жара и прохлада, пахнущая томленым березовым листом...»

Благостное настроение в момент спугнуло громкое шипенье: будто на буровой лопнула самая большая пневматическая муфта! Только шип не в свист перешел, а в низкое, вязкое вопль-урчание...

Резко обернувшись, я увидел Грэя, замершего у дальнего угла дома, на границе света и тени, а перед ним... серую рысь, испускавшую эти ужасные звуки...

«Да это же не рысь – Пухиня!»

Калейдоскопом промелькнули картинки: «Мявка на столбе... Лосиная мосолыга, легко размолотая Грэем...» Пока шли

команды от моего мозга: голосовому аппарату – крикнуть: «Грэй, фу!», мышцам – начать движение, «рысь» метнулась к Грэю...

«Ну все! – подумалось. – Превратит он сейчас Пухиню в фарш и выплюнет. Какая жалость!»

Но Пухиня, как пушистый шар, как одуванчик, но упруго-прыгучий, мгновенно отскочила от Грэя в сторону и снова зашипела-завыла, а Грэй заскулил вдруг и, мотая головой, как слепой кутенок, потерянно развернулся и потрусил по играющим под его тяжестью доскам тротуарчика за угол дома, потом он нырнул в дровяник, где у него было дневное лежбище, и до самого вечера не вылезал оттуда, горько и тихо поскуливая.

С тех пор, увидев Пухиню, независимо от расстояния до нее, Грэй разворачивался и обходил свои владения в противоположном направлении. Пухиня не нахальничала и освобождала его тропу. На углах своего маршрута Грэй на всякий случай притормаживал. До самого отъезда Грэя конфликтов у них с Пухиней больше не было: они мирно сосуществовали.

Когда Грэя увезли, Пухиня нет-нет да появлялась на его тропе, принюхивалась и задумчиво замирала иногда с поднятой передней лапой, вертикально стоящим пушистым хвостом и повернутой в сторону улицы головой.

Какие кошачьи мысли и чувства занимали ее в тот момент, какие испытывала она ощущения от тускнеющих с каждым разом запахов огромного соседа-зверя, определенного природой ей во враги? Никому это не ведомо: об этом можно только догадываться и фантазировать.

ЛАСКА, БЕРТА И БАЛБЕС

Мой знакомый (мы дружили семьями) перевелся в другую экспедицию и оставил мне свою собаку по кличке Ласка. Ласка была одного помета с пропавшим Русиком, но другой конституции и окраса: была она поджарой, короткошерстой, черно-белой, со звездочкой на изящной головке и белыми бровями над умными, темными с живым блеском глазами.

Еще до посошка растроганный хозяин символически передал мне собаку: «Вот, Ласка, у него будешь. Теперь он – хозяин. Пока!» – и подтолкнул собаку ко мне. И Ласка все поняла: призна-

ла меня за хозяина, стала рядом. Я нагнулся к ней, потрепал по загривку, почесал за настороженными ушами. Она ткнулась холодным подрагивающим носом в ладонь, потом лизнула ее. «Ничего, Ласка, не боись!» – сказал я тихо и еще раз потрепал ее по загривку.

И стала Ласка жить в бывшей конуре Русика.

Она не носилась Бог знает где, как Русик. Но и в наш двор ни одна чужая собака не совалась: в этом отношении Ласка навела порядок. Чужих людей (пришлых да и поселковых, кто впервые приходил без сопровождения хозяев) она также не пускала во двор. И вообще, была не очень ласкова – кличку не оправдывала.

К весне Ласка ощенилась. Добрых кутят разобрали, а двух оставшихся без меня жена не решилась утопить. Когда я приехал, кутята подросли, дети привыкли к ним и дали клички – Джек и Берта – и считали, что они должны остаться у нас. Супротивничать я не стал: пусть живут.

Через полгода Джек перерос родительницу. Был он беляв, мосласт, с туповатой, по-дворняжьи безобидной мордой, питался остатками, был до удивления простодыр: чуть не изо рта у него Берта или Ласка вытаскивали случайно доставшиеся ему лакомые кусочки. За что и получил от меня вторую, более подходящую кличку – Балбес.

Берта окрасом повторяла мать, только мех у нее был пушистый, с густым подшерстком. Ростом она вышла чуть пониже Ласки, но за счет меха казалась толстой и приземистой; мордочка у нее была плутоватая, лисья. Если выставлялась одна посудина с пищей, сначала ела Ласка, потом Берта, а Балбес дожирал остатки. Ласка, как бы голодна ни была, ела всегда аккуратно, не спеша. Если кто-нибудь из нетерпеливых сотрапезников совался к ней, она в лучшем случае зло скалилась и угрожающе рычала, а чаще пускала клыки в ход. Берта брала с нее пример и также огрызалась на Балбеса. Интересно, что он на них не обижался и во время отдыха, после кормежки, играл с ними, весело рычал и гавкал, валялся на спине, а когда спали, был всегда с краю.

Бегали по поселку или окрестным лесам они строго определенным строем: впереди Ласка, справа от нее, на полкорпуса отстав, Берта, в такой же позиции, но уже относительно Берты, бежал Балбес. Нарушение диспозиции не допускалось под угрозой трепки.

Пока была одна собака, мы для нее специально не готовили: хватало остатков с нашего стола. А для троицы пришлось варить, и они привыкли, особенно зимой, к двухразовому питанию по расписанию.

Обычно я вставал в шесть утра, готовил себе завтрак и что-нибудь собакам (вермишель или кашу из концентратов, сдабривая мясной обрезью, салом и т.п.). Не позднее половины седьмого, собравшись на работу, выносил им дымящееся на морозе варево, – пока я собирал их стылые чашки, они молча крутились под ногами, виляя приспущенными книзу хвостами. Ласка ела в меру, часто оставляя объедки, у Балбеса – вечная бессытица: сожрет свое, пойдет чужие миски облизывать. Иногда это ему сходило, а другой раз сотрапезники и окрысятся: хоть и замерзнет еда потом, а ему не дадут! Вот уж поистине собачья психология!

Бывало, приедешь с буровой ночью, только разоспишься, а они перед темным кухонным окном в три глотки заявляют о себе: «Гав! Гав! Давай, хозяин, жрать! Режим питания нарушаешь!» И громче всех Балбес: октавистый басище к зиме у него определился!

Куда деваться? Приходится вставать – кухарничать. Как снова уезжаю, жена говорит не шутя: «Бери с собой! Приучил, не дают поспать ни мне, ни детям. Ни два, ни полтора: что нам в такую рань делать? Забирай!»

По теплу решил их свозить на буровую: затащил Ласку в вертолет, а Берта с Балбесом, поскуливая, сами по трапу поднялись (пилоты подтрунивают: «Никак, Николаич, на медведя, а?»). Привезти-то привез, а улетать – нет их. Ведь только что, дрожа от страха, со скулежом, таскались за мной длинным хвостом даже по буровой, мимо грохочущих механизмов! Свистел, звал, едой приманивал – не откликаются. Неужели в тайгу смотались? Или под балки попрятались? На меня осерчали? Попросил мастера, чтоб, как появятся, отправил в поселок, и улетел без собак навстречу детским упрекам.

Узнал потом: появились, да не дались, издали обошли несколько раз буровую и исчезли. Через некоторое время видели их уже на другой буровой, на третьей... Держатся настороженно, в жилпоселок не заходят, на помойках не роются, на зов не откликаются, на приманку не реагируют.

Женщины мои поедом меня едят, пилят денно и нощно: «Русика тебе мало? Теперь и эти сгинут».

Недели через три после этого у меня был день рождения. На работу я нарисовался в светлом летнем костюме, в праздничном настроении: в кои-то веки выпала возможность встретить день рождения дома! Меня поздравляли, а я, в свою очередь, приглашал всех на банкет в столовую. А на рации мне преподнесли «подарочек»: на одной из буровых во время каротажа скважины

при подъеме прибора оборвался кабель, стали ловить его самодельным «ершом» – только усугубили дело. Наглухо закупорили скважину в кондукторе стальным кабелем и сломанной самоделкой.

И я, не переодеваясь, прихватив необходимые «железяки», полетел на аварийную скважину первым рейсом с надеждой, что к вечеру вернусь, а посему заказ на банкет в столовой не снял...

...Когда из скважины показался всклокоченный стальной клубок (на жаргоне каротажников «ведьма»), кто-то со смехом произнес: «Это, Николаич, подарок вам на день рождения!»

Но настоящий подарок мне в самом деле был предусмотрен судьбой совсем иной...

Стою я в ожидании вертолета на бревенчатом плоту-площадке, так как вокруг буровой – непролазное торфяное болото. И авария-то, по сути, из-за этого случилась: каротажный подъемник стоял тоже на своеобразном плоту и при первой же затяжке прибора и последовавшего рывка его развернуло вместе с настилом. Жду я вертолет: прислушиваюсь, в горизонт всматриваюсь... И вдруг вижу: от леса по болотной жиже не идет, почти плывет... моя троица! Пока я бегал в котлопункт, Ласка уже взобралась на вертолетку, припала к настилу и, укоризненно мотая головой, завыла. Потом сделала несколько шагов и снова припала головой на лапы и завыла-заплакала-засмеялась. За ней следом ползли Берта с Джеком-Балбесом и вторили Ласке. Издали я кидал им котлеты, но подбирал их, да и то мимоходом, только Джек-Балбес... Ах, какой это был подарок!

И мы очень сожалели, когда, приехав из длинного за два года отпуска, не застали их в живых: какой-то шкуродер позарился на пышную, под полярного медведя, шубу Джека-Балбеса, а уж Берта с Лаской, видимо, за компанию пошли.

СЕМКА

Этот котенок, точнее, уже молодой кот будет жить у нас, мне кажется, не меньше, чем Мартын...

Марина, подруга дочери, позвонила: «Кошка окотилась... Котят уже разбирают. Лучших! Я вам одного оставила: самого лучшего!»

Дочь сходила, принесла пушисто-желтого, словно цыпленок, едва продравшего смурные, фиалковые глазенки котенка...

С матерью из соски они стали кормить его: ничего не получалось! И тут – как положено, явился я...

«Во-первых, ты выкупила его? Нет? Обратно, иначе сдохнет. И во-вторых, пусть с неделю еще мамку пососет!» Дочь не очень охотно, но все-таки согласилась. Уж слишком долго она ждала этого момента – завести кота в доме.

И вот через неделю «выкупленный», выкормленный кошкиным молоком, появился у нас пушистый, светло-рыжеватый с пятнами, в отличие от Мартика, без тигриных полос, веселый котик с фиалковыми глазами: они меня и умиляли больше всего!

Что это были за глаза!

И вообще – вся его кошачья мордочка!

В телерекламе «Вискас» котята не шли с ним ни в какое сравнение! Наш Сема был выше их по всем статьям! А уж умен – слов нет! И еще: не зря говорят, что рыжий – заводной! Настоящая «шаровая» молния! Домашняя!

В самом неожиданном месте, в самое неожиданное время появится: «Здрасьте! Вот он – я!» – «Домашняя шаровая молния... Привет! Этого не хватало».

Пока я печатал этот опус, Семка успел многократно пробежаться у меня под стулом, выписав вокруг ног замысловатую «восьмерку», пробраться по кромке ковра под потолком и, фыркая, распушив хвост, сморщить палас и улететь белкой-летягой в другую комнату...

До моих джинсов и туфель, как это делал Мартын, Семка еще не добрался. Но порог уже пометил: видимо, почуял соперника – из тигриного же семейства! Или – некорректное поведение хозяина... Видно, нечаянно в чем-то провинились мы перед ним.

...Утром, в темноте, пока идешь на кухню или в туалет, Семка успевает, словно вышивая веревочкой, мягко и нежно коснуться султанчиком своего хвоста, каждой твоей ноги, не мурлыча, а чуть похрюкивая и сопя. Живым и сущим веет от него с утра – братом нашим меньшим.

В этот момент прощаешь ему все проказы: становишься братом.

И тут уже неважно: кто старший, а кто – меньший.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 3
Новая планета 4
Необыкновенное лето 5
Трудная осень 20
Новое дело 36
«Кресты» на профилях 52
Тетя Нюра 62
Концерт 82
Новый год у Самотлора 83
Мечта Рачева 97
Два раза «хе-хе» 116
О своеобразии китайской революции 127
Зарницы с четырех сторон 133
Виктор Петрович Федоров (штрихи к портрету) 151
Женя-болода 158
Юбилей 163
«В начале было слово...» 165
Как «полюбил» я этот праздник (к годовщине Октябрьского переворота) 171
Пришла ль твоя пора, мой друг? 176
По кривой дорожке... 184
Староста 191
Злые Мощи 201
Мертвая хватка 209
Смена времени 215
Тещино подворье 221
Валентин Кадеев из рода долгожителей 223
В саду калина вызрела 232
Рома-водовоз 235
Нешуточные игры 237
Неудавшийся дантист 239
Кочень с Верхней Тольки 248
«Не зря ль вам «северные» платим?..» 251
«...Нет, душа человека – не сердечная мышца!..» 254

Дорога на Харампур 261
«Гусар» 270
Я сам такой 277
Подконтрольный рейс 285
90-я параметрическая 288
Кольца жизни 303
«Оставь в покое «а-ка-эм»...» 306
Конкурс 311
Полчаса у «Алеши» 315
«Поплачем о друге, поплачем» 318
Красивы женщины везде 324

Из книги «Короткие рассказы». Из экспедиционных буден 331

Две ипостаси 331
Партийный подход 333
«Ласэтэ» 335
Интимные стороны жизни 337
Воздушная подушка 338
«Питичка жю-жю» 340
О вреде бросания 341
«Эй, выпить хочешь?» 342
«Это что за чертовщина?» 343
«Сегрегация, сэ-эр?» 344
«Эй, командир, выключи высокое!» 344
Швырки 346
«Чайку не желаете-с?» 347
«Вас понял!» 348
Поделись с другом 348
Механик-словесник, или Не все на Руси караси – есть и ерши 349
Ода зимнику 351
«Пивная» надбавка 352
«Да это же яд!» 353

Из книги «О братьях наших меньших» 354

Тротя 354
Ванька-крыс 358
«Зайка, зайка, потруси!» 362
Мишка и Машка 364
Русик и Мявка 365
Русик 368
Пухиня 373
Пухиня и Грэй 375
Ласка, Берта и Балбес 376
Семка 379

Козлов В.Н.

К 59 Навстречу притяжению: Записки нефтеразведчика. – Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 2000. – 384 с.

ISBN 5-7529-0015-8

В пер.: 1000 экз.

Книга документальной прозы, написанной «по следам событий» в 60 – 90-е годы, отражает историю освоения Тюменского края и рассказывает о людях, с которыми судьба сталкивала автора.

ББК 84.Р7

Козлов Виктор Николаевич

НАВСТРЕЧУ ПРИТЯЖЕНИЮ
Записки нефтеразведчика

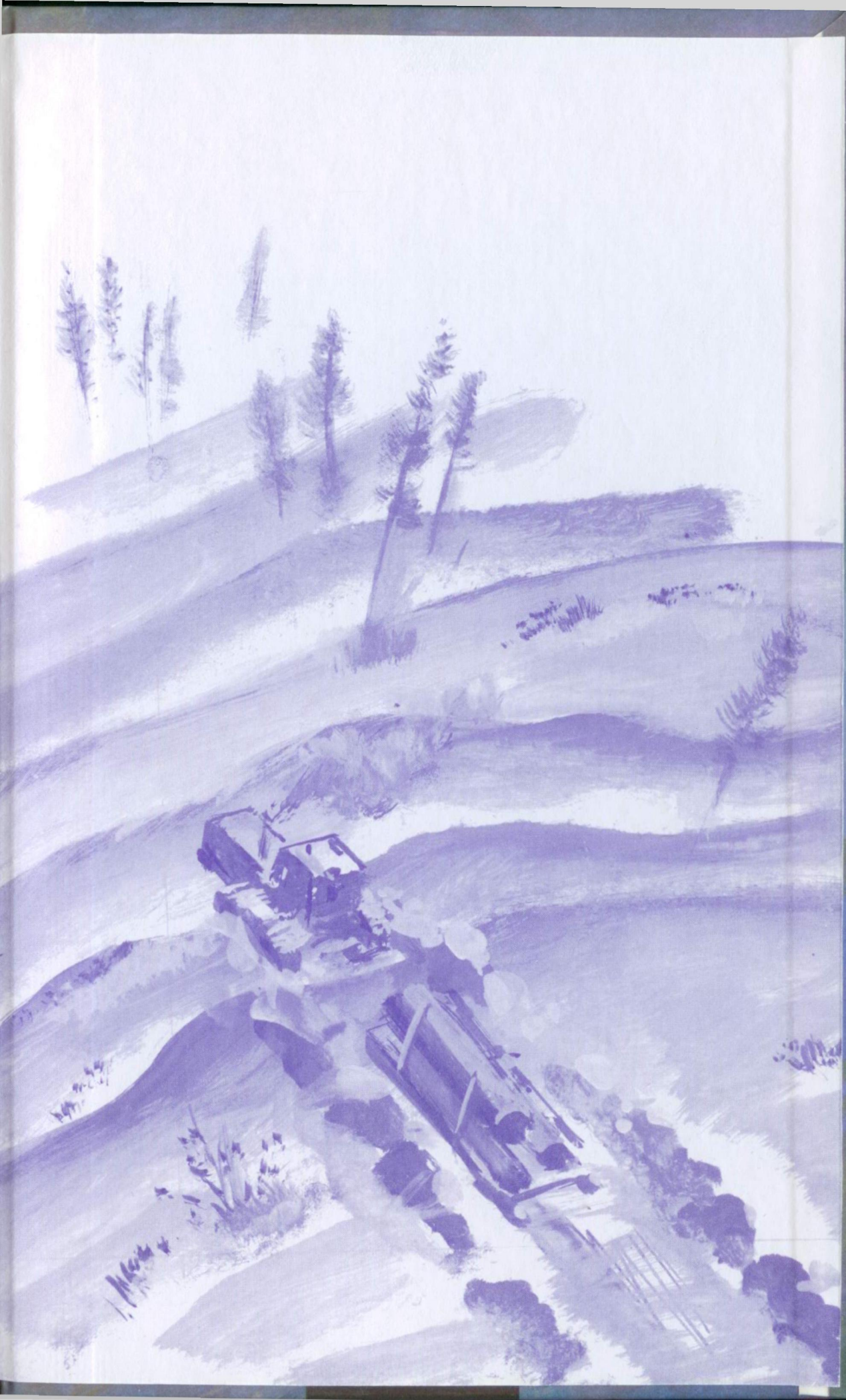
Редактор Е.В. Черняк
Компьютерная верстка Н.И. Бочкарева
Технический редактор Н.Н. Штоколова
Корректор М.Ф. Худякова

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 064913, выдана 14.01.97 г.

Сдано в набор 5.01.2000. Подписано в печать 21.02.2000. Бумага офсетная. Формат 84x108 1/32. Гарнитура Times. Печать офсетная. Усл.печ.л. 20,2. Уч.-изд.л. 21,0. Тираж 1000 экз. Зак. Э-172

ОАО «Средне-Уральское книжное издательство»,
620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 24.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии
ГУП ПИК «Идел-Пресс»
420066, г. Казань, Декабристов, 2.



Виктор Николаевич Козлов родился в 1937 году на Алтае, в Косихинском районе. Учился в деревенской школе в Башкирии, затем в Уфе. С 1961 года, после окончания Уфимского нефтяного института, живет и работает в Тюменской области. Был помощником бурильщика, инженером, начальником РИТС, главным технологом, главным инженером. Участник открытия и разведки более двадцати месторождений нефти и газа. Изобретатель, имеет авторские свидетельства, печатался в научно-технических журналах.

Стихи и проза публиковались в СМИ, в девяти коллективных сборниках. Виктор Николаевич – автор четырех книг стихов и прозы, выходивших в Свердловске (Екатеринбурге), Нижневартовске, Москве.

Лауреат нескольких поэтических и очерковых конкурсов.

Живет в г. Мегионе.

Средне-Уральское
книжное издательство
Екатеринбург 2000